

ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

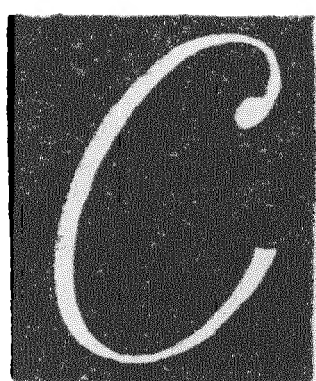
ДЖОН
РОЙСКОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 16

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

Переводы с английского
под редакцией
Н. Г а л ь.



АТИРА

ЭТЮДЫ О СТРАННОСТЯХ

ПИСАТЕЛЬ

Каждое утро он просыпался с мыслью: «Не заболел ли я?» Ведь это весьма важно — иметь доброе здоровье. Больной писатель не может выполнять свой творческий долг; в то же время он не может хладнокровно выносить упадка собственного творчества. Но, установив, что болезни ему не угрожают, он спрашивал у жены: «Как ты себя чувствуешь?», — и, пока она отвечала, задумывался: «Да... если события последней главы я подам через субъективное восприятие Бланка, то мне лучше...» И далее в том же духе. Так и не услышав, как себя чувствует жена, он покидал постель и принимался за дело, которое в шутку называл «культом живота»; оно было необходимо для сохранения аппетита и фигуры, и, занимаясь этим делом, он отмечал про себя: «У меня это здорово получается». Но тут же появлялась другая мысль: «Этот субъект из «Парнаса» абсолютно неправ... он просто не понимает...», — и, застыв на мгновение нагишом, с ногами, задранными до верхнего ящика комода, он обращался к жене: «Я считаю, этот субъект из «Парнаса» просто не может понять, что мои книги...» И на этот раз он не пропускал мимо ушей ее энергичного ответа: «Ну, конечно же, не понимает. Он просто идиот».

Затем он брился. Это были минуты наивысшего творческого подъема, и он тут же кровавил себе щеку и издавал тихий стон: теперь придется искать специальную ватку и останавливать кровотечение — жалкая работа, не имеющая ничего общего с полетом гения. И

если его жена, воспользовавшись случаем, говорила наконец то, что давно уже хотела сказать, он отвечал, пытаясь понять, о чем это она толкует, и думал: «Ну, началось! Никогда не дают возможности сосредоточиться».

Покончив с бритьем, он шел мыться, и некий философский вывод неизменно зрел в нем как раз перед приемом холодного душа, и он останавливался и кричал через дверь: «Видишь ли, я считаю, что высший принцип...» И пока жена отвечала, он, к счастью, вспоминал о необходимости тотчас же подставить еще не остывшее тело под холодный душ, в противном случае может быть нарушено кровообращение, и ее ответ снова не достигал цели. Вытираясь, он мечтательно развивал свои взгляды на сущность мироздания и знакомил с ними жену с помощью фраз, которые он редко доводил до конца, так что отвечать было не обязательно. Когда он начинал одеваться, его мысли принимали несколько иное направление: «Почему я не могу сосредоточиться на своей работе? Это ужасно!» И если у него случайно отрывалась пуговица, он неохотно заявлял об этом, чувствуя, как бесполезно растрачивается его рабочее время. Глядя на сосредоточенное лицо жены, склонившейся над ничтожной работой — пришиванием пуговицы, он умилялся: «Она у меня просто чудо! И как она успевает сделать для меня столько в течение дня?» Затем он начинал ерзать от нетерпения, чувствуя нутром, что почта уже ждет его.

Он спускался вниз, привычно думая: «Эта проклятая почта отнимает все мое время!» Около столовой он ускорял шаги и, увидев на столе огромную кипу писем, привычно восклицал: «Проклятие!», — а глаза его загорались. Если — что случалось редко — на столе не оказывалось зеленого конверта с газетными вырезками, в которых упоминалось его имя, он бормотал: «Слава богу!», — но физиономия его вытягивалась.

Обычно он торопливо ел, расхаживая по комнате и читая о себе, и, если жена заговаривала о его поведении, он молча сжимал губы и думал: «Я умею себя сдерживать».

Сколько бы он ни собирался, ему редко удавалось сесть за работу раньше одиннадцати, нельзя же было не продиктовать жене несколько мыслей о себе: напри-

мер, почему он не мог выступить там-то и там-то с лекциями; или где он родился; или сколько он получил за то-то; или почему он не будет заниматься тем-то. И надо было писать письма, которые обычно он начинал так:

«Дорогой...

Сердечно благодарю за Ваше письмо с оценкой моей книги и за критические замечания. Я, конечно, считаю, что Вы совершенно неправы... Вы, по-видимому, не сумели уловить... Короче говоря, я не думаю, что Вы когда-либо относились ко мне справедливо...

Искренне Ваш,

Подпись».

После того, как его жена заканчивала переписку писем, которые могли бы представить ценность после его смерти, он наклеивал марки и восклицал: «Боже! Уже почти одиннадцать!» — и удалялся туда, где люди его ремесла творят.

Именно в эти часы, сидя в кресле с пером в руке, он мог отвлечься от мыслей о себе, если, разумеется, не считать тех мгновений — не слишком частых, — когда он не мог не подумать: «Эта страница сделана блестяще... Мне редко приходилось писать лучше»; или мгновений — слишком частых, — когда он глубоко вздыхал и думал: «Да, я уже не тот».

Около половины второго он поднимался и, найдя жену, вручал ей несколько листков. «Вот посмотри... пустяки... ничего хорошего». И, выбрав место, откуда, как он полагал, она не могла видеть его, брался за какое-либо дело, не мешавшее ему, однако, наблюдать за впечатлением, которое производят на нее только что врученные листки.

Если впечатление было благоприятное, он решал, что у него удивительная жена, если неблагоприятное, то где-то в глубине желудка он внезапно ощущал холодок и за ленчем почти не притрагивался к пище.

Днем, во время прогулки, он проходил мимо множества предметов и людей, но не замечал их, ибо в это время он сосредоточенно размышлял, что для него характернее — острая наблюдательность или богатое воображение, правильно ли его понимают в Германии и в особенности над вопросом, не опасно ли слишком много думать о себе. Время от времени он останавливался и

говорил себе: «Я в самом деле должен больше наблюдать жизнь, я должен запастись большим количеством горючего»; и он вперял пылкий взор в облако, или цветок, или в прохожего, и тут же ему приходила в голову мысль: «Я написал двадцать книг... Если написать еще десять, то это составит тридцать... Это облако серое»; или: «Этот субъект Икс завидует мне! Этот цветочек голубой»; или: «У этого человека походка очень... очень... Черт побери эту «Утреннюю Оплошность»! Она вечно нападает на меня». И ему становилось не по себе от того, что он так и не сумел понаблюдать за всем тем, что попадалось ему на глаза.

Во время таких прогулок он часто размышлял о событиях дня, о важнейших вопросах искусства, об общественных делах, человеческой душе и тотчас обнаруживал, что уже раньше думал об этом точно так же. И он тут же ощущал острую потребность изложить свою точку зрения в книге или статье, облакая, конечно, мысли в такую форму, которая была бы недостижима для других. Перед его глазами возникали газетные столбцы со следующими словами: «Никто, кроме, может быть, мистера., не смог бы так блестяще изложить факты, говорящие в пользу Белуджистана»; или: «В «Ежедневном Чуде» напечатано благородное письмо известного писателя, мистера., выступающего против гиперспиритуализма нашей эпохи».

Очень часто во время прогулок, устремляя взор на окружающие предметы, но не замечая их, он говорил себе: «Это нездоровая жизнь. Мне обязательно нужно уехать, и по-настоящему отдохнуть, и совсем не думать о работе. Я становлюсь слишком эгоцентричным». И он приходил домой и говорил жене: «Давай поедem в Сицилию и Испанию или куда-нибудь еще. Давай убежим отсюда и будем просто жить». И когда она отвечала: «Как чудесно!», — он повторял ее слова с несколько меньшим энтузиазмом и задумывался над лучшими способами отправки своей корреспонденции. И если — что иногда случалось, — они все-таки куда-нибудь ехали, то он целое утро просто жил, думая о том, как чудесно быть вдали от всего; но уже к полудню он чувствовал себя усталым и измятым, точно кушетка, на которой слишком много сидели. К вечеру у него уже не было желания

жить; его мучения непрерывно усиливались до тех пор, пока на третий день он не получал почты, среди которой находился и зеленый конверт с вырезками из газет, упоминавших его имя. «Эти чудаки... От них никуда не скрыться!» — говорил он и чувствовал неодолимую потребность сесть. Усевшись, он брал перо — отнюдь не для того, разумеется, чтобы писать, ибо решимость «просто жить» хотя и сильно ослабла, но полностью еще не угасла. Но уже на следующий день он говорил жене: «Я полагаю, что смогу работать здесь». И она отвечала с улыбкой: «Прекрасно!» И он думал: «Она у меня замечательная!» — и принимался писать.

А иногда, гуляя по городу или за городом, он вдруг пугался собственного невежества. «Я просто ничего не знаю, — говорил он себе, — я должен читать». И, придя домой, он диктовал жене список книг, которые необходимо взять в библиотеке. Когда книги прибывали, он мрачно глядел на них и задумывался: «Боже милостивый! Неужели я должен осилить все это?» И в тот же вечер брал одну из них. Если это был роман, он не мог пробежать и четырех страниц, чтобы не воскликнуть: «Мерзость! Это же не писатель!» И он чувствовал себя совершенно обязанным взять перо и написать что-либо достойное чтения. А иногда он откладывал роман уже после трех страниц, восклицая: «Этот умеет писать, черт возьми!» И тогда уныние из-за своего убожества охватывало все его существо и он чувствовал себя просто обязанным писать, чтобы убедиться, действительно ли он слабее соперника.

Но если это не был роман, то, случалось, он доходил до конца главы и тогда только решал: либо прочитанное совпадает с тем, о чем он давно уже думал — а это, естественно, случалось, когда книга была хороша, — либо то, что он прочитал, неверно или, во всяком случае, спорно. Но в любом случае он больше не мог читать и сообщал жене: «Этот парень утверждает то, о чем я всегда говорил»; или: «Этот парень утверждает то-то и то-то, ну, а я говорю...» И он начинал говорить и за нее и за себя, чтобы не заставлять ее тратить лишние слова.

Иногда он чувствовал, что просто не может жить без музыки, и отправлялся вместе с женой на концерт в приятной уверенности, что музыка заставит его забыть-

ся. К середине второго номера программы, особенно если исполнялось произведение, которое ему нравилось, он начинал поклевывать носом в такт и потом, очнувшись, чувствовал себя настоящим художником. С этой минуты он слышал звуки, которые приятно возбуждали и навевали глубокие и серьезные мысли о его творчестве. После концерта жена спрашивала его: «Не правда ли, Моцарт очень мил?»; или: «А как Штраус тебе понравился?» И он отвечал: «Еще бы!», — не зная, что именно принадлежит Моцарту, а что — Штраусу, и незаметно бросая взгляд на программу, чтобы убедиться, что он действительно слушал их, и выяснить, который из Штраусов это был.

Он решительно не принимал корреспондентов, фотографов и других представителей рекламы, делая исключение только в тех многочисленных случаях, когда жена говорила: «О, я думаю, что ты просто обязан принять их», — или потому, что он органически не мог кому-либо в чем-либо отказать, хотя, возможно, в глубине души и сожалел о бесплодно потерянном времени. А видя результаты, он не мог удержаться от восклицания: «Ну нет! Довольно с меня! Все это так глупо!» И все же заказывал себе несколько оттисков.

Так как он познал соблазны, подстерегающие лиц его профессии, он больше всего боялся мысли, что может стать эгоистом, и постоянно боролся с собой. Часто он жаловался жене: «Я недостаточно думаю о тебе». Она улыбалась и говорила: «Разве?», — и он, облегчив таким образом душу, чувствовал себя много лучше. Иногда он по целому часу героически старался понять, о чем же она говорила, чтобы не ответить невпопад; он подавлял в себе желание переспросить: «Что?», — боясь выдать свою невнимательность к ней. По правде говоря, он органически не был склонен (о чем он не раз говорил) вести разговоры о пустяках. Беседа, не сулившая диалектической победы, едва ли была ему по душе; так что он искренне считал себя обязанным не участвовать в ней, и это иногда вынуждало его сидеть молча «изрядный кус времени», как говорят американцы. Но, вступив в спор, он не мог остановиться, так как естественно, если не сказать свято, верил в правоту своих убеждений.

К своим творениям он относился весьма своеобразно. Он либо вовсе их не упоминал, либо, когда иначе было нельзя, говорил о них с легким пренебрежением; и не потому, что считал их слабыми, а скорее из-за суеверного чувства, что не стоит испытывать судьбу, когда имеешь дело со «святая святых». Но если другие говорили о его трудах в таком же тоне, то это причиняло ему настоящую душевную боль, какую чувствуешь, когда встречаешь грубую жестокость и несправедливость. И хотя что-то подсказывало ему, что неумно и недостойно замечать такое надругательство, он все-таки брюзжал, обращаясь к жене: «Да, думаю, это правда... Я не умею писать», — чувствуя, очевидно, что если ему неприлично возмущаться подобными оскорблениями, то она вполне может возмущаться. И она возмущалась, причем так горячо, что даже он испытывал удовлетворение и облегчение.

После чая он по привычке во второй раз брался за перо. Нередко в эти часы в нем боролось чувство, говорившее, что его долг — писать, против другого чувства, подсказывавшего, что его долг — не писать вовсе, раз ему нечего сказать; и он обычно исписывал гору бумаги, так как был в глубине души убежден, что если он не будет писать, то о нем постепенно забудут и в конце концов ему нечего будет читать и не о чем думать, и хотя ему часто хотелось верить и даже убедить жену, что слава — нестоящая штука, он не спешил отказаться от нее, опасаясь, очевидно, слишком большого счастья.

Что касается его собратьев по перу, то ему нравились почти все они, хотя он относился с некоторым раздражением к тем, кто принимал себя слишком всерьез. А одного или двух он вообще не мог переносить; в них явно было слишком много зависти — чувства, к которому он был совершенно нетерпим и которому, конечно, не собирался предаваться. Он отзывался о них очень сухо, не снисходил до того, чтобы бранить их. Очевидно, его слабостью было то, что он воспринимал критику как выражение той же зависти. И, однако, наступали минуты, когда никакие слова не были в состоянии точно передать его весьма низкое мнение о своих способностях. В такие минуты он искал жену и признавался ей, что он ничтожество, ни на что не годен и без единой мысли в голо-

ве. Она возражала: «Чепуха! Тебе прекрасно известно, что все они тебя не стоят», — или что-нибудь в этом роде, но он трагически смотрел на нее и бормотал: «Ты пристрастна!» Только в эти высокие минуты подавленного настроения он жалел, что женился на ней, так как ее слова звучали бы для него намного убедительнее, если бы он в свое время не сделал этого шага.

Он никогда не брался за газеты до вечера — отчасти потому, что у него не было времени, а отчасти потому, что редко находил что-либо в них. И не удивительно, так как, быстро перелистывая страницы, он задерживался, конечно, — и это вполне естественно — только на тех местах, где упоминалось его имя; и если жена спрашивала, читал ли он ту или иную статью, он отвечал: «Нет» — и удивлялся, как ее могли интересовать такие пустяки.

Перед сном он усаживался в кресло и курил. И подчас его посещали причудливые мысли, а подчас нет. Иногда он бросал взгляд на звезды и думал: «Я просто червь! О! Эта удивительная бесконечность! Я должен глубже познать ее... больше писать о ней, о чувстве, что вселенная грандиозна и чудесна, что человек только прах и тлен, только атом, соломинка, ничто!»

И какая-то восторженность охватывала все его существо, и он знал, что если бы он только сумел положить это все на бумагу так, как ему хотелось (а в этот момент он чувствовал себя в силах сделать это), то был бы величайшим писателем, которого когда-либо видел свет, величайшим человеком, даже более великим, чем ему того хотелось, выше мелкой газетной славы, более великим, чем сама бесконечность, ибо разве не был бы он ее творцом! Но внезапно он прерывал свои размышления: «Мне надо быть осторожным... Надо быть осторожным. Если я дам волю своему воображению в такой поздний час, то завтра не смогу связать и двух слов!»

И он пил молоко и отправлялся спать.

КРИТИК

«Эх, собачья жизнь! — часто думал он. — Бросить все это и начать писать самому. Неужели у меня не получится лучше, чем у всех этих писак?» Но он все никак не мог приняться за дело. Когда-то в ранней юности он выпустил книгу, но это было далеко не лучшее, на что он считал себя способным. Да и как могло быть иначе: ему уже и тогда то и дело приходилось отрываться от лакомой косточки собственного вдохновения для разбора и критики чужих произведений!

Если бы его приперли к стенке и спросили напрямик, почему же он все-таки не пишет сам, он затруднился бы ответить, и что бы он ни сказал, это было бы верно только отчасти, потому что хотя он был человек правдивый, но чувство самосохранения не позволяло ему быть искренним до конца. Гораздо легче, например, воображать, что, если бы не постоянные помехи, он мог бы сделать нечто выдающееся в литературе, чем действительно засесть за работу, но он вряд ли бы в этом признался. Верить в собственную одаренность было очень приятно, и не так-то легко было подвергнуть ее грубой проверке на деле. Кроме того, с его стороны было бы бестактно обнаружить свое превосходство и поставить на место всех тех писак, которые, по его мнению, мешали развернуться его творческому дару, присылая ему на отзыв свои книги. Но то все были мелочи, ибо он не был ни тщеславным, ни злым. Главная же причина его нерешительности

шительности заключалась в том, что он вовсе не так уж тяготился своей «собачьей жизнью», как он ее называл. Прежде всего он привык к этой жизни, а человеку всегда трудно расставаться с привычками; кроме того, он действительно любил свое дело; и, наконец, всегда приятнее судить самому, чем быть судимым. Критике он придавал очень большое значение — этого нельзя отрицать. С давних пор он выработал собственный кодекс профессиональной этики, которому неизменно следовал; он считал, например, что критик должен быть совершенно беспристрастен и не должен руководствоваться никакими соображениями личного характера. Именно поэтому он часто обходился суровее, чем следовало, с писателями, которые надеялись, как он подозревал, что благодаря знакомству он обойдется с ними не так строго. Он соблюдал это правило так педантично, что если ему иногда случалось под непосредственным впечатлением похвалить какую-то вещь, в дальнейшем он не упускал возможности разругать автора больше, чем он того заслуживал, лишь бы только его не заподозрили в пристрастии или в излишней восторженности, которой он совершенно не выносил. Так он строго охранял независимость своих суждений и в своем доме был полным хозяином, которым руководит только уверенность в собственной правоте. Были, правда, писатели, которых он по тем или иным причинам недолюбливал; одним удавалось поймать его на какой-нибудь мелкой неточности; другие оспаривали его критику; третьи же — что хуже всего — благодарили его за то, что он «так правильно сумел понять их замысел». Такие выходки он считал глупыми и неуместными, а некоторые писатели вызывали в нем отвращение своей внешностью, манерами, образом мыслей или тем, что слишком быстро и незаслуженно добились признания. В таких случаях он, разумеется, считал себя вправе высказываться совершенно откровенно. Ибо он был, как всякий англичанин, ярым сторонником свободы личных вкусов. Но о всякой первой книге начинающего автора он писал с беспристрастностью, на какую мало кто был способен.

Далее, он считал, что каждую вещь надо рассматривать совершенно самостоятельно, независимо от того,

что говорилось о предыдущей книге того же автора. Этому правилу он придавал огромное значение и никогда не перечитывал собственных рецензий; поэтому случилось, что книге, вышедшей в 1920 году, он давал высокую оценку, а книгу того же автора, появившуюся в 1921 году, расценивал очень низко, так что кривая его отношения к автору строилась не на основании средней арифметической, а подчинялась только неким законам изменения и лунным фазам, которые так сильно влияют на морские приливы и человеческие деяния.

Всякое однообразие, всякое постоянство вызывали в нем непритворное отвращение. И в искусстве и в критике его влекло новое. «Что угодно, только не скука», — говорил он, и публика с ним полностью соглашалась. Надо, однако, отдать ему справедливость: с мнением публики он мало считался и относился к ней с откровенным недоверием, как и подобает тому, кто исполняет роль судьи. Он знал так называемых критиков, у которых всегда наготове формула для каждого автора, как у священников припасена проповедь на все случаи жизни. Они писали: «В повести «Удивительное плаванье» мы имеем еще один образец зрелого мастерства м-ра имярек. Мы всячески рекомендуем каждому понимающему читателю эту увлекательную повесть, в которой так верно и тонко очерчен образ маленькой Кэти. Это лучшее из всего, что до сих пор выходило из-под пера м-ра имярек». Или: «Нельзя сказать, что выход в свет «Удивительного плаванья» может что-либо прибавить к репутации м-ра имярек. Это чистейшая мелодрама, какой и следовало ожидать от названного писателя... Все в ней насквозь фальшиво... Ни один разумный читатель ни на минуту не поверит образу маленькой Кэти». Таких рецензий он просто не выносил и проницательно усматривал прямую связь между именем писателя, политическим направлением газеты и тоном отзыва. Нет, если критическая статья не выражает вкусов и убеждений критика, она недостойна называться критикой.

Самый же священный и непреложный закон гласил: «Критик должен прежде всего проникнуться настроением и стилем разбираемой вещи, полностью принять ее художественные особенности и мировоззрение; и только

после этого можно дать волю своей критической мысли». Он неустанно твердил об этом законе и себе и другим и неизменно помнил о нем, принимаясь за книгу. Случалось, однако, что манера писателя, нарочитость формы, тон и стиль книги ему не нравились, или не вызывала сочувствия тема, или же, наконец, он не соглашался с тем, как автор разрешил поставленные проблемы. В таких случаях его скрупулезная честность не допускала никаких сделок с совестью, и он со всей откровенностью писал, что ему хотелось бы, чтобы произведение было написано с более объективных позиций; что недостатки формы мешают по-настоящему воспринять тему, которую вообще не стоило брать; или он утверждал, что герой книги наделен слишком слабым характером, чтобы быть героем, а потому и книга не представляет большого интереса. Если ему возражали, что цель книги — как раз анализ слабого характера, а значит, не будь героя со слабым характером, не было бы и книги, он отвечал: «Пусть так, но это никак не опровергает моих слов: книга была бы интереснее и значительнее, если бы она была посвящена анализу сильного характера». И в дальнейшем при всяком удобном случае он снова повторял, что герой не герой и книга не заслуживает внимания. Хотя он и не отличался упрямством, но своих позиций не сдавал никогда. Он очень серьезно понимал свой долг перед читателем, и не признаваться в своих ошибках было для него делом чести. Признать ошибку, конечно, легко, но весьма опасно; и поэтому (ради принципа и ради поддержания престижа критики) он никогда не замечал печатных возражений на его отзывы, хотя это было особенно трудно, потому что он обычно выступал анонимно.

Он всей душой отдавался работе, и все-таки у него, как у всех смертных, бывали минуты упадка; тогда ему казалось, что давно пора перейти к самостоятельному творчеству или хотя бы выпустить большой труд о задачах положительной критики. «Никто из нас, критиков, не занимается настоящей, конструктивной критикой; никто в наши дни не имеет представления об основных принципах критики...» Развив во всех подробностях эту мысль и отведя таким образом душу, он успокаивался и на следующий же день по тому или иному поводу писал: «Мы

не отличаема академичностью французов, для которых так важны научные принципы критики; духу нашего народа свойственна непосредственность личного суждения, такого же гибкого и живого, как и разбираемое искусство».

Истинный сын своей страны, он восставал против всяческого принуждения. Дисциплину он, конечно, признавал, но в точности чувствовал, до каких пределов она применима к нему самому, и, пожалуй, мало кто обладал столь тонкой и разработанной концепцией свободы личности. В этом отношении он был верен лучшим традициям своей профессии — судить других и сознавать свое превосходство. В частном разговоре, со свойственным ему великодушием, он мог допустить, что художник, бескорыстно отдавший многие годы искусству, может быть, лучше всех разбирается в собственном творчестве; но тут же не упускал случая глубокомысленно заметить, что суждение автора не может быть беспристрастным, а поэтому ненадежно и что лучше всего судить о литературе может только опытный критик, который лишен близорукости и личных предубеждений и поэтому смотрит на вещь не предвзято и видит все в должной перспективе.

Новая школа, полагающая, что творческая ценность критики определяется творческой ценностью разбираемого предмета и ее основная задача — проникнуться духом произведения и донести его до читателя, — раздражала нашего критика; и не потому только, что создать модель горы не значит создать настоящую гору; нет, истинная творческая ценность критики заключается в ее разоблачающей и сатирической силе; разнести вещь в пух и прах, не оставив камня на камне, и расчистить место для нового слова — вот ее цель. Таково было его непосредственное убеждение, подкрепленное личным опытом. Возможно, к необходимости расчистить место для нового слова он пришел благодаря глубоко таившейся в нем уверенности, что это новое слово суждено сказать ему самому, когда он выступит с собственным произведением и покажет всему миру, чем должна быть литература.

Ему было под пятьдесят, когда его час наконец пробил, и он принялся всерьез работать над собственным

шедевром, который должен был избавить его от «собачьей жизни», а может быть, даже и уготовить ему маленькую нишу в галерее бессмертных. Он радостно трудился пять месяцев, пока ему не взбрела в голову злосчастная мысль перечитать написанное. Как опытный критик, он не мог, к величайшей своей досаде, не обнаружить, что почти каждая глава, целые страницы, фразы опровергают все непосредственно им предшествующее. Он пытался внимательно проследить основную нить, которая, по его замыслу, должна была пронизывать всю вещь. То тут, то там она появлялась, а затем снова пропадала. Наш критик очень расстроился.

Решив, однако, не думать об этом, он продолжал писать. К концу седьмого месяца он снова прервал свой труд и снова терпеливо просмотрел все с самого начала. На этот раз он обнаружил четыре основных линии, которые никак не пересекались; но больше всего его поразило отсутствие оригинальности. Он был потрясен. Ведь именно оригинальность он ценил превыше всего и всю жизнь воспитывал ее в себе. Независимость и неистощимость фантазии и выдумки — вот к чему сводилось его кредо. И теперь, теперь, когда пробил его час в разгар творческих мук над столь долго откладывавшимся собственным произведением, убедиться, что... Отбросив эти мысли, он с новым упорством засел за работу.

К концу девятого месяца он как одержимый дописал последние страницы, затем неторопливо и сосредоточенно просмотрел от начала и до конца дело своих рук. По мере того, как он читал, что-то сжималось у него внутри и он леденел. Его детище лежало перед ним недвижимое, без пульса, без дыхания, без красок — оно было мертво.

И вот, пока он сидел над своим бесформенным мертворожденным шедевром, без признака жизни и индивидуальности, в его мозгу зародилась страшная мысль. Всю жизнь он стремился к полной независимости, всю жизнь не признавал никакого иного закона, кроме собственного вкуса. *Может быть, этот эгоцентрический культ собственной индивидуальности и привел его к полной утрате истинной индивидуальности?* Не слишком ли

долго он судил других, не подвергаясь сам ничьему суду? Нет, неправда, это невозможно! Запрятав подальше свое бесцветное, бесформенное творение, он взял последний присланный ему на отзыв роман и погрузился в чтение. Но, пока он читал, перед его глазами мелькали страницы собственного произведения. Наконец, отложив в сторону книгу, он взялся за перо и написал: «Этот роман поистине трагичен; он свидетельствует о том, что писатель сгорел на собственном огне; он так долго питался собственной личностью, так долго варился в собственном соку, что в конце концов завял и высох из-за недостатка питания». Вынеся этот приговор чужому творению, он почувствовал, что кровь быстрее побежала по его жилам, и ему стало тепло.

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ

Он был человек здравомыслящий. Здравый ум был его основным качеством. Иные люди могут быть изящными, тонкими, оригинальными, живыми или обаятельными,— у них нет его здравомыслия. Именно это ценила в нем его отчизна, да и он сам. Ведь самое главное — относиться ко всему просто и трезво, ни в чем не сомневаться и не увлекаться никакими фантазиями. Он знал, что с ним считаются печать, церковь и правительство, а потому изо дня в день совершенствовал в себе это удивительное свойство, которым обладал наряду с другими здравомыслящими людьми. Разве не приятно сознавать, что, когда вокруг творится так много странного и непонятного, ты всегда можешь довериться своему трезвому, здравому взгляду на вещи! Он полностью полагался на свое мнение и без малейших колебаний оповещал о нем общество, которое неизменно к нему прислушивалось.

В делах литературы он был незаменим. Читал ли он того или иного автора или нет, он всегда знал, что о нем думать. Когда-то (между делом) он довольно много прочел. И его представление о литературе, сложившееся в то время, осталось для него на всю жизнь путеводной звездой; поэтому, когда какого-нибудь писателя расценивали как «передового» или с «эротическим», «социалистическим», «патологическим», «пессимистическим», «трагическим» или каким-нибудь еще столь же малопривлекательным уклоном, он достаточно ясно представлял себе, что это такое, и читал этих авторов, только если их книги

случайно попадались ему в руки. Ему нравились простые, незамысловатые повести, предпочтительно с любовной интригой или с приключениями (больше всего он, пожалуй, любил детективы), непременно со счастливым концом, потому что, совершенно разумно замечал он, в жизни и так хватает горя, а идеи можно почерпнуть и из газет, где их более чем достаточно. Его огорчала дурная тенденция, видимо, свойственная литературе,— отыскивать положения, в которых обнаруживаются глубины человеческого духа и человеческих нравов и обычаев. При своем здравомыслии он считал это излишним. За собой он не знал никаких глубин, а может быть, наоборот, слишком хорошо понимал, что стоит только заглянуть в эти глубины, как им не доищешься дна; и проникать в бездны, скрытые под благовидной поверхностью социального порядка, он тоже не считал нужным. Ведь это могло весьма пагубно отразиться на людях, а то и вовсе лишить их способности выполнять свои простые повседневные обязанности, как-то: накапливать и помещать капитал, ходить в церковь и поддерживать религию; руководить женой и детьми; укреплять нервную систему и заботиться о пищеварении; довольствоваться жизнью такой, как она есть.

Именно в этом заключалась разница между ним и теми, кого он всячески порицал: они хотели *видеть* все в жизни таким, как оно есть, он же хотел *сохранить* все таким, как оно есть. Но сам он ни за что не признал бы эту разницу существенной: он-то видел вещи такими, как они есть, несравненно лучше, чем все эти путаники, в этом он был уверен. Если уж человеку так необходимо копать в разных высоких материях, то пусть этим малоприятным делом занимается поэзия, в которой все равно ничего не разберешь.

«Как бы там ни было,—говаривал он,—я и так успею узнать все, что нужно, когда потребуется, и незачем тратить время и разнюхивать все эти тайны заранее».

Он считал, что литература, как и всякое искусство, должна поддерживать в человеке жизнерадостность, и поднимал страшный шум, когда среди сотен жизнерадостных пьес и романов ему случайно попадалось что-нибудь трагическое. Он тут же бросался писать в газеты,

жалуясь на мрачный тон современной литературы, и газеты, за редкими исключениями, вторили ему, потому что он был человеком здравомыслящим и их подписчиком. «Какого черта,— писал он,— посвящать меня во все эти проклятые страдания! Мне не становится от этого веселее. И, кроме того,— добавлял он обычно,— это не искусство. Дело искусства — красота». Он как-то услышал такое суждение и с тех пор всячески его отстаивал; он считал своим священным долгом посещать выставки картин, поражающих яркостью красок и обилием света. Его пленяли, конечно, и женские формы, но до известного предела. А он всегда в точности знал, где этот предел, потому что считал себя истинным блюстителем нравов в своей стране. Если здравомыслящего человека что-то коробит, будь то в пьесе, танце или в романе, значит, развлечение пора запретить. Кому-кому, а ему-то лучше всех известно, что хорошо для его жены и дочерей! Он часто размышлял на эти темы по дороге из своего дома в Сити, глядя в поезде на людей, уткнувшихся в книги. Ярый поборник свободы, как всякий англичанин, он считал недопустимым все, что оскорбляло его собственный вкус. «Эта братия,— говорил он друзьям,— несет чудовищный вздор. Всякому здравомыслящему человеку ясно, что прилично и что неприлично. И эта болтовня об искусстве совершенно ни к чему. Вопрос решается гораздо проще: покажете вы это своей жене и дочерям или нет. Если нет, значит, дело с концом и это нужно запретить». Тут он принимался думать о собственных дочерях, весьма благонаправных девицах, о которых можно было не беспокоиться. Не то чтобы он сам не любил настоящей, «полнокровной», как он говорил, литературы, если, конечно, в ней не было ничего безнравственного или антирелигиозного. Правда, он нередко приходил в восторг, который остерегся бы назвать своим именем, от романа, где автор не жалел красок для описания «ее прелестной груди»; но в подобных волнующих шедеврах не было и следа каких-нибудь извращений или дурацкого романтизма, скорее наоборот.

Хотя его здравый взгляд на вещи выше всего ценился в области литературы и театра, это качество, по его мнению, было так же важно и в политической жизни. После того, как там «как следует напутают», «они» не-

пременно обратятся к нему — простому человеку, который ничего не требует, кроме признания своих естественных прав, не увлекается никакими воздушными замками и утопиями и ко всему прикладывает единственное здоровое мерило: «А как это отразится на мне?» И в зависимости от этого приходит к тому или иному трезвому суждению. Если правительство собиралось увеличить подоходный налог хотя бы на пенни, он чувствовал это задолго до того, как проект проходил в жизнь, и делал все возможное, чтобы этого не допустить. Тут его суждения были необычайно здравы, так же как и в вопросе национальной обороны, которая, по его мнению, должна быть на высоте, чего бы это ни стоило. Но нужно же придумать что-то другое, а не увеличивать подоходный налог, — и он готов был свалить любое правительство, политика которого шла вразрез с основными принципами собственности.

Его взгляды на национальное достоинство были еще проще — тут и рассуждать нечего, отечество всегда право, а если и неправо, он никогда не позволит себе это признать. И государственные люди были так твердо уверены в его здравомыслии, что полностью полагались на него в своей деятельности, даже не дожидаясь его согласия.

Он, конечно, признавал, что социальные преобразования нужны, но на деле предпочитал ограничиваться лишь самым необходимым, не более того; здравомыслящий человек не проявит никакого донкихотства; но и сидеть на пороховой бочке, пока она не взорвется, тоже не в его привычках. В вопросах религии он считал свою позицию наиболее правильной, потому что, как ни слаба в наше время вера и все такое прочее, как человек здравомыслящий, он считал нужным ходить в церковь и называть себя христианином; он стал даже более ревностным и щепетильным в этом отношении, чем раньше, ибо, когда дух покинул тело, нужно заботиться о теле, дабы оно не распалось в прах. Поэтому он так же твердо держался церковных обрядов, как и своего пригорода.

Он часто рассуждал о науке — о медицине, например, и придерживался того здорового убеждения, что все ученые преследуют какие-то корыстные цели; сам он дове-

рял им лишь в той мере, в какой они могли быть полезны простому здравомыслящему человеку. Разумеется, он широко пользовался последними достижениями в области гигиены и санитарии, транспорта и связи, новейшими антисептиками и разными машинами, позволяющими экономить время, а все наблюдения, научные исследования и теории считал чистейшим вздором.

Он не выносил слова «гуманность». Ни один здравомыслящий человек не станет причинять страдание, да еще самому себе, от него меньше всего можно ждать такой нелепости. Но надо же считаться с реальными жизненными фактами и защищать свои интересы и свою собственность. Он писал по этому поводу в газеты, пожалуй, чаще всего и был вознагражден, потому что в переписках находил постоянные ссылки на себя: «Здравомыслящий человек не склонен идти на риск, к которому неминуемо привел бы сентиментальный подход к данной проблеме...»; «В конечном счете при решении этого вопроса мы должны обратиться к умеренности и здравому смыслу простого человека...» Он-то ничего в жизни не страшился так, как обвинения в сентиментальности. Если он оказывался свидетелем жестокого поступка, это задевало его не меньше других, и он спешил выразить свое неодобрение. Но в этом не было ничего сентиментального. А вот поднимать шум и возмущаться так называемыми жестокостями, которых он сам не видел,— это уж действительно «сентименты»; к тому же для этого требовалась некоторая доля воображения—вещь, которой он доверял меньше всего на свете. Какой смысл расстраиваться из-за того, что не касается тебя лично; ведь это еще, пожалуй, приведет к каким-нибудь общественным выступлениям, которые нарушат твой покой. Он не был, однако, паникером и, в общем, твердо верил, что пока в стране есть такие люди, как он, с трезвым взглядом на вещи, он может спокойно жить в своем пригороде и не бояться никаких серьезных потрясений.

В отношении женского вопроса он давно уже занял вполне здравую позицию: он последует за большинством, торопиться некуда. По его мнению, все здравомыслящие мужчины (и здравомыслящие женщины, если таковые существуют, в чем он иногда сомневался) посту-

пят точно так же. Скорее инстинктивно, чем сознательно, он понимал, что, действуя так, ничем не рискует. Ни один человек — во всяком случае, ни один здравомыслящий человек — не сдвинется с места, пока не сдвинется он, сам же он не сделает шага, пока не зашевелиятся они. Таким образом, его позиция была в высшей степени разумна. И он гордился тем, что, судя по выступлениям представителей партий, церкви и прессы, вся страна была с ним заодно. Он часто говорил своей жене: «Мне совершенно ясно, что, пока страна этого не захочет, у нас никогда не будет всеобщего избирательного права». Он воздерживался, однако, обсуждать этот вопрос с другими женщинами, убедившись, что им не удавалось сохранять спокойствие, когда он развивал перед ними свою здравую точку зрения.

Он даже представить не мог, как бы обошелся без него суд присяжных, где его обычно избирали старшиной. И с неизменным удовольствием выслушивал неизменно обращаемые к нему слова: «Джентльмены, как люди здравомыслящие, вы, конечно, тотчас убедитесь, насколько несостоятельно по всем пунктам все, что было сказано моим уважаемым коллегой...» Его в равной степени ценили обе стороны и даже сам судья, и он начинал скромно подумывать, что только здравомыслящий человек представляет собой истинную ценность и уж, во всяком случае, только он может о чем-то судить.

А что стала бы делать без него страна? В какие тартары скатилась бы она в политике, искусстве, законодательстве, религии! Ему казалось, что только он и спасает ее от бесчисленных, угрожающих ей катастроф. Как часто, запутавшись в софизмах и противоречиях, она взывала к его помощи! И разве он хоть раз подвел ее со своей несложной философией здравомыслящего человека: «Следуйте за мной, а остальное приложится»? Никогда! И всякий раз — читал ли он газету, сидел ли в театре, слушал ли проповедь или речь — он всюду находил свидетельства почтения к себе. Он считал себя обязанным оставить свой портрет потомству и собирался как-нибудь попозировать художнику; то и дело он поглядывал в зеркало, чтобы укрепиться в этом намерении. И всякий раз он втайне радовался тому, что он там ви-

дел. Из зеркала глядело лицо, которое внушало полное доверие и даже в некотором роде восхищение. Никакого блеска, ничего эксцентричного, резкого или бросающегося в глаза; никакой особой одухотворенности, глубины, смирения или страсти; и ни признака гордости, упорства, чрезмерной доброты, никаких возвышенных чувств или печати призвания; самое простое лицо: с крупными чертами, со здоровым румянцем и выразительными, чуть навывкате глазами,— именно такое лицо, какое он должен и хотел бы иметь,— лицо здравомыслящего человека.

СВЕРХЧЕЛОВЕК

Хоть он еще не сказал своего слова, но нimalo не сомневался, что скажет. Это был лишь вопрос времени. В принципе он, конечно, не одобрял того, что называлось «добиться признания». Он, пожалуй, никого так не презирал, как признанные великие авторитеты. На его взгляд, их успех означал верх идиотизма, корыстолюбия и самодовольства. Ведь это значило, что они сумели угодить достаточно большому числу таких же невежд и продажных идиотов. Все эти великие жрецы науки, все эти так называемые гении оскорбляли его здравый смысл. Их затхлые, ни для кого не новые открытия ничего для него не значили. Он их всех раскусил. Само их существование возмущало его. Правда, время от времени кто-нибудь из великих отпралялся на тот свет, и справедливый гнев нашего героя несколько стихал перед лицом всепримиряющей смерти. Когда такой гений переставал коптить небо, он уже не вызывал к себе такой непримиримой ненависти. Можно было даже признать, что после него остались кое-какие крупицы, а с годами они разрастались в великое наследие; и тут он сравнивал оставшихся в живых презренных ученых мужей с тем, кто, по счастью, умер, и сравнение было всегда не в пользу живых. По правде говоря, мало кто из живущих удостоивался его снисхождения. Они для него не существовали, просто не существовали. Что представляли собой все эти так называемые «великие» художники, писатели, политические деятели? Его губы под длинным носом кривились в язвительной улыбке. Этого было достаточ-

но: от их славы ничего не оставалось, — для него, во всяком случае. До чего же наивны их рассуждения об искусстве и всевозможных преобразованиях! Как все это безнадежно и непоправимо устарело! Как все это истине заслуживало уничтожающей критики его пера и слова!

Ибо он знал, что призван спасти искусство, литературу и политику своей страны. И он снова и снова начинал издавать газету или сотрудничал в уже существующих газетах, которые должны были помочь осуществить его миссию. Им удавалось протянуть несколько месяцев, иным даже несколько лет, прежде чем передать последний судорожный вздох гения. Но до чего же чисто они мели, пока были новы! С высоты, недоступной никаким порокам так называемой человеческой природы, они мели и мели и сотрясали воздух, пока внезапно не обнаруживалось, что нечем дышать. И как близки, как непостижимо близки они были к тому, чтобы вместо всего этого мусора предложить свои подлинные законы искусства и жизни! Еще какой-нибудь месяц, год, еще одна хорошая чистка, и они этого добьются. И вот тут-то, с последним взмахом метлы, он и скажет свое слово! Наконец-то они дождутся человека, который даст им настоящую философию, настоящую творческую мысль, — человека, чьи стихи и картины, музыка, проза, драма, проекты преобразований произведут всеобщий переворот! И тогда он покинет эту отслужившую свою службу газету и, посоветовавшись сам с собой, создаст новый орган.

Уж эта-то газета будет основана на самых незыблемых принципах. Прежде всего никакой терпимости, никакой пощады никому! В прошлый раз они слишком многое прощали. Они щадили некоторые имена. Больше этого не повторится, довольно! Этих невежд и шарлатанов надо прикончить раз и навсегда. А вместе с ними — в огонь всю общественную структуру с ее прогнившими догмами искусства, религии, социологии. На этот раз он не потерпит пустоты, он найдет, чем все это заменить. Теперь будет самое время показать и объяснить тайное биение пульса будущего, которое пока открылось ему одному. Каждый лист газеты будет пронизан пламенем, неотразимым, красноватым пламенем гения. Это



будет грандиозное излучение. И, накинув на свое тощее тело изодранный плащ, он начинал все сызнова.

В первых трех номерах он разнесет все до основания и благоговейно уготовит пути грядущему. В четвертом номере он соберет все свои силы, чтобы нанести сокрушительный удар по всему фронту и отбить все злобные контратаки смертельно уязвленных жрецов и апостолов прошлого; на этот сокрушительный удар будут брошены все силы на страницах пятого, шестого, седьмого и восьмого номеров. В девятом номере он заявит о своей готовности выполнить положительную программу, которая была обещана в первых номерах. В десятом он скажет, что если разложившееся общество не поддержит его героические начинания, оно так и не увидит гения. В одиннадцатом номере он учинит небывалый разгром и в двенадцатом испустит дух.

Не следует забывать, что наш герой не принадлежал к породе самодовольных людей, способных чем бы то ни было удовлетвориться раз и навсегда. Нет, это была более возвышенная натура — он вечно стремился ввысь, к идеалу, которого только он когда-нибудь достигнет. На нем лежала печать божественной неудовлетворенности даже самим собой; свое превосходство он признавал лишь в сравнении со всем прочим человечеством.

Какое счастье, что умер Ницше! Теперь он мог с легким сердцем и чистой совестью бить в барабан, оставленный человеком, которого наш герой, не колеблясь, называл великим. И все-таки, часто говорил он, что может быть глупее этого безмозглого сброда, именующего себя сверхчеловеками! Кроме Ницше, он, пожалуй, ни одного мыслителя не считал равным себе, особенно он не выносил Аристотеля и того, кто основал религию его страны.

Государственных деятелей он расценивал очень низко: все они в конце концов просто политиканы! Во всей истории он не находил никого, кто, подобно ангелу утра, отвечал бы за судьбы человечества; никого, кто смог подняться над презренной суетой человеческих деяний и стремлений.

Его любимым поэтом был Блейк, любимым драматургом — Стриндберг, человек, подававший большие надежды и, по счастью, умерший. Из романистов он признавал

Достоевского. Кого же еще можно назвать? Кто еще сумел выйти из рамок тупой, нормальной человеческой рассудочности и вскрыть потрясающие стороны человеческой души в состоянии опьянения или сна? Кто еще сумел показать жизнь в таком разрезе, где с начала и до конца вы не найдете скучного прозябания, не преображенного кошмаром? Ведь только в кошмаре человеческая душа раскрывает все свои возможности.

Он питал особое пристрастие к кошмарам, даже в их смягченной форме,— пристрастие человека, которому ясно, что в мире только один кошмар недоступен обыкновенному здравому человеку в состоянии бодрствования. И он так ненавидел обыкновенных здоровых людей с их полной неспособностью что-либо понимать!

По художественным вкусам он был пауло-пост-импрессионистом, и о художнике, которым он восторгался, пока еще никто ничего не слышал. Однако в свое время о нем обязательно заговорят. С его признанием начнется новая эра в искусстве, равной которой не знала история, если, пожалуй, не считать одного периода в китайском искусстве, задолго до того времени, о котором наговорили столько вздора эти жалкие ученые мужи.

Он был знатоком музыки, и ничто не доставляло ему больших страданий, чем мелодия. Из всех стариков он признавал одного Баха, и только его фуги. Вагнер местами неплох. Штраус, Дебюсси терпимы, конечно, но все они *vieux jeu*¹. Вот есть один эскимос. Его имя? Ну нет, подождите. Вот это действительно музыка! Вы еще вспомните мои слова!

Именно ради того, чтобы просветить мир, он так страстно жаждал сказать свое слово, ведь иной раз казалось — больше нет сил терпеть эту косность и видеть, как его тележка, рвущаяся к звездам, утопает в грязи заросшего плесенью и паутиной мира, где даже этические нормы — это жалкое бутафорское тряпье, которым прикрывается человеческая сущность,— так глубоко ему чужды.

Что касается этических условностей, то ему особенно были невыносимы джентльмены с их отжившим, допотопным кодексом: в силу каких-то давно истлевших и

¹ Устарели (франц.).

бессмысленных традиций уважать чувства и убеждения других людей и подчинять этим условностям свое высшее я — ну нет, знаете ли, всему есть предел! Напротив, он считал своим священным долгом всеми силами бороться с предрассудками и предубеждениями всякого, с кем ему приходилось сталкиваться, особенно в печати. Он и всегда был добросовестным человеком, но ни к одной своей обязанности он не относился так добросовестно, как к этой. Что бы он ни писал, что бы ни говорил, он не считал нужным смягчать выражения или обходить личности; в вопросах духовных его честность не знала границ. Но он никогда не изливал своего гнева и презрения попусту; на его взгляд, весь мир заслуживал его бича, и ему не стоило труда найти достойную жертву. Он совсем не стремился выделяться при помощи каких-нибудь внешних вычурностей — это удел посредственности. Так, одевался он всегда донельзя строго, хотя нет-нет да и появлялся в красной рубашке, либо в серых башмаках, или ярко-желтом галстуке. Всецело поглощенный мыслями о будущем, он вел довольно умеренный образ жизни. Детей у него не было, но он считал, что без них нельзя, и собирался, как только позволит время, обзавестись ими, ведь это долг каждого смертного перед человечеством. Появятся ли они прежде, чем он скажет свое слово, предугадать было трудно. Ведь он вряд ли сможет сократить для этого свою высокую деятельность.

Иной раз он так уходил в свою работу, что не узнавал сам себя; зато вы сразу его распознавали по тому прерывистому сопению, которое характерно для всякого человека в состоянии творческого экстаза. Когда его гений пребывал в высших сферах, он забывал обо всем, даже о перо и бумаге; он парил в облаках, и, подобно их невесомым нагромождениям, повисали его расплывчатые, бессмертные и ускользающие, как воздух, видения и мысли. Как он досадовал потом, что не удосужился пригвоздить их к земле! Да, с его нетерпимостью ко всему, кроме божественного совершенства, и с его непоколебимой верой, что он непременно достигнет этого совершенства, он был, пожалуй, самой интересной личностью в пределах... Не стоит уточнять, в каких именно пре-делах.

МОРАЛИСТ

Его убеждения оставались непоколебимыми, его светила были старыми светилами и его вера — старой верой; он никогда бы не признал, что возможна какая-то иная вера, потому что вся суть его веры заключалась именно в том, чтобы не признавать иной точки зрения, кроме своей собственной. Мудрость? Вся мудрость сводилась к тому, чтобы, захлопнув дверь и прислонившись к ней спиной, рассказывать людям о том, что находится за этой дверью. Он и сам, конечно, не знал, что там, за дверью, но считал недопустимым в этом признаться. Тех, кого он именовал «атеистами», он вообще не считал за людей; те же, кого он именовал «агностиками», были жалкими тупицами, и только. Что до рационалистов, позитивистов, прагматистов и прочих «истов» — ну что ж! — они вполне соответствовали своим кличкам. Он не скрывал, что просто не понимает их. Да так оно и было. «Они способны только отрицать! — говорил он. — Как они содействуют нравственному совершенствованию мира? Что они дают взамен того, что отнимают? Чем они заменят все, что находится за этой дверью? Где их символы? Чем они привлекают людей, как поведут их за собой? Нет, — говорил он, — людей поведет малое дитя, и это малое дитя — я. Потому что я могу сочинить для них детскую сказку о том, что находится за дверью». Истинно все, что полезно ему самому и людям, — такова была его установка, которой он никогда не изменял. Чтобы склонить людей к праведной и чистой жизни, нужно

обещать им загробный венец. Если не можешь сказать людям: «Послушайте, дети, вот он, за дверью! Посмотрите, какой он сверкающий, золотой — и он ваш! Не сейчас, конечно, но после смерти, если вы будете хорошими. Будьте же хорошими, а то не получите никакого венца!», — так вот, если не можешь сказать этого людям, о чем еще им говорить? Чем еще их привлечь? И он принимался любовно описывать загробный венец! Ничто не внушало ему такого отвращения, как меркантильность. И он резко обрывал всякого, кто осмеливался заметить ему, что в этой идее загробного венца есть нечто меркантильное. Но такие простые положения, что добро надо делать из любви к добру и красоте, что человек, которому открылось совершенство, должен, естественно, к этому совершенству стремиться, пока хватит сил, даже и не помышляя его достигнуть, казались нашему моралисту слишком туманными, бессмысленными, мало привлекательными и противными самой человеческой природе, ибо он всех судил по себе и был убежден, что ни один человек не сдвинется с места, если не будет уверен в награде. Вот почему так важно было обещать награду по завершении земного пути. Бороться и упорствовать, стиснув зубы, ни на что не надеясь «за дверью» и тому подобное, — на его взгляд, все это было слишком мрачно и безрадостно и никого не могло вдохновить. Тех, кто утратил истинную веру и все же продолжал выполнять ее предписания, потому что этого якобы требовало чувство собственного достоинства, он почитал жалкими, заблудшими созданиями, изменившими своей вере; а вера, как уже говорилось, была основой всей его философии.

Однажды, забывшись в пылу спора, он признал, что, возможно, когда-нибудь людям уже не нужны будут религиозные символы, которыми он пользуется сейчас. Ему тотчас же заметили, что он сам себе противоречит, — ведь он всегда утверждал, что его символы имеют непреходящую ценность. Он был сражен. Но, собравшись с мыслями, он возразил, что символы останутся истинными — э-э-э — в мистическом смысле. Если человек не будет верен этим символам, то чему же быть верным! Скажите на милость! Символы необходимы. Разве можно заменить символы одной только доброй волей и неопре-



деленным понятием чести и собственного достоинства, проповедью рыцарского бескорыстия и подвига, можно ли слепым благоговением перед тайной заменить религию, которая обещает венец и возмездие за гробом? Как может культ отвлеченного понятия добра и красоты заменить собой все, что проповедует христианство? Все это противоречит самой человеческой природе. Хоть он и любил такие слова, как «мистерия», «мистический», он сознательно избегал их употреблять, считая, что люди слишком произвольно пользуются такими словами в объяснение постоянного (и преступного) отказа когда-либо постичь тайну бытия или даже природу вселенной и бога. Какой идиотизм! Да это просто язычество, пантеизм какой-то, который не видит в мировом развитии никакой конечной цели. И когда нашему моралисту говорили, что тайна, которую можно постигнуть, не тайна, он только пожимал плечами. Все это пустая, никчемная, напыщенная болтовня; она уже и так достаточно принесла вреда и мешает людям понять великую тайну, которая как раз не была бы тайной, если бы ее нельзя было постичь и правильно объяснить в применении к практической жизни. Нет, до всего этого давно уже додумались, в мире нет ничего необъяснимого, все можно понять, и в этом наше спасение; и хотя он прекрасно понимал (он не был иезуитом), что цель не оправдывает средств, но когда дело идет о спасении людей, тут уж нечего задумываться ни о целях, ни о средствах, надо просто спасать. А что до истины, то человеку верующему об этом и задумываться нечего. То, во что ты веришь, во что тебе предписано верить, и есть истина; бесполезно было бы объяснять ему, что постигнуть истину можно только ценой величайшего напряжения всех душевных и умственных сил человека и что эта истина будет все-таки относительной и пригодной только для данного человека. Его могла удовлетворить только абсолютная истина, прочно установленная отныне и навсегда,— в противном случае она не годилась для его целей. Людям, которые позволяли себе сомневаться то в том, то в другом, а то даже и отрицать, он говорил с давно выработанной лицемерно снисходительной улыбочкой: «Конечно, если вы верите в такое!..»

Ему, однако, редко приходилось спорить на подобные темы; достаточно было взглянуть на его вытянутое лицо с горящими из-под густых бровей глазами, как у человека пропадала охота с ним связываться. Сразу было видно, что его не переубедишь. Наряду с удивительной способностью заставлять людей по-детски верить в свои рассказы о том, что находится «за дверью», он обладал еще более удивительным даром безошибочно разбираться в том, что нужно человеку в его повседневной жизни. Секрет этого дара был весьма прост. Наш моралист не признавал существования того, что некоторые любители моды и так называемые артистические натуры именovali «индивидуальностью». Все эти разговорчики—сущий вздор, и при этом безнравственный; с точки зрения морали, все люди одинаковы и, разумеется, все похожи на него, а он лучше всех знал, что ему нужно. В принципе он согласен: к индивидуальным случаям нужен индивидуальный подход, но на практике не следует допускать никаких различий! Эта бессознательная мудрость делала его незаменимым во всех областях жизни, где требовались дисциплина и применение единого закона для всех. В эпоху, отмеченную столь явной и плачевной тенденцией приспособливать нравственные нормы к запросам личности, как это громко называлось, он считал важнейшей обязанностью моралиста подчинить людей единому нравственному закону. В нем была, пожалуй, педагогическая жилка; как только ему кто-нибудь возражал, его глаза начинали бегать по сторонам, и затем, сдвинув брови, он вперял взор в собеседника, а пальцы его большой мускулистой руки напрягались, словно все крепче сжимая палку, розгу или какой-нибудь другой, столь же полезный инструмент. Он слишком любил своих ближних, чтобы равнодушно наблюдать, как они идут к гибели, и жаждал своевременной поркой вернуть их на путь спасения.

Он был не из тех, кто считает, что человек, прежде чем судить, должен сам многое испытать в жизни. По правде говоря, он относился с большим недоверием к личному опыту. Так, например, он был противником расторжения неудачных браков задолго до того, как сам расстался с холостой жизнью; а женившись, он никогда бы не признал, что его собственный брак, оказав-

шийся счастливым, в какой-то мере укрепил его отрицательное отношение к разводам. Трудные случаи не подводятся под общие правила! Но он и в таком аргументе не нуждался. Сказано, что разводиться нельзя,— и точка. Поговорка «понять — значит простить» оставляла равнодушным нашего моралиста. Разве можно поставить самого себя на место больного, нищего или преступника, даже если и захочешь, да и можно ли этого хотеть? И он не собирался попусту тратить время и добиваться невозможного; его вера и жизненная мудрость всегда подсказывали ему, как бороться с подобными социальными бедствиями: бедному надо внушить довольство малым, больного изолировать, а преступника покарать — это послужит к назиданию прочих, исправит виновного и убедит всех, что закон должен быть отмщен и общественная совесть успокоена. Он особенно настаивал на пункте отмщения; нужна, конечно, не личная мелкая мстительность, но непреклонное выполнение государством заповеди «око за око». Это было его единственной уступкой социализму. Некоторые беспочвенные мыслители осмеливаются утверждать, что жажда возмездия и мести так же свойственна человеку, как ненависть, любовь или ревность; и что говорить об удовлетворении этих чувств от лица государства либо просто нелепо (какое же у государства лицо?), либо это значит внушать всякому человеку, ведающему правосудием страны, что он и есть это самое лицо и облечен властью творить суд и расправу. «Ну, нет! — отвечал он обычно таким беспочвенным мыслителям. — Судьи вершат суд, движимые не личными чувствами, но выражают чувства, которые, по их представлениям, должно испытывать государство». Он легко мог представить себе, какие именно преступления внушают особенное отвращение государству и вызывают в нем особенно сильную жажду отмщения: это прежде всего шантаж, растление малолетних и сутенерство; он был уверен, что государство особенно нетерпимо относится ко всем повинным в перечисленных пороках, потому что с такой же нетерпимостью — и совершенно справедливо — относился к ним сам; будь он судьей, он бы, не колеблясь, приговорил к высшей мере наказания всякого повинного в таком мерзком преступлении. Он-то не был беспочвенным мыслителем. Во време-

на, как проказой пораженные вольнодумством и разложением нравов, он особенно остро сознавал ценность своей философии, и ему постоянно казалось, что ей отовсюду грозит опасность. Однако мало кто разделял его опасения, потому что его рука была настолько заметна повсюду, что иной раз, кроме нее, ничего и разглядеть было нельзя.

Он был бы крайне удивлен, если бы ему сказали, что он может служить прекрасным объектом для изучения одной из человеческих странностей; к счастью, он был не способен видеть себя со стороны, и не было никакой опасности, что он этому когда-нибудь научится.

ХУДОЖНИК

Он, разумеется, давно уже понял, что произносить с презрением слово «буржуа» несколько старомодно, и всячески этого избегал; и все-таки голос совести шептал ему: «Я хочу относиться к ним, как к равным, и так и делаю. За последнее время я перенял их манеру одеваться, их развлечения, я веду регулярный образ жизни, в меру пью, соблюдаю пристойность в своих любовных связях и приобрел массу других буржуазных добродетелей... и все-таки я к ним не принадлежу и живу в ином...» — и тут, когда ему казалось, что этот голос совести замолкает, до него долетало еще: «...и в лучшем мире».

Это не давало ему покоя. Он добросовестно старался разобраться, на чем основано это тайное чувство превосходства, пытаюсь убедить себя, что оно несправедливо. Но ему это никогда не удавалось, и долгое время он не мог понять почему.

«Буржуа добродетельны,— с удивлением думал он,— пожалуй, слишком добродетельны. Они смелы; сам я гораздо малодушнее их; у них ясный, определенный взгляд на вещи, куда более определенный, чем у человека, вроде меня, который обязан видеть все с самых разных сторон; они прямолинейны до смешного, тогда как я вижу во всем прежде всего оборотную сторону; они просты, трогательно просты, как малые дети, которых священное писание и постимпрессионисты окружали ореолом мудрости; они добры и великодушны настолько, что я прихожу в отчаяние от собственного эгоизма. И все-

таки они ниже меня». Он из себя выходил, но никак не мог избавиться от этого чувства превосходства.

Но вот как-то ноябрьским вечером в разговоре с другим художником его вдруг осенила такая простая мысль: *«Да ведь все дело в том, что я могу воспроизвести их в своем искусстве, а они этого сделать не могут».*

Так вот почему он чувствовал себя среди них неким богом. Хоть это открытие и польстило ему, как польстило бы всякому на его месте, но покоя оно ему не принесло. Ведь превосходство скорее обязывало его к скромности, а не к высокомерию. И он старался внушить себе: «Ну что ж! Может быть, я и впрямь богаче одарен творцом, чем прочие смертные, но это же чистая случайность, у меня нет никаких оснований гордиться; я тут ни при чем, и не из-за чего поднимать шум, хотя людям это и свойственно». Иной раз ему и в самом деле казалось, что все словно сговорились убедить его в превосходстве над другими людьми, как будто он в этом нуждался. Ему было бы куда приятнее подвергнуться в этом мире гонениям, как в былые времена, ибо тогда его пламень тем выше вознесся бы к небесам; быть непризнанным и гонимым гением—в этом есть что-то благородное. А прислушиваться к трубам и литаврам прессы и публики, которую так легко провести, скучно и даже унижительно. Правда, когда ему попадались изречения (принадлежащие обычно перу духовного лица) вроде: «Всякая болтовня об искусстве — суета. Единственно важное дело есть мораль»,— он выходил из себя. Глаза его вспыхивали, губы презрительно кривились: почему «есть мораль», когда проще было бы сказать «мораль»,— и он обрушивал свою ярость на первого, кто попадался под руку: «Уж эти мне буржуа! Что они знают? Что они могут понять?» И, не дожидаясь возражений, выносил приговор: «Ничего, абсолютно ничего!» И он был искренен. Именно в такие минуты он постигал, до какой степени не только презирает, но просто ненавидит этих тупых и самодовольных филистеров, не способных понять его превосходство. Он прекрасно сознавал, что уничижительные эпитеты, которыми он их награждал, не пустые слова: они и в самом деле тупы и самодовольны, и понять его точку зрения для них так же невозможно, как достать с неба луну! К тому же они такие тяжелодумы,

а он не выносил косности. Движение, вечное движение! Только художнику дано закрепить вечно меняющийся поток жизни в неподвижных формах, которые оставались бы живыми и никого не стесняли. Любые каноны и правила он признавал умом и на словах, но не больше, законам же искусства подчинялся всем своим существом. Они были для него священны, и если кто-нибудь, подобно Толстому, провозглашал «Долой искусство!» или что-нибудь в этом роде, он волновался и шумел, как пчела, подхваченная порывом ветра.

«Зачем вдаваться в рассуждения об искусстве, если ты попросту его творишь!» Все прочее — отвлеченная эстетика, говорил он часто. Создать вещь, свободную от скучной и грязной злободневности, чтобы она говорила современникам не больше, чем их потомкам через две тысячи лет, — вот идеал, который он лелеял и которого, по правде говоря, почти всегда достигал. Вот что было настоящим искусством. И он готов был до последнего вздоха (ему всегда было трудно дышать из-за несварения желудка) утверждать, что художник не должен пользоваться реалистическими образами — нет, никогда! Надо создавать картины, столь же далекие от повседневной жизни человека 1920 года, как и человека 2520 года; и если какой-нибудь простак возражал ему, что в 2520 году самые реалистические картины жизни 1920 года будут казаться совершенно фантастическими и поэтому не стоит изощряться в бесполезных вымыслах, он только пожимал плечами. Он был совсем не из тех, кому нет дела до формы, лишь бы только наиболее полно и ярко была отражена душа художника. О, нет! Он требовал либо чистой, оторванной от всего земного поэзии (для которой один закон — ветер, и этот ветер, напоенный благоуханиями, будет олицетворять он сам); либо, если не поэзии, то совершенно точного и объективного воспроизведения жизни, без малейшего отпечатка субъективности — опаснейшего врага искусства. Наше дело, утверждал он, — изображать действительность, как она есть, передавать то, что мы видим, а не то, что мы чувствуем. Всякое переживание губительно для искусства. Ему очень мешало, когда во время работы его вдруг охватывала злоба, презрение, любовь, восторг или жалость: ведь если ему не удастся тут же овладеть этими

чувствами, они нарушат некую высокую отрешенность, которой он требовал от всякого искусства. В живописи он больше всего ценил Рафаэля, Тинторетто и Гольбейна; в литературе его идеалом была «Саламбо».

Этот роман, как он совершенно справедливо замечал, можно наделить какой угодно идеей, потому что в самом романе столь неудобной вещи, как идея, не содержится.

Понятно, что, считая себя в некотором смысле божеством, он относился довольно бесстрастно и непредвзято ко всему, кроме, пожалуй, буржуазии с ее докучной моралью и закоснелыми традициями. У него была только одна слабость: он старался подавить в себе все признаки темперамента, потому что темперамент художника должен определяться полным отсутствием такового. Художник должен быть бесстрастным, он, по его словам, должен всего лишь воспринимать и передавать прекрасные образы, рсущие в воздухе.

Воспринять и запечатлеть, постичь и воплотить в форму — вот элементы, из которых состоит творчество! И он очень гордился этим открытием. Он не пренебрегал эмоциями, но полностью владел ими и умел освобождаться от них, чтобы тем полнее передать их и воплотить в чисто художественных образах. Стоило ему заметить, что он волнуется, что кровь бросилась ему в голову, как он брал себя в руки и начинал прослеживать в воздухе линии — занятие, в котором он всегда преуспевал.

Он был глубоко убежден, что изображение чайника, поющего на крюке в камине, может быть таким же великим произведением искусства, как «Вакх и Ариадна». Нужно только передать этот образ в прекрасных линиях и красках. А что же, заметим в скобках, может быть естественнее воплощено в прекрасных переплетающихся в воздухе линиях, как не струя пара, вырывающаяся из носика чайника. К тому же такой сюжет исключает какой бы то ни было эмоциональный подход, и художник избавлен от постоянно грозящего ему искушения. Черный, поющий, прекрасный — чайник может быть передан на полотне с некой бессмертной легкостью. Всякие лицемерные разговоры о том, что «чем глубже и одухотвореннее сам художник, тем глубже и значитель-

нее его тема, и тем большего совершенства он достигает», казались ему чудовищным вздором. Личность художника вообще к делу не относится, художник не должен привносить ее в свое творчество, а раз так, то чем проще сюжет, тем меньше соблазн внести что-то от себя, нарушая тем самым основной закон искусства — бесстрастность. Апельсин на блюде — вот, пожалуй, наилучший сюжет, если только случайно вы не питаете отвращения к апельсинам. Что касается так называемого критического отношения к жизни, то это допустимо лишь в том случае, если критика настолько незаметно вплетена в самую ткань произведения, что ее не обнаружит даже самый пристальный взгляд. Если этого удалось достигнуть, тогда это большая победа. Иначе произведение искусства превращается в орудие моралиста — человека предубежденного, который использует свой талант, чтобы выразить личный, а стало быть, односторонний взгляд на вещи, и тогда каким бы большим ни был талант, все равно это не искусство. Он никогда не мог простить Леонардо да Винчи, что тот «в своей проклятой живописи был не только художником, но и ученым и никогда не мог удовлетвориться чисто живописными средствами». Точно так же он не прощал Еврипиду того, что его драмы насквозь пронизаны философией. Если ему возражали, что тем не менее первый был величайшим живописцем, а второй — величайшим драматургом, он повторял: «Возможно, но они, конечно, не художники!»

Он очень любил словечко «конечно»: оно подчеркивало, что человека, богаче одаренного творцом, чем прочие смертные, удивить ничем нельзя. Чтобы выделиться среди окружающих, он позволял себе какую-нибудь небольшую экстравагантность, ежегодно меняя ее, ибо он был человеком утонченным, не то что некоторые политиканы и миллионеры, которые всю жизнь способны ходить с орхидеей в петлице или кататься на зебрах. То он коротко стригся, брил усы и носил острую бородку; на следующий год он сбривал бородку и отпускал бачки; еще через год он надевал пенсне в белой оправе — верх изящества! — затем снова отпускал бородку. Все эти мелочи позволяли ему подчеркивать свою исключительность, но лишь едва заметно, потому что он вовсе не был

позером и слишком глубоко верил в свое предназначение.

Его взгляды на современные проблемы менялись, разумеется, в зависимости от точки зрения собеседника: ведь он всегда замечал обратную сторону всякого явления или столь тонкие оттенки лицевой стороны, что его собеседнику они были так же невидимы, как и обратная сторона.

Но все повседневные заботы и волнения были слишком мелки в глазах того, кто всецело жил своим творчеством, кто жил ради того, чтобы схватывать впечатления и отражать их так полно и без остатка, что в нем самом эти впечатления не оставляли ни следа. Он был, как ему часто казалось, исключительной и ценной личностью.

ХОЗЯЙКА ДОМА

Хотя она отличалась умеренностью и бережливостью и была безотчетно уверена, что стойкость ее добродетелей словно банк, где надежно хранится богатство ее нации, она умела быть и щедрой. Если иногда какой-нибудь бедняк на улице предлагал ей купить игрушку «попрыгунчика» для детей, она смотрела на него и говорила:

— Сколько это стоит? Вы скверно выглядите!

А он отвечал:

— Два пенса, сударыня. По правде говоря, сударыня, я голодаю всю эту неделю.

Пристально вглядываясь в него, она говорила:

— Это плохо. Просто грешно так себя изнурять. Вот вам три пенса, дайте полпенса сдачи. Вы скверно выглядите!

И она брала полпенса и оставляла его онемевшим от удивления.

Еде она отдавала должное и считала, что и другие должны так делать. Часто в разговоре с какой-нибудь приятельницей она сетовала на своего супруга:

— Нет, я ничуть не против того, что моя «половина» пообедает иногда в гостях; там он может поговорить об искусстве, и о войне, и о всяких других вещах, в которых мы, женщины, мало смыслим. Но вот к еде он совсем равнодушен.—И задумчиво добавляла:—Просто не представляю, что с ним было бы, если бы я за ним не смотрела!

Ее огорчало, что он очень худ. Она пестовала его непрестанно, но это, конечно, не мешало ей заботиться о

положении в обществе, о детях, их религиозном воспитании, а также уделять должное внимание самой себе. Если муж был ее «половиной», она была для него всем — хозяйка дома, стержень общества, тот стержень нации, который служит безотказно.

Лишенная тщеславия, она редко размышляла о своем превосходстве, скромно довольствуясь тем, что она «*integer vitae scelerisque puġa*»¹, то есть тот единственный человек, против которого никто ничего не может сказать. Подсознательно она, конечно, не могла не гордиться собой и своей репутацией, иначе она не испытывала бы таких благотворных взрывов негодующего презрения к людям, которые ее достоинствами не обладают. Стоило ей увидеть женщину, чье прошлое казалось ей сомнительным, и она настораживалась, как корова, когда на пастбище появляется собака, и надвигалась на нее, выставив рога. Хорошо, если грешница быстро покидала поле, иначе ее растоптали бы насмерть. Если же случайно такая особа оказывалась слишком бойкой, она, не двигаясь с места, угрожающе целилась и целилась в нее своими рогами. Она отлично знала, что отведи она хоть раз рога и дай хищнице пройти, все ее стадо пострадает.

Было что-то почти величественное в ее добродетели, основанной всецело на чувстве самосохранения, и в удивительной способности отметать все, что не было свойственно ей самой. Вот почему эта добродетель была крепка и тверда, как бетон. Тут уж было на что положиться, тут уж действительно было нечто непоколебимое! Муж иногда говорил ей:

— Дорогая, пойми, мы ведь не знаем обстоятельств жизни этой несчастной женщины. Попробуем ее понять и поставить себя на ее место.

А она, испытующе глядя ему в глаза, отвечала:

— Это бесполезно, Джеймс. Я не могу и не хочу ставить себя на место этой женщины. Неужели ты думаешь, что я могла бы когда-нибудь тебя оставить?

И выждав, пока он покачает головой, она продолжала:

— Нет! Конечно, нет! И я не допущу, чтобы ты оста-

¹ «Жизни чистой, неоскверненной злом» (лат.). Гораций, «Ода» XXII, 1.

вил меня.— Она делала паузу, чтобы увидеть, не потупит ли он глаза, потому что от мужчин можно всего ожидать (даже от тех, у кого примерные жены), и добавляла:

— Поделом ей! Я совершенно беспристрастна, я просто считаю, что если порядочные женщины начнут потакать таким вещам, тогда прощай семейная жизнь, и религия, и все на свете. Я не жестока, но есть поступки, которых я не могу прощать.— А про себя она думала: «Вот почему он так худ— вечно во всем сомневается, вечно всем сочувствует, даже тогда, когда человек не имеет на это права. Ох, уж эти мужчины!»

Встретив потом ту женщину, она еще высокомернее отворачивалась от нее, и, если замечала, что та улыбается, ее охватывал священный гнев. Не раз попадала она в суд по обвинению в клевете, но, уверенная в своей неуязвимости, почти радовалась этому. Ведь судьям и присяжным с первого взгляда становилось ясно, что перед ними — венец добродетели, достойнейшая женщина, и ей все сходило с рук, даже штрафа ни разу не пришлось уплатить.

Однажды по такому случаю ее муж имел неосторожность сказать:

— Дорогая, не кажется ли тебе, что наш долг — следить за собой, а не бросать камни в других.

— Роберт,— отвечала она,— если ты думаешь, что боязнь штрафа закроет мне рот, когда порок выставляет себя напоказ, ты жестоко ошибаешься. Я больше всего считаюсь с твоим мнением, но в этом случае речь идет о поведении женщины и христианки, и тут я не могу признать даже за тобой права указывать мне.

Она не любила вульгарное выражение: «В упряжке верховодит кобыла» — и считала, что для ее семьи эта истина неприменима — ведь долг жены подчиняться мужу. После этого маленького спора с мужем она не поленилась открыть евангелие и прочитать историю грешницы. Там не было ни слова о том, что женщины не должны бросать в других камни; это предостережение относилось только к мужчинам. Именно так! Никто лучше ее не знал, как велика разница между мужчиной и женщиной, когда дело касается морали. Может быть, совсем нет безупречных мужчин, но безупречных женщин вели-

кое множество, и без всякой гордости — ложной или настоящей — она считала себя одной из них. Ей не о чем было беспокоиться.

Ее взгляды, политические и социальные — в общем весьма несложные, целиком укладывались в одну фразу: «Ох, уж эти мужчины!..» И, насколько это было в ее силах, она старалась, чтобы ее дочери и вовсе никаких взглядов не имели. Однако эта задача становилась все более и более трудной, и однажды она просто в ужас пришла, услышав, как ее старшие дочери бранили «этих мужчин» не за то, что они слишком смело действуют, а, наоборот, за то, что у них не хватает смелости. Она поговорила об этом с Вильямом, но он был безнадёжен, как всегда, когда дело касалось дочерей. Ее правилом было руководить ими по-матерински разумно, как подобает женщине, которая несет ответственность за семейные устои в своей стране, и у нее, пожалуй, не было особых оснований жаловаться на своих девочек — ведь они слушались ее всегда, когда находили это нужным. Но на сей раз она поговорила с ними строго.

— Место женщины — в семье, — сказала она.

— В семье, только в семье и нигде больше.

— Элла!.. Место женщины рядом с мужчиной, она должна быть его советчицей, должна поддерживать его, руководить им, но никогда с ним не состязаться. Место женщины в лавке, в кухне, в...

— В постели!

— Элла!

— А потом она попадает в переделку!..

— Беатриса! Я хотела бы, очень хотела бы, девочки, чтобы вы были почтительнее. Место женщины в семье. Да, да, я уже говорила это и буду говорить и прошу вас этого не забывать. Место женщины... это самое важное в жизни страны. Если вы хотите по-настоящему понять это, подумайте о вашей матери и...

— И о нашем отце...

— Элла! Место женщины в... — И она вышла из комнаты, не договорив, чувствуя, что сказала достаточно.

Общительная по характеру, она отнюдь не лишала друзей своего общества, но кое-чем она любила заниматься в одиночку, а именно — делать покупки; это искусство она давно низвела до науки. Правила, которые

она соблюдала при этом, стоят того, чтобы их запомнить: никогда не жалеете времени на то, чтобы сэкономить полпенни. Никогда не покупайте ничего, пока не осмотрите вещь со всех сторон, помните: другие тоже так делают. Не давайте жалости брать верх над чувством справедливости, помните, что продавщицам платят за то, что они вас обслуживают, и если у вас хватает времени держать их на ногах, то и им торопиться некуда. Никогда не читайте рекламы, потому что там может быть написано бог знает что о мехах, перьях и разных продуктах. Никогда не тратьте больше, чем муж в состоянии заплатить, но и не давайте залеживаться тем деньгам, какие есть. Когда делаете выгодную покупку, не подавайте виду, что это понимаете, но всегда старайтесь купить подешевле, ведь так приятно потом похвастать своей ловкостью. Напор, напор и еще раз напор!

Неукоснительно соблюдая эти правила, она после долголетнего опыта пришла к заключению, что тут никто соперничать с ней не может.

Ей иногда приходило в голову, что неплохо бы отказаться от мяса, потому что в своей газете она прочитала, что бедным животным бывает больно, когда их режут. Но дальше этих мыслей дело не шло: ведь осуществить это было очень трудно. Генри был худ и заметно бледен, дочери росли, воскресенье не было бы воскресеньем без мяса. И потом разве можно верить всему, что пишут в газетах, да и мясник обиделся бы — в этом она была уверена. О рождестве тоже следовало помнить — долг каждого быть веселым в праздник, а какое же это рождество без увешанных тушами оживленных мясных лавок. Ей довелось как-то прочитать несколько страниц одной мерзкой книжки, автор которой из кожи вон лез, доказывая, что и она сама всего-навсего животное, — ужасная книжка, в ней не было ничего хорошего! Как будто она позволила бы себе есть животных, если бы они действительно были ей подобные, а не просто посланы богом, чтобы ими питаться! Нет, в праздники она испытывала особенную благодарность к милостивому богу за его щедрость, за все вкусные вещи, которые он ей посылает. Все это побуждало ее гнать от себя угрызения совести. Вот молочные продукты — дело другое.

Тут (она это знала!) таилась настоящая опасность — не для животных, конечно, а для ее семьи и для нее самой. И она прямо-таки гордилась своим умением соблюдать осторожность в отношении молока, этого важнейшего предмета питания. Оно попадало в ее дом не иначе, как в запечатанных бутылках и, фигурально выражаясь, с именем коровы на этикетке. Однажды в ее присутствии какой-то остряк сказал, что надо бы курам ставить свои инициалы и дату на снесенных ими яйцах, но уж это она нашла непристойным: не следует заходить слишком далеко.

Она была прежде всего альтруисткой, и ни в чем это так ярко не проявлялось, как в ее отношении к слугам. Если они не делали того, что от них требовалось, она их увольняла. Она считала, что это единственный способ быть им полезной. Деревенские девушки и городские — все уходили от нее одна за другой, получив раз и навсегда урок образцового поведения. Она таким образом наставила на путь истинный больше слуг, чем кто-либо другой во всей Англии. Поломойки увольнялись скорее всех, потому что все, как одна, были ужасно нечистоплотны; горничные задерживались в среднем месяца на четыре и потом по разным причинам тоже уходили. Кухарка редко жила меньше года, потому что трудно было найти ей замену, но уж когда кухарку решались уволить, это проделывалось с треском. А свободный день прислуги! Вот когда у нее открывались на них глаза! Девушки этого сословия, как они ни уверяли ее в своей скромности, казалось, положительно не могли обходиться без общества мужчин. А ведь стойкость и умение себя вести требовались от этих девушек только раз в две недели, ибо в остальные тринадцать дней она сама достаточно заботилась, чтобы у них не было искушений, так как совершенно не выносила мужских шагов в помещении для прислуги. И все же — можете себе представить! — в их свободные дни она не знала покоя. Но как бы добра и внимательна она ни была к слугам, она неизменно наталкивалась на все ту же неблагодарность, нерадивость и — как ни трудно этому поверить! — все то же упорное нежелание понять ее точку зрения. Казалось, они свирепо твердили про себя: «Что ты знаешь о нас? Оставь нас в покое!» Вот еще! Как будто

это было возможно! Как будто в ее положении, при той ответственности, какая на ней лежала, не было ее священным долгом печься о тех своих ближних, кто был беднее ее, следить, чтобы они в их собственных интересах вели себя должным образом.

Пьянство, безнравственность, мотовство — всем известные пороки бедняков, и она делала все, что только могла, борясь с этим злом: увольняла слуг за малейшую провинность и никогда не забывала прочитать им при этом мораль. Модная болтовня о том, что богатые благоденствуют за счет бедных, что закон должен распространяться одинаково на тех и других, что легко блюсти нравственность и чистоту, имея две тысячи дохода в год, отвергалась ею как полнейший вздор. Только неудачники могут говорить такие вещи. Эту ее точку зрения ежедневно поддерживали в ней и газета и собственные наблюдения. Нет, нет! Если богатые не будут следить за бедными и наставлять их (а бедным только того и надо!), кто же тогда этим займется?! Эти люди, конечно, неисправимы, в этом она не сомневалась, но, насколько было в ее силах, старалась увести их со стези порока, чего бы это ей ни стоило.

Как женщина верующая, она почти никогда не пропускала утренней службы, но ходила редко к вечерней, считая, что дневное посещение церкви — более верный способ подать пример своим ближним.

Одному богу известны ее взгляды на искусство, ибо она не часто высказывалась на эту тему, самое значительное из ее изречений относится к исчезновению Моны Лизы: «Ах, какая ужасная женщина! Я рада, что этого портрета не стало. Я так и знала, что этим кончится!» Когда ее спрашивали, почему она так думает, она отвечала только: «Мне жутко было на нее смотреть!»

Она читала те романы, что присылали из библиотеки, чтобы иметь возможность судить, какие из них не должны попадать в руки ее дочерей, и неподходящие быстро отсылала обратно. Таким образом она ограждала свой дом от тлетворных влияний. Что касается таких влияний вне дома, она взяла себе за правило никогда не привлекать внимание Фредерика к женской красоте не потому, что у нее были какие-нибудь основания

беспокоиться — она и сама была красивой женщиной, — но мужчины ведь такой странный народ.

Ничто на свете она так сильно не порицала бы, как идеалы древних греков (если б, конечно, имела о них представление), потому что она считала совершенно непозволительным выставлять напоказ голую руку или ногу. Как бы там ни понимали красоту греки, она понимала ее совсем по-другому. Для нее нагая природа была потаскухой, достойной быть привязанной к современной колеснице — автомобилю, который она собиралась приобрести, как только они станут немножко дешевле и достаточно надежны.

Часто говорят, что она вырождающийся тип, но она-то знает, что это не так. Если верить бормотанию глупых педантов, Ибсен уничтожил ее, но она и не слыхала об Ибсене.

Писательская братия и художники, социалисты и представители высшего общества могут рассуждать о типах, о свободе и братстве и новых идеях и насмехаться над миссис Грэнди¹. Но как прочно она обосновалась среди них! Они для нее не больше, чем оводы, назойливо жужжащие и вьющиеся вокруг. Ей нет дела до них, на их укусы она обращает так мало внимания, словно на ней непроницаемая броня. Она может сказать о себе словами ее любимого Теннисона: «Они приходят и уходят, но — что бы вы ни думали обо мне — я была, есть и буду!»

¹ Миссис Грэнди — персонаж, олицетворяющий мещанскую мораль.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Было что-то у нее в крови, что заставляло ее вечно торопиться, словно она боялась умереть, не успев чего-то изведать. Смерть! Ее постоянно преследовал страх, что, может быть, это и окажется последним новым словом в ее жизни. И она часто повторяла:

— Знакомо ли вам ощущение смерти? Я-то хорошо знаю, что это такое.

Если бы она не испытала этого ощущения, ей казалось бы, что она не прожила своей жизни сполна. А жизнь нужно прожить сполна. Ну конечно! Надо испытать все! Взять ее отношения с мужчинами: ничто, по ее мнению, не могло помешать ей в одно и то же время быть хорошей женой одному, хорошей матерью другому, хорошей любовницей третьему, хорошим другом четвертому, а если понадобится, то играть каждую из этих ролей даже для нескольких мужчин сразу. Нужно только всегда быть самой собой, ничем не ограничивая своей природы, щедро давать и так же щедро брать. Жадность — свойство изменное и презренное, особенно в женщине. Женщина должна иметь все и при этом самое лучшее. И просто невыносимо представить, что ты не можешь получить такую малость. Женщин всегда подавляли. Не быть подавляемой — в этом, что ни говори, была новизна. Но иногда, когда она не чувствовала себя в достаточно сильных руках, она изнывала: боже, какая тоска! Бросить все, трудиться в поте лица и жить, как простая работница, на один шиллинг в день — вот это действительно было бы ново. А порой она даже мечтала удалиться в монастырь: ее привлекала свежесть нового ощущения, которое старо, как мир.

Такой романтической натуре мало было семи цветов радуги, мало было всех пород птиц на свете; ее жизнь была сверху донизу уставлена клетками, здесь она владела всеми ими в отдельности, перенимала их песенки, выщипывала их перышки; а потом, обнаружив, что у них ничего не осталось, выпускала их, потому что любоваться вещами, не обладая ими, было невыносимо, но и хранить их после того, как получишь от них все, было еще хуже.

Она часто недоумевала, как вообще могут жить люди, менее одаренные, чем она. До чего же скучно должно быть этим жалким созданиям, которые всю долгую жизнь заняты одним и тем же! Сама она занималась живописью, музыкой, танцами; увлекалась авиацией, автомобилем; она разводила цветы, сплетничала, участвовала в любительских спектаклях, интересовалась русским холстом и женским движением, ездила в новые страны, слушала новых проповедников, устраивала завтраки для новых писателей, знакомилась с новыми танцорами, брала уроки испанского, изобретала новые блюда к обеду, изучала новые религии, заводила новых собак и новые туалеты, завязывала новые отношения с новыми соседями; вступала в новые благотворительные общества; при этом еще оставались ее любовные дела, материнские заботы, развлечения, дружбы, хлопоты по дому, обязанности жены, политические и светские интересы,— жизнь была так полна, что, если она хоть на мгновение замирала и становилась просто «жизнью» в старом понимании, она казалась уж и не жизнью вовсе.

Наша героиня не терпела дилетантства; она ощущала в себе тот священный огонь, который делал ее настоящей артисткой, что бы она ни начинала и что бы ни бросала. Особенно же она не выносила изделий фабричного производства; на всем должен быть отпечаток индивидуальности: взгляните на цветы, как они прекрасны именно своим своеобразием, как спокойно распускаются они до полного совершенства каждый в своем уголке и манят бабочек отведать их нектара... Она знала,— ей так часто твердили об этом,— что она венец творения, самая совершенная из женщин, а женщина, конечно же, последнее слово творения. Никогда еще не было на свете женщины, подобной ей, женщины, столь

страстно интересующейся таким множеством вещей и готовой расширять круг своих интересов до бесконечности. Перед ней были распахнуты все двери жизни, и она непрерывно то входила в одну, то выходила из другой, так что жизни было трудновато хотя бы мельком ее разглядеть. Как кинематограф — будущее театра, так она была будущим женщины и очень гордилась этим. Пригубить от чашечки каждого цветка, пока расправлены крылья, если нужно, создать новые цветы, чтобы ими упиваться; за один присест выкурить всю пачку папирос и с последним вздохом перейти в небытие! И при этом никакой спешки, нет, только женственная легкая трепетность, только настороженный взгляд быстро скользящих глаз, лишь бы не упустить ни одного нового движения, лишь бы ухватить это новое — вот в чем соль! Не забудьте еще о высоком чувстве долга, может быть, более высоком, чем у любой другой женщины до нее, ибо она была глубоко убеждена, что женщина должна наверстать, и как можно скорее, все упущенное за всю прежнюю, бесцветную, стоячую жизнь. Раздвинуть горизонты — вот ее священный долг! И не ради только чувственных наслаждений в духе Боккаччо и Людовика XV, не ради удовлетворения прихотей вульгарной, распущенной, пресыщенной, избалованной дамочки. Нет! Ради жизни глубокой и полноводной, как река, где волны чувств нагоняют и перехлестывают одна другую. Жизнь реальна, жизнь серьезна, и надо пользоваться ею, пока она тебе дана!

Сказать, что у нее были любимые книги, пьесы, мужчины, собаки, цветы, значило бы судить о ней только поверхностно. Ее истинную глубокую сущность определяла лишь одна страсть — к тому следующему новому увлечению, которое ей предстояло, и ради этого нового возлюбленного никакая Екатерина, Мессалина или Семирамида не бросили бы с такой легкостью всех предшественников. Как жадно кидалась она в объятия каждого нового увлечения, срывая с его губ поцелуи и тут же ища ему преемника; ибо только богу известно, думала она, что бы случилось, если бы она успела осушить чашу, не убедившись, что ее уже ждет следующая.

И все же время иной раз подводило ее, и она отрывалась слишком рано. Именно в такие мгновения она и

проникалась ощущением смерти. Сначала она с ужасом чувствовала пустоту этих минут, прожитых «вне жизни», но постепенно они приобретали для нее свою особую прелесть, свое высокое значение.

«Я умерла,— говорила она себе.— Да, умерла; вот я лежу, без движений, без мыслей, ничего не слышу, не вижу, не воспринимаю никаких запахов; я больше не принадлежу к миру осязаемого — вот самое верное слово; надо мной что-то бесконечное синее-синее, а вокруг бесконечное бурое-бурое, это напоминает мне Египет. И я слышу, но уже не ушами, какое-то странное пение, какой-то бесцветный слабый звук, вроде... да, что-то вроде Метерлинка, и еле ощутимое благоухание, вроде... вроде... Омара Хайяма. И я чуть покачиваюсь, словно травинка на ветру. Я умерла. Меня больше нет, это именно то самое ощущение».

И ее охватывал новый восторг, потому что в этом ощущении смерти она снова жила! За завтраком или, может быть, за обедом она подробно рассказывала своему новому возлюбленному, уже утратившему для нее прелесть новизны, на что похоже это ощущение небытия.

— Право, тут нет ничего неприятного,— говорила она,— в этом даже есть своя прелесть. Совсем как турецкий кофе — чуточку отдает резиной,— я имею в виду кофе.

На что бедняга, засопев, отвечал:

— Ну да, я, пожалуй, понимаю, что вы имеете в виду; и асфодели, конечно; это как греческий Элизиум. Я только не пойму, если уж ты умер, так, значит, умер, и — э — все тут.

Нет, такой смерти она представить себе не могла; он, наверное, прав, но тогда ведь конец всему новому, а это для нее невыносимо!

Как-то в одной из новых книг ей попала сказочка про человека, жившего в Персии, в этой стране чудес; жизнь его проходила в неистовой погоне за ощущениями. Выйдя однажды во двор, он услышал за спиной вздох и, обернувшись, увидел собственную душу, которая явно находилась при последнем издыхании. Крошечное существо, сухое, матово-бледное, как стручок лунника, то закрывало, то открывало рот, словно устрица.

— В чем дело? — спросил человек. — Тебе как будто плохо?

И душа отвечала:

— Ничего, ничего! Не огорчайся. Это пустяки! Меня просто вытеснили. Вот и все. Прощай!

С предсмертным хрипом это крошечное существо съежилось, упало на синие плиты, которыми был вымощен дворик, и замерло. Он наклонился и хотел поднять свою душу, но когда дотронулся до нее, на его пальцах осталось только пятнышко сероватой пыли.

Эта сказка была так нова и так понравилась ей, что она стала рекомендовать книгу всем своим друзьям. Разумеется, чисто восточная мораль сказки была неприложима к западному человеку, ибо чем обширнее его поле деятельности и чем полнее он себя проявляет, тем богаче и здоровее становится его душа — свидетельством чему служили для нее собственные душевные переживания. Но ближайшей весной она сменила в своей персидской курительной комнате синие плиты на березовый паркет и обставила ее в русском стиле. Сделала она это все же только потому, что душа ее не могла обойтись хотя бы без одной новой комнаты в год.

Постоянно открывая все более широкие и новые горизонты женского бытия, она была не так глупа, чтобы ценить риск ради самого риска, — не к этому сводилась для нее прелесть приключения. Конечно, иной раз она оказывалась в рискованном положении, но она шла на риск только тогда, когда он сулил ей явную выгоду новых переживаний, а вовсе не потому, что не могла представить себе жизни без приключений. Она чувствовала себя по духу эллиной, вобравшей еще что-то и от Америки и от Вест-Энда.

Такая женщина могла появиться только в наш век, она была истинной дочерью века, века, который непрерывно куда-то мчится, сам не ведая куда. Понятие цели непоправимо устарело, и сидеть, скрестив ноги, и греться в солнечных лучах..., нет, это не сулит ничего нового, тем более что однажды это уже было испытано. Она была рождена для того, чтобы достать с неба луну и завертеть ее в рэгтайме. О да! Луну с неба, луну! Это было пока единственное, чем ей не удалось завладеть... Это — да еще ее собственная душа.

ВЕРХ СОВЕРШЕНСТВА

Достаточно было увидеть его, и сразу становилось ясно, что говорить, собственно, не о чем. Идеализм, гуманизм, культура, философия, религия, искусства — к чему в конце концов все это привело? В нем ничего этого не было и следа! В его создании участвовали: мясо, виски, гимнастика, вино, крепкие сигары и свежий воздух. Его сформировало все то, что отвечает потребностям желудка и выделке толстой кожи. Глядя на него, вы понимали, каким образом прогресс, цивилизация, утонченность превращались попросту в средства чисто внешнего воспитания, которое сделало его тем, чем он был. А чем же он был? Да совершенством! Совершенством с точки зрения высшего и священнейшего назначения человека — наслаждаться жизнью как она есть. И он признавал, прекрасно признавал свое совершенство, с инстинктивной хитростью не допуская никаких рассуждений по этому поводу; его не интересовало, что говорят и думают другие, он просто наслаждался жизнью и брал от нее все, что мог, не создавая никаких трудностей и даже не подозревая, что они могут возникнуть. Мысли, чувства, симпатии только обезоруживают человека, и он чуть ли не со священным трепетом всего этого избегал. Он считал, что нужно быть прежде всего твердым, и шел по жизни, нанося удары; в особенности он любил бить по шарам — лежали ли они неподвижно в маленьких песчаных лунках или стремительно катились навстречу, он бил по ним без промаха, а потом хвастал своей меткостью. Он бил также и на расстоянии из длинного ствола, произ-

водя при этом известный шум, и чувствовал, как у него что-то приятно замирало где-то под пятым ребром всякий раз, как он видел, что мишень падала наземь, и понимал, что у нее что-то окончательно замерло под пятым ребром и добивать ее уже незачем. Он пытался бить и со средней дистанции, выбрасывая перед собой на леске маленькие крючки, и бывал очень доволен, когда леска натягивалась и он вытаскивал свой улов. Он был спортсменом, спортсменом везде — не только на спортивной площадке. Он бил всякого, кто ему противоречил, и очень негодовал, когда получал сдачи. Когда только мог, не делом, так словом, он наносил удары денежному рынку. И он непрестанно бил по правительству. В то неустойчивое время ему было особенно приятно бить по правительству. К чему бы ни приводило то или иное решение правительства, он его неизменно бил. Ударить раз, другой, третий, а потом наблюдать, как оно скатывается,— это было бесподобно. Хорошо сидеть летним вечером у окна в клубе после того, как ты целый день только и знал, что усердно бил по шарам или сражался с букмекерами; приятно предвкушать, как ты еще всыпешь молодчикам Дэшу и Бланку и всей их чертовой команде. Он бил женщин — не кулаками, конечно,— он бил их своей философией. Ведь женщины только для того и созданы, чтобы мужчины могли совершенствоваться: дело женщины произвести их на свет, выкормить, выходить, а потом они нужны, чтобы создавать мужчине уют и удовлетворять его желания. Взяв от женщин все, что ему требовалось, он не чувствовал перед ними никаких обязательств; признавать обязательства было бы просто бабством! Некоторые воображают, будто всякое физическое влечение должно подразумевать душевную близость,— вот вздор; и если женщина не разделяла его точки зрения, он прибегал — если не буквально, то метафорически — к хлысту. В этом отношении он был истым тевтоном. Но правительство, правительство! То справа, то слева он бил его беспрестанно. В глубине души он был убежден, что в один прекрасный день ему доведется получить ответный удар, и это приводило его в ярость, когда правилам охоты грозила опасность; в эпоху социализма и женского движения его единственной надеждой и, пожалуй, единственным утешением было

бить правительство. Такой противник, как социализм, был уже настолько силен, что бить по нему можно только в клубах, мюзик-холлах и прочих вполне безопасных местах; что же до женского движения, то надо было думать, что оно погибнет от собственной руки. Так на мировой арене не оставалось никого, кроме этого богом ниспосланного противника. Считая себя порядочным, добросовестным человеком, наш герой всегда предполагал и в партнере такое же великодушие и честность, и всякий, сколько-нибудь превышавший эту мерку, был в его глазах попросту ослом.

До него доходили разговоры о простых людях; он знал, как они выглядят и как они пахнут,—с него этого было достаточно. Некоторые интересовались их материальными условиями жизни и тому подобным; но что ему за выгода самому этим заниматься? Этих людей всегда называли не иначе, как «беднягами», несчастными и т. д.; для него же они были просто «отпетыми негодьями», во всяком случае, большинство из них, особенно рабочие, которые только и знают, что требуют того, чего не заслужили, да еще ворчат, добившись желаемого. И чем больше им даешь, тем больше они требуют. Будь он этим — как его — проклятым правительством, он вместо того, чтобы нянчиться с бездельниками, высыпал бы им как следует и покончил со всем этим раз и навсегда. Подумать только: страхование, пенсии, земельная реформа, минимальная заработная плата,—это уж, знаете ли, слишком! Скоро этих оборванцев посадят в стеклянные ящики с этикеткой: «Верх. Не кантовать!»

Он любил помечтать о рыцарских временах, о битвах за веру и короля. Но, разумеется, он не признавал в себе никаких кастовых предрассудков. В школе он как-то дал затрещину маленькому отпрыску королевской фамилии; и после этого геройского поступка с полным правом отказывался причислять себя к снобам; подумаешь — «касты»! В наше время в Англии таких вещей не существует! Разве не распевал он «Кожаную флягу» перед этой грязной рванью в школьной миссионерской столовой,—и даже с удовольствием. Не его вина, что лейбористы не смогли добиться своего. Это все профессио-

нальные агитаторы, черт бы их побрал! Сам он был против того, чтобы натравливать один класс на другой. Но смешно воображать, будто он собирается якшаться с нечистоплотными людьми, от которых скверно пахнет, или хотя бы интересоваться людьми, которые к тому же совершенно откровенно посягают на его собственность. Ну нет, всему есть предел! Чистоплотным уж, во всяком случае, может быть всякий, уж это-то *sine qua non*.

Что до него, то на свои костюмы, на прислугу, которая следила за его гардеробом, ванны и тому подобное он не жалел двухсот фунтов в год, лишь бы быть чистым; он даже рисковал испортить свою толстую кожу, так он ее тер и скреб. Нельзя быть крепким и здоровым, если не заботишься о чистоте. И если бы эти бездельники были крепкими и здоровыми, им не приходилось бы вечно скулить о своих нуждах.

Как он был хорош, когда где-нибудь в Индии или в Египте он шагал ранним утром на фоне пустынного пейзажа, легкой и энергичной походкой в сопровождении хрупкого, смуглого и запуганного существа, смутно напоминающего женщину, которое несло за ним снаряжение для гольфа; его глаза, словно бросающие вызов смерти, прикованы к только что отбитому шару, который он собирается вновь перехватить и наддать еще сильнее. Остановился ли он хоть на минуту в это божественное утро, чтобы окинуть взглядом огромную древнюю равнину и словно дрожащие вдалеке в солнечных лучах пирамиды — эти творения вечности? Взволновал ли его непостижимый голос древних народов, далеко разносящийся в пустынном воздухе; подивился ли он на семенивших за ним смуглых, запуганных потомков древних культур? Почувствовал ли все величие необъятных безлюдных песков и необъятного пустынного неба? Все это было не для него! Он умел только чертовски здорово бить по мячу, пока его кожа не увлажнялась; тогда он шел к себе, принимал ванну и растирался. В такие минуты он, пожалуй, был даже более торжественно настроен, чем по воскресеньям, потому что не может же быть человек в хорошей форме, когда ему приходится больше есть, много курить и стоять на коленях, то есть проводить день в праздничной бездеятельности.

Правда, он стал позволять себе некоторое вольнодумство в вопросах религии. Были в библии места вроде того, чтобы подставлять другую щеку, или о полевых лилиях, или еще о богатых и верблюде, о нищих духом — места, которые не совсем совпадали с его религиозными понятиями. Впрочем, это не мешало ему оставаться в лоне англиканской церкви, бить все, что попадет под руку, и уповать на лучшее будущее.

Однажды его убеждения чуть было не пошатнулись. Это случилось на пароходе, не столь фешенебельном, как ему подобало бы, и поэтому нашему герою пришлось вступать в разговоры с людьми, которых он при других обстоятельствах и не заметил бы. Среди пассажиров он увидел марокканца с острой бородкой. Этот человек был строен и смугл; глаза удивительно ясны, держался он очень прямо и казался в великолепной форме. Было очевидно, что он всегда бьет без промаха. Тогда наш герой поинтересовался, по каким же мишеням бил незнакомец. Но выяснил, что тот никогда ничего не бил, решительно ничего. Но каким же образом, черт возьми, ему удавалось сохранять такую превосходную форму? Неужели он только гулял, ездил верхом, соблюдал посты, плавал, лазал по горам, писал книги; и не бил ни по правительству, ни по шарам? Никогда ни по чему не бить; писать книги, терпимо относиться к правительству и так выглядеть! Это было не по правилам. Поразительно, что этот тип даже и не задумывался, в форме он или нет. Все четыре дня плавания наш герой страдал оттого, что у него под носом вертелся этот дьявольски здоровый человек. На борту корабля не по чему было бить, и сам он чувствовал себя не совсем в форме. Однако в Саутгемптоне он потерял из виду своего попутчика и вскоре снова обрел спокойствие.

Он часто думал, что он будет делать, когда ему перевалит за пятьдесят, и все более и более склонялся к необходимости либо пройти в парламент, либо стать судьей. В таком возрасте уже нельзя безнаказанно бить по целому ряду мишеней и дичи, и человек, деятельный по природе, должен найти им замену. Женитьба была бы, конечно, некоторым выходом из положения, но этого было недостаточно; он был слишком энергичен и наме-

ревался остаться твердым до конца. Послужить этим своей стране, особенно если при случае ему удастся нанести удар по социализму, браконьерам, радикалам, бездельникам и подоходному налогу,— такой идеал казался ему достойным и его философии и прожитой жизни. Поставив эту цель, он продолжал жить, а кожа его утолщалась и становилась все более плотной и совершенной, и все менее проницаемой для мысли, чувства, красоты или сострадания — всего, что может пагубно отразиться на совершенстве. Итак, когда придет его время, есть надежда, что он сможет спокойно умереть.

ВСЕГДА БЫТЬ ПЕРВЫМ

С самого детства он всегда хотел быть первым, во всем. Еще тогда он одевался наперегонки со своим маленьким братом, стараясь первым застегнуть все пуговицы, и огорчался, если отставал хоть на одну пуговку. В восемь лет он облазил все деревья в отцовском саду и, взобравшись на макушку, злился, что больше некуда лезть. Он принимался бороться со всяким, кто был не прочь покататься по полу, и однажды целую ночь не сомкнул глаз, узнав, что на следующий день должен приехать двоюродный брат годом старше его. И совсем не потому, что он мечтал увидеть двоюродного брата, встретить его получше,— он просто собирался побегать с ним наперегонки по двору, а потом затеять борьбу. Вот здорово, думал он, положить на обе лопатки мальчика, который на целый год меня старше! Но двоюродный брат в последнюю минуту «не состоялся». Это был настоящий удар. В десять лет наш герой расшиб голову о качели и так растерялся при виде крови, что заплакал. И он никогда потом не мог себе простить, что упустил такую возможность доказать свое превосходство над другими мальчишками, потому что, хоть он заплакал не от боли, а от страха, но вполне мог бы справиться и с тем и с другим, будь он к этому заранее подготовлен.

В школе он закончил первое полугодие первым учеником после ожесточенной борьбы, потому что у него был соперник. Впоследствии он из года в год неизменно оставался первым или одним из первых в классе. Но он не

вдумывался в то, что учил, важно было оставлять позади других мальчиков. Он принимал участие во всех состязаниях, во всех играх, и не потому, что это доставляло ему удовольствие,— но как же иначе выйти победителем? Он считался чуть ли не образцом первого ученика.

В колледж он пришел совершенно обессиленный и два года потратил на то, чтобы стать настоящим денди: самым невозмутимым, самым непринужденным и самым элегантным молодым человеком. И он почти преуспел в этом. Поняв, однако, что если в один прекрасный день он не опередит в учении своих сверстников, то они опередят его, он в страхе бросился к репетитору. Целый год он старательно зазубривал его уроки. Он совсем не понимал того, что учил, но все пройденное с репетитором сумел удержать в памяти ровно до той горячей поры, когда ему пришлось неделю подряд дважды в день пыхтеть над письменными заданиями. И он непременно вышел бы первым, если бы одному из экзаменаторов, не подозревавшему, что экзамен служит единственной цели выяснить, кто кого, не вздумалось задать ему самым небрежным тоном вопрос, ответ на который требовал понимания предмета. Сдав из последних сил экзамены, он принялся поглощать юридические науки. Отличиться тут он мог разве только, усваивая предметы быстрее прочих студентов; и вот он целых два года посвятил тому, чтобы сделаться лучшим актером-любителем и лучшим стрелком в округе. При исполнении роли он не углублялся в такие пустяки, как передача характера изображаемого лица, а старался только вызывать смех и сорвать больше аплодисментов, чем его партнеры. Он и птиц стрелял не потому, что любил охоту как настоящий охотник: просто ему доставляло удовольствие ежедневно сознавать, что он настрелял или настреляет дичи больше всех своих приятелей.

Но вот пришло наконец время заняться избранной профессией, и он, как истый британец, начал свою карьеру, думая прежде всего о будущем. Он с первой минуты понял, что это состязание будет самым продолжительным из всех, в которых он когда-либо стартовал; и он начал двигаться медленно и постепенно, с камешком во рту и приберегая дыхание. Все это было невыносимо

скучно и нудно, но должен же он прийти к финалу раньше всех! И вот он шел, круг за кругом, почти незаметно набавляя скорость и довольно быстро разглядев ту пятерку, которая, пожалуй, опередила бы его, не следи он за ней так пристально. Он не любил свое дело, и деньги его не привлекали: поглощенный изо дня в день единственной заботой не дать себя обогнать, он просто не успевал тратить деньги или раздавать их. Так у него скопилась кругленькая сумма. Когда он это обнаружил, он решил ею как-то распорядиться. Вскоре он оказался в картинной галерее и купил картину. Очень быстро он убедился, что его картина куда лучше картины его друга, который понимал толк в этом деле. И вот он подумал: «А ведь займись я этим всерьез, я его живо обставлю». Так он и сделал. И каждый раз, купив новую картину, он приходил в восторг оттого, что вкус его совершенствуется и он становится более тонким знатоком картин, чем его друг и даже многие другие ценители. Он чувствовал, что скоро будет крупнейшим авторитетом в этом деле; и все покупал и покупал. Сами по себе картины его ничуть не интересовали; у него не было на это ни времени, ни сил, важно было только стать первым и тут! Но он лелеял мечту передать свою коллекцию Национальной галерее, как памятник своему вкусу и последнее доказательство своего превосходства над другом Z после того, как их обоих уже не станет.

Как раз к этому времени он облачился в адвокатскую мантию, на что ушла почти половина его капитала. Он, конечно, предпочел бы подождать с этим, если бы не понял, что, не поторопись он, его друзья X, Y и Z его опередят. Этого надо было остерегаться, ведь он намеревался первым занять должность судьи. Проявив такой размах и решительность, он понял, как далеко шагнул вперед, и на радостях нашел время вступить в брак, благо наступили летние каникулы. Полтора месяца он почти не думал о своих друзьях X, Y и Z. Но к концу сентября он узнал, что и они получили соответствующие предложения и тоже облачились в адвокатские мантии, и это разом вернуло его в нормальное состояние духа. Пришлось отставить жену на второй план и снова надеть хомут. Эти молодчики уж, конечно, постараются обогнать его при первой возможности,— и он на три не-

дели урезал свой медовый месяц. Не прошло и двух лет, как стало ясно, что, если он хочет сохранить ведущее положение, нужно пройти в парламент. И вот вопреки собственным врожденным склонностям и даже вопреки склонностям избирателей он обеспечил себе место в парламенте. Каково же было его огорчение, когда, впервые вступив в парламент, он увидел там своих друзей X, Y и даже Z. Не мудрено, что теперь, когда ему приходилось заседать в суде и в парламенте, он осунулся и очень пожелтел; а его жена стала выражать недовольство. Чтобы ее утихомирить, он решил дарить ей ежегодно по младенцу: если он хочет удержать свое место в начатом большом состязании, ему необходимо полное спокойствие в семейной жизни; ведь милые друзья X, Y и Z не преминут воспользоваться его слабым здоровьем. Ни у одного из его ненавистных конкурентов не было столько детей. К своим обязанностям в парламенте он относился формально; он был слишком занят собой и своей карьерой, и в его сознании никак не укладывалось, что все мелкие мероприятия, которые ему непрерывно приходилось обсуждать, могут принести пользу людям, с жизнью которых он не имел ни времени, ни охоты ближе познакомиться. Когда тебе приходится ежедневно, чуть вставши, подготовиться к двум процессам, позавтракать, отправиться в суд, просидеть там с половины одиннадцатого до четырех, после этого идти в Палату и сидеть там, пока не уйдет твой друг Z (самый ненавистный из всех), и выступать, если выступил твой друг X или если тебе кажется, что твой друг Y намеревается выступить; затем пообедать, подготовиться к двум процессам, поцеловать жену, мысленно сравнить свою только что приобретенную картину с последней покупкой друга, выпить стакан ячменного отвара и лечь в постель,— то после всего этого у тебя просто не останется времени подумать о собственной жизни, тем более о жизни своего ближнего. Иной раз он понимал, что следовало бы от чего-нибудь отказаться, но об этом, конечно, не могло быть и речи, ведь его друзья тотчас же вырвались бы вперед. Вместо этого он стал принимать патентованное средство «Витоген». Тогда фирма воспользовалась для рекламы его фотографией с вылетающими изо рта словами: «Витоген творит со мной чу-

деса!» Но на соседней странице была помещена фотография его друга Z со словами: «Я ежедневно упиваюсь стаканом Витогена», — вылетающими из его рта. После этого наш герой решил, не без некоторого риска, увеличить дозу до двух стаканов, лишь бы опередить соперника.

Порой ему казалось, что, выбери он себе военную или духовную карьеру, сделайся биржевиком или литератором, его жизнь была бы куда спокойнее: не мог же он признать, что в самом себе вынашивает микроба собственной судьбы.

Так, когда ему случалось заметить закат солнца, горы или даже море, врожденное чувство красоты подсказывало ему: «Хорошо бы этим полюбоваться!» Но какое там, — разве он мог себе это позволить. Однако если бы ему стало известно, что друг Z нашел-таки время понаслаждаться красотами природы, он уж, конечно, выкроил бы время и для этого.

Приближался день вступления в судейские обязанности, и он все пристальнее вглядывался в своих друзей X, Y и Z; если они будут назначены раньше него, это может помешать его окончательной победе. Поэтому, когда однажды летним утром ему сообщили, что его друг X тяжело заболел и вряд ли поправится, он вздохнул с облегчением, хотя и огорчился. Он непрестанно интересовался здоровьем друга, и его интерес был вполне искренен. Друг его скончался перед закрытием судебной сессии. В продолжение летних каникул он непрестанно думал о несчастном и о том, как преждевременно оборвалась его карьера. Тут его осенила мысль превзойти самого себя, написав книгу. Он выбрал тему «Вред соревнования в современном государстве» и трудился над книгой всю осень, посвящая ей каждую минуту, которую только мог урвать, благо он в это время был свободен от парламентских обязанностей. Книга поможет ему выделиться среди своих друзей Y и Z в глазах правительства, покровительствующего литераторам. Он завершил свой труд к рождеству и позаботился, чтобы его поскорее напечатали. Какова же была его досада, когда через два дня после того, как он кончил свое произведение, он узнал о предстоящем выходе в свет книги его друга Z под заглавием «Радость жизни или

наслаждение минутой». И дернуло же этого господина выступать в печати, да еще на тему, в которой он ничего не смыслит! Эта книга появилась за неделю до книги нашего героя. Он с беспокойством проглядывал отзывы, так как все они были благожелательные. Как же теперь вернуть себе первенство? Не будь он женат, можно было бы жениться, скажем, на дочери какого-нибудь важного лица, но теперь это было невозможно — и поэтому ему оставалось только передать свое собрание картин во временное пользование Национальной галереи. Так он и сделал примерно в середине мая, к немалому огорчению жены. А в воскресенье, 1 июня, он прочитал в газете, что его друг Z пожертвовал Британскому музею свою библиотеку. Зато в июле его друг У неожиданно получил пэрство после смерти двоюродного брата, и дышать стало легче. С пэрством к У перешло значительное поместье; уж этот-то, во всяком случае, теперь выйдет из борьбы; ему, в сущности, больше некуда рваться. Эти предположения оправдались; и теперь поле битвы оставалось только за ним и его другом Z.

В конце первого месяца летних каникул судья, ухода которого так долго ждали, оставил наконец свою должность, перейдя в иной мир.

Наш герой немедленно вернулся в город. Это был один из напряженнейших моментов всей его трудной карьеры. Если его назначат на освободившееся место, он будет самым молодым из судей. Но его друг Z был того же возраста, тех же политических взглядов и того же во всех отношениях калибра, что и он, да к тому же еще отменно крепок и здоров. Не удивительно, что за неделю ожидания наш герой заметно поседел. Когда в начале октября его назначили членом Верховного суда, ему стоило больших усилий сдержать радость; но уже на следующее утро он узнал, что его друг Z получил точно такое же назначение, ибо правительство решило увеличить состав Королевского Верховного суда на одного человека. Кто именно — он или его друг — был назначен на дополнительную должность, он не отваживался да и не хотел выяснять; стиснув зубы, он немедленно приступил к исполнению своих обязанностей.

Не станем уверять, что он любил свое дело: чтобы любить дело, человек должен искренне и непрофессио-

нально стремиться к справедливости и сочувствовать своим ближним, а у него для этого времени, конечно, не было: все свои силы он сосредоточил на том, чтобы не допускать отмены вынесенных им приговоров и следить за судьбой приговоров его друга Z. За первый год приговоры его друга отменялись Апелляционным судом в три раза чаще, чем его собственные, и он был потрясен, когда Палата лордов утвердила первоначальные приговоры друга, и они, таким образом, снова пошли голова в голову. В других отношениях его жизнь стала, конечно, гораздо спокойнее, чем до сих пор, и он строго следил за здоровьем, чтобы не сдать раньше времени и не уйти в личную жизнь; он упорно отклонял все попытки родных и друзей втянуть его в какие-либо развлечения, сверх неизбежных званных обедов, игры в гольф и еще более углубленного изучения законов, которыми он должен в совершенстве овладеть к тому времени, когда станет лордом-канцлером. Он никак не мог решить, радоваться ему или жалеть, что его друг Z не ограничил своей жизни таким же узким кругом интересов.

К этому времени он стал настолько умеренным в своих политических взглядах, что ни одна партия не могла бы решить, к которой из них он принадлежит. Это был период полной неопределенности, когда никто не взялся бы предсказать, в чьих руках окажется власть, скажем, лет через пять—десять, но он инстинктивно понимал, что надо смотреть вперед. А у человека умеренных взглядов всегда больше шансов на постоянное и неуклонное продвижение; поэтому теперь, когда незачем было активно заниматься политикой, он стал умеренным. Вечным источником беспокойства была позиция его друга Z, превратившегося в такую темную лошадку, что никто не мог бы разобраться в его политических убеждениях; иные даже утверждали, что у бедняги их вовсе нет.

Он не пробыл на посту судьи и четырех лет, как эпидемия инфлуэнцы унесла в могилу трех судей его величества, а четвертого довела до умопомешательства; так почти незаметно он оказался вместе со своим другом Z в Апелляционном суде. Теперь, когда он ежедневно виделся с этим человеком, он смог поближе его узнать, и с удовлетворением заметил, что хоть тот был крепче

его, но зато явно обладал холерическим темпераментом и слишком мало следил за своим здоровьем. Он тут же удвоил заботу о собственном здоровье: бросил пить, курить и отказался от всех радостей жизни, ему еще доступных. Три года просидели они бок о бок, почти механически вынося противоположные приговоры. И вот в одно прекрасное утро распоряжением премьер-министра его друг был назначен Верховным судьей, а он сам всего лишь хранителем судебного архива. Это был большой удар. После недельного недомогания он, однако, снова стиснул зубы и решил продолжать борьбу: как-никак его друг еще не лорд-канцлер! Прошло еще два года; за это время он поневоле расшатывал свое здоровье, постоянно посещая званые обеды в высших светских и политических кругах и вынося каждый день все более суровые и долгосрочные приговоры. Его жена и дети, которые иногда еще допускались к нему, с тревогой за ним наблюдали.

Однажды утром они застали его шагающим взад и вперед по столовой с номером «Таймса» в руках; сразу видно было, что он до крайности взволнован. Его друг Z выступил на некоем банкете с речью, которой нанес сокрушительный удар правительству. Вопрос теперь, конечно, был только в том, продержатся ли они до смерти уже очень старого лорда-канцлера. Он скончался в июне, и его похоронили в Вестминстерском аббатстве; наш герой и его друг Z были самыми ревностными плакальщиками на похоронах. На той же неделе правительство потерпело поражение. Трудно представить себе душевное состояние нашего героя в те дни. За несколько дней он похудел на пять фунтов, которые отнюдь не были лишними. Он перестал терять в весе, лишь когда правительство объявило о своем решении не подавать в отставку до конца сессии; пятнадцатого июля премьер пригласил его к себе и предложил ему пост лорда-канцлера. Он согласился принять этот пост, обратив внимание премьера на права первенства своего друга Z. В этот вечер, сидя в кругу семьи, он хранил молчание. Раза три на его выцветших губах появлялась слабая улыбка, да время от времени он разглаживал старческой рукой глубокие параллельные складки на щеках. Его младшая дочь, наклонившись к колокольчику за спиной

этой высокопоставленной и досточтимой особы, услышала невнятное бормотание; она быстро придвинулась и разобрала следующие бесценные слова: «Обскакал-таки его, черт возьми!»

Он принял эту высшую последнюю почесть со всеми подобающими церемониями. И с этой минуты силы заметно начали ему изменять. Словно после того как он выиграл состязание, ему уже не для чего было жить. В самом деле, ему оставалось только дожидаться, чтобы с его другом случился небольшой удар,—после этого он, по предписанию врача, удалился от дел. Он протянул еще несколько лет, занялся писанием мемуаров, но уже без всякого интереса к жизни. Но в один прекрасный день, когда его катили в кресле по аллее в Маргете, он столкнулся с другим точно таким же креслом. Обратя свой усталый взгляд на человека в кресле, он узнал друга Z. Как же он изменился, однако только внешне, потому что сейчас же не преминул дрожащим голосом воскликнуть: «Ба, да это ты, черт возьми! Ты прескверно выглядишь!» Когда наш герой услышал эти слова и увидел слабую улыбку паралитика, в нем с прежней силой разгорелся былой огонь. Поджав губы, он ничего не ответил и ткнул в спину человека, катившего его кресло. С этой минуты он снова обрел интерес к жизни. Неужели ему не удастся пережить друга? И он отдался этой новой цели, день и ночь только о том и помышляя и ежедневно посылая справляться о здоровье друга. Тот прожил до нового года и скончался первого января в два часа ночи. Ему стало об этом известно в девять утра. Его высохшее, словно пергаментом обтянутое лицо осветилось слабой улыбкой, старческие руки, державшие поильник, разжались, и он замертво откинулся назад. Смерть старого друга, как говорили, оказалась для него слишком сильным потрясением.

1915 г.

ГРОТЕСКИ

Κυνηδόν¹

I

Ангел Эфира, находясь в 1947 году с официальным визитом на Земле, остановился между Английским банком и Биржей выкурить папироску и поглядеть на прохожих.

— Как их много,— сказал он,— и как они быстро бегут — в такой-то атмосфере! Из чего они сделаны?

— Из денег, сэр,— отвечал его гид.— Денег в прошлом, в настоящем или в будущем. На Бирже бум. Барометр радости сильно поднялся. Такого не было уже тридцать лет — да-да, со времени Великой Заварухи.

— Так, значит, между радостью и деньгами есть какая-то связь?—спросил Ангел, тонкой струйкой выпускающая дым из своих точеных ноздрей.

— Таково распространенное мнение, хотя доказать это было бы нелегко. Впрочем, я могу попробовать, сэр, если желаете.

— Очень было бы интересно,— сказал Ангел,— потому что на вид это, кажется, самая безрадостная толпа, какая мне встречалась. У каждого между бровей морщина, и никто не насвистывает.

¹ Со злостью (греч.).

— Вы не понимаете, сэр,— сказал гид,— да оно и не удивительно: радость доставляют не столько деньги, сколько мысль, что когда-нибудь не надо будет больше их наживать.

— Если такой день должен настать для всех, почему же у них не радостный вид? — спросил Ангел.

— Не так это просто, сэр. Для большинства этих людей такой день никогда не настанет, и многие из них это знают — они называются клерки; не настанет он и для некоторых из другой категории — тех назовут банкротами; для остальных он настанет, и они переедут в Уимблхерст и на прочие Острова Блаженных, но к тому времени они так привыкнут наживать деньги, что без этого жизнь их станет сплошной скукой, если не мукой, или они будут уже в таких годах, что все свои деньги им придется тратить на борьбу со старческими немощами.

— При чем же тогда радость? — спросил Ангел, удивленно вздернув брови.— Ведь, кажется, так принято у вас выражаться?

— Я вижу, сэр,— отвечал гид,— вы еще не успели как следует вспомнить, что такое люди, и особенно та их порода, что населяет эту страну. Иллюзия — вот что нам дорого. Не будь у нас иллюзий, мы с тем же успехом могли бы быть ангелами или французами — те хоть в какой-то мере дорожат неприглядной реальностью под названием *le plaisir*, то есть радость жизни. Мы же в погоне за иллюзией только и делаем, что наживаем деньги и морщины между бровей, ибо занятие это утомительное. Я, разумеется, говорю о буржуазии или Патриотических классах, ибо Трудяги ведут себя иначе, хотя иллюзии у них те же самые.

— Не понимаю,— отрезал Ангел.

— Ну как же, сэр, и те и другие тешат себя иллюзией, что когда-нибудь обладание деньгами принесет им радость; но в то время как Патриоты надеются нажить деньги трудом Трудяг, Трудяги надеются нажить их трудами Патриотов.

— Ха-ха,— сказал Ангел.

— Ангелам хорошо смеяться,— возразил гид,— а вот люди от этого плачут.

— Вам, на месте, наверно, виднее, как поступать,— сказал Ангел.

— Ах, сэр, если бы так! Мне часто приходится наблюдать лица и повадку здешних жителей, и я вижу, что радость, какую доставляет им погоня за иллюзией,—недостаточная награда за их скученную, однообразную и беспокойную жизнь.

— Некрасивые они, что и говорить,— сказал Ангел.

— Верно,—вздыхнул гид,—и с каждым днем все дурнеют. Взгляните хоть на этого,— и он указал на господина, поднимавшегося по ступеням Биржи.— Обратите внимание на его фигуру. Сидящая голова к макушке сужена, книзу расширяется. Туловище короткое, толстое, квадратное; ноги и того толще, а ступни вывернуты наружу; общим видом напоминает пирамиду. А этот? — Он указал на господина, спускавшегося по ступеням.— Ноги и туловище его можно протащить сквозь игольное ушко, а вот голову протащить не удастся. Обратите внимание: ячмень на глазу, сверкающие очки и полное отсутствие волос. Внешняя несоразмерность — это сейчас своего рода эпидемия, сэр.

— А исправить это нельзя? — спросил Ангел.

— Чтобы исправить недостаток, нужно сперва его осознать, а они этого не сознают, так же как не сознают, что несоразмерно проводить шесть дней из каждых семи в конторе или на заводе. Человек, сэр,— это раб привычки, а когда привычки у него плохие, сам он и того хуже.

— У меня разболелась голова,— сказал Ангел.— Шум просто оглушительный. Когда я прилетал сюда в тысяча девятьсот десятом году, такого не было.

— Да, сэр. Мы с тех пор пережили Великую Заваруху, а после нее погоня за деньгами превратилась в какое-то неистовство. Как и другие люди, мы теперь вынуждены изощряться в искусстве приравнивать дважды два к пяти. Это значительно ускорило развитие цивилизации и пошло на пользу всему, кроме человека,— даже лошадям, поскольку их больше не заставляют возить непосильные тяжести на Тауэр-Хилл или какие-либо другие холмы.

— Как это может быть,—спросил Ангел,—если работы стало больше?

— А они вымерли,— сказал гид.— Как видите, их полностью заменила электрическая тяга и воздушное сообщение.

— Вы как будто настроены враждебно к деньгам? — перебил Ангел, бросив на него испытующий взгляд.— Скажите, неужели вы в самом деле предпочли бы иметь шиллинг, а не пять шиллингов и шесть пенсов?

— Сэр,— отвечал гид,— вы, как говорится, начинаете не с того конца. Ведь деньги — это всего лишь возможность покупать то, что хочешь. Вам следовало бы спросить, чего я хочу.

— Ну, чего же вы хотите? — спросил Ангел.

— По-моему,— отвечал гид,— когда мы оказались банкротами, нам бы следовало попытаться не умножать количество денег, а сократить свои потребности. Путь истинного прогресса, сэр,— это упрощение жизни и желаний вплоть до того, чтобы отказаться от брюк и носить одну чистую рубашку, доходящую до колен, довольствоваться передвижением на собственных ногах по твердой земле; есть простую пищу, самими нами выращенную; слушать собственный голос да напевы свирели; чувствовать на лице солнце, дождь и ветер; вдыхать аромат полей и лесов; иметь скромную крышу над головой и милостивую жену, не испорченную высокими каблуками, жемчугом и пудрой; смотреть, как резвятся домашние животные, слушать певчих птиц и растить детей, приучая их к воде, холоднее той, в какой купались их отцы. Нам следовало бы добиваться здоровья до тех пор, пока не отпадет нужда в аптеках и оптиках, в парикмахерах, корсетницах, всяких салонах красоты, где нас штопают и латают, угождая нашим прихотям и скрывая уродства, которыми современная жизнь наделила наши лица и фигуры. Самой нашей честолюбивой мечтой должно было стать такое сокращение своих потребностей, чтобы при современных научных знаниях производить все необходимое быстро и без труда и, имея достаточный досуг, крепкие нервы и здоровое тело, наслаждаться природой, искусством и семейными привязанностями. Трагедия человека, сэр, в его бессмысленном, ненасытном любопытстве и жадности, а также в неизлечимой привычке пренебрегать настоящим во имя будущего, которое никогда не наступит.

— Вы говорите как по писаному,— заметил Ангел.

— К сожалению, нет,— возразил гид.— Ни в одной книге, какие мне удалось раздобыть, не написано, что мы должны прекратить это безумие и обратиться к приятной простоте, которая одна только и сулит нам спасение.

— За одну неделю все это вам до смерти надоест,— сказал Ангел.

— Верно, сэр, но только потому, что нас с юных лет воспитывают в духе неумеренного стяжательства и конкуренции. А возьмите младенца в колясочке, поглощенного созерцанием неба и сосанием собственного пальца. Вот такой, сэр, и должна быть жизнь человека.

— Красивая метафора,— сказал Ангел.

— А сейчас мы только и делаем, что резвимся на катафалке жизни.

— Вы как будто принадлежите к числу тех, кто взял себе девизом «Старайся никогда не оставлять вещи такими, какими ты их нашел»,— заметил Ангел.

— Ах, сэр!— отвечал гид с печальной улыбкой.— Доля гида скорее в том, чтобы стараться найти вещи там, где он их оставил.

— Да, кстати,— мечтательно протянул Ангел,— когда я был здесь в девятьсот десятом, я купил несколько акций Маркони, они тогда шли на повышение. А как они сейчас?

— Право, не знаю,— отвечал гид холодно и осуждающе,— но одно могу вам сказать: изобретатели не только благодетели человечества, но и его проклятие, и так будет до тех пор, пока мы не научимся соотносить их открытия с нашей весьма ограниченной способностью усвоения. Наша цивилизация страдает хронической диспепсией, вызванной попытками проглатывать любую пищу, какую преподносит ей человеческая изобретательность, и эта болезнь приняла столь тяжелую форму, что я иногда начинаю сомневаться, доживем ли мы до вашего посещения в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году.

— Ах, так!— насторожился Ангел.— Вы правда не уверены?

— Не уверен,— ответил гид угрюмо.— Вся жизнь сейчас — сплошной телефонный звонок, а о чем идет речь?

Кружение во мраке! Грохот колес под небом из дыма!
Нескончаемая партия в покер!

— Признайтесь,— сказал Ангел,— вы сами отведали чего-то недоброкачественного?

— Вот именно,— сказал гид.— Я отведал современности, самого паршивого блюда. Вы только посмотрите на этих несчастных,— продолжал он,— суеются, как муравьи, с девяти утра до семи вечера. А посмотрите на их жен!

— Правильно,— приободрился Ангел,— давайте посмотрим на их жен! — И тремя взмахами крыльев он перенесся на Оксфорд-стрит.

— Посмотрите на них! — повторил гид.— Суеются, как муравьи, с десяти утра до пяти вечера.

— Про них мало сказать, что они некрасивы;— сказал Ангел печально.— Что это они все бегают из одной магазинной норки в другую? Что им нужно?

— Иллюзия, сэр. Там — романтика бизнеса, здесь — романтика покупок. Это вошло у них в привычку, а вы ведь знаете, привыкнуть куда легче, чем отвыкать. Хотите заглянуть к одной из них в дом?

— Нет-нет,— ответил Ангел и, отшатнувшись, налетел на шляпу какой-то дамы.— Зачем они их носят такие большие? — спросил он с досадой.

— Затем, чтобы в будущем сезоне можно было носить маленькие. Все для будущего, сэр, все для будущего! Цикл красоты и вечной надежды, а заодно и *процветание торговли*. Усвойте смысл этих слов, и о дальнейшем вам уже не придется расспрашивать, да, вероятно, и не захочется.

— Тут, наверно, можно купить американских конфет,— сказал Ангел и вошел в кондитерскую.

II

— Куда вам хотелось бы направиться сегодня, сэр? — спросил гид Ангела, который, стоя посреди Хэймаркет, поводил головой из стороны в сторону, как верблюд.

— Мне хочется в деревню,— ответил Ангел.

— В деревню? — переспросил гид с сомнением.— Там неинтересно.

— А я хочу,— сказал Ангел и расправил крылья.

— Вот Чилтернские холмы,— выдохнул гид после нескольких минут стремительного полета.— Это нам подойдет. В деревне сейчас повсюду одинаково. Будем снижаться?

Они опустились на какой-то луг, судя по всему, деревенский выгон, и гид, стерев со лба облачную влагу, заслонил рукой глаза и стал вглядываться в даль, медленно поворачиваясь вокруг своей оси.

— Так я и думал,— сказал он.— Ничего не изменилось с сорок четвертого года, я тогда привозил сюда премьера. С завтраком мы тут помучаемся.

— Удивительно тихое местечко! — сказал Ангел.

— Что правда, то правда. Можно пролететь шестьдесят миль в любом направлении и не встретить ни одного обитаемого дома.

— Попробуем! — сказал Ангел.

Они пролетели сто миль и снова опустились на землю.

— И тут не лучше! — сказал гид.— Это Лестершир. Обратите внимание: холмистая местность, дикие пастбища.

— Я проголодался,— сказал Ангел.— Полетим дальше.

— Я вас предупреждал, сэр,— заметил гид, когда они опять пустились в полет,— что в деревне нам будет чрезвычайно трудно найти обитаемый дом. Может быть, лучше посетим Блектон или Брэдлидс?

— Нет,— сказал Ангел.— Я решил провести день на свежем воздухе.

— Черники хотите? — спросил гид.— Вон там какой-то человек ее собирает.

Ангел сложил крылья, и они плюхнулись на болотистую поляну возле дряхлого, оборванного старика.

— О, достойнейший из людей! — сказал Ангел.— Мы голодны. Не поделишься ли ты с нами черникой?

— Ой, батюшки! — воскликнул старый хрыч.— Вы откуда взялись? Верно, по радио прилетели? И наблюдатель при вас.— Он мотнул на гида подбородком в седой щетине.— Убей меня бог. совсем как в доброе старое время Великой Заварухи.

— Это диалект сельской Англии? — спросил Ангел, у которого губы уже посинели от черники.



— Сейчас я опрошу его, сэр,— сказал гид.— Сказать по правде, я затрудняюсь объяснить присутствие человека в сельской местности.

Он ухватил старика за единственную еще державшуюся пуговицу и отвел его в сторонку. Потом, вернувшись к Ангелу, который тем временем покончил с черникой, прошептал:

— Так я и думал. Это последний из тех солдат, которых поселили в деревне после окончания Великой Заварухи. Он питается черникой и теми птицами, что умирают естественной смертью.

— Ничего не понимаю,— сказал Ангел.— А где же сельское население, где поместья великих мира сего, где процветающий фермер, довольный судьбой поселянин, батрак, что вот-вот добьется минимальной заработной платы? Где веселая старая Англия девятьсот десятого года?

— Вот,— отвечал гид, мелодраматическим жестом указывая на старика,— вот наше сельское население: бывший житель Лондона, закаленный в Великой Заварухе. Другой бы не выдержал.

— Как! — вскричал Ангел.— И на всей этой земле ничего не растут?

— Ни одного кочна,— отвечал гид.— Ни горчичного семечка, ни стебелька салата. Разве что в городах.

— Я вижу, что много интересного прошло мимо меня. Прошу вас, обрисуйте мне вкратце положение в сельском хозяйстве.

— Да что ж, сэр, положение в сельском хозяйстве нашей страны со времен Великой Заварухи, когда все толковали о том, чтобы снова заселить деревню, можно описать двумя словами: «рост городов». Однако, чтобы это стало вам ясно, мне придется напомнить вам политическую историю страны за последние тридцать лет. Вы, вероятно, не помните, что в дни Великой Заварухи при всем кажущемся отсутствии политической борьбы уже зарождались партии будущего. Во всех умах назревало тайное, но непреклонное решение принести в жертву тех, кто играл какую-либо роль в политике до и во время только что разыгравшейся всемирной трагедии, в особенности же тех, кто продолжал занимать министерские посты или упорно задавал вопросы в палате общин, как

это учреждение тогда называлось. Не то чтобы их считали ответственными за трагедию, но просто нужно было успокоить нервы, а вы ведь знаете, сэр, ничто не действует так успокоительно, как человеческое жертвоприношение. Итак, политические деятели, как говорится, вышли из моды. Разумеется, едва был заключен мир, как состоялись первые действительно всеобщие выборы, и прежние партии с огорчением убедились, что их выбросили за борт. На первое место в стране вышли те партии, что тихо и без шума сложились к этому времени. Одна из них называла себя Патриотической, а противники называли ее Прусской; вторая называла себя Трудягами, а противники называли ее Бродягами. Представители их были почти все новые люди. После недолгого упоения миром, с которым человеческий ум привык связывать изобилие, и своеобразных правительств этого периода две новые партии вышли на сцену с такими равными силами, что ни один кабинет не мог провести ни одного мероприятия. А поскольку необходимо было изыскивать проценты на государственный долг, достигавший 8 000 000 000 фунтов стерлингов, пришлось назначить новые выборы. Слово «мир» в это время еще держалось, но слово «изобилие» уже давно исчезло из обихода; и партия Трудяг, решив, что раз у нее меньше имущества, подлежащего обложению налогами, то она может меньше церемониться с налогообложением, оказалась в подавляющем большинстве. Вам будет небезынтересно узнать, сэр, из каких элементов сложилась эта партия. Основную ее массу составляли бывшие солдаты и другие рабочие люди; но в виде некоего придатка, или хвоста, в нее вошли также многие ученые мужи. Люди, преисполненные самых благих намерений, люди с головой и с принципами,— в прежние времена таких называли радикалами и передовыми либералами. Вошли они в эту партию с горя, понимая, что иначе самое их существование окажется под угрозой. Такой расстановкой сил — и еще некоторыми обстоятельствами, о которых вы скоро узнаете, сэр,— и объясняется печальная участь деревни. Дело в том, что партия Трудяг, не считая ее хвоста, на который она то ли не смогла, то ли не захотела сесть — этого мы уже никогда не узнаем,— придерживалась таких же взглядов на заселение деревни, что и Патриоты, и уже нача-

ла проводить в жизнь некий план, на который в течение примерно года возлагали большие надежды. В подходящих для сельского хозяйства местностях поселили множество энтузиастов и как будто даже стали добиваться такого положения, при котором страна могла бы сама себя прокормить. Но не пробыли Трудяги у власти и полутора лет, как их хвост — а в нем, как я уже сказал, были заключены почти все их принципы — заболел этими самыми принципами в тяжелейшей форме. Они решили, что «свобода торговли» — которая, что ни говорите, есть линия наименьшего сопротивления и основана на «процветании торговли» — находится в опасности, и стали агитировать против возобновления премий и льгот для сельского хозяйства. В результате премия на пшеницу не прошла, а вместо этого была расширена — на бумаге — система небольших наделов. Одновременно под тяжестью налогов на имущество стали разваливаться крупные поместья. По мере того как все очевиднее становилось банкротство и истощение всей Европы, опасность новой войны казалась все менее реальной, и англичане снова перестали заботиться о чем-либо, кроме «процветания торговли». Импортные продукты питания опять подешевели. И неизбежное случилось. Загородные усадьбы стали непосильным грузом для своих владельцев, фермеры фермерствовали в убыток, мелкие арендаторы, что ни день, разорялись и уходили куда глаза глядят, батраки устремились в города. И тогда партия Трудяг, которая непомерными налогами довела своих противников до полного остервенения, получила, образно выражаясь, по шапке, и следующие четыре года были заполнены самой жестокой междоусобицей, какую только запомнят журналисты. Во время этой борьбы усилилась эмиграция и сельские районы почти опустели. Когда наконец партия Трудяг одержала победу, она, по-прежнему руководимая своим хвостом, обязалась среди всего прочего делать ставку исключительно на города. С тех пор она так и стоит у власти, а результаты вы сами видели. Все продукты питания нам доставляют из-за моря, причем значительную часть — на подводных лодках и по воздуху. Перевозят их в таблетках, а доставив на место, раздувают до первоначальных размеров с помощью хитроумного метода, предложенного одним

немцем. Деревня же используется лишь как тема для сентиментальных поэтов и как место, над которым летают, либо куда влюбленные субботними вечерами уезжают на велосипедах.

— Mon Dieu ¹! — задумчиво протянул Ангел. — Наверно, именно в таких случаях и принято говорить: «Ах, какой сюрприз!»

— Совершенно справедливо, сэр. Люди до сих пор не опомнятся, как таксе могло произойти. Отличный пример того, что может случиться, когда зазеваешься, — даже с англичанами, которым вообще-то в этом смысле очень везло. Ведь не забывают, все партии, даже ученые мужи, всегда превозносили сельскую жизнь и уверяли, будто всячески ей содействуют. Но они забыли об одной мелочи: что наши географические условия, традиции, воспитание и имущественные интересы так способствуют жизни в городах и «процветанию торговли», что отклониться от этой линии наименьшего сопротивления можно лишь ценою нешуточных и отнюдь не парламентских усилий. Да, это прекрасная иллюстрация той нашей характерной черты, о которой я толковал вам на днях: очень уж мы задним умом крепки. Но чего же от нас и ожидать, пока у нас есть туман и принципы? Лучше быть хлипким горожанином без здоровья, но с высокими политическими принципами, чем здоровым продуктом излюбленной отрасли народного хозяйства. Но вы еще не видели другой стороны медали.

— О чем вы? — спросил Ангел.

— Ну как же, сэр, о грандиозном росте городов. Это я покажу вам завтра, если пожелаете.

— А Лондон разве не город? — шутливо заметил Ангел.

— Лондон? — воскликнул гид. — Что вы, это всего лишь дачное местечко. В какой настоящий город вас свозить? Хотите в Ливерчестер?

— Куда угодно, — сказал Ангел, — лишь бы там можно было хорошо пообедать. — И, расплатившись с сельским населением милостивой улыбкой, он расправил крылья.

¹ Боже мой! (франц.)

— Время еще не позднее, — сказал Ангел Эфира, выходя из ресторана «Белый Олень» в Ливерчестере, — а я, кажется, немного переел. Давайте пройдемся, посмотрим город.

— С удовольствием, сэр, — отозвался гид. — Сейчас между ночью и днем нет никакой разницы: ведь для производства электрической энергии теперь используется прилив.

Ангел записал эти сведения в свою книжечку.

— Чем заняты здешние предприятия? — спросил он.

— Весь город, который теперь простирается от прежнего Ливерпуля до прежнего Манчестера (что видно из его названия), занят расширением пищевых таблеток, которые доставляют в его порт из Новых Светов. Уже несколько лет Ливерчестер и Бристер (простирающийся от прежнего Бристоля до прежнего Глостера) удерживают монополию на расширение пищи в Соединенном королевстве.

— А как это делается? — спросил Ангел.

— Благоприятная среда и бактериология, — отвечал гид.

Некоторое время они шли молча, изредка взлетая там, где улицы были особенно грязные; потом Ангел снова заговорил:

— Очень любопытно. Я не замечаю никакой разницы между этим городом и теми, что я видел, когда был здесь в девятьсот десятом году, — только вот улицы лучше освещены, но радости от этого мало: они страшно грязные и полны людей, чьи лица мне не нравятся.

— Да, сэр, — вздохнул гид, — трудно было ожидать, что чудесный мрак, который окутывал нас во времена Великой Заварухи, продержится долго. Вот тогда и вправду можно было тешить себя надеждой, что все дома построены Кристофером Реном, а все люди чистые и красивые. Поэзии теперь не осталось.

— Ни малейшей! — подтвердил Ангел и потянул носом. — Зато атмосфера есть, и не слишком приятная.

— Где скапливается много людей, там всегда пахнет, — сказал гид. — Тут уж ничего не поделаешь. Старое платье, пачули, бензин, жареная рыба и дешевые

папиросы — это пять необходимых ингредиентов человеческой жизни, и перед ними атмосфера Тернера и Коро — детские игрушки.

— Но разве не в вашей власти устроить жизнь в городах по своему вкусу?

— Что вы, сэр! Это встретило бы ужасающее сопротивление. Мы сами у них во власти. Вы поймите, они такие большие и пользуются таким престижем! Да, кроме того, — добавил он, — даже если бы у нас хватило смелости, мы бы не знали, как за это взяться. Правда, когда-то один великий и добрый человек привез нам платаны, но вообще-то мы, англичане, выше того, чтобы брать от жизни лучшее, и мы презираем легкомысленный французский вкус. Обратите внимание, какому принципу подчинен весь этот жилой район, что тянется на двадцать миль. Он был задуман в таком веселеньком стиле, а посмотрите, какой получился серьезный! Сразу видно, что эти жилища принадлежат к виду «дом», и в то же время это особняки, вот так же, как все люди принадлежат к виду «человек» и в то же время у каждого, как говорится, своя душа. Этот принцип был введен на Авеню-Род за несколько лет до Великой Заварухи и сейчас утвердился повсеместно. Если у человека точно такой же дом, как у кого-то другого, с ним не знают. Видали вы что-нибудь более глубокомысленное и педантичное?

— А к домам рабочих этот принцип тоже относится? — поинтересовался Ангел.

— Тсс! — прошептал гид, боязливо оглянувшись через плечо. — Это — опасное слово, сэр. Трудяги живут во дворцах, построенных по проекту архитектора Халтурри, с общими кухнями и ванными.

— И они ими пользуются? — спросил Ангел не без живости.

— Пока еще нет, — отвечал гид, — но, кажется, подумывают об этом. Вы же знаете, сэр, на то, чтобы внедрить обычай, нужно время. А тридцать лет — какой же это срок?

— Японцы — те моются каждый день, — задумчиво протянул Ангел.

— Не христианский народ, — пожал плечами гид. — К тому же у них там и грязи-то настоящей нет, не то

что здесь. Не будем слишком строги—откуда же и взяться тяге к омовениям, когда знаешь, что скоро опять будешь грязным? Во время Великой Заварухи, когда была введена военная дисциплина и тем самым отменены касты, многие наивно полагали, что привычка мыться охватит наконец-то все население. И как же мы были удивлены, когда случилось нечто совсем иное! Трудяги не стали мыться больше, зато Патриоты стали мыться меньше. Может быть, причиной тому было вздорожание мыла, а может, просто человеческая жизнь в то время не очень высоко ценилась. Этого мы уже не узнаем. Но верно одно: лишь когда военная дисциплина была отменена, а касты возродились, что произошло немедленно по заключении мира,—лишь тогда те из Патриотов, которые остались в живых, снова стали неумеренно мыться, а Трудягам предоставили держаться уровня, более соответствующего демократии.

— Кстати, об уровне,—сказал Ангел,—как средний человеческий рост, увеличивается?

— Напротив,—отвечал гид.—По данным статистики, он за последние двадцать пять лет уменьшился на полтора дюйма.

— А продолжительность жизни?

— Ну, что до этого, так грудных детей и стариков лечат теперь на общественный счет, и те болезни, что излечиваются лимфой, можно сказать, побеждены.

— Значит, люди не умирают?

— Что вы, сэр! Умирают примерно так же часто, как и раньше. Есть много новых болезней, так что равновесие сохраняется.

— Какие же это болезни?

— Целая группа их, для удобства называемая Наукоцит. Одни считают, что их вызывает нынешняя система питания; другие объясняют их скоплением лимфы в организме; еще другие видят в них результат непомерного внимания, какое им уделяется,—своего рода гипноз смерти; четвертая школа приписывает их влиянию городского воздуха, а пятая полагает, что они попросту проявление зависти со стороны природы. Можно с уверенностью сказать, что начались они со времени Великой

Заварухи, когда человеческий ум с некоторой тревогой обращался к статистике, а младенцы были в большой цене.

— Так, значит, население сильно увеличилось?

— Вы хотите сказать, уменьшилось, сэр? Нет, пожалуй, не так сильно, как можно было ожидать, но все же цифра уже достаточно низкая. Видите ли, партия Патриотов, включая даже тех служителей церкви, чья личная практика отнюдь этому не содействовала, сразу стала ратовать за усиленное размножение. Но пропаганда их, если можно так выразиться, шла от ума, и немедленно наскочила — простите за грубое слово — на экономическое положение. Правда, уже родившиеся младенцы были спасены; хуже то, что младенцы заартачились и не стали рождаться. Это наблюдалось, разумеется, и во всех других странах Европы, кроме той, что все еще считалась в некотором роде Россией; и если бы эта последняя сохранила свои пищевые ресурсы, она одной своей численностью скоро затопила бы всю остальную Европу. Но этого не случилось — пожалуй, оно и к лучшему. Среди обитателей всех стран Центральной и Западной Европы развилось неодолимое отвращение к тому, чтобы производить пушечное мясо и налагать на себя новое бремя, когда они и так уже были до предела обременены налогами; и в Англии в худшие годы кривая шла вниз так стремительно, что если бы только Патриоты хоть раз удержались у власти достаточно долго, они, несомненно, ввели бы зачатие под страхом смерти. Но не успели — к счастью или к несчастью, это кто как считает. И неизбежная реакция, которая начала ощущаться позднее, когда население Соединенного королевства уже сократилось миллионов до тридцати, была вызвана причинами более естественными. Примерно в это время стала возрождаться торговля. Земельный вопрос уладился, вернее, о нем просто перестали говорить, и люди снова увидели впереди возможность содержать семью. «Прцветание торговли», а также врожденное пристрастие как мужчин, так и женщин к мелким домашним любимцам сделали свое дело: население стало быстро расти. Воскресла радость жизни и уверенность в том, что за нее не придется платить слишком дорого, и трущобы, как они тогда назывались, снова закишели детьми, а об-

ущественные ясли заполнились. И если бы не то обстоятельство, что все люди, физически крепкие или любящие свежий воздух, по достижении восемнадцати лет немедленно эмигрировали в сестринские страны, мы с вами, сэр, были бы свидетелями перенаселения, подобного тому, какое существовало перед Великой Заварухой. В настоящее время эта тенденция еще усилилась ввиду приближения новой, Превеликой Заварухи в воздухе, ибо все ожидают бурного расцвета торговли и прироста богатства в тех странах, которым посчастливится спокойно взирать на эту «новую великую трагедию», как ее уже рекламируют издатели.

— Во всем этом есть что-то нечистоплотное,— сказал Ангел Эфира.

— Сэр,— возразил гид серьезно,— замечание ваше характерно для жителя неба, где народ не создан из плоти и крови, не платит, насколько мне известно, налогов и не пережил опустошительных последствий войны. Я отлично помню — в моей молодости, до Великой Заварухи, и даже еще несколько лет после ее начала, как бойко руководители общественного мнения рассуждали о прогрессе человечества и как они недооценивали того обстоятельства, что прогресс в известной степени связан со средой. Вспомните, ведь со времени этого важного и, как многие до сих пор считают, в общем-то трагического события среда была очень зыбкой, а Утопия все больше растворялась в тумане. Уже не раз было отмечено, что руководители общественного мнения не всегда оказываются пророками. Новому миру, о котором так авторитетно вещали наши мудрецы, скоро исполнится тридцать лет, и я лично считаю, что он мог бы получиться еще куда хуже. Но, простите, я, кажется, пустился в отвлеченные рассуждения. Это пагубное влияние пригородов: они располагают к философствованию. Давайте-ка лучше двинемся дальше и посмотрим Трудяг за их трудом, который теперь никогда не прерывают такие случайные явления, как ночь.

Ангел прибавил скорости, и вскоре они опустились на землю среди леса высоких труб, чьи гудки пели, как целый хор соловьев.

— Сейчас новая смена,— сказал гид.— Постоим здесь, сэр. Мы увидим, как они входят и выходят.

Трудяги шли не торопясь, перебрасываясь короткими словами: «Как жизнь?», «Всего!» и «Пока!».

Некоторое время Ангел смотрел на них молча, потом сказал:

— Я сейчас вспомнил, как они разговаривали в девятьсот десятом году, когда отделявали мою квартиру.

— Будьте добры, сэр, изобразите,— попросил гид.

Ангел позой и жестами показал, будто красит дверь.

— «Уильям,— заговорил он, подражая голосам из прошлых времен, —много тебе платят?»

«Ого».

«Раз так, Уильям, бросай-ка инструмент да иди туда, где платят лучше. Я и то собираюсь».

«Ага».

«Я вот тут же, за углом, могу получить больше и кончать буду раньше. Очень надо работать за гроши, когда можно получить больше! А Генри много получает?»

«Ого».

«Получать, сколько сейчас,— это, по-моему, дело несостоящее».

«Ага».

Тут Ангел умолк и задвигал рукой, мастерски изображая движения маляра.

— Очень сомнительно, сэр,— сказал гид,— что вам разрешили бы в наши дни так часто отвлекаться от разговора ради работы: правила теперь очень строгие.

— Значит, тред-юнионы до сих пор существуют? — спросил Ангел.

— Тред-юнионов нет,— ответил гид,— но зато есть комитеты. Эта привычка, возникшая во время Великой Заварухи, с тех пор только укрепилась. Статистика показывает, что в стране почти не найти человека в возрасте от девятнадцати до пятидесяти лет, который не состоял бы в каком-нибудь комитете. Во время Великой Заварухи все комитеты считались активными; сейчас есть и активные и пассивные. В каждой отрасли промышленности, в каждой профессии руководит небольшой активный комитет; а большой пассивный комитет, куда входят все остальные, противится этому руководству. И можно с уверенностью сказать, что пассивные комитеты активны, а активные пассивны; это гарантия против слишком интенсивной работы. В самом деле, если

бы почти все функции руки не перешли к языку и электрической кнопке, государство вообще не могло бы добиться никакой работы. Впрочем, на пенни личных впечатлений лучше трех лекций по десяти шиллингов за билет, так что вы войдите, сэр, и убедитесь собственными глазами.

Он толкнул дверь, и они вошли.

В ангаре, простиравшемся вдаль, насколько хватал даже ангельский глаз, работали, соревнуясь друг с другом, языки и машины, так что озон дрожал от громкого, неумолчного гула. Сонмы мужчин и женщин, прислонившись к стенам или к колоннам, поддерживающим высокую крышу, прилежно нажимали кнопки. От приятного запаха разбухающей пищи у Ангела снова разыгрался аппетит.

— Я еще думаю поужинать,— сказал он мечтательно.

— Конечно, сэр,— согласился гид,— не все же работать, надо и повеселиться. Вам представится случай посмотреть современные развлечения наших крупных промышленных центров. Но какое же благо эта электрическая энергия! — добавил он.— Посмотрите на этих птиц небесных, они не сеют, не жнут...

— Но Соломон во всей славе своей,— живо подхватил Ангел,— пари держу, не выглядел так, как они.

— Да, беззаботный народец,— протянул гид.— Как звонко они смеются! Эта привычка сохранилась со времен Великой Заварухи,— тогда только смехом и можно было спастись.

— Скажите,— осведомился Ангел,— довольны наконец англичане положением в своей промышленности и вообще своим образом жизни в этих разросшихся городах?

— Довольны? О нет, сэр, конечно, нет! Но вы же их знаете. Им приходится ждать каждого нового поворота событий, чтобы понять, с чем надо бороться; а поскольку великая движущая сила «процветание торговли» всегда немножко перевешивает силы критики и реформ, каждый новый поворот событий увлекает их немножко дальше по дороге к...

— К черту!—воскликнул Ангел.—Я опять хочу есть. Пошли ужинать!

— Смех,— сказал Ангел Эфира, поднося рюмку к носу,— всегда отличал человека от всех других животных, кроме собаки. А способность смеяться неизвестно чему отличает его даже от этого четвероногого.

— Я бы пошел дальше, сэр,— подхватил гид,— я бы сказал, что способность смеяться тому, от чего должно переворачиваться сердце, отличает англичанина от всех других разновидностей человека, кроме негра. Погляди-те вокруг себя!

Он встал и, обхватив Ангела за талию, повел его фокстротными па между столиками.

— Видите? — И он указал на ужинающих круговым движением бороды.— Они хохочут до упаду. Обычай фокстротировать в перерывах между едой был введен американцами в прошлом поколении в начале Великой Заварухи, когда этой немаловажной нации еще нечем было себя занять; но в нашей стране он все еще вызывает смех. Очень огорчительный обычай,— добавил он, отдуваясь, когда они вернулись к своему столику.— Мало того, что он не дает устрицам спокойно улечься в желудке, он еще мешает отнестись серьезно к роду человеческому. Правда, это и вообще стало почти невозможно с тех пор, как мюзик-холл, кинематограф и ресторан слились воедино. Очень удачная берлинская выдумка, и какая прибыльная! Прошу вас, посмотрите минутку — но не дольше — на левую эстраду.

Ангел обратил взор к экрану, на котором показывали фильм. Некоторое время он смотрел на него молча и наконец произнес:

— Я не понимаю, зачем этот человек с укороченными усами бьет столько людей подряд мешком с мукой.

— Чтобы вызвать веселье, сэр,— отвечал гид.— Посмотрите вокруг — все смеются.

— Но это не смешно,— сказал Ангел.

— Разумеется, нет. А теперь, будьте любезны, перенесите свое внимание на другую эстраду, справа, но ненадолго. Что вы там видите?

— Я вижу, что человек с очень красным носом осыпает тумакami человека с очень белым носом.

— Умора, да и только, правда?

— Нет,— отвечал Ангел сухо.— И ничего другого на этих эстрадах не показывают?

— Ничего. Хотя, впрочем, нет. Показывают ревю.

— Что такое ревю? — спросил Ангел.

— Критика жизни, сэр, в том виде, как жизнь представляется людям, опьяненным сразу несколькими наркотиками.

— Вот это может быть забавно.

— Так оно считается. Но я лично предпочитаю критиковать жизнь про себя, особенно когда я пьян.

— А опер и пьес теперь нет? — спросил Ангел, уткнувшись в рюмку.

— В прежнем, полном смысле этого слова—нет. Они исчезли к концу Великой Заварухи.

— Какая же теперь есть пища для ума? — спросил Ангел, глотая еще одну устрицу.

— Если она и есть, сэр, то ее поглощают не на людях. Ибо с той самой поры люди прониклись убеждением, что только смех благоприятствует коммерции и отгоняет мысль о смерти. Вы, сэр, конечно, не помните, а я-то помню, какие толпы валили в театры, мюзик-холлы и кинематографы в дни Великой Заварухи и какое веселье царило на Стрэнде и в дорогих ресторанах. Я часто думаю,— добавил он глубокомысленно,— каких же высот цивилизации мы должны были достигнуть, чтобы уходить в Великую Неизвестность с шуткой на губах!

— А англичане так и делали во время Великой Заварухи? — спросил Ангел.

— Именно так,— ответил гид торжественно.

— Стало быть, они замечательный народ, за это я могу простить им многое, что меня в них огорчает.

— Да, сэр, хотя я, будучи сам англичанином, склонен порой отзываться об англичанах неодобрительно, все же я убежден, что, летайте вы хоть неделю, все равно вам не найти другого народа, наделенного таким своеобразным благородством и такой непобедимой душой,— да позволено мне будет употребить это слово, смысл которого вызывает столько споров. Не соблазнитесь ли разинькой? — добавил он уже веселее.— Эту породу устриц привозят нам из Америки в отличной сохранности. По-моему, гадость ужасная.

Ангел взял разиньку и долго ее заглатывал.

— О господи! — произнес он наконец.

— Вот именно. Но прошу вас, взгляните опять на правую эстраду. Сейчас там идет ревю. Что вы видите?

Ангел сложил колечками большие и указательные пальцы и, приложив их к глазам, немного подался вперед.

— Ай-ай-ай! — сказал он. — Я вижу несколько привлекательных особ женского пола, на которых очень мало надето, и они расхаживают перед двумя мужчинами, словно бы и взрослыми, но в таких воротничках и курточках, какие носят мальчики лет восьми. Если это критика жизни, то какой именно ее стороны?

— Неужели, сэр, — укоризненно отвечал гид, — вы по себе не чувствуете, как красноречиво это говорит нам о тайных страстях человечества? Разве это не поразительное раскрытие естественных устремлений мужской половины населения? Обратите внимание, как все здесь присутствующие, не исключая и вашей высокой особы, подались вперед, чтобы получше все разглядеть.

Ангел поспешно выпрямился.

— И правда, — сказал он, — я немного увлекся. Но это не та критика жизни, какая требуется в искусстве, а то и я и все остальные сидели бы прямо, плотно сжав губы, а не пускали бы слюну.

— И, однако, — отозвался гид, — это лучшее, что мы можем предложить. Все, что когда-то вызывало отрешенность, о которой вы упомянули, изгнано со сцены еще в дни Великой Заварухи, очень уж оно мешало коммерции.

— Жаль! — сказал Ангел, незаметно подвигаясь на краешек стула. — Назначение искусства — возвышать душу.

— Совершенно очевидно, сэр, что вы утратили связь с современным миром. Назначение искусства, наконец-то полностью демократизированного, — сводить все к одному уровню, теоретически — самому высокому, практически — самому низкому. Не забывайте, сэр, что англичане всегда считали эстетические устремления немужественными, а изящество безнравственным; если к этому основному принципу добавить принцип потакания вкусам большинства, вы получите идеальные условия для постепенного, но неуклонного спада.

— Значит, вкуса больше не существует? — спросил Ангел.

— Он еще не полностью отмер, но задержался в общих кухнях и столовых в том виде, как его ввела туда Ассоциация Молодых Христиан во время Великой Заварухи. Пока есть аппетит, есть надежда; да и не так уж это плохо, что вкус сейчас сосредоточился в желудке: ибо разве не желудок — средоточие человеческой деятельности? Кто посмеет утверждать, что на столь всеобъемлющем фундаменте не будет снова возведено прекрасное здание эстетизма? Вполне возможно, что глаз, привыкший к виду изящных блюд и соблазнительной кулинарии, снова потребует архитектуры Рена, скульптуры Родена, живописи... гм, чьей же? Да что там, сэр, еще до Великой Заварухи, когда вы в последний раз были на Земле, мы уже приступили к тому, чтобы поставить искусство на более реальную базу, и начали превращать концертные залы Лондона в отели. Мало кто в то время предвидел огромную важность этого начинания для будущего или понимал, что эстетический вкус будет снижен до уровня желудка, чтобы затем можно было поднять его снова до уровня головы, руководствуясь истинно демократическими принципами.

— А что будет, — спросил Ангел, проявляя на сей раз сверхчеловеческую проницательность, — если вкус, напротив, пойдет дальше вниз и сорвется даже с нынешнего своего желудочного уровня? Если сгнуло все остальное, почему бы не сгнать и красоту кухни?

— Эта мысль, — вздохнул гид, прижав руку к сердцу, — и меня самого часто повергает в уныние. Два брэнди с ликером, — бросил он вполголоса официанту. — Но стойкое сердце противится отчаянию. А кроме того, мы видим несомненные признаки эстетического возрождения в рекламе. Все крупные живописцы, поэты и писатели работают в этой области; движение это возникло из пропаганды, которой потребовала Великая Заваруха. Вы-то не можете помнить военную поэзию этого периода, патриотические фильмы, убийственные карикатуры и другие замечательные достижения. И сейчас у нас есть не менее крупные таланты, хотя им, возможно, и недостает фанатичной целеустремленности тех бурных дней. Нет того пищевого продукта, корсета или воротнич-

ка, на который не работал бы какой-нибудь художник! Зубные щетки, щипцы для орехов, детские ванночки — любое фабричное изделие теперь перелагают на музыку. Такие темы считаются если не возвышенными, то всечеловеческими. Нет, сэр, я не предаюсь отчаянию; горизонт кажется мне затянутым тучами лишь в тех случаях, когда я плохо пообедаю. Прислушайтесь — это включили «какофон»... Надо вам сказать, что вся музыка теперь отлично производится машинным способом: так для всех много легче.

Ангел поднял голову, и глаза его засияли, словно он слушал небесные напевы.

— Эта мелодия мне знакома,— сказал он.

— Не сомневаюсь, сэр, это «Мессия», только в ритме рэгтайма. Как видите, мы не теряем времени зря: даже удовольствия сейчас интенсивно культивируются по линиям наименьшего сопротивления. А всему виной та лихорадочная спешка, какую породила среди нас Великая Заваруха, когда никто не знал, будет ли жив завтра, и последующая необходимость содействовать росту промышленности. Но чтобы ответить на вопрос, действительно ли мы получаем удовольствие, нужно, пожалуй, сперва вдуматься в английский характер.

— Не желаю,— сказал Ангел.

— И правильно, сэр, это сущая головоломка, многие уже свихнули на ней мозги. Но не засиделись ли мы здесь? Исследованием высших сфер искусства мы можем заняться завтра.

Косой луч из сверкающих глаз Ангела упал на даму, сидевшую за соседним столиком.

— Да, лучше, пожалуй, уйдем,— вздохнул он.

V

— Итак, сегодня нам предстоит прогулка по цветникам подлинного искусства? — сказал Ангел Эфира.

— Сколько их еще не облетело в лето от рождества Христова тысяча девятьсот сорок седьмое,— отвечал гид, останавливая его перед какой-то статуей.— Ибо с тех пор, как вы побывали у нас в девятьсот десятом году, когда движение инфантилистов и конторционистов толь-

ко начало захватывать Англию, конек, называемый искусством, развивался очень своеобразными путями.

— Кого изображает эта статуя? — спросил Ангел.

— Одного знаменитого специалиста по рекламе, недавно скончавшегося в преклонном возрасте. В этом талантливом многоплановом произведении он раскрыт во всех аспектах, известных искусству, религии, природе и населению. От колен и вниз он явно посвящен природе и изображен так, будто влезает в ванну. От пояса до колен он посвящен религии — отметьте полное исчезновение всего человеческого. От шеи до пояса он посвящен общественным делам — обратите внимание на твидовый пиджак, цепочку от часов и другие признаки трезвой практичности. Но венец человека — это как-никак голова, и голова посвящена искусству. Потому-то и невозможно понять, что это голова. Отметьте строгую пирамидальность общего контура, маленькие настороженные уши, всю ее водонепроницаемую блочную конструкцию. Волосы, как видите, охвачены пламенем. Здесь присутствует элемент красоты — неопалимая купина. Статуя в целом говорит об отвращении к естественным формам и единой точке зрения, что характерно для всей эстетики двадцатого века. Это подлинный шедевр инфантильного конторционизма. Творить столь же безответственно, как дети и конторционисты, — каким ценным оказалось это открытие линии наименьшего сопротивления в искусстве! Между прочим, заметили ли вы прелестную деталь на кисти левой руки?

— Она как будто искалечена, — сказал Ангел, подходя ближе.

— Вглядитесь повнимательнее, — сказал гид, — и вы увидите, что она держит роман великого русского мастера, притом вверх ногами. С тех самых пор, как этот наивный мастер, который столь успешно слил воедино детское и конторционистское начало, стал известен в нашей стране, его пытаются перещеголять в литературе, живописи, скульптуре и музыке, отказываясь признать, что он был последним словом; и так может продолжаться без конца, потому что обогнать его все равно невозможно. Рука статуи символизирует все это течение.



— Каким образом?

— А вот каким: в основе его лежит сальто-мортале. Вы никогда не вдумывались в метод этого русского гиганта? Подготовьте ваших персонажей к одной линии поведения, а потом заставьте их быстро сделать как раз обратное. Именно так этот потрясающий писатель доказывал беспредельную широту своего кругозора и знание глубин человеческой природы. Поскольку персонажи его ни разу не изменяют такому порядку на протяжении восьми тысяч страниц, сложилось поверхностное мнение, будто он повторялся. Но что ж из этого? Зато подумайте, какого блестящего несоответствия между характерами и действием он этим достиг, какой туманности фактов, какого поистине детского и мистического смешения всех дотоле известных человеческих ценностей! Простите, сэр, если будет щекотно, но дальше я должен перейти на шепот.— Гид сложил пальцы трубкой и поднес к уху Ангела.— Писать романы может только тот, кто исключительно плохо знает нормальную человеческую природу, а великие романы — только тот, кто не знает ее вовсе.

— Как так? — растерянно спросил Ангел.

— Неожиданность, сэр,— вот на чем держатся все эффекты искусства, а в действительной жизни люди, что с ними ни делай, упорно поступают в соответствии со своим характером и темпераментом. Эта противная и неисправимая их черта причиняла бы много горя всем писателям-мистикам из поколения в поколение, если бы только они ее замечали. Но замечают ли они ее? К счастью, нет. Эти великие, из ряда вон выходящие люди, естественно, вкладывают в свои книги то великое смятение и сумбур, в котором пребывают сами. Они рисуют не человеческую природу, а природу сверхчеловека или недочеловека — это как вам будет угодно. И кто скажет, что это плохо?

— Только не я,— отвечал Ангел.— Ибо, признаюсь, я очень люблю детективные романы. Но русские ведь не такие, как все, правда?

— Правда-то правда,— сказал гид,— но с тех пор, как в Англии их открыли, все персонажи наших крупных писателей наделены русской душой, хоть она и помещается в британском теле, и живут они в Корнуэлле или в

Средних графствах, под шотландскими или английскими фамилиями.

— Очень пикантно,— сказал Ангел, отворачиваясь от шедевра скульптуры.— А скажите, не одетых статуй больше не делают?

— Если и делают, то они неузнаваемы. Ибо толпе, не подготовленной воспитанием к отрешенному созерцанию, которое в известной мере было принято еще даже в дни Великой Заварухи, уже небезопасно показывать такие произведения искусства: люди, чего доброго, станут бросаться на них — либо с целью объятий, либо с целью разрушения, смотря по темпераменту.

— Значит, эллины умерли,— сказал Ангел.

— Умерли и не воскреснут, сэр. Они смотрели на жизнь как на источник наслаждения — этого порока вы у англичанина не найдете. Греки жили на солнце, на свежем воздухе; им было неведомо чувство приличия, порожденное жизнью наших городов. Мы уже давно славимся своей щепетильностью во всем, что касается тела; и она не уменьшилась оттого, что теперь в каждом районе созданы из молодежи комитеты надзора. Им-то теперь и принадлежит решающее слово в вопросах искусства, и их цензура не пропустит ничего, что не годилось бы для семилетнего ребенка.

— Какая заботливость,— сказал Ангел.

— Результаты этим достигаются удивительные,— сказал гид.— Удивительные! — повторил он мечтательно.— Вероятно, в этой стране тлеет подспудно больше сексуальных желаний и болезней, чем в какой-либо другой.

— Так это и было задумано? — спросил Ангел.

— Нет, что вы, сэр! Это лишь естественное следствие того, что на поверхности все так поразительно чисто. Все теперь не снаружи, а внутри. Природа исчезла бесследно. Процесс этот ускорила Великая Заваруха. Ведь с той поры у нас почти не было ни досуга, ни денег для удовлетворения каких-либо потребностей, кроме смеха; благодаря этому, да еще религиозному фанатизму, поверхность нашего искусства просто ослепляет другие нации — такая она гладкая, без единого пятнышка, точно сделана из жести.

Ангел вздернул бровь.

— Я ожидал лучшего,— сказал он.

— Только не подумайте, сэр,— продолжал гид,— что не одетое совсем вышло у нас из обихода. Его допускают сколько угодно, лишь бы было вульгарно, как вы могли видеть на той эстраде, ибо это хорошая коммерция; запрет касается только опасной области — искусства, оно в нашей стране всегда было никудышной коммерцией. Однако и в жизни не одетое разрешается, только если оно гротескно; единственное, что запрещено категорически,— это естественная красота. Смех, сэр, пусть самый грубый и вульгарный,— отличное дезинфицирующее средство. Нужно, впрочем, отдать должное нашим литераторам: они частично устояли против спроса на хохот. Одна литературная школа, зародившаяся как раз перед Великой Заварухой, до того усовершенствовалась, что сейчас есть целые книги в сотни страниц, в которых никто не поймет ни единой фразы — никто, кроме посвященных; это позволяет им не бояться комитетов надзора и прочих филистеров. У нас есть писатели, которые умудряются проповедовать, что для полного выражения собственной личности нужно жить в безвоздушном пространстве, что чистота познается через утонченные пороки, мужество — через трусость и доброта — через прусский образ действий. В большинстве это люди молодые. Есть у нас и другие писатели, которые под видом романов пишут автобиографии, пересыпанные философскими и политическими отступлениями. Эти бывают всех возрастов: от восьмидесяти лет до озлобленных тридцати. Имеются у нас и болтливые, плодовитые беллетристы и, наконец, изображатели жизни Трудяг, которых Трудяги не читают. А главное — есть у нас великая патриотическая школа; у тех на первом месте национальный девиз, и пишут они исключительно то, что идет на пользу коммерции. Словом, есть всякие писатели, как и в прежние времена.

— Выходит, что искусства особенно не продвинулись вперед,— сказал Ангел.

— Разве что прибавилось внешнего целомудрия и внутренней испорченности.

— И люди искусства все так же завидуют друг другу?

— О да, сэр. Это неотъемлемая черта артистического

темперамента: все они необычайно чувствительны к славе.

— И они все так же сердятся, когда эти господа... э-э...

— Критики? — подсказал гид. — Сердятся, сэр. Но критика теперь почти сплошь анонимная, и на то есть веские причины: мало того, что рассерженный художник проявляет себя очень бурно, но у рассерженного критика нередко оказывается очень мало познаний, особенно в области искусства. Так что гуманнее по возможности обходиться без смертоубийства.

— Я лично не так уж ценю человеческую жизнь, — сказал Ангел. — По-моему, для многих людей самое подходящее место — могила.

— Очень возможно, — раздраженно отпарировал гид. — *Errare est humanum*¹. Но я со своей стороны предпочел бы быть мертвым человеком, чем живым ангелом, — люди, по-моему, более милосердны.

— Ну что ж, — сказал Ангел снисходительно, — у всякого свои предрассудки. Вы не могли бы показать мне какого-нибудь художника? У мадам Тюссо² я, сколько помнится, ни одного не видел.

— Они в последнее время отказываются от этой чести. Вот в Корнуэлле мы могли бы, пожалуй, встретить и живого художника.

— Почему именно в Корнуэлле?

— Не могу вам сказать, сэр. Что-то в тамошнем воздухе им благоприятствует.

— Я голоден и предпочитаю отправиться в Савой, — сказал Ангел, прибавляя шагу.

— Вам повезло, — шепнул гид, когда они уселись за столик перед блюдом с креветками. — Слева от вас, совсем рядом, сидит наш самый видный представитель мозаической литературной школы.

— Тогда приступим, — сказал Ангел и, повернувшись к своему соседу, любезно спросил:

— Как поживаете, сэр? Каков ваш доход?

¹ Человеку свойственно ошибаться (лат.).

² Лондонский музей восковых фигур, где, между прочим, выставлены изображения знаменитых людей.

Джентльмен, к которому он обратился, поднял глаза от своей кровати и отвечал томным голосом:

— Спросите у моего агента. Есть вероятие, что он располагает нужными вам сведениями.

— Ответьте мне хотя бы на такой вопрос,— сказал Ангел еще более учтиво.— Как вы пишете ваши книги? Ведь это, должно быть, упоительно — вызывать из небытия образы, созданные вашим воображением. Вы дожидаетесь вдохновения свыше?

— Нет,— отвечал писатель.— Я... нет! Я... э-э-э...— и он закончил веско:— Я каждое утро сажусь за стол.

Ангел возвел глаза к небу и, повернувшись к гиду, сказал шепотом, чтобы не проявить невоспитанности:

— Он каждое утро садится за стол! Господи, как это хорошо для коммерции!

VI

— Здесь, сэр, мы можем получить стакан сухого хереса и сухой сандвич с ветчиной,— сказал гид,— а на десерт — запах пергамента и бананов. Затем мы пройдем в зал номер сорок пять, где я вам покажу, как основательно изменилось наше судопроизводство за то недолгое время, что прошло после Великой Заварухи.

— Неужели закон в самом деле изменился? — сказал Ангел, с усилием отпилив зубами кусок ветчины.— А я думал, он не подвержен переменам. Какого же характера дело там будет разбираться?

— Я счел за благо выбрать дело о разводе, сэр, чтобы вы не уснули под воздействием озонированного воздуха и судейского красноречия.

— Ах так? — сказал Ангел.— Ну что ж, я готов.

Зал суда был переполнен, они с трудом нашли свободные места, и какая-то дама тут же уселась на левое крыло Ангела.

— Такие процессы всегда собирают много публики,— шепнул гид.— Не то что когда вы были здесь в девятьсот десятом году!

Ангел огляделся по сторонам.

— Скажите,— спросил он вполголоса,— который из этих седовласых судья?

— Вон тот, в круглом паричке, сэр. А там, левее,



присяжные,—добавил гид, указывая на двенадцать джентльменов, расположившихся в два ряда.

— Каковы они в личной жизни? — спросил Ангел.

— Думаю, что отнюдь не безупречны,— улыбнулся гид.— Но, как вы скоро убедитесь, по их словам и поведению этого не скажешь. Это присяжные первого класса,— добавил он,— они платят подоходный налог, так что их суждения в вопросах нравственности очень и очень ценны.

— Лица у них умные,—сказал Ангел.—А где прокурор?

— Что вы, сэр! — с живостью воскликнул гид.— Это ведь гражданское дело. Вон истица — та, у которой глаза в трауре, а губы чуть подкрашены, в черной шляпе с эгреткой, с ниткой жемчуга и в скромном, но сшитом по моде черном костюме.

— Вижу,—сказал Ангел.—Интересная женщина. Она выиграет дело?

— Мы это так не называем, сэр. Ибо, дело это, как вам, вероятно, известно, печального свойства: рушится семейный очаг. Постановление о разводе не доставит ей радости, так я, по крайней мере, предполагаю. Впрочем, при ее внешности, еще сомнительно, утвердит ли его Королевский проктор.

— Королевский проктор? Это еще что такое?

— А это такой небесный консерватор, по должности своей воссоединяющий тех, кого человек разлучил.

— Я что-то не понимаю,—сказал Ангел раздраженно.

— Видимо, я должен разъяснить вам,—зашептал гид,—в каком духе наше правосудие подходит к таким делам. Вы, конечно, знаете, что назначение нашего закона — карать преступника. Поэтому он требует от невиновной стороны, каковой в данном случае является эта леди, сугубой невиновности не только до того, как она получит развод, но и еще в течение шести месяцев после этого.

— Вот как? — сказал Ангел.—А где виновная сторона?

— Вероятно, на юге Франции, вместе с новым предметом своей привязанности. Их место — под солнцем, ее — в зале суда.

— Вот чудеса! — сказал Ангел. — Ей так больше нравится?

— Есть женщины, — сказал гид, — которые с удовольствием появляются где угодно, лишь бы их могли увидеть в красивой шляпе. Но большинство предпочло бы провалиться сквозь землю.

— Эта, на мой взгляд, на редкость привлекательна, — живо отозвался Ангел. — Я бы не хотел, чтобы она провалилась сквозь землю.

— Независимо от привлекательности, — продолжал гид, — они, если хотят освободиться от обидевшего их лица, принуждены выставлять свое сердце на всеобщее обозрение. Это необходимо для того, чтобы покарать обидчика.

— Какая же кара его ожидает? — спросил Ангел простодушно.

— Он получит свободу, а также право наслаждаться жизнью на солнышке со своей новой подругой до тех пор, пока не сможет вступить с нею в законный брак.

— Для меня тут какая-то загадка, — едва слышно произнес Ангел. — Не это ли называется свалить с больной головы на здоровую?

— Что вы, сэр! Закон никогда не допустит такой ошибки. Вы судите односторонне, а это не годится. Эта леди — верная, жестоко обиженная жена (будем, во всяком случае, надеяться, что так), которой наш закон обеспечивает защиту и помощь, однако в то же время она, в глазах закона, заслуживает известного порицания за то, что пожелала прибегнуть к этой защите и помощи. Ибо, хотя закон теперь чисто государственное дело и не имеет никакого отношения к церкви, он втайне все еще придерживается религиозного правила «вступил в брак — и крышка» и считает, что, какому бы небрежному или жестокому обращению ни подвергалась замужняя женщина, ей все же не следует желать свободы.

— Ей? — переспросил Ангел. — А мужчина разве никогда не желает свободы?

— Что вы, сэр! Очень даже часто.

— Но мужчину ваш закон не считает за это достойным порицания?

— В теории, может быть, и считает, но тут есть одно

тонкое различие. Как вы можете убедиться, сэр, правосудие отправляют исключительно лица мужского пола, а они просто не могут не верить в божественное право мужчин на более легкую жизнь, чем у женщин; и хотя они этого не говорят, но, понятно, считают, что муж, обиженный женой, пострадал больше, чем жена, обиженная мужем.

— В этом кое-что есть,—сказал Ангел.—Но скажите, как действует этот оракул — на всякий случай не мешает знать!

— Вы имеете в виду необходимую процедуру, сэр? Сейчас я вам ее разъясню. Такие дела бывают двух категорий: обозначим их для удобства «ажур» и «уловка». Так вот, в случаях «ажур» истце достаточно получить от супруга синяк под глазом и заплатить сыщикам, чтобы они установили, что он водит слишком тесную дружбу с другой женщиной; мужчине же даже не нужен подбитый глаз — он просто платит сыщикам за то, чтобы они добыли ему те же необходимые сведения.

— Почему такая разница?

— Потому что,—отвечал гид,— женщины — слабый пол, а значит, надо, чтобы им было труднее.

— Но ведь англичане славятся своим рыцарством?

— Совершенно верно, сэр.

— Так как же...— начал Ангел.

— Когда эти условия выполнены,—перебил его гид,— можно вчинить иск о разводе, причем другая сторона либо защищается, либо нет. Что касается дел категории «уловка», в которых истцей всегда выступает жена, то разобраться в них труднее, прежде всего потому, что они, в свою очередь, подразделяются на «уловку простую» и «уловку сложную». Первая — это когда жена не может уговорить мужа остаться с ней и, узнав от него, что он водит тесную дружбу с другой, желает от него освободиться. Она тогда заявляет суду, что хочет, чтобы муж к ней вернулся, и суд предлагает ему вернуться. Если он послушается, тогда ей остается только пенять на себя. Если же он не послушается, что более вероятно, она имеет право после небольшой отсрочки вчинить иск, приложив к нему добытые ею сведения, и получить развод. Возможно, что именно такое дело сейчас и будет разбираться, а возможно, что и нет, и

тогда, значит, это «уловка сложная». Если так, то супруги, убедившись в невозможности поддерживать маломальски приличные отношения, в последний раз дружески посоветовались и решили расстаться; а дальше все идет, как в случаях «уловки простой». Но жена должна всячески стараться внушить суду, что она жаждет, чтобы муж к ней вернулся, ибо в противном случае это расценивается как преступный сговор. Чем сильнее ее желание с ним расстаться, тем старательнее она должна изображать обратное. Но в общем-то эти дела самые простые, поскольку обе стороны единодушны в своем желании освободиться друг от друга, так что ни он, ни она ничем не тормозят движения к желанной цели и достигают ее довольно быстро.

— А доказательства? — спросил Ангел. — Что должен сделать мужчина?

— Провести ночь в гостинице с дамой. Одного раза достаточно. И если только утром их застанут вместе, больше ничего не требуется.

— Гм! — сказал Ангел. — Вот уж поистине окольные пути! Неужели нет способа более простого и не требующего искажения истины?

— Нет, сэр! Вы забываете о том, что я вам говорил. Сколько бы люди ни страдали от совместной жизни, наш закон лишь с большой неохотой разрешает им расстаться; поэтому он и требует, чтобы они сперва совершили безнравственный поступок, либо солгали, либо и то и другое.

— Интересно! — сказал Ангел.

— Поймите, сэр, когда мужчина говорит, что берет в жены женщину, а женщина — что берет в мужья мужчину на всю жизнь, пока смерть не разлучит их, то считается, будто они все друг о друге знают, хотя законы нравственности не разрешают им, конечно, знать что-либо действительно важное. А поскольку по целомудренному знакомству почти невозможно судить, будут ли они по-прежнему желать общества друг друга после того, как узнают все, они, естественно, идут на это «вслепую», если можно так выразиться, и, чуть что, готовы заключить союз до гробовой доски. Ибо для человека, который видит счастье перед собой, в двух шагах, слова «до гробовой доски» — пустой звук. А из этого нетрудно по-

нять, как важно затруднить им путь к избавлению друг от друга.

— Мне бы не понравилось жить с женой, которая мне надоела,— сказал Ангел.

— Сэр,— произнес гид доверительно,— под этими словами охотно подписались бы все мужчины нашей страны. Думаю, что и женщины тоже, если бы вы, как муж, им надоели.

— Ну, знаете!..— протянул Ангел с самодовольной улыбкой.

— Я вас понимаю, сэр; но разве это не убеждает вас в необходимости заставлять людей, надоевших друг другу, жить вместе?

— Нет,— отвечал Ангел с режущей слух откровенностью.

— Не стану от вас скрывать,— честно признался гид,— кое-кто считает, что наши законы о браке следует поместить в музей как своего рода уникум; и хотя они служат к увеселению публики и обогащению юристов, их не могут постичь ни люди, ни ангелы, если не владеют ключом к этой загадке.

— Каким ключом? — спросил Ангел.

— Сейчас я вам дам его, сэр. У англичан есть особый талант — принимать тень за сущность. «Если нам кажется, рассуждают они, что наши браки, наши добродетели, наша честность и счастье существуют, значит, так оно и есть». Следовательно, брак, пока мы его не расторгли, остается добродетельным, честным и счастливым, хотя бы супруги были неверны, лживы и глубоко несчастливы. Ставить брак в зависимость от взаимной симпатии — это было бы ужасно! Мы, англичане, не выносим даже мысли о поражении. Расторгнуть несчастный брак значит признать, что жизнь кого-то победила, а мы скорее допустим, чтобы другие проводили свои дни в тоске и горе, нежели признаем, что представители нашей нации столкнулись с чем-то непреодолимым. Англичан не прельщает брать от земной жизни лучшее, они отлично обходятся одной видимостью.

— Стало быть, они верят в загробную жизнь?

— Верили в значительной мере вплоть до восьмидесятих годов прошлого века и к этому приспособляли свои законы и обычаи, а с тех пор еще не успели пере-

строиться. Мы несколько неповоротливы, сэр, всегда на одно-два поколения отстаем от собственных убеждений.

— Так, значит, веру свою они утратили?

— В таком вопросе, сэр, трудно оперировать точными цифрами, но можно считать, что от силы один взрослый из каждых десяти сохранил хотя бы тень того, что можно назвать верой в жизнь будущего века.

— И остальные предоставляют этой одной десятой распоряжаться их судьбой по своему усмотрению? — удивился Ангел. — Они что же, воображают, что их супружеские неурядицы будут улажены на небесах?

— Тут все очень туманно. Некоторые случаи было бы трудно уладить без двоеженства: ведь и по общему мнению, и по закону, люди, чей брак был расторгнут, могут вступить в брак вторично.

— А дети? — спросил Ангел. — Думается, это немаловажный пункт.

— Да, сэр, дети—это, конечно, затруднение. Но ключик мой подойдет и здесь. Если только брак кажется счастливым, то уже неважно, что дети знают обратное и страдают от родительских разногласий.

— Я подозреваю,— сказал Ангел проницательно,— что для ваших законов о браке есть причины более прозаические, чем те, которые вы привели. В конечном счете, я думаю, все упирается в собственность.

— Очень возможно, что вы правы, сэр,— сказал гид таким тоном, словно эта мысль никогда не приходила ему в голову.— Там, где не замешаны деньги, развод вызывает мало интереса, и считается, что наши бедняки могут обойтись без него. Но я никогда не признаю, что в этом — причина нынешнего состояния наших законов о разводе. Нет, нет; ведь я англичанин.

— Мы с вами отвлеклись,— заметил Ангел.— Скажите, этот судья верит тому, что ему сейчас говорят?

— На это я не могу вам ответить. Судьи—хитрый народ, они знают все, что только можно знать в таких делах. Но в одном можете не сомневаться: если будет сказано что-нибудь такое, что покажется на рядовое восприятие подозрительным, они уж это учуют.

— А где рядовое восприятие? — спросил Ангел.

— Вот оно, сэр.— И гид указал подбородком на присяжных.— Они известны своим здравомыслием.

— А эти, в седых париках, которые называют один другого «мой ученый друг», хотя обмениваются далеко не дружескими взглядами?

— От них трудно что-либо скрыть,— отвечал гид.— Но в сегодняшнем деле, хотя некоторые имущественные пункты оспариваются, по поводу самого развода та сторона не защищается. Более того, профессиональный этикет обязывает их грудью стоять за своих клиентов, что бы там ни было.

— Минутку! — сказал Ангел.— Я хочу послушать показания, и того же хочет дама по левое крыло от меня.

Гид улыбнулся себе в бороду и умолк.

— Скажите,— обратился к нему Ангел, когда допрос свидетельницы закончился,— эта женщина получит что-нибудь за то, что показала, что застала их утром вместе?

— Как можно, сэр! Только за проезд в суд и обратно. Впрочем, после того как она их застала, истица могла ей вручить полсоверена, чтобы она это получше запомнила,— ведь ей каждый день приходится заставлять не одну пару.

Ангел нахмурился.

— Все это похоже на какую-то игру. И подробности оказались не столь пикантны, как я ожидал.

— Вот если бы другая сторона защищалась, сэр, тогда вы были бы довольны. К тому же вам представился бы случай оценить способность человеческого ума воспринимать один и тот же эпизод как черное и как белое; но это отняло бы у вас много драгоценного времени, и публики набилось бы столько, что какая-нибудь дама непременно сидела бы и на правом вашем крыле, а быть может, и на коленях. Ибо дамы, как вы могли заметить, особенно падки до таких трагедий, взятых из жизни.

— Если бы моя жена согрешила,— сказал Ангел,— я, по вашим законам, вероятно, не мог бы зашить ее в мешок и бросить в воду?

— Времена Великой Заварухи миновали,— отвечал гид холодно.— В те дни любой военный, обнаружив, что жена ему неверна (так у нас это называется), мог безнаказанно застрелить ее и заслужить рукоплескания толпы, а может быть, и какое-нибудь подношение, даже если сам он, будучи в отсутствии, много чего себе

позволял. Вот это был ловкий способ получить развод. Но с тех пор, как я уже сказал, процедура изменилась, и даже военные вынуждены теперь прибегать к этим обходным маневрам.

— А любовника он может застрелить? — спросил Ангел.

— Даже это запрещено — вот до чего мы изнежились и измельчали. Впрочем, если ему удастся выдумать для любовника немецкую фамилию, он и теперь еще подвергнется наказанию условно. Наш закон славится тем, что никакие соображения чувства не могут его поколебать. Я отлично помню один процесс во время Великой Заварухи, когда присяжные вынесли решение наперекор очевидным фактам, лишь бы никто не заподозрил закон в пристрастности.

— Вот как, — отозвался Ангел рассеянно. — А что происходит сейчас?

— Присяжные обсуждают свое решение. Впрочем, поскольку они не ушли, решение их, по существу, уже принято. А вот сейчас истица достает из сумочки нюхательные соли.

— Интересная женщина, — произнес Ангел веско.

— Тсс, сэр! Вас может услышать судья.

— Ну и что? — удивился Ангел.

— Он может удалить вас из зала за неуважение к суду.

— А он не согласен с тем, что она интересная женщина?

— Ради всего святого, замолчите, сэр, — умоляюще прошептал гид. — Вы ставите на карту счастье трех, если не пяти человек. Глядите! Вот она приподняла вуалетку. Сейчас пойдет в ход носовой платочек.

— Не могу видеть женских слез, — сказал Ангел, порываясь встать. — Прошу вас, снимите эту даму с моего левого крыла.

— Не шевелитесь! — шепнул гид даме, наклоняясь к ней за спиной Ангела. — Слышите, сэр? — добавил он. — Присяжные, по их словам, полностью убеждены, что необходимое условие соблюдено: нужное происшествие имело место. Все хорошо: развод она получит.

— Ура! — громко сказал Ангел.

— Если этот шум повторится, я прикажу очистить зал суда.

— А я его повторяю,— сказал Ангел твердо.— Она красивая женщина.

Гид почтительно прикрыл рот Ангела ладонью.

— Ах, сэр! —сказал он успокаивающим тоном,— не портите эту прелестную минуту! Вот, прислушайтесь! Он выносит постановление nisi¹ с оплатой судебных издержек. Завтра это будет во всех газетах, ибо такой материал способствует их распространению. Взгляните! Она уходит. Теперь и мы можем идти.— И он высвободил крыло Ангела из-под дамы.

Ангел вскочил с места и устремился к дверям.

— Я выйду вместе с ней,— объявил он радостно.

— Заклинаю вас,— сказал гид, поспешая за ним следом,— помните о Королевском прокторе! Где ваше рыцарство? Ведь от него-то вы рыцарства не дождетесь — ни единой капли!

— Подайте его сюда, я ему покажу! — сказал Ангел и успел послать истице воздушный поцелуй, прежде чем она скрылась из глаз в сумраке улицы.

VII

Когда Ангел Эфира вошел в Гостевую гостиную клуба Чужаков, там царило обычное безлюдье.

— Здесь вам будет покойно,— сказал гид, придвигая к камину два кожаных кресла.— И удобно,— прибавил он, когда Ангел положил ногу на ногу.— После того, чему мы только что были свидетелями, я решил привести вас в какое-нибудь место, где вы сможете сосредоточиться, тем более что нам предстоит обсудить такой серьезный вопрос, как нравственность. В самом деле, где, как не здесь, можно полностью отгородиться от действительности и, положившись единственно на свой ум, сделать важные выводы, какими славятся кабинетные моралисты? Когда вы начихаетесь,— добавил он, видя, что Ангел берет понюшку,— я вам сообщу, к каким выводам я сам пришел за годы долгой и беспорядочной жизни.

¹ Nisi — если не (лат.). Юридический термин, означающий постановление о разводе, вступающее в силу через шесть месяцев, если до этого не будет отменено.

— Прежде чем вы начнете,— сказал Ангел,— стоит, пожалуй, четко ограничить область наших исследований.

— Извольте. Я намерен дать вам сведения о нравственности англичан за краткий период с начала Великой Заварухи — всего тридцать три года; и вы увидите, что тема моя распадается на два раздела — нравственность общественная и нравственность личная. Когда я кончу, можете задать мне любые вопросы.

— Валяйте! — сказал Ангел и закрыл глаза.

— Нравственность общественная,— начал гид,— бывает превосходная, сравнительная, положительная и отрицательная. Нравственность превосходную вы найдете, разумеется, только в газетах. Это прерогатива авторов передовиц. Высокая и неоспоримая, она громко прозвучала почти во всех органах печати в начале Великой Заварухи, и суть ее можно выразить в одной торжественной фразе: «Пожертвуем на алтарь долга все до последней жизни и до последнего шиллинга — все, кроме последней жизни и шиллинга последнего автора передовиц». Ибо всякому ясно, что его-то нужно было сохранить, дабы он обеспечил жертвоприношение и написал об этом передовицу. Можно ли вообразить нравственность более возвышенную? И население страны не перестает скорбеть о том, что жизнь этих патриотов и благодетелей своего рода по скромности их осталась неизвестной тем, кто захотел бы последовать их примеру. Тут и там под маской обычая можно было разглядеть черты какого-нибудь героя, но наряду с этим сколь прекрасные жизни остались от всех скрыты! Забегая вперед, сэр, скажу вам, что во времена Великой Заварухи эта доктрина, принесения в жертву других, произвела огромное впечатление на государство: оно тут же начало ей следовать и с тех самых пор пытается проводить ее в жизнь. Да что там, «другие» только потому еще и живы, что выказали непонятное отвращение к тому, чтобы их поголовно принесли в жертву.

— В тысяча девятьсот десятом году,— сказал Ангел,— я заметил, что пруссаки уже довели эту систему до совершенства. А между тем ведь ваша страна, сколько помнится, воевала именно против пруссаков?

— Совершенно верно,—отвечал гид,—и многие пытались привлечь внимание к этому обстоятельству. А в конце Великой Заварухи реакция была так сильна, что даже авторы передовиц некоторое время не решались проповедовать свою доктрину самоотречения, и нарушенная было традиция снова утвердилась лишь тогда, когда партия Трудяг прочно уселась в седло. С тех пор принцип держится крепко, но практика держится еще крепче, так что общественная нравственность уже никогда не достигает превосходной степени. Перейдем теперь к общественной нравственности сравнительной. В дни Великой Заварухи ее исповедовали люди с именем, которые учили жить других. В эту большую и деятельную группу входили все проповедники, журналисты и политики, и многое указывает на то, что в ряде случаев они даже сами последовали бы своим наставлениям, если бы возраст их был не столь почтенным, а руководство — не столь бесценным.

— Без-ценным,—повторил Ангел вполголоса.— Это слово имеет отрицательное значение?

— Не всегда,—улыбнулся гид.— Среди них попадались, хоть и редко, люди просто незаменимые, и, пожалуй, они как раз были наименее сравнительно нравственны. К этой же группе, несомненно, нужно причислить людей, известных под названием мягкотелых пацифистов¹.

— Это что же, вид моллюсков? — спросил Ангел.

— Не совсем,—отвечал гид.— А впрочем, вы попали в точку, сэр: они действительно уползали в свои раковины, заявляя, что не желают иметь ничего общего с нашим испорченным миром. С них хватало голоса собственной совести. Бесчувственная толпа обращалась с ними очень дурно.

— Это интересно,—сказал Ангел.— Против чего же они возражали?

— Против войны,—отвечал гид.— «Какое нам дело до того,—говорили они,— что на свете есть варвары вроде этих пруссаков, которые плюют на законы справедли-

¹ Речь идет об англичанах, которые во время первой мировой войны отказывались от службы в армии по политическим или религиозным соображениям.

вости и гуманности?» Эти слова, сэр, были тогда в большой моде. «Как это может повлиять на наши принципы, если грубые чужестранцы не разделяют наших взглядов и задумали путем блокады нашего острова уморить нас голодом и тем подчинить своей власти? Мы не можем не прислушиваться к голосу своей совести,—лучше пусть все голодают; готовы ли мы голодать сами, этого мы, конечно, не можем сказать, пока не попробовали. Но мы надеемся на лучшее и верим, что вытерпим до конца в нежелательном обществе тех, кто с нами не согласен». И надо сказать, сэр, некоторые из них, несомненно, были на это способны; ибо есть, знаете ли, особый тип людей, которые скорее умрут, чем признают, что при столь крайних взглядах ни у них самих, ни у их ближних нет никаких шансов остаться в живых.

— Как любопытно!—воскликнул Ангел.—Такие люди есть и сейчас?

— О да,—отвечал гид,—и всегда будут. И мне кажется, что для человечества в целом это не так уж плохо — ведь они являют собой некое предостережение: по ним мы видим, как опасно уходить от действительности и гасить безо времени пламя человеческой жизни. А теперь рассмотрим нравственность положительную. Во времена Великой Заварухи ее представляли люди, которые нарочно пили чай без сахара и все свои деньги вкладывали в пятипроцентный военный заем, не дожидаясь выпуска выигрышных облигаций, как они тогда назывались. Это тоже была большая группа, очень здравомыслящая; ее интересовала не столько война, сколько торговля. Но шире всего была распространена нравственность отрицательная. Она охватывала тех, кто, грубо говоря, «тянул лямку». И могу вам сказать по опыту, сэр, не всегда это было легкое занятие. Сам я в то время был судовым стюардом и не один раз глотнул соленой воды — из-за подводных лодок. Но я не отступался и, едва ее успевали выкачать из меня, снова нанимался на корабль. Нравственность наша была чисто отрицательного, чтобы не сказать низкого, свойства. Мы действовали как бы инстинктивно и часто восхищались теми благородными жертвами, которые приносили люди, выше нас стоящие. Большинство из нас были убиты, либо так или иначе искалечены, но какая-то слепая сила владела на-

ми и помогала держаться. Простодушный мы были народ.— Гид умолк и устремил взгляд в пустой камин.— Не скрою от вас,— добавил он, помолчав,— что почти все время нам было до крайности противно; и все-таки мы не могли остановиться. Чудно, правда?

— Я жалею, что меня не было с вами,— сказал Ангел,— потому что... употреблю слово, без которого вы, англичане, кажется, ничего не способны выразить,— потому что вы были герои.

— Сэр,— сказал гид,— вы нам льстите. Боюсь, мы отнюдь не были воодушевлены духом коммерции, мы были самые обыкновенные мужчины и женщины, и не было у нас ни времени, ни охоты вдумываться в свои мотивы и поступки, а также обсуждать или направлять поведение других. Чисто отрицательные создания, сэр, но в каждом, вероятно, было немножко человеческого мужества и немножко человеческой доброты. Да что говорить, все это давно миновало. Теперь, сэр, прежде чем я перейду к нравственности личной, можете задать мне любые вопросы.

— Вы упомянули о мужестве и доброте,— сказал Ангел.— Как эти качества котируются в настоящее время?

— Мужество сильно упало в цене во время Великой Заварухи и с тех пор так до конца и не реабилитировано. Ибо тогда впервые было замечено, что физическое мужество — качество донельзя банальное; по всей вероятности, это просто результат торчащего подбородка, особенно распространенного среди народов, говорящих на английском языке. Что же касается мужества морального, то его так затравили, что оно по сей день где-то скрывается. Доброта, как вам известно, бывает двух видов: та, которую люди проявляют по отношению к себе и своей собственности, и та, которую они, как правило, не проявляют по отношению к другим.

— После того как мы побывали на бракоразводном процессе,— сказал Ангел глубокомысленно,— я много думал. И мне кажется, что по-настоящему добрым может быть только тот, кто прошел через семейные неурядицы, в особенности же если он при этом столкнулся с законом.

— Это для меня новая мысль,— заметил гид, внимательно его выслушав.— Очень возможно, что вы пра-

вы,— ведь только оказавшись отщепенцем, можно как следует почувствовать чужую нетерпимость. Однако вот мы и подошли к вопросу о личной нравственности.

— Верно! — сказал Ангел с облегчением.— Я утром забыл вас спросить, как теперь рассматривается древний обычай брака.

— Только не как таинство,— отвечал гид.— Такая точка зрения почти исчезла уже ко времени Великой Заварухи. А между тем она могла бы сохраниться, если бы высшее духовенство в те дни не так противилось реформе закона о разводе. Когда принцип слишком долго противится здравому смыслу, неизбежна перегруппировка сил.

— Так что же теперь представляет собою брак?

— Чисто гражданскую сделку. Давно отошло в прошлое и дозволенное законом раздельное жительство супругов.

— Ах, да,— сказал Ангел,— это, кажется, был такой обычай, согласно которому мужчина становился монахом, а женщина монахиней?

— В теории так, сэр, на практике же, как вы можете догадаться, ничего подобного. Но представители высшего духовенства и женщины, старые и не старые, которые их поддерживали, могли опереться лишь на очень ограниченный жизненный опыт и искренне полагали, будто наказывают все еще женатых, но согрешивших лиц, которым закон разрешал разъехаться. Лица же эти, напротив, в большинстве случаев исходили из того, что их случайные связи отныне оправданы, и даже не старались от них воздерживаться. Так всегда бывает, когда великие законы природы нарушаются в угоду высшей доктрине.

— А дети еще рождаются вне брака?

— Да, но на них уже не возлагают вину за поведение родителей.

— Значит, общество стало более гуманным?

— Как вам сказать, сэр, до идеала в этом смысле еще далеко. Зоологические сады все еще не под запретом, и не далее как вчера я читал письмо одного шотландца, в котором он с гневом обрушивается на гуманное предложение, чтобы заключенным раз в месяц разрешали видеться со своими женами не через решетку

и без свидетелей — можно подумать, что мы все еще живем в дни Великой Заварухи. Скажите, почему такие письма всегда пишут именно шотландцы?

— Это что, загадка? — спросил Ангел.

— Действительно, загадка, сэр.

— Я их не люблю. Ну, а вообще-то вы довольны состоянием добродетели в вашей стране теперь, когда, как вы мне вчера говорили, она стала чисто государственным делом?

— Сказать вам по правде, сэр, я не берусь судить моих ближних, — мне хватает собственных пороков. Но одно я заметил: чем менее добродетельными выставляют себя люди, тем они обычно добродетельнее. Цветы расцветают там, куда не достает свет лампы. Вы, вероятно, и сами замечали, что те, кто изо дня в день бодро переносит самые серьезные неприятности и притом помогает своим ближним, поступаясь и своим временем и деньгами, бывают готовы плакать от умиления, получив совет от богача, и в мыслях возводят его на престол как милостивейшего из монархов? Истинную добродетель, сэр, нужно искать среди низов. Сахар и снег видны на поверхности, но соль земли скрыта на дне.

— Я вам верю, — сказал Ангел. — Должно быть, тому, на кого падает свет лампы, труднее приобщиться к добродетели, чем добродетельному выйти на свет лампы. Ха-ха! А сохранился ли добрый старый обычай покупать ордена и титулы?

— Нет, сэр. Ордена дают теперь только тем, кто шумит уже совсем невыносимо, и награжденный обязуется воздержаться от публичных выступлений на срок не свыше трех лет. Этот приговор, самый строгий, дается за герцогский титул. Считается, что мало кто способен молчать так долго и все же остаться в живых.

— Что-то мне сомнительно, такой ли уж нравственный этот новый обычай, — сказал Ангел. — По-моему, это похоже на капитуляцию перед грубостью и бахвальством.

— Скорее перед докучливостью, сэр, а это не всегда одно и то же. Но давать ли награды за принесенную пользу, или за доставленное беспокойство — в обоих случаях достигается относительное бездействие, что и

требуется: вы ведь, вероятно, замечали, как достоинство отягощает человека.

— А женщин тоже награждают таким образом?

— Да, очень часто; ибо, хотя достоинства у них и без того хоть отбавляй, языки у них длинные, и, выступая публично, они почти не испытывают стыда и не знают, что такое нервы.

— А что вы скажете об их добродетели?

— Тут со времени Великой Заварухи кое-что изменилось. Теперь они не так легко продают ее, разве что за обручальное кольцо, а многие даже выходят замуж по любви. Женщины вообще нередко проявляют прискорбный недостаток коммерческого духа, и хотя многие из них теперь занимаются коммерцией, так до сих пор и не сумели перестроиться. Некоторые мужчины даже считают, что их участие в деловой жизни вредит торговле и тормозит развитие страны.

— Женщины — очень занятый пол, — сказал Ангел. — Они мне нравятся, только уж очень большое значение придают младенцам!

— Да, сэр, это их главный изъян. Материнский инстинкт — как это опрометчиво, как вредит коммерции! Впору подумать, что они любят этих малявок ради них самих.

— Да, — сказал Ангел, — это дело без будущего. Дайте мне сигару.

VIII

— Так как же определяется теперь добро? — спросил Ангел Эфира, взлетая с Уотчестерского собородрома в направлении Столичной Скинии.

— На это существует множество разноречивых взглядов, сэр, — просипел гид, у которого от встречной струи воздуха заложило нос. — Положение не более оригинальное в наше время, чем когда вы были здесь в девятьсот десятом году. Крайней правой позиции придерживаются экстремисты, полагающие, что добро осталось тем, чем было, — что оно всесильно, однако по какой-то еще не выясненной причине терпит присутствие зла; что оно вездесуще, хотя, надо полагать, отсутствует там, где присутствует зло; таинственно, хотя полностью от-

крыто людям; грозно, однако исполнено любви; вечно, однако ограничено началом и концом. Таких людей немного, но все они на виду, и главная их особенность — полная нетерпимость по отношению к тем, кто не разделяет их взглядов; и они не допускают даже попыток проанализировать природу «добра», считая, что она установлена на все времена, в том виде, как я вам сказал, лицами, давно умершими. Как вы легко можете себе представить, люди эти оказались весьма далеки от науки (какая она ни на есть) и в обществе вызывают любопытство, но не более того.

— Этот тип хорошо известен на небе,— сказал Ангел.— Но скажите, они пытаются тех, кто с ними не согласен?

— Физически — нет. Этот обычай вывелся еще до Великой Заварухи, хотя трудно сказать, как повернулось бы дело, если бы Патриотической, то есть Прусской, партии удалось подольше продержаться у власти. А так они применяют лишь пытки духовного свойства: презрительно взирают на всех инакомыслящих и обзывают их еретиками. Однако было бы большой ошибкой недооценивать их силу, ибо человеческая природа любит авторитеты, и многие готовы следовать хоть на смерть за всяким, кто на него презрительно взирает и говорит: «Я-то знаю!» К тому же, сэр, примите во внимание, как утомляет это самое «добро», когда начинаешь над ним размышлять, и как отдохновительна вера, избавляющая от таких размышлений.

— Это верно,— протянул Ангел задумчиво.

— Правое крыло центра,— продолжал гид,— это небольшая, но шумная Пятая партия. Члены ее играют на кларнете и тамбурине, на барабане и аккордеоне, это — потомки Древнего Пророка, а также последние из тех, кто, следуя за пророком более молодым, примкнул к ним в дни Великой Заварухи. Меняя свои формулировки с каждым новым открытием в науке, они утверждают, что «добро» — это сверхчеловек, бесплотный, но телесный, с началом, но без конца. Это очень привлекательная теория, она позволяет им говорить Природе: «*Je m'en fiche de tout cela!*¹ Обо мне позаботится мой старший

¹ Плевать мне на все! (франц.)

брат — во как!!!» Ее можно назвать антропоморфином, ибо она особенно успокаивающе действует на сильную личность. Каждому, как говорится, свое; и я меньше всего склонен расхолаживать тех, кто пытается найти «добро», закрывая один глаз, а не оба, как крайние правые.

— Вы очень терпимы,— заметил Ангел.

— Сэр,— сказал гид,— к старости все яснее видишь, что человек просто не может не мыслить себя как суть вселенной, а отдельные люди — не считать себя средоточием этой сути. Для таких основывать новые верования — биологическая потребность, и неразумно было бы им мешать. Это предохранительный клапан, та форма страсти, в которую выливается пламень молодости у людей, переваливших за пятьдесят лет, как мы видим на примере пророка Толстого и других знаменитостей. Но вернемся к нашей теме. В центре, разумеется, расположено подавляющее большинство — те, кто придерживается взгляда, что никаких взглядов на природу «добра» у них нет.

— Никаких? — переспросил Ангел озадаченно.

— Ни малейших. Это — единственные подлинные мистики; ибо что такое мистик, если не человек, твердо убежденный в необъяснимости собственного существования? К этой группе принадлежит основная масса Трудяг. Многие из них, правда, ничтоже сумняшеся повторяют то, что им говорят, о «добре» другие, как будто сами до этого додумались, но ведь так поступает большинство людей спокон века.

— Верно,— согласился Ангел.— Мне приходилось это наблюдать во время моих странствий. Не будем тратить на них лишних слов.

— Не говорите, сэр,— возразил гид.— Такие люди разумнее, чем кажется с первого взгляда. Вы только подумайте, что случилось бы с их мозгами, если бы они попытались мыслить самостоятельно. К тому же, как вам известно, всякое определенное мнение относительно «добра» очень утомительно, и большинство людей полагает, что лучше «не тревожить спящих собак», чем допускать, чтобы они лаяли у тебя в голове. Но я скажу вам кое-что еще,— добавил гид.— У бесчисленных

этих людей есть своя тайная вера, древняя, как мир: для них единственно важное на свете — это чувство товарищества. И сдается мне, что, если брать «добро» в узком смысле, это превосходная вера.

— А, бросьте,— сказал Ангел.

— Прошу прощения, сэр. На левом крыле центра группируются все более многочисленные сторонники того взгляда, что, поскольку все на свете очень плохо, «добро» есть конечный переход в небытие.— «Покой, последний покой»,— как сказал поэт. Вспомните избитую цитату «Быть иль не быть». Сейчас я говорю о тех, кто отвечает на этот вопрос отрицательно,— о пессимистах, притворяющихся оптимистами для обмана простодушной публики. Произошли они, несомненно, от тех, кого некогда называли «теософами» — была такая секта, которая предугадала все, а затем возжаждала уничтожения; или же от последователей Христианской науки,— для тех вещи как они есть были просто невыносимы, поэтому они внушали себе, что ничего нет, и, помнится, даже достигали в этом некоторых успехов. Мне вспоминается случай с одной дамой, которая потеряла свою добродетель, а затем снова обрела ее, вспомнив, что у нее нет тела.

— Очень любопытно,— сказал Ангел.— Я хотел бы ее расспросить, после лекции запишите мне ее адрес. А теорию перевоплощения кто-нибудь еще исповедует?

— Понятно, что вас это интересует, сэр, поскольку адепты этого учения, связанные старым, нелепым земным правилом «дважды два четыре», вынуждены для перевоплощения своего духа обращаться к иным сферам.

— Не понимаю,— сказал Ангел.

— А между тем это очень просто,— сказал гид.— Ведь всеми признано, что когда-то на земле не было жизни. Значит, первое воплощение — нас учили, что то была амеба — уже включало в себе дух, явившийся, возможно, свыше. Может быть, даже ваш, сэр. Далее, всеми также признано, что когда-нибудь на земле снова не будет жизни; а значит, последний дух ускользнет в какое-то воплощение уже не на земле, а, возможно, ниже; и опять-таки, кто знает, сэр, может быть, это будет ваш дух.

— Я не могу шутить на такие темы,— сказал Ангел и чихнул.

— Тут не на что обижаться,— сказал гид.— Последняя группа, крайняя левая, к которой я и сам в некотором роде принадлежу, состоит из небольшого числа экстремистов, полагающих, что «добро» — это вещи как они есть. Они считают, что все сущее было всегда и всегда будет; что оно лишь расширяется, и сжимается, и расширяется вновь, и так без конца; и что поскольку оно не могло бы расшириться, если бы не сжималось, поскольку без черного не могло бы быть белого, и не может быть ни удовольствия без боли, ни добродетели без порока, ни преступников без судей, постольку сжатие, и черное, и боль, и порок, и судьи — не «зло», но всего лишь отрицательные величины; и что все к лучшему в этом лучшем из миров. Это — оптимисты вольтерианского толка, притворяющиеся пессимистами для обмана простодушной публики. Их девиз — «Вечное изменение».

— И они, вероятно, считают, что у жизни нет цели?

— Вернее, сэр, что сама жизнь и есть цель. Ибо согласитесь, при всяком ином толковании цели мы должны предположить свершение, то есть конец; а конца они не признают, как не признают и начала.

— До чего логично! — сказал Ангел.— У меня даже голова закружилась. Стало быть, вы отказались от идеи движения ввысь?

— Отнюдь нет. Мы взбираемся на шест до самого верха, но потом незаметно соскальзываем вниз и снова лезем вверх; а поскольку мы никогда не знаем наверняка, лезем ли мы вверх или скользим вниз, это нас не тревожит.

— Полагать, что так будет продолжаться вечно,— бессмыслица.

— Это нам часто говорят,— отвечал гид, нимало не смутившись.— А мы все же полагаем, что истина у нас в руках, несмотря на шуточки Пилата¹.

— Не мне спорить с моим гидом,— надменно сказал Ангел.

¹ Намек на евангельскую легенду о том, как Понтий Пилат, римский наместник в Иудее, в ответ на слова Христа, что он пришел в мир свидетельствовать об истине, возразил: «Что есть истина?»

— Разумеется, сэр, ведь широты взглядов всегда следует остерегаться. Мне вот нелегко верить в одно и то же два дня подряд. А главное — во что бы ни верить, едва ли это подействует на истину: она, как видно, обладает некоей загадочной непреложностью, если вспомнить, сколько усилий люди периодически прилагают к тому, чтобы ее изменить. Однако смотрите, мы как раз пролетаем над Столичной Скинией, и если вы будете так любезны сложить крылья, мы проникнем туда через люк-говорлюк, который позволяет здешним проповедникам время от времени возноситься в высшие сферы.

— Погодите! — сказал Ангел. — Я сначала сделаю несколько кругов, пососу мятную конфетку: в таких местах у публики часто бывает насморк.

Распространяя вокруг себя соблазнительный запах мяты, они нырнули вниз через узкие ворота в крыше и уселись в первом ряду, пониже высокого пророка в очках, который держал речь о звездах. Ангел тут же уснул крепким сном.

— Вы лишили себя большого удовольствия, сэр, — сказал гид с укором, когда они покидали Скинию.

— Зато я славно вздремнул, — весело отозвался Ангел. — Ну что может смертный знать о звездах?

— Поверьте, обычно для таких речей выбирают еще более замысловатые темы.

— Вот если бы он говорил о религии, я бы охотно слушал, — сказал Ангел.

— О, сэр, но таких тем в храмах больше не касаются. Религия теперь — чисто государственное дело. Перемена эта началась в девятьсот восемнадцатом году, когда была введена дисциплина и новый билль о просвещении, а потом постепенно кристаллизовалась. Правда, отдельные правые экстремисты пытаются присвоить себе функции государства, но их никто не слушает.

— А бог? — спросил Ангел. — Вы о нем ни разу не упомянули. Это меня удивляет.

— Вера в бога, — отвечал гид, — умерла вскоре после Великой Заварухи, во время которой прилагались слишком энергичные и разнообразные усилия к тому, чтобы ее оживить. Как вы знаете, сэр, всякое действие вызывает противодействие, и, нужно сказать, религиозная пропа-

ганда тех дней так отдавала коммерцией, что была сопричислена к спекулятивным сделкам и заслужила известное омерзение. Ибо люди, едва оправившись от страхов и горя, вызванных Великой Заварухой, поняли, что их новый порыв к богу был не более как поисками защиты, облегчения, утешения и награды, а вовсе не стремлением к «добру» как к таковому. Вот эта-то истина, да еще присвоение самого титула императорами и рост наших городов (этот процесс всегда губит традиции) привели к тому, что вера в его существование угасла.

— Трудное это было дело,— сказал Ангел.

— Скорее это было изменение терминологии,— пояснил гид.— В основе веры в «добро» тоже лежит надежда что-нибудь на этом заработать,— дух коммерции неистребим.

— Разве?—отозвался Ангел рассеянно.—Может, позавтракаем еще раз? Я бы не отказался от куска ростбифа.

— Превосходная мысль, сэр. Мы закажем его в Белом городе.

IX

— В чем, по-вашему, состоит счастье? — спросил Ангел Эфира, допивая вторую бутылку пива в одном из кабачков Белого города. Гид недоверчиво покосился на своего Ангела.

— Тема трудная, сэр, хотя наиболее интеллигентные из наших журналов часто печатают ответы читателей на этот вопрос. Даже сейчас, в середине двадцатого века, кое-кто по-прежнему считает, что счастье — побочный продукт свежего воздуха и доброго вина. В старой веселой Англии его, несомненно, добывали именно таким путем. По мнению других, оно проистекает из высоких мыслей и низкого уровня жизни, а третьи, и таких довольно много, связывают его с женщинами.

— С наличием их или отсутствием? — живо поинтересовался Ангел.

— Когда как. Но сам я не присоединяюсь целиком ни к одному из этих мнений.

— Страна ваша теперь счастлива?

— Сэр,— возразил гид,— все земное познается в сравнении.

— Объясните.

— Объясню,— строго сказал гид,— если вы сперва разрешите мне откупорить третью бутылку. И замечу кстати, что даже вы сейчас счастливы лишь в сравнительной, а может, и в превосходной степени — это вы узнаете, когда допьете последнюю бутылку до дна. Может, счастье ваше от сего увеличится, может, нет — посмотрим.

— Посмотрим,— решительно подтвердил Ангел.

— Вы спросили меня, счастлива ли наша страна; но не следует ли сначала установить, что такое счастье? А как это трудно, вы скоро и сами убедитесь. Вот, например, в первые месяцы Великой Заварухи считалось, что счастья вообще нет: каждая семья была повергнута в тревогу за живых или в скорбь о погибших; а остальные тоже считали своим долгом притворяться скорбящими. И, однако, сколь это ни странно, в те дни внимательный наблюдатель не мог уловить никаких признаков усилившейся мрачности. Кое-какие материальные лишения мы, конечно, испытывали, но зато не было недостатка в душевном подъеме, который люди возвышенной души всегда связывают со счастьем; причем я отнюдь не имею в виду душевный подъем, вызываемый алкоголем. Вы спросите, что же вызывало этот подъем? Я вам отвечу в восьми словах: люди забывали о себе и помнили о других. До того времени никто и не представлял себе, скольких врачей можно оторвать от забот о гражданском населении; без скольких священников, юристов, биржевых маклеров, художников, писателей, политиков и прочих лиц, считавших делом своей жизни заставлять других копаться в собственной душе, свободно можно обойтись. Больные старухи вязали носки и забывали о своих немощах; пожилые джентльмены читали газеты и забывали ворчать по поводу невкусного обеда; люди ездили в поездах и забывали, что неприлично вступать в разговоры с посторонними; торговцы записывались в добровольную полицию и забывали спорить о своем имуществе; палата лордов вспомнила о своем былом достоинстве и забыла о своей наглости; палата общин почти забыла свою привычку пустословить. Пора-

зительнее всего случай с рабочими: они забыли, что они рабочие. Даже собаки забыли о себе, хотя это, впрочем, не ново, как то засвидетельствовал ирландский писатель в своем потрясающем обличении «На моем пороге». Но время шло, и куры, со своей стороны, стали забывать нести яйца, корабли — возвращаться в порт, коровы — давать молоко, а правительства — смотреть дальше своего носа, и вскоре забвение себя, охватившее было всех людей в стране...

— Было предано забвению,— закончил Ангел со спокойной улыбкой.

— Моя мысль, сэр, хотя я не сумел бы выразить ее столь изящно. Но так или иначе, поворот наметился, люди стали думать: «Война не так страшна, как мне казалось, ведь я еще никогда не наживал столько денег, и чем дольше она продлится, тем больше я наживу, а ради этого можно многое перенести». Все классы общества взяли себе одинаковый девиз: «Ешь, пей — все равно скоро крышка». «Если завтра меня застрелят, утопят, разбомбят, разорят или уморят с голоду,— так рассуждали люди,— лучше уж я сегодня буду есть, пить, жениться и покупать бриллианты». И они так и поступали, несмотря на отчаянные усилия одного епископа и двух джентльменов, ведавших немаловажным вопросом питания. Правда, они, как и раньше, делали все возможное, чтобы разбить врага или «выиграть войну», как это тогда не совсем точно называли, но работали только их руки, а души, за немногими исключениями, уснули. Ибо душа, сэр, так же, как и тело, требует время от времени отдыха, и я даже замечал, что обычно она первая начинает храпеть. Еще до того, как Великая Заваруха пришла к предначертанному ей концу, души в нашей стране храпели так, что на луне и то было слышно. Люди только и думали что о деньгах, о мести и о том, как бы добыть еды, хотя слово «жертва» так пристало к их губам, что стереть его было не легче, чем другие сорта губной помады, которая тогда все больше входила в моду. Многие очень повеселели. И вот я хочу вас спросить: какой из этих критериев следует приложить к понятию «счастье»? Когда эти люди были счастливы — тогда ли, когда скорбели и не думали о себе, или когда веселились и только о себе и думали?

— Конечно, первое,— сказал Ангел, и глаза его загорелись.— Счастье неотделимо от благородства.

— Не торопитесь с выводами, сэр. Я часто встречал благородство в сочетании с горем; более того, часто бывает, что чем возвышеннее и тоньше душа, тем несчастнее ее обладатель,— ведь он видит тысячи проявлений жестокости и подлой несправедливости, которых более низкие натуры не замечают.

— А вот я замечаю,— сказал Ангел, бросив на него проницательный взгляд,— что вы чего-то не договариваете. Ну-ка, признавайтесь!

— Вывод мой таков, сэр,— сказал гид, очень довольный собой.— Человек счастлив только тогда, когда живет под определенным жизненным давлением на квадратный дюйм; иными словами, когда он так увлечен своими делами, словами, мыслями, работой или мечтами, что забывает думать о себе. Если нападет на него какая-нибудь хворь — зубная боль или меланхолия — столь острая, что не дает ему раствориться в том, чем он в данную минуту занят,— тогда он уже не счастлив. И недостаточно только воображать себя увлеченным — нет, человек должен быть увлечен по-настоящему: как двое влюбленных, сидящих под одним зонтом, или поэт, подыскивающий рифму для двустушия.

— Вы хотите сказать,— заметил Ангел не без ехидства,— что человек счастлив, когда встречается на узкой дорожке бешеного быка? Ведь в таком случае давление на квадратный дюйм должно быть немалое.

— Вовсе не обязательно,— возразил гид.— В таких случаях принято отходить в сторонку, жалеть себя и размышлять о превратностях судьбы. Но если человек не растеряется и проявит мужество, это доставит ему радость — пусть даже в следующую минуту, перелетая через изгородь, он уже снова начнет размышлять. Для меня совершенно ясно,— продолжал гид,— что плод с древа познания в старинной басне не был всего лишь познанием пола, как до сих пор предполагали пуритане, но скорее символизирует познание себя и мира вообще; ибо я не сомневаюсь, что Адам и Ева не раз сидели под одним зонтом еще задолго до того, как обнаружили, что они не одеты. А счастливыми они перестали быть только тогда, когда задумались о мироздании в целом.

— Кто называет ключами к счастью любовь, кто власть,— проговорил Ангел.

— Не верьте,—перебил его гид.—Любовь и власть—это лишь два из многих путей к увлеченности, то есть к забвению себя; не более как методы, с помощью которых людям различного склада удастся от себя избавиться. Ибо тем, кто, подобно святому Франциску Ассизскому, любит все живое, некогда сознательно любить себя; а тем, кто бряцает оружием и властвует, как кайзер Билл, некогда осознать, что они не властны над самими собой. Да, именно потому, что они любят или властвуют так энергично, они и забывают в это время о себе.

— Это не глупо,—сказал Ангел задумчиво.—А как вы примените это к нынешним временам и к вашей стране?

— Сэр,—отвечал гид,—англичанин никогда не бывает так несчастен, как кажется, ибо если вы видите, что он хмурит брови или приоткрыл рот, то причиной тому скорее увлеченность, нежели задумчивость (об аде-ноидах я не говорю), а это признак натуры, склонной забывать о себе. Не следует также предполагать, будто бедность и грязь, которой, как вы могли убедиться, сколько угодно и при правлении Трудяг, уменьшают способность жить минутой; возможно даже, что они суть симптомы этой привычки. Несчастливыми чаще бывают те, у кого чистое тело и много досуга, особенно в мирное время, когда им нечего делать, кроме как сидеть под шелковицей, помещать деньги, платить налоги, мыться, совершать полеты и думать о себе. Впрочем, многие Трудяги тоже живут в напряжении и страхе и отнюдь не отрешились от копания в собственной душе.

— Стало быть, демократия — не синоним счастья?

— Дорогой сэр,—сказал гид,—я знаю, что во время Великой Заварухи многие так говорили. Но говорили тогда столько, что чуть больше или чуть меньше уже не имеет значения. Я открою вам один секрет. Мы еще не достигли демократии — ни здесь, в Англии, ни где бы то ни было. Старинная американская поговорка относительно нее звучит очень мило¹, но поскольку даже у одного

¹ Имеется в виду распространенная в США формула «Управление народом силами народа и в интересах народа».

человека из десяти нет собственного мнения ни по одному из тех вопросов, по которым он голосует, он при всем желании не может это мнение выразить. А до тех пор, пока он не научится иметь и выражать собственное мнение, он не сможет управлять собой для себя, что, как вы знаете, и составляет признак истинной демократии.

— Я что-то совсем запутался,— сказал Ангел.— Вам-то самому что нужно для счастья?

Гид гордо выпрямился на стуле.

— Если справедливо мое мнение, что счастье есть увлеченность,— замурыкал он,—то значит, наша задача в том, чтобы заставить людей увлекаться делами добрыми и приятными. Американец, составляющий корнер на пшеницу, увлечен этим и, вероятно, счастлив, однако он враг человечества, ибо деятельность его пагубна. Мы должны стремиться к тому, чтобы посвящать себя творчеству или деятельности, полезной не только для нас, но и для других. Стремиться к простоте, гордиться своей работой и забывать о себе независимо от того, кто мы такие. Мы должны делать то, что делаем, потому что это приятно, а не потому, что это может оказаться для нас выгодно, и учиться отдавать все силы тому, что делаем. Только тогда наш вкус к жизни останется острым, как лезвие бритвы, которую каждое утро правят умелой рукой. А с другой стороны, нужно приохотить нас к доброте, чистоте, умеренности, научить любить хорошую музыку, гимнастику и свежий воздух.

— Звучит неплохо,— заметил Ангел.— И какие же меры в этом направлении уже принимаются?

— Я взял за правило, сэр, знакомиться со всеми законами моей страны касательно просвещения, начиная с того, который был издан во время Великой Заварухи; но если не считать гимнастики, я пока не нашел в них ничего, что непосредственно относилось бы к этим вопросам. Да оно и не удивительно, если вспомнить, что целью просвещения считается не достижение счастья, а процветание торговли, либо содействие обостренному самосознанию с помощью того, что зовется культурой. Если бы даже появился президент Просвещения столь просвещенный, что он разделял бы мои взгляды, он бы не ре-

шился высказать их вслух из опасения, что его упекут в сумасшедший дом.

— Вы, значит, не верите в прогресс вашей страны?

— Сэр,— ответил гид очень серьезно,— вы сами посмотрели эту страну и получили от меня кое-какие сведения о ее развитии за то время, что прошло с вашего последнего посещения Земли незадолго до Великой Заварухи. От вашего орлиного взора, вероятно, не укрылось, что под влиянием этого важного события темп ее жизни несколько ускорился. Отметим вы, вероятно, и то, что, вопреки самым благим намерениям, высказанным в конце этой трагедии, мы отдались на волю обстоятельств и во всех областях жизни пошли по линии наименьшего сопротивления.

— Этому я в общем сочувствую,— сказал Ангел и зевнул.— Так легче жить.

— Вот и мы к этому пришли; и пожалуй, нам живется не так уж плохо, если вспомнить, с чем только не пришлось и не приходится бороться: бремя долга; легкие наслаждения; презренный металл; партии; патриопруссачество; народ; ученые мужи; пуритане; прокторы; собственность; философы; духовенство; и, наконец, прогресс. Однако не скрою от вас, что от совершенства мы еще очень далеки; и, возможно, через тридцать семь лет, когда вы посетите нас снова, будем от него еще дальше. Ибо не знаю, как в мире ангелов, сэр, а в мире людей ничто не стоит на месте; и, как я уже пытался вам разъяснить, для того, чтобы продвигаться вперед и физически и духовно, необходимо подчинить себе и свою среду и свои изобретения, а не подчиняться им. Пусть мы снова стали богатыми; здоровыми и счастливыми мы пока не стали.

— Я допил бутылку и готов вознестись,— решительно произнес Ангел Эфира.— А вы ничего не пьете? Ну что ж, тогда давайте я вам напишу рекомендацию!

Он выдернул перо из своего крыла, окунул в горчицу и написал на белой шляпе гида: «Капли в рот не берет— один вред для торговли».

— Теперь я покидаю Землю,— добавил он.

— Рад это слышать, сэр,— сказал гид,— чем дольше вы здесь пробудете, тем вульгарнее станете выражать-

ся. Я уже давно заметил, что к этому идет, да и по себе знаю.

Ангел улыбнулся.

— Встречайте меня один, при свете солнца, у левого льва на Трафальгар-сквер, в этот же день и час, в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году. Привет официанту. Всего! — И, не дожидаясь ответа, он расправил крылья и воспарил.

— *L'homme moyen sensuel! Sic itur ad astra!*¹ — загадочно прошептал гид и, подняв голову, еще долго смотрел вслед Ангелу, уносящемуся в Эмпирей.

1917—1918 гг.

¹ Самый обыкновенный земной человек! (франц.) Таков путь к звездам! (лат.)

ПЫЛАЮЩЕЕ КОПЬЕ

С сердцем, полным диких грез,
В вымысле послушном
Мчусь с пылающим копьем
На коне воздушном.
Проскакать во имя долга
Сквозь зловещий мрак
Двадцать миль за краем света —
Для меня пустяк.

Том Бедлам.

I

ГЕРОЙ

В 19... году на Хемпстед Хит жил невысокий и худенький джентльмен лет пятидесяти восьми, обладатель кроткого нрава и скромных средств, рассудок которого отчасти помутился от чрезмерного чтения писаний и речей различных общественных деятелей. Как и все англичане, он любил повторять «мой дом — моя крепость» и обитал в крепости, которая утопала в кустах сирени и ракитника и соседствовала с другой крепостью, которая из чисто британской нелюбви к однообразию утопала в кустах акации и калины. До мировой войны наш джентльмен, имя которого Джон Левендер, жил так, как живут немногие: он никому не причинял зла. Юрист по образованию, он, подобно большинству людей с юридическим образованием, адвокатом не стал и все свое время проводил среди домашних животных и античной мудрости. К началу изображаемых событий у него была молоденькая овчарка Блинк, чьи прекрасные глаза еле проглядывали сквозь густую шерсть; герой наш пользовался услугами худощавой энергичной экономки, некоей Мариан Петти, которая, по его мнению, была выше

всех человеческих слабостей, а также услугами ее мужа Джо, который служил у него шофером.

Подобно всем общественным деятелям, наш герой жаждал быть рыцарем без страха и упрека. Он не пил, избегал женской любви и обычно говорил правду. Его худощавое лицо со впалыми щеками не лишено было приятности, несмотря на то, что одна из бровей имела обыкновение подергиваться; светлые карие глаза, всегда смотревшие в лицо собеседнику, не умели читать тайных мыслей. Усы его были еще темны, но густые вьющиеся волосы давно поседели, ибо кабинет его с пола до потолка был завален книгами, брошюрами, журналами и стенограммами речей великих ораторов. Он был неприхотлив, ел что подают, а когда его спрашивали, что бы он хотел к обеду, он неизменно говорил: «А что у нас есть?» — и никогда не прислушивался к ответу. Дело в том, что за едою он всегда читал творения великих мужей.

— Джо,— говаривал он своему шоферу, который отличался легкой хромотой, зеленоватыми бегающими глазками и красным лицом с довольно кривым и красным носом,— Джо, вам следует прочесть вот это.

На что Джо обыкновенно отвечал:

— А кто это, сэр?

— Зуддингтон; великий человек, Джо.

— Да, башковитый парень, ничего не скажешь, сэр.

— Он так много сделал для нашей страны. Вот послушайте.

И мистер Левендер читал что-нибудь вроде:

— «Будь у меня пятьдесят сыновей, я бы отдал их всех. Будь у меня сорок дочерей, я бы послал их ухаживать за ранеными, мыть полы, полоть огороды и начинять снаряды. Будь у меня тридцать вилл, я бы все их отдал под госпитали; будь у меня двадцать вечных ручек, я бы писал ими с утра до ночи; будь у меня десять голосов, они никогда не уставали бы вдохновлять мою страну на подвиги и помогать ей в трудный час».

— А будь у него девять жизней,— довольно неожиданно прерывал его Джо,— он бы все их оставил себе.

Мистер Левендер опускал газету.

— Я не выношу цинизма, Джо; он никак не подобает джентльмену.

— Мы с этим парнем ведь и не лезем в джентльмены, сэр.

— Вы неисправимы, Джо,— заключал мистер Левендер.

Наш джентльмен, как и все джентльмены, имел счет в банке; каждый раз, читая призывы к населению нести деньги в банк и этим спасти отечество, он порывался подвести баланс в своей банковской книжке в надежде обнаружить на ней неожиданно крупную сумму.

Однажды утром в конце мая, установив, что таковой суммой он не обладает, он призвал экономку и заявил:

— Миссис Петти, мы тратим слишком много; нас опять призывают экономить. Послушайте: «Каждое пенни, не пошедшее на нужды войны, истрачено в пользу врагов рода человеческого. Я уверен, что ни один патриот — будь то мужчина или женщина — не истратит на себя ни гроша, который мог бы пойти на достижение благородных целей, столь близких нашим сердцам. Пусть каждое медное пенни станет пулей, усиливающей наше военное могущество!» Превосходная речь! Без чего мы можем обойтись?

— Без газет, сэр.

— Не говорите глупостей, миссис Петти. Откуда же мы будем черпать вдохновение, что утешит нас в эти тяжелые дни?

Миссис Петти фыркнула.

— Вы не можете есть меньше, чем едите,— сказала она,— но вы можете не кормить Блинк со своего стола— вот это да.

— Но ни один оратор до сих пор не утверждал, что это запрещено,— возразил мистер Левендер.— Когда герцог Крикингом призовет нас, я первым последую его примеру, можете быть уверены. Отечество прежде всего.

Миссис Петти покачала головой и недовольно пробормотала:

— Вы думаете, сэр, у него есть чем показать пример?

— Миссис Петти,— ответил мистер Левендер,— это совершенно недостойно вас. Скажите мне серьезно, без чего мы можем обойтись?

— Я могу обойтись без Джо,— ответила миссис Петти,— он ведь теперь не возит вас.

— Прошу вас, будьте серьезны. Джо — неотъемлемая часть моего дома, кроме того, я думаю предложить свои услуги правительству в качестве оратора, и тогда мне выдадут бензин.

— Вот как! — сказала миссис Петти.

— Я собираюсь заявить об этом завтра.

— Да что вы, сэр!

— Я чувствую, что мои силы используются не полностью.

— Неужели, сэр?

— Между прочим, вчера я читал поразительную статью о картофеле. Мы должны перекопать наш сад. Знаете ли вы, какая у нас подпочва?

— Надо думать, битый кирпич и дохлые кошки?

— М-да! Ну, скоро мы это исправим. Каждый дюйм освоенной земли — это гвоздь в крышку гроба нашего общего врага.

И, подойдя к книжному шкафу, он взял из огромной кипы третью сверху газету.

— Послушайте! — сказал он. — «Наша главная задача — извлечь из нашей земли каждую потенциальную унцию продуктов питания. Мы не удовольствуемся полумерами. Картофель! Картофель! Неважно, где, когда и как, — главнейшая национальная проблема заключается теперь в выращивании картофеля. Все британцы должны объединить усилия в деле выращивания того растения, в котором заключается самое наше спасение».

— Вот чепуха, — пробормотала миссис Петти.

Мистер Левендер читал и читал, и глаза его сверкали.

«А я ведь тоже могу внести свою лепту в спасение Англии... — думал он. — Нужна лишь искра, чтобы испепелить шлак этого непроходимого здравого смысла, который так мешает стране идти вперед».

— Миссис Петти! — позвал он, но миссис Петти уже исчезла.

.

Мистер Левендер никогда не откладывал дела в долгий ящик. Стоило ему принять внезапное решение внести свою лепту в спасение Англии, как он тотчас же послал заявление в нужную, как ему казалось, инстанцию и,

не получив ответа, сам отправился в центр государственной жизни. Было время больших перемен и немало́го народного тревожения; новые метлы чисто мели, новые учреждения возникали повсеместно. Мистер Левендер в смятении расхаживал возле больших каменных зданий и маленьких деревянных домов, не зная, куда идти. С самого начала войны он не купил себе ни одного костюма, если не считать различных форм добровольных организаций, которые правительство от времени до времени меняло, вероятно, вместе с меняющейся обстановкой; и его маленькая, съезжившаяся фигурка с локтями и коленями, блестевшими на солнце, не могла не бросаться в глаза. Найдя наконец на улице то, что, казалось, несколько не изменилось, он спросил:

— Не скажете ли вы, где находится министерство?
Полисмен снисходительно взглянул на него.

— Которое?

— В котором говорят речи об отечестве.

— Министерство пропаганды? Первый поворот направо, вторая дверь налево.

— Благодарю вас. Наша полиция безупречна.

— Ничего подобного,— холодно возразил полисмен.

— Я хотел сказать, что вы безупречны.

— Я это слышал.

— Но это же чистая правда. Не знаю, что делала бы страна без вас. Ваша надежность, ваша неизменная доброжелательность, ваша истинно британская чуткость по отношению к...

— Пройдите! — сказал полисмен.

— Я лишь повторяю то, что мы все говорим о вас,— укоризненно возразил мистер Левендер.

— Вы слышали, я сказал «пройдите»? — повторил полисмен.— А то я покажу вам, как надо себя вести!

— Вы уже показываете! — заметил мистер Левендер с чувством.

— Если вы будете оскорблять меня,— сказал полисмен официальным тоном,— я отведу вас в участок.— И он устремился в гущу машин, скопившихся на улице.

Удивленный его недружелюбием, мистер Левендер возобновил поиски и, найдя указанную дверь, вошел. Темный, пыльный, пустынный коридор долго не приводил

его решительно никуда, пока он не набрел на длинноволосую девочку в коричневом платье.

— Не скажете ли вы, крошка...— начал он, положив ей руку на голову.

— Это вы бросьте! — сказала крошка.

— Нет-нет, что вы!—возразил оскорбленный мистер Левендер.— Я только хотел спросить, где я могу найти министра.

— Вы назначены?

— Нет, но я ему писал. Он должен меня ждать.

— Фамилия?

— Джон Левендер. Вот моя карточка.

— Давайте. Обождите тут!

«Превосходно!—размышлял мистер Левендер.— Патриотические чувства уже проникли в сердца наших детей! Как это сказал наш поэт-патриот?

Где то дитя, которое в британском пульсе
Биения нужды б не услышало,
Не жаждало б, чтобы средь мировых конвульсий
Отечество его поцеловало?

Такие юные, а готовы уже принести свои жизни на алтарь отечества!»

— Пройдите,— сказала внезапно появившаяся крошка.— Он примет вас.

Мистер Левендер вошел в комнату, весьма напоминавшую приемную юриста, с той только разницей, что в ней не было шкафов с толстыми томами. Казалось, единственной мебелью в ней был сам министр, который сидел, положив ногу на ногу; на нем были огромные очки в черепаховой оправе, которые, однако, не скрывали его пронзительного взгляда. Это был человек с коротко подстриженными седыми волосами, широким и желтым, чисто выбритым лицом и выпуклыми серыми глазами.

— Мистер Левендер,— сказал он ровным и громким голосом,— садитесь, пожалуйста.

— Я писал вам,— начал наш герой,— предлагая свои услуги в качестве оратора.

— Ах так? — сказал министр.— Посмотрим: Левендер, Левендер. Вот ваше письмо.— И, достав письмо из картотеки, он просмотрел его, все время борясь со своими черепаховыми очками.— Вы хотите совершать агитацион-

ные поездки? Магистр искусств, юрист, член зоологического общества. Вы хороший оратор?

— Душевный пыл...— начал мистер Левендер

— Так, порядок! Мы боремся за победу, сэр.

— Совершенно верно,— начал мистер Левендер.— Моя преданность...

— Вам потребуется бензин,— сказал министр,— мы бензин не оплачиваем.

— Да зачем же! — ужаснулся мистер Левендер.— Я заплачу сам!

Министр устремил на него проницательный взгляд.

— А какова ваша тематика? Что-нибудь специальное или патриотизм вообще? Я советовал бы вам остановиться именно на этом, но тут, знаете ли, нужен пафос.

— Я проштудировал всех великих ораторов этой войны, сэр,— ответил мистер Левендер,— я ознакомился также с сочинениями всех великих публицистов, посвященными этой войне. Я буду учиться у них, и мой энтузиазм...

— Вот-вот! — сказал министр.— Если вам потребуются зверства, мы дадим вам сколько угодно. И никаких фактов, никаких цифр, только общая фразеология.

— Я осмеливаюсь...— начал мистер Левендер.

— Всего хорошего,— сказал министр, поднимаясь.— Когда вы приступите к делу?

Мистер Левендер тоже встал.

— Завтра же,— сказал он,— если только у меня будет бензин.

Министр нажал кнопку звонка.

— Вы все делаете на свою ответственность,— сказал он.— Никаких фактов, народу нужен только пафос. Итак, мистер Джейпс?

И, увидев, что министр смотрит сквозь свои черепаховые очки на кого-то в дверях, мистер Левендер повернулся и вышел. В коридоре он подумал:

«Какая энергия! Как это не похоже на дни, когда Диккенс писал свое «Министерство Волокиты». Так!»

Он ошибся дверью и попал в комнату, где вдоль стен сидели, положив палец в рот, шесть девочек в коричневых платьицах.

— Ах,— сказал он,— кажется, я заблудился.

Старшая из девочек вынула палец изо рта.

— Чего вам?

— Выход,— ответил мистер Левендер.

— Вторая дверь направо.

— До свидания,— сказал мистер Левендер.

Девочки не ответили.

«Эти дети поистине прекрасны! — думал он, выходя из министерства,— Какая преданность! И все же страна еще не вполне восстала от сна!»

II

ЕГО СЛУГА

Джо Петти размышлял об автомобиле, который был куплен лет пятнадцать тому назад и на котором ни разу не ездили с начала войны. В волосяных сиденьях птицы вили гнезда. Внутри пахло плесенью, все скрежетало от ржавчины.

«Хозяин явно рехнулся,— думал Джо,— на этом старом гейзере далеко не уедешь. Хорошо хоть, что на дворе лето. Если я доконаю машину, то по крайней мере не доконаю себя ремонтом. Впрочем, работать на правительство — это лучше, чем рыть землю или маршировать. Хозяин молодец!»

Размышляя таким образом, он раскурил трубку и обследовал ящик под водительским сиденьем.

«Сюда бы бутылочку-другую,— думал он,— на случай, если патриотизм собьет нас с панталыку. Хлеба батончика бы два, горшочек меду и доброй старой ветчинки. «О вольная жизнь на дороге...» И как только они додумались дать ему эту работу!»

Его монолог был прерван появлением жены, которая несла саквояж.

— Не хочешь ли с нами, старушка? — беспечно проговорил он.

— Нет уж. Я счастлива избавиться от вас. Смотри, чтобы он не промочил ноги. Что у тебя там под сиденьем?

Джо Петти заморгал.

— И с грохотом же вы, наверно, поедете,— сказала миссис Петти, оглядев автомобиль.

— Да,— глубокомысленно проговорил муж,— нам не надо никакой рекламы, чтобы собирать народ.

И, рассеянно взяв за головы двух подошедших к ним маленьких мальчишек, он столкнул их лбами.

— Ладно,— сказала миссис Петти,— мне некогда. Вот его запасные зубы. Смотри, не потеряй. Ты не забыл свою зубную щетку? Чисть зубы и води себя как следует. Черкни строчку-другую. Да не давай ему слишком кипятиться.— Она постучала пальцем по лбу.— Убирайтесь отсюда, живо! — цыкнула она на мальчишек.

Мальчишки, которых было уже шестеро, тонкими голосами закричали «ура», ибо в это мгновение в воротах появился мистер Левендер в серой широкополой шляпе и полотняном пыльнике. Он нес такую огромную кипу газет и брошюр, что из-за нее выглядывали лишь ноги и шляпа.

— Откройте дверцу, Джо,— сказал он, наткнувшись на автомобиль. Восемь мальчишек, стоявших с другой стороны машины, издали пронзительное «ура». Приняв это за предзнаменование успеха, мистер Левендер снял шляпу и, просунув голову в окно, обратился к десяти мальчишкам:

— Благодарю вас. Я никогда не забуду ваших чувств. Правительство облекло меня высокой миссией пробудить нашу страну в дни, требующие от нас чрезвычайных усилий. Я счастлив, что сейчас, в преддверии моей высокой миссии, я могу приветствовать собрание юных светлых умов, каждый из которых в этой демократической стране, быть может, имеет задатки генерала или даже премьер-министра. Да будут ваши ревностные старания...

В эту секунду кусок школьного ластика ударился в лоб мистеру Левендеру, и оратор отпрянул в глубь машины.

— Все ли в порядке, сэр? — спросил Джо, обернувшись, и, не дожидаясь ответа, включил мотор. Автомобиль двинулся под градом камней, мячей и криков «ура», которыми его осыпали пятнадцать рьяных преследователей. Покачиваясь из стороны в сторону и гроыхая канистрой, машина набрала скорость и, свернув за угол, выехала на шоссе. Мистер Левендер, несколько ошелом-

ленный, ибо ластик был тверд, как камень, сидел и смотрел в заднее окошечко на оставшийся позади великий город. Губы его шевелились, бессознательно выражая чувства бесчисленных лорд-мэров:

— Великая столица мира, королева торговли, я слышу биение твоего сердца, со смешанным чувством гордости и печали я покидаю тебя. С чувством величайшей благодарности к тебе я слагаю с себя эти обязанности. Иной труд зовет меня, он... Джо!

— Да, сэр?

— Вы видите?

— Я вижу только вашу голову, сэр.

— Нас сопровождает облачко пыли, которое все время находится на одинаковом удалении от нас, как раз посреди дороги. Как вы полагаете, это не может быть добрым предзнаменованием?

— Нет. Скорее, это собака.

— В таком случае остановитесь! — сказал мистер Левендер, который был равнодушен к собакам. Джо затормозил и выглянул из окна. Облачко пыли быстро приближалось.

— Это действительно собака, — сказал мистер Левендер, — это Блинк.

Из пыли возникла почти распластавшаяся на бегу серая овчарка с белой мордой и грудью, обезумевшая от волнения и от того, что шерсть, падавшая на глаза, слепила ее; она пронеслась мимо них, как молния.

— Поехали! — закричал мистер Левендер. — За ней, она хочет догнать нас!

Джо прибавил газу, и машина бесстрашно понеслась вперед, раскачиваясь кузовом из стороны в сторону и громяхая канистрой, но чем быстрее они мчались, тем быстрее бежала овчарка.

— Это ужасно! — в отчаянии бормотал мистер Левендер, высовываясь из машины. — Блинк! Блинк!

Его крики тонули в реве мотора.

— Чертова сука! — шипел Джо. — При такой скорости она будет за холмом в два счета. За кого она нас принимает?

— Блинк! Блинк! — вопил мистер Левендер. — Быстрее, Джо, быстрее! Она все дальше и дальше.

— В жизни ничего подобного не видел,— сказал Джо.— Подумать только, гнаться за тем, кто догоняет тебя. Ну и ну!

Подгоняемая их криками и грохотом преследующего ее автомобиля, бедная овчарка что было сил старалась нагнать своего исчезнувшего хозяина; в свою очередь, мистер Левендер, Джо и начавший издавать самые жалобные звуки и запахи автомобиль тоже старались изо всех сил.

— Так я загублю машину,— сказал Джо.

— Ну и пусть! — воскликнул мистер Левендер.— Я должен догнать собаку!

Они пронеслись по окраине Гарден Сити.

— Держите ее! Держите ее! — взывал мистер Левендер к оставшимся позади изумленным жителям.— Джо, это какой-то кошмар!

— Страшный сон среди бела дня,— подтвердил Джо, прибавляя скорость; пар столбом вырывался из радиатора.

— Если она добежит до того холма прежде, чем мы догоним ее, нам крышка; этот старый гейзер лазить по холмам явно не может.

— Мы нагоняем ее! — закричал мистер Левендер.— Я уже вижу ее высунутый язык.

И словно испугавшись его крика, автомобиль рванулся вперед и, содрогнувшись всем корпусом, внезапно остановился; дверца распахнулась, и мистер Левендер вывалился прямо на овчарку.

К счастью, упал он как раз там, где были единственные в этом краю заросли крапивы, а упав в крапиву и вдобавок на собаку, он значительно смягчил свое падение. Все же прошло несколько минут, прежде чем мистер Левендер полностью пришел в себя. Он обнаружил, что сидит на придорожной вехе, что овчарка стоит перед ним на задних лапах и тщательно вылизывает его лицо и дышит ему прямо в рот.

— Джо,— позвал он,— где вы?

Голос Джо донесся из-под машины:

— Здесь, сэр. Авария.

— Вы хотите сказать, что мы надолго задержимся?

— Да. Накрепко застряли. Вы пошли бы домой, сэр. Здесь нет и двух миль.

— Нет, нет! — сказал мистер Левендер. — Мы ведь недавно проехали Гарден Сити, я могу пойти туда и сказать там речь. Долго вы здесь задержитесь?

— День-два, — ответил Джо.

Мистер Левендер вздохнул; услышав этот горестный вздох, овчарка принялась утешать хозяина с удвоенной энергией.

«Ничто так не украшает человека, как философское отношение к жизни, — думал он. — Я всегда восхищался теми великими деятелями, которые в минуту величайшей опасности, нависающей над страной, сохраняют хороший аппетит. Мы немножко посидим в автомобиле, ибо у меня, кажется, все болит, и я тем временем обдумаю свою речь».

Движимый этими мыслями, он вместе с собакой влез в машину и уселся в ней, ощущая явственное беспокойство.

«На какую же тему я буду говорить в Гарден Сити?» — думал он. И, вспомнив, что захватил речь одного епископа о деторождении, он углубился в груду литературы и, разыскав нужную брошюру, начал зубрить ее. От резкого удара молотком как раз под тем местом, на котором сидела Блинк, мистер Левендер на мгновение оторвался от брошюры, а Блинк вскочила и осмотрела свой крошечный хвостик.

«Интересно, что Джо всегда делает то, что следует, но не там, где следует, — мечтательно подумал мистер Левендер. — Это очень по-английски».

Грохот молотка продолжался, и собака, вспомнив о всемогуществе своего хозяина, влезла на сиденье и вновь стала лизать его лицо. Мистеру Левендеру пришлось подчиниться.

— Джо, — сказал он, высовываясь и глядя вниз, — вам это необходимо?

Очень красное лицо Джо выглянуло из-под машины.

— В чем дело, сэр?

— Я готовлюсь к речи, вам очень необходимо стучать?

— Нет, — ответил Джо, — можно и без этого.

— Я не хочу, чтобы вы впустую тратили время, — сказал мистер Левендер.

— Не беспокойтесь, сэр,— ответил Джо,— тут работы непочатый край.

— В таком случае я хотел бы закончить приготовления к речи.

Мистер Левендер снова уселся на сиденье, а Блинк улеглась внизу, положив голову ему на ботинки. Звук его голоса, подобный жужжанию большой мухи, наполнил автомобиль.

— Если мы хотим выиграть эту войну, мы должны делать все для того, чтобы наше народонаселение неуклонно возрастало. В городах и в деревнях, в хижинах и во дворцах, а превыше всего здесь, в Гарден Сити, мы должны стремиться к тому, чтобы у нас было как можно больше детей.

В этом месте Блинк, смотревшая на него с обожанием, прыгнула ему на колени и лизнула его в губы. Снова мистер Левендер вынужден был отвлечься.

— Прочь, Блинк, прочь! Я говорю это не тебе. Будущее нашей страны в руках только что родившихся маленьких граждан. Мой призыв обращен главным образом к нашим женщинам. Именно в них мы видим...

— Не хотите ли пивка, сэр?

Перед мистером Левендером появился стакан с янтарной жидкостью.

— Джо,— грустно сказал он,— вы же знаете мои правила...

— В виде исключения, сэр.

Мистер Левендер вздохнул.

— Нет-нет, я должен жить согласно тем принципам, которые проповедую. Я скоро подниму общественное мнение по вопросу об алкоголе.

— Ладно, мое счастье,— сказал Джо, осушая стакан.— Не хотите ли ветчинки?

— Вот это мне не повредит,— сказал мистер Левендер, беря из рук Джо нож, на который был наколот кусок ветчины.

— Именно в них мы видим,— продолжал он,— надежду на омоложение империи, надежду на восполнение боевых потерь.— И он поднес нож ко рту. Ветчины на нем не было, а Блинк уже виляла задом и облизывалась.

— Блинк! — укоризненно сказал мистер Левендер. — Джо!

— Да, сэр!

— Когда вы позавтракаете и отремонтируете машину, вы сможете разыскать меня в ратуше или на рыночной площади. Смотрите за собакой. Я привяжу ее. У вас есть какая-нибудь бечевочка?

Привязав Блинк к ручке дверцы и стараясь не смотреть в ее грустные глаза, мистер Левендер направился в Гарден Сити, сжимая в одной руке брошюру, а в другой — палку с Т-образным набалдашником. Водворив ветчину под сиденье, Джо прикончил бутылку пива.

«Вот и прекрасно, — мечтательно раздумывал он. — Тихо, ты, сука! Будешь ты сидеть смирно? Как я смогу вздремнуть, когда ты затеяла эту возню? Ложись! Так оно лучше».

Блинк утихла и принялась грызть веревку. Улыбка на лице Джо становилась все шире и шире, голова слегка подалась в сторону, рот раскрылся, в него влетела муха.

«Фу ты, черт, — подумал он, выплевывая ее, — собака вроде утихомирилась».

Он уснул.

III

МИСТЕР ЛЕВЕНДЕР ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД ТОЛПОЙ ГУННОВ

«Народу нужен пафос! — думал мистер Левендер, подходя к окраинным домам. — Моя первая задача тем не менее собрать народ».

— Не скажете ли вы, — обратился он к мусорщику, — где здесь рыночная площадь?

— У нас ее нету.

— В таком случае, где же ратуша?

— Тоже нету.

— Где же, наконец, собираются люди? — спросил мистер Левендер.

— А они не собираются.

— Разве здесь не бывает массовых митингов?

— Гм! — загадочно хмыкнул мусорщик.

— Я хотел бы сказать здесь речь о деторождении.

— Билл! Джентльмен хочет говорить о деторождении. Куда бы его послать?

Человек, несший ящик с инструментами, даже не обернулся.

— Видали?—сказал мусорщик и, стегнув свою кобылу, поехал прочь.

«Как это неучтиво!»—подумал мистер Левендер. Что-то холодное и влажное ткнулось ему в руку, он вздрогнул и увидел Блинк, которая плясала вокруг него, изогнувшись, как подкова. С шеи собаки свисал обрывок бечевки. В горький миг разочарования вид преданного существа доставил мистеру Левендеру чистую радость.

— Удивительное животное! — прошептал он.

Овчарка ответила ему прыжками и таким оглушительным лаем, что двое мальчишек и девочка с коляской остановились посмотреть и послушать.

«Она словно ртуть»,— подумал мистер Левендер, и, поскольку собака занялась его шляпой, которую она сбила наземь, изливая чувства, он погладил ее по голове и пощекотал за ухом. Овчарка пришла в состояние гипнотического транса, прерывавшегося лишь блаженным урчанием.

«Самые прекрасные глаза в мире! — думал мистер Левендер, водружая шляпу на место.— Из них так и лучится доброта и невинность!»

Его длинный полотняный пыльник, вывалянная в пыли широкополая шляпа и трость с Т-образным набалдашником привлекли внимание пяти мальчишек, маленькой девочки с коляской, почтальона, горничной и трех престарелых леди.

— Какая прелестная собачка! — сказала одна из престарелых леди.— Чудная собачка! Скажите, вы пастух?

Мистер Левендер снял шляпу.

— Нет, сударыня,— сказал он,— я оратор.

— Как это глупо с моей стороны! — сказала престарелая леди.

— Что вы, что вы, это моя вина.— И мистер Левендер поклонился.— Я пришел сюда, чтобы произнести речь о необходимости деторождения.

Престарелая леди, пронзительно взглянув на него, сказала что-то на ухо своим спутницам, и они отошли подальше.

Тем временем разнесся слух, что на Клемансо-Роуд околела лошадь, и новые мальчишки, девочки и три солдата в синих госпитальных пижамах с красными шнурами присоединились к окружению мистера Левендера, который счел столь быстрое образование аудитории за истинный промысел господень. Он огляделся, ища трибуну, но не увидел ничего, кроме низкой кирпичной ограды, окружавшей виллу, возле которой он находился. Поэтому он вскарабкался на ограду и встал там, крепко уцепившись за веточку молодой акации, а Блинк, встав на задние лапы, царапала кирпич, подвывала и обнюхивала хозяйские ботинки. Вдохновленный ропотом изумления, быстро перераставшим в веселые возгласы, мистер Левендер обнажил голову и произнес следующее:

— Братья британцы, в этот критический момент в истории нашей родины я не стану извиняться перед вами за то, что обращаюсь к незнакомым людям, собравшимся вокруг меня. Здесь, в колыбели патриотизма, в самом сердце великих национальных движений, я могу с полной уверенностью полагать, что вы сознаете, как нужны стране люди. В этот момент, когда каждый мужчина определенного возраста и выше нужен фронту, а каждая взрослая женщина работает в госпиталях, на заводах, в сельском хозяйстве и так далее, мы, как никогда, должны мобилизовать все остающиеся силы генетического прогресса для увеличения народонаселения нашей страны. Ни один мужчина, ни одна женщина не имеют права уклониться от исполнения этого высокого долга, ибо наша цель — уничтожить нашего общего врага. Бок о бок с нашими американскими двоюродными братьями, с прекрасной Францией и Владычицей Адриатики мы боремся за устранение величайшей угрозы, которая когда-либо нависала над цивилизацией. Наш злобный враг силен и беспощаден. И пока от меня что-то зависит, каждый мужчина, каждая женщина отдадут себя священному делу победы; они будут стоять до последней капли крови и скорее погибнут, чем позволят нам оставить нашу ниву невспаханной. Но, леди и джентльмены, мы не должны забывать, что на место каждого павшего на поле брани мы обязаны поставить двоих. Вы не должны довольствоваться обычными усилиями, ибо сейчас не мирное время. Никогда еще в истории нашей ро-

дины не было такой безотлагательной потребности... в близнецах, если вы позволите мне употребить это образное слово. Да будут не один, а двое новорожденных в каждой семье и в каждом доме, где нет семьи, ибо только так мы сможем залечить раны, нанесенные войной.

В этот момент теперь уже многочисленные слушатели, дотоле стоявшие молча, разразились криками: «Так-так! Давай еще!» — и мистер Левендер, хотевший жестом призвать к вниманию, выпустил из рук ветку акации и свалился с ограды в сад. Все время речи своего хозяина Блинк подскуливала и тыкалась носом в его ботинки, но теперь, видя, что хозяин исчез, она перемахнула через ограду и очутилась у него на груди. С трудом поднявшись на ноги, мистер Левендер предстал перед пожилым господином чрезвычайно деловитого вида, который тут же проговорил:

— Вы нарушаете частную собственность!

— Да-да, я знаю,— вежливо ответил мистер Левендер,— я очень извиняюсь. Я ведь попал сюда не нарочно.

— Вздор! — сказал господин.

— Я свалился с ограды.

— Как вы думаете, чья это ограда? — спросил господин.

— Откуда мне знать? — сказал мистер Левендер.— Я ведь не здешний.

— Пошла прочь! — крикнул господин, пиная ботином Блинк.

Глаза мистера Левендера засверкали.

— Вы можете оскорблять меня,— проговорил он,— но если вы будете бить мою собаку, я дам вам пощечину.

— Попробуйте! — сказал господин.

— И попробую,— ответил мистер Левендер и стал расстегивать свой полотняный пыльник.

Неизвестно, до каких крайностей могло бы дойти дело, если бы в это мгновение престарелая леди, принявшая мистера Левендера за пастуха, не появилась на дорожке сада. Она постукивала себя пальцем по лбу.

— Ясно! — сказал владелец сада.— Уведите его отсюда!

Престарелая леди взяла мистера Левендера под руку.

— Пойдемте со мной, сэр,—сказала она,— и возьмем с собой вашу прелестную собачку.

Мистер Левендер, всегда отличавшийся галантностью, поклонился и, застегнув пыльник, последовал за престарелой леди к воротам.

— Он ударил мою собаку,— рассказывал мистер Левендер.— Что может быть гнуснее?

— Да-да,— утешала его престарелая леди.— Бедная собачка!

Увидев мистера Левендера, толпа, ожидавшая новых развлечений, разразилась протяжным гоготом.

— Пойдите! — сказал мистер Левендер.— Я сейчас попрошу их дать, кто сколько может.

— Ах,— сказала престарелая леди,— бедняжка!

— Не знаю, что вы имеете в виду, сударыня,— сказал мистер Левендер, ощутивший прилив сил,— я попрошу их дать, кто сколько может, на увеличение народонаселения.

С этими словами мистер Левендер высвободил локоть, за который держала его престарелая леди, и двинулся в толпу с протянутой шляпой. В то же мгновение мальчишка выхватил у него шляпу, нахлобучил ее себе на голову и пустился прочь, преследуемый Блинк, прыжки и лай которой столь рьяно подгоняли его, что он бежал так быстро, как никогда доселе. Мистер Левендер трусил следом и пронзительно кричал:

— Блинк! Блинк!

Толпа двигалась за мистером Левендером, а престарелая леди поспешала за толпой. Это продолжалось до тех пор, пока мальчишка не добежал до общественной лужи и не бросил туда шляпу, после чего перелез через забор и, сделав стратегический обход, примкнул к толпе, как ни в чем не бывало. Брошенная шляпа, скользнув по поверхности пруда, прочно утвердилась в нем тульей вниз, отдаленно напоминая водяную лилию; Блинк же, видя во всем этом волю хозяина, стояла на берегу и яростно лаяла. Мистер Левендер приблизился к воде, чуть-чуть опередив толпу.

— Моя верная Блинк! — сказал он.— Принеси шляпу! Верная Блинк!

Блинк взглянула в лицо хозяину и, с проницатель-

ностью, свойственной ее породе, поняв, что ей надлежит войти в воду, стала пятиться от пруда.

— Она не привыкла к воде,— объяснил мистер Левендер трем солдатам в синих пижамах.— Верная моя Блинк! Принеси же шляпу!

Пятившаяся Блинк уткнулась задом в солдат; они схватили ее за голову и за хвост, швырнули в пруд и стали подгонять камешками в сторону шляпы. Оказавшись в воде, умное животное бесстрашно устремилось вброд к шляпе и, громко лая, стало носом подталкивать ее к берегу.

— Она думает, что это овца,— сказал мистер Левендер,— поразительный пример наследственных инстинктов.

Не в силах совладать со шляпой, Блинк стала втаптывать ее в грязь.

— Ур-ра! — завопила толпа.

— Хозяин, дай шиллинг, я достану тебе шляпу.

— Благодарю тебя, дитя мое,— сказал мистер Левендер, доставая шиллинг.

Мальчишка — тот самый мальчишка, который швырнул шляпу в пруд,— вошел в воду и направился к шляпе. Но стоило ему подойти поближе, как, рыча и скаля клыки, Блинк стала между ним и шляпой.

— А она не укусит? — завизжал мальчишка.

— Она кусает только чужих,— прокричал в ответ мистер Левендер.— Блинк!

Вдохновленная призывом хозяина, Блинк вцепилась мальчишке в куртку; мальчишка рванулся к берегу, шляпа же продолжала красоваться в центре пруда, как мишень для камней, которыми солдаты пытались подогнать ее к берегу. В это время престарелая леди подоспела к мистеру Левендеру.

— Ваша прекрасная шляпа...— пробормотала она.

— Благодарю вас за сочувствие, сударыня,— сказал мистер Левендер, ладонью приглаживая растрепавшуюся шевелюру.— В подобные минуты нельзя не оценить глубокую человечность британцев. Я искренне верю, что ни в каком другом народе вы не найдете такого всеобщего интереса, такого стремления достать шляпу из воды. Что бы ни говорили, мы великая нация и при каждом удобном случае демонстрируем наши лучшие качества.

Вы, вероятно, помните слова передовицы: «В сведенных судорогой и кровоточащих руинах, в которые наш бесчеловечный враг превратил цивилизованный мир, мы, сыны славного острова, продолжаем сиять беспорочной лучезарностью всех тех качеств, которые отличают человека от разъяренного дикого зверя».

— Но как вы достанете шляпу? — спросила леди.

— Того не ведаю, — ответил мистер Левендер, все еще находившийся во власти чувств, пробужденных длинной цитатой. — Да будь у меня пятнадцать шляп, я бы снял их все, чтобы обнажить голову перед добродетелями британского народа, которые устно и письменно славят все великие люди с самого начала войны.

— Да, да, — успокаивала его престарелая леди. — Только я думаю, что солнце сегодня очень печет. Встаньте под мой зонтик.

— Сударыня, вы очень добры, — сказал мистер Левендер, — но ваш зонтик слишком мал. Лишить же вас хотя бы дюйма тени было бы недостойно британского общественного деятеля.

И, сделав шаг назад от предложенного зонтика, он оказался в пруду, о существовании которого позабыл.

— Боже мой! — проговорила престарелая леди. — Вы же промочите ноги!

— Не страшно, — храбро ответил мистер Левендер. — И, увидя, что уже промочил ноги, он закатал брюки, подобрал полы плаща и направился вброд к шляпе, что вызвало неистовый восторг толпы.

«Война учит нас не придавать большого значения мелочам, — размышлял он, выжимая шляпу. — У меня мокрые ноги, но в окопах они были бы гораздо мокрее, если только ноги могут быть мокрее мокрых (ход его мыслей отличался известной точностью)». — Прочь, Блинк, прочь! — Ибо Блинк в радостном волнении бросалась на него, оставляя на пыльнике грязные отпечатки своих чувств. — «Для человека нет ничего отраднее, чем преданность собаки», — думал мистер Левендер; он надел шляпу и зашагал к берегу.

Еще более разросшаяся толпа наблюдала за ним со всеми признаками истинного наслаждения, и мистеру Левендеру показалось, что сейчас самое время продолжить речь. Поэтому, не вылезая из пруда, который в дан-

ном случае послужил ему трибуной, он произнес ниже-
следующее:

— Не зависящие от меня обстоятельства собрали вас здесь в количестве, делающем честь нации, к которой мы все принадлежим. В разгар величайшей из войн, которые когда-либо угрожали принципам свободы, я радуюсь при виде такого множества людей, способных подчиниться свободным, безыскусственным порывам своих душ. Ибо, помня о том, что каждый час наш принадлежит отечеству, мы не должны забывать и слова песни, сложенной нашими отцами: «Никогда англичане не будут рабами». Только сохранив свободу своего личного сознания и одновременно всей душой откликаясь на каждый зов государства,— только так можем мы рассчитывать на окончательный разгром всех злых умыслов архиврагов рода человеческого.

В это мгновение маленький камешек больно ударил его по руке.

— Кто бросил этот камень? — спросил мистер Левендер.— Пусть он выйдет вперед.

Виновный — разумеется, не кто иной, как мальчишка, бросивший шляпу в пруд и не соизволивший извлечь ее оттуда даже за шиллинг,— виновный, почуяв угрозу, прибег к испытанному средству: он пронзительно заорал:

— Изменник!

И таков был врожденный патриотизм толпы, что этот крик подхватили сразу во многих местах. На минуту мистер Левендер от изумления потерял дар речи.

— Изменник! Изменник! — разрастался крик, и Блинк взвизгнула от камня, который угодил ей в нос; глаза мистера Левендера сверкнули.

— Гунны! — закричал он.— Гунны! Сейчас я вам покажу!

Произнеся эту невероятную угрозу, он вылез из пруда в ту минуту, когда автомобиль рассек толпу надвое и знакомый голос произнес:

— Куда же это вы залезли, сэр?

— Джо,— сказал мистер Левендер,— не отвлекайте меня!

— Садитесь в машину, сэр!

— Никогда!

— Изменники! — орала толпа.

— Садитесь! — повторил Джо.

И, схватив мистера Левендера за ворот, он свободной рукой сбросил наземь его грязную шляпу, втолкнул хозяина в машину, захлопнул дверцу, влез на свое место и включил полную скорость. Блинк, лая и прыгая, неслась впереди.

Вырвавшись из Пайав Перейд на Боттомли-Лейн, Джо гнал машину до тех пор, пока толпа наконец не превратилась в воспоминание. Он остановился, чтобы узнать самочувствие хозяина. Мистер Левендер, высунувшись в окно, глядел назад и дрожал всем телом.

— Ну, сэр, — проговорил Джо, — скажу я вам!

— Джо, — произнес мистер Левендер, — их всех следует арестовать. Все они, без сомнения, гунны!

— Речь явно утомила вас, сэр, — сказал Джо. — Но как бы то ни было, дело с концом.

С минуту мистер Левендер молча смотрел на него, ватем прижал ладонь к горлу и хрипло сказал:

— Нет, Джо, я не думаю, что дело с концом. Ни один оратор не мог бы так думать. Ответственность — неотъемлемая часть нашего высокого призвания.

— Минуточку, — пробормотал Джо, нырнув в бездну под водительским сиденьем. — Глотните-ка, сэр.

Мистер Левендер поднес стакан ко рту и выпил все содержимое; лишь по капелькам, оставшимся на усах, он понял, что оно пахнет ромом и медом.

— Джо, — укоризненно сказал он, — вы заставили меня нарушить мои правила.

Джо улыбнулся.

— Да к чему они, сэр? Вы же сегодня будете ночевать дома.

— Ни в коем случае, — сказал мистер Левендер, — сегодня мы ночуем в Хай-Барнет; завтра я скажу там речь о воздержании в военное время.

— Как угодно, сэр. Тогда постарайтесь вздремнуть, пока мы едем.

И, втащив в автомобиль мокрую, обессиленную Блинк, к черному носу которой пристал какой-то красный лепесток, Джо уселся на свое место и включил ско-



рость. Мистер Левендер, годами не нюхавший спиртного, коего он только что проглотил чуть не полпинты, быстро впал в забытие. И он пришел в чувство, лишь проснувшись следующим утром.

IV

...ИСПЫТЫВАЕТ ПРЕВРАТНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«В котором часу назначен митинг?» — Эта зыбкая мысль возникла в голове мистера Левендера, который лежал в постели и смотрел на свет, пробивавшийся сквозь жалюзи. — Блинк!

Собака, которая лежала рядом с постелью и глодала предусмотрительно притащенную в комнату кость, поднялась и посмотрела на хозяина невинными глазами, отличающими ее породу.

«В ее глазах божественное безумие, — подумал мистер Левендер, — это очень радует меня. Ах, как болит голова!» — И, увидев возле руки шнурок от звонка, он потянул за него.

— Да, сэр, — раздался голос.

— Я бы хотел видеть моего слугу Джо Петти, — сказал мистер Левендер. — Завтрак мне не нужен, благодарю вас. Как велико население Хай-Барнета?

— Не знаю, о чем вы говорите, сэр, — ответил голос, который явно принадлежал его экономке. — Но Джо вы не увидите, я ему показала, где раки зимуют. Подумать только, он позволил вам промочить ноги!

— Что происходит? — сказал мистер Левендер. — Я полагаю, что вы горничная в хай-барнетской гостинице.

— Конечно, нет, — успокоительным тоном проговорила миссис Петти, вставляя ему в рот термометр. — Покурите немножко эту штуку, сэр. О! Посмотрите только, что эта псина притащила сюда! Фу! — И, схватив кость двумя пальцами, она вышвырнула ее в окно. Блинк, видя, что ее считают виноватой в то время, как она ни в чем не повинна, вытянула левую лапу и положила голову на правую. Миссис Петти склонилась над хозяином, который лежал, глядя в потолок.

— Я так и думала, — сказала она, вынимая термометр,

торчавший из-под усов мистера Левендера.— Сто и одна. Лежите, сэр. Ох, этот Джо!

— Миссис Петти,— голос мистера Левендера был слаб, ибо голова болела невыносимо,—принесите, пожалуйста, утренние газеты.

— Нет, сэр. Когда у вас будет сто и десять, термометр взорвется. Я лучше вызову доктора.

Мистер Левендер запротестовал было, но вдруг вспомнил, что у всех общественных деятелей есть доктора.

— Относительно бюлле...? — Он говорил невнятно и проглотил окончание.

— Что? Пули? — выдохнула миссис Петти, лицо которой в этот миг показалось мистеру Левендеру состоящим из скул, глаз и черных теней.— Джо мне не сказал ни слова о пуле. Где и как вы ухитрились ее получить?

— Я не говорил пуля, я хотел сказать бюл-ле-тень. О состоянии здоровья.

Услышав эту загадочную сентенцию, миссис Петти всплеснула руками и, пробормотав: «Бред»,— устремилась из комнаты. Стоило ей уйти, как внимательная Блинк поднялась и, подойдя к окну, положила передние лапы на подоконник. Увидя, что кость сияет внизу на лужайке, она, со свойственным всем тонким натурам пренебрежением к житейским последствиям, выпрыгнула в окно. Грохот жалюзи потревожил впавшего в забытие мистера Левендера.

«Мистер Джо Левендер провел ночь спокойно,— подумал он,— однако состояние его остается критическим». И его расстроенному воображению уже представляли нарушившие уличное движение толпы у станций метрополитена; люди стояли с вечерними газетами в руках и читали бюллетень о состоянии его здоровья.— «Так-так,— размышлял он,— как это обычно бывает? Завтра мне станет лучше, но я не смогу еще вставать с постели, послезавтра наступит некоторое ухудшение, и мое состояние еще будет внушать опасения, через два дня... Что это за шум?» — До его слуха внезапно донесся звук, подобный вою ветра в сухих камышах в сочетании со скрежежом пилы. Затем последовало громкое царапанье.

— Блинк!—позвал мистер Левендер. Жалобный визг донесся из-за двери. Мистер Левендер встал и открыл ее.

Собака с костью в зубах вбежала в комнату, положила кость у постели и поделила свое внимание между костью и ногами хозяина, видневшимися из-под ночной рубашки, которую он предпочитал пижаме в знак уважения к заветам великого Дизраэли. Достигнув вертикальности, мистер Левендер, разгоряченное воображение которого уже домчалось до времен благополучного выздоровления, почувствовал, что свежий воздух принесет ему пользу, и поэтому высунулся из окна, под которым росла сирень.

— Выздоровливающий мистер Джо Левендер,— бормотал он,— перед тем, как вернуться к исполнению обязанностей, отправился в свою загородную резиденцию.

Его внимание привлекла высокая и стройная юная леди, розовощекая блондинка, которая поливала душистый горошек в саду соседской крепости. Деликатный от природы, мистер Левендер тотчас же стал искать какую-нибудь верхнюю одежду и, облачась в домашнюю куртку с поясом, вернулся к окну. Не прошло и двух минут, как он увидел, что соседка рыхлит землю на клумбе, и, исполненный восхищения, он еще дальше высунулся из окна и проговорил:

— Моя дорогая юная леди, вы делаете великое дело.

Юная леди, обладательница таких живых серых глаз, от которых ничего не скроется и которые означают широкую натуру, не чуждую веселости, взглянула на мистера Левендера и улыбнулась.

— Верьте мне,— продолжал мистер Левендер,— в эти дни ни одно дело не может сравниться по важности с возделыванием земли; сейчас, когда каждый мужчина и каждый доллар отданы фронту, каждая женщина и каждый ребенок на наших островах должны положить свои руки на рукоятки плуга.— При этих словах поле его зрения внезапно расширилось и ему показалось, что он видит не одну юную леди, а множество юных леди, заполнивших весь соседний сад.

— Мы переживаем,— продолжал он, напрягая голос,— психологический момент, поворотный пункт в истории наших островов. Разгром нашего общего врага возлагает на нас новую священную обязанность; эта обязанность — еще раз накормить наш народ. «В такие

дни поток деяний наших ведет нас неизменно к...» Ах!— Желая потрясти своих слушательниц до глубины души, он высунулся из окна слишком далеко и, потеряв опору в натертом паркете спальни, начал соскальзывать вниз, к кустам сирени. Рывок сзади задержал его падение: Блинк, встревоженная исчезновением хозяина, успела схватить его за подол ночной рубашки.

— Что с вами? — спросила юная леди.

— Я поскользнулся,— прохрипел в ответ мистер Левендер, у которого кровь прилила к голове, оказавшейся ниже ног.— Моя собака, кажется, держит меня. Хорошо бы, кто-нибудь помог ей, я боюсь, что все же падаю.

— Держитесь! — крикнула юная леди. Она прорвалась сквозь низкую жасминовую изгородь, разделявшую два владения, и, издавая глухие булькающие звуки, скрылась где-то под мистером Левендером.

Мистер Левендер не смел более выговорить ни слова из опасения, что Блинк может ответить ему и таким образом отпустить подол рубашки; он продолжал висеть, раздираемый беспокойством относительно своего костюма.

«Если она войдет в комнату,—размышлял он,—я умру со стыда. Если же она не войдет в комнату, я сломаю шею. Какая ужасная дилемма! — И он решительно уцепился за наиболее крепкие ветки сирени, по-заячьи остро прислушиваясь, не раздастся ли какой звук в комнате, в которой он более нисколько не находился. И вдруг на выручку ему пришла мысль: а что должен делать общественный деятель, находясь в таком положении? — Двум смертям не бывать,—подумал он.—Лучше смерть, чем позор перед лицом юной леди.— И слова некролога немедленно заплясали у него перед глазами.— «Великий общественный деятель не только жизнью, но и смертью сделавший честь отчизне».— И изо всех сил дернувшись ногами, он устремил свое тело вниз. «Боже мой!» — слышалось сверху в тот момент, когда уже более ничего не удерживало его от падения; мистер Левендер свалился в сирень, перекувырнулся и грохнулся оземь. Он лежал, растянувшись во всю длину, и ничто не ускользало от его внимания, и прежде всего он видел, что из окна спальни на него смотрят Блинк и юная леди.

— Вы не ушиблись? — крикнула юная леди.

— Нет, — сказал мистер Левендер, — то есть, да, — добавил он с присущей ему любовью к точности.

— Сейчас я спущусь к вам, — сказала юная леди. — Не шевелитесь!

С огромным трудом мистер Левендер привел в порядок свой костюм и закрыл глаза. «Как многие лежат сейчас, подобно мне, лицом к голубым небесам!» — подумал он.

— Чем вы ударились? — слышался голос, и он увидел склонившуюся над ним юную леди.

— Я полагаю, спиной, — сказал мистер Левендер. — Но что меня заставляет страдать, так это мысль, что я... что вы...

— Ничего, ничего, — сказала юная леди, — я в добровольной первой помощи. Здорово вы полетели! Посмотрим, можете ли вы... — И, схватив его за руки, она придала ему сидячее положение. — Все в порядке?

— Да, — чуть слышно ответил он.

— Попробуйте встать, — сказала юная леди и потащила его за руки вверх.

Мистер Левендер попытался встать и встал, однако стоило ему оказаться на ногах, как юная леди поспешно отвела глаза. Крупные слезы катились по ее щекам, вся она содрогалась.

— Не надо! — вскричал огорченный мистер Левендер. — Умоляю, не плачьте. Со мной ничего не случилось, уверяю вас!

Юная леди усилием воли одержала наконец верх над эмоциями и посмотрела на него своими большими серыми глазами.

— Ангельская преданность сестер милосердия! — пробормотал мистер Левендер, прислонившись к стене дома и ощупывая ушибленную спину. — Ничего подобного не видывали с сотворения мира.

— Никогда не забуду это зрелище, — задыхаясь, выговорила юная леди.

Мистер Левендер, принимавший ее сдавленный смех за рыдания, был несказанно обеспокоен.

— Просто невыносимо, что вы так огорчаетесь из-за меня, — сказал он. — Мне совсем хорошо, уверяю вас, посмотрите, я могу ходить! — И он зашагал по саду в ночь.

ной рубашке, поверх которой была надета домашняя куртка с поясом. Когда он повернул назад, то увидел, что юной леди уже нет, но зато в соседнем саду раздаются взрывы безудержных чувств. Дойдя до жасминовой изгороди, он заглянул через нее. Юная леди, изящно изогнувшись, возлежала на траве, закрыв лицо руками, и крупно вздрагивала. «Бедное дитя! — подумал мистер Левендер. — Без сомнения, ее нервы расстроены ужасными зрелищами, свидетельницей которых ей суждено стать!» Но в это мгновение юная леди вскочила на ноги и сломя голову бросилась к своей крепости. Мистер Левендер остолбенел от ужаса. «Кто не захотел бы заболеть, чтобы пить из чаши, которую держит эта прекрасная рука? — подумал он. — Мне посчастливилось получить раны, спасая ее от смущения». — Прочь, Блинк, прочь!

Ибо вторично выпрыгнувшая в окошко собака предпринимала отчаянные попытки лизнуть хозяина в лицо. Успокаивая ее и одновременно ощупывая себя, мистер Левендер внезапно обнаружил, что он не один. На дорожке, которая вела к калитке, стояла престарелая леди со шляпой в руке. Мистер Левендер незамедлительно сел и, подоткнув под себя подол рубашки, сказал:

— Существуют обстоятельства, сударыня, которые не способны предвидеть даже величайшие общественные деятели, и я, скромнейший из таковых, умоляю вас простить меня за то, что принимаю вас в таком виде.

— Я принесла вашу шляпу, — сказала престарелая леди, оживившись. — Мне сказали, что вы живете здесь, и мне не терпелось удостовериться, что вы и ваша чудная собачка целы и невредимы.

— Сударыня, — ответил мистер Левендер, — я бесконечно обязан вам. Не были бы вы так любезны повесить мою шляпу на... гм... эту плакучую иву?

В это мгновение маленькая беленькая собачка, сопровождавшая престарелую леди, начала обнюхивать мистера Левендера, поэтому ревнивая Блинк тут же положила передние лапы на плечи своего хозяина, отчего он упал ничком. Когда ему снова удалось сесть, он не обнаружил ни престарелой леди, ни беленькой собачки, зато его шляпа висела на ветке лавра. «Есть что-то

роковое в этом утре,— подумал он,— лучше я уйду в дом, пока все женщины Англии не пришли сюда...» — И с трудом поднявшись на ноги, он взял свою шляпу и, открывая дверь, вдруг увидел, что юная леди наблюдает за ним из верхнего окна соседней крепости. Желая рассеять ее опасения, он быстро проговорил:

— Моя дорогая юная леди, я убедительно прошу вас поверить мне, что доселе со мной не случилось ничего подобного.

Юная леди тут же скрылась, и, глубоко вздохнув, мистер Левендер вошел в дом и поднялся по лестнице. «Ах,— думал он, водворяя в кровать свое изболевшееся тело,— пусть мои кости разламываются и голова горит, я совершил поступок, достойный традиций нашей общественной жизни. Нет ничего более возвышающего, чем служить Юности и Красоте с риском для своей жизни. Человеколюбие и Рыцарство всегда были главными чертами британцев». — И, вновь впадая в забытие, он громко воскликнул:

— Этот случай будет вечно вдохновлять всех тех, кто, участвуя в исполнении нашего общего долга, не забывает о прекрасном. Верьте мне, мы не вложим меч в ножны до тех пор, пока человеколюбие и рыцарство не будут вновь в безопасности.

Блинк, которую всегда смущали казавшиеся ей бессмысленными звуки, встала на задние лапы и стала лизать хозяина в губы, чтобы остановить словоизлияние; тело мистера Левендера одеревенело, и он уже не мог пошевелинуться, не испытывая страшной боли, поэтому он лишь слабо поводил головой из стороны в сторону, пока собака не успокоилась и не вернулась к изучению своей кости. Поняв, однако, что стоит ему заговорить, как она тут же начинает лизать его в губы, он умолк; рот его был раскрыт, веки сомкнуты; он находился в почти бессознательном состоянии, из которого его вывел голос, сказавший:

— Он страдает от отравления алкоголем.

Чудовищная несправедливость этих слов вернула ему дар речи, и, увидя перед собою то, что он принял за огромную толпу — на самом деле это были Джо Петти, миссис Петти и доктор,— он слабым, дрожащим голосом обратился к ним:

— Под воздействием тяжести переживаемого страшною момента, леди и джентльмены, среди нас порою появляются нахальнейшие, крикливейшие негодяи. Я имею в виду тех, кто, прикрываясь своим якобы патриотизмом, не стесняется возводить чудовищные обвинения против общественных деятелей. Эти происки на руку нашим кровожадным врагам. Зная, как чиста наша личная жизнь, мы не беспокоимся о том, что про нас говорят, ибо мы честно исполняем наш долг перед отечеством. Воздержание от всякого рода спиртных напитков стало лозунгом всех наших общественных деятелей с того самого момента, как нашей стране угрожает самый чудовищный из катаклизмов, когда-либо нависавших над великой демократией. Мы никогда не устанем проповедовать необходимость воздержания; говорящие обратное суть не кто иные, как германцы, или же лица, полностью лишенные чести и совести.— Сказав это, он сбросил с себя одеяло и со стоном повалился на кровать.

— Легче, легче, мой дорогой, сэр! — слышался мужской голос.— Болит ли у вас спина?

— Я скорее испущу последний вздох,— ответил наш герой,— чем приму помощь от гуннов.

— Переверните его,— сказал голос, и мистер Левендер ощутил, что он уже лежит ничком.

— Вот так вам больно? — спросил голос.

Мистер Левендер тихо проговорил в подушку:

— Бесполезно подвергать меня пыткам. Ни одна германская рука не сумеет вырвать у меня ни одного стога.

— В его семье были душевнобольные? — спросил голос.

Услышав это жестокое оскорбление, полузадохшийся мистер Левендер сделал усилие и, оторвав рот от подушки, выговорил следующее:

— Так как в наши дни нет бога, я призываю бога моих праотцов в свидетели того, что нет на свете более здорового общественного деятеля, чем я.

Это было, однако, его последнее усилие, ибо, неловко повернувшись, он вызвал такую боль в спине, что ощутил нечто вроде головокружения и вновь потерял сознание.

..УБЕЖДАЕТСЯ В ПОЯВЛЕНИИ НОВОЙ БОЛЕЗНИ

Собравшиеся вокруг постели мистера Левендера с минуту взирали на него с разинутыми ртами; снизу тихонько подвывала Блинк.

— Дотроньтесь до этого места,—наконец выговорил доктор,— значительная опухоль, тело воспалено, кроме того, ноги странного цвета. Вы дали ему три четверти стакана рома — и сколько было в нем меду?

Джо Петти, к которому был обращен вопрос, склонил голову набок и ответил:

— Меньше половины, сэр.

— Гм! Здесь налицо симптомы чего-то иного. Он ведь не падал, верно?

— Он не падал? — прозвучал суровый вопрос миссис Петти.

— Нет,—ответил Джо.

— Исключительный случай! — сказал доктор.— Переверните его снова, я хочу исследовать его голову. Опухоль; может быть, из-за нее он и говорит такие странные вещи. Так, дайте ему хинин, к ногам бутылки с горячей водой, больной должен находиться в полном покое. Я думаю, что мы столкнулись с новой болезнью военного времени. Хинин я вам пришлю. До свидания!

— Вот так штука! — сказал Джо супруге, когда они остались одни у недвижимого тела хозяина.— Бедный старикан! Бди и молись!

— Как ты сообразил дать ему это пойло?

— Промок снаружи — смочи нутро,— уныло пробормотал Джо,— я всегда так поступал. Зря только я добавил меду. Кто бы подумал, мед, собранный безобидными насекомыми, вдруг принес такой вред?

— Чепуха! — сказала миссис Петти.— Я думаю, все это от чтения газет. Будь моя воля, я бы их сжигала. Могу я доверить тебе последить за ним, пока я налью бутылки?

Джо утвердительно моргнул своими зеленоватыми глазами, и его жена, решительно потрянув головой, вышла из комнаты.

«Помоги, господи! — думал Джо, глядя на впавшего в забытие хозяина и вертя в руках свою трубку.— А ба-

бы какие смешные! Знай она, что я хочу покурить тут, ее хватил бы удар. Впрочем, я курну у окна». — И, высунувшись из окна, он задернул сзади себя занавески и раскурил трубку.

Тишину теперь нарушало лишь постукивание о полкости, которую Блинк грызла у постели хозяина.

«Пинта пива мне бы не повредила», — подумал Джо и, заметив внизу фигуру проходящего садовника, тихонько позвал.

— Хелло, Боб!

— Хелло, — повторил садовник.

— Как жизнь?

— Порядок.

— Дождя не будет?

— Если бы!

— А в чем дело?

— Хорошо бы для хлебов.

— Как жена?

— Ничего.

— Моя бы так.

— А что с ней?

— Дела! — ответил Джо еще тише. — Никогда не заводи женщину надолго, в этом я убедился на собственной шкуре.

Приходящий садовник не ответил, он смотрел на куст сирени, прямо под Джо Петти. Это был тощий человек, смахивающий на старую клячу.

— Как ты думаешь, мы выиграем войну? — опять начал Джо.

— Понятия не имею, — безразлично ответил садовник. — Вроде дела у нас все хуже и хуже.

Джо кивнул.

— Ты попал в точку, — сказал он. — И сделав движение головой в сторону комнаты, пояснил: — У хозяина это самое.

— Что?

— Новая болезнь.

— Что за новая болезнь?

— От нее носятся по округе и поучают всех, что делать.

— Вон что!

— На этом-то он и влип. Теперь лежит.

— Да ну!

— Пластом лежит! — Джо понизил голос. — Того гляди, сам от него подхвачу эту штуку.

Садовник хмыкнул.

— Кошки всю сирень изодрали, — ответил он, отрывая надломленную ветку, — ну, я пойду, надо перекусить.

Но в этот миг звуки голоса, донесшегося как бы из пещеры, заставили садовника и Джо Петти окаменеть от изумления.

— Что это? — прошептал наконец Джо.

Садовник кивнул в сторону окна на первом этаже.

— Кто-то стонет, — выговорил он.

— Вроде голос хозяина.

— М-да! — сказал садовник.

— Минутку! — И Джо заглянул за шторы. Кровать была пуста, а дверь распахнута настежь.

— Следи за дверью! Он убежал! — крикнул Джо садовнику и бросился по лестнице вниз.

Дело в том, что слова «как ты думаешь, мы выиграем эту войну?» вывели мистера Левендера из бессознательного состояния. И мгновенно вспомнив, что он не читал утренних газет, он устремился прочь из постели. Как был, в одной рубашке, он направился вниз, сопровождаемый Блинк. Увидя, что все пять газет лежат в прихожей на тумбочке, он понес их туда, куда обычно ходил в это время утра, и уселся читать. Однако вновь пробудившаяся боль в теле, сочетаясь с сумбуром в голове от чтения пяти передовиц, заставила его вкратце излагать прочитанное вслух, причем, когда его голос повышался, выдавая чрезмерное волнение, Блинк клала морду ему на колени, как она это делала, когда желала, чтобы ее накормили. Озадаченный Джо Петти подошел к садовнику:

— Жена явно даст мне нахлобучку, — пробормотал он. — А ведь дверь была закрыта.

Голос мистера Левендера не умолкал ни на минуту, он подымался и опускался вместе с приливами чувств и боли.

— Итак, в чем сегодня состоит наш долг? Разве это

не ясно и не понятно? Каждый мужчина должен быть в армии, ибо в этом заключается *sine qua non*¹ нашей победы... Нам необходимо значительно увеличить ряды наших судостроителей — корабли, корабли и еще раз корабли,— ибо без них нет ни малейшей надежды на победу. Нельзя ни на секунду забывать, что мы должны видеть в деталях и в целом великую драму современности, разворачивающуюся перед нашими глазами. Преступно отрывать хотя бы одного мужчину от земледелия, ибо от этого зависит самое существование нас как нации. Без обилия полноценной рабочей силы на полях мы не можем рассчитывать на устранение угрозы со стороны пиратских действий вражеских подводных лодок. Мы должны быть дальновидны, мы не можем поддаваться наветам тех, кто позволил бы обескровить наиболее жизненно важную отрасль нашего хозяйства... Производство вооружения,— застонал мистер Левендер, дошедший до четвертой передовицы,— требует от нас максимального напряжения, и лишь значительный приток рабочей силы в военное производство позволит нам добиться решающего превосходства над противником в авиации и артиллерии. Лишь это может обеспечить нашу победу над врагом...

Мистер Левендер начинал пятую передовицу, голос его переходил в вопль.

— Каждый мужчина до шестидесяти лет должен быть мобилизован, это верно. Но мы не можем не сделать при этом самого серьезного предупреждения. В конечном итоге война будет выиграна той страной, чьи финансы лучше перенесут трудности военного времени. Решающим фактором будет последняя медная пуля. Поэтому ни в коем случае мы не должны допустить умаления нашей экономической мощи. В текущий момент мы не можем позволить себе сократить ряды торговцев, так сказать, выкачать самую кровь из наших жил. Мы должны,— стонал мистер Левендер,— постоянно изучать этот вопрос в деталях и в целом.

— Несчастный старый гейзер,— сказал садовник.— Ему точно плохо.

— Подсади меня! — сказал Джо.— Я встану на по-

¹ Необходимое условие (лат.).

доконник и посмотрю, можно ли что сделать через форточку.

С помощью садовника он влез на подоконник и просунул руку в форточку. Послышался шум выпущенного на волю потока, и сквозь лай Блинк снова донесся голос мистера Левендера:

— Незыблемые посреди катаклизма, омытые водами неба и ада, да будем мы капитанами своих душ. Не мешай мне, Блинк!

— Вышел! — сказал Джо, прыгнув наземь. — Ну, пока жена не приперлась!.. — И он бросился в дом.

Мистер Левендер в смятении расхаживал по прихожей, держа перед собой все пять газет.

— Джо, — сказал он, увидев шофера, — подайте поскорей автомобиль. Я должен быть одновременно в пяти местах, ибо только так можем мы отвратить величайшую из опасностей, когда-либо угрожавших будущему цивилизации.

— Порядок, сэр, — ответил Джо, и, выждав, когда хозяин повернется к нему спиной, обхватил его за ноги, и, подняв маленькое сухонькое тело, ринулся по лестнице вверх, в то время, как мистер Левендер, чьи седые волосы стали дыбом, махал газетами, как веером, дрыгал ногами и старался повернуть голову, дабы увидеть, что за сила несет его.

На верхней площадке они налетели на миссис Петти. Она была хладнокровна, как истая шотландка, и поэтому, сжимая в руках бутылки с горячей водой, посторонилась, чтобы дать им пройти.

Опустив мистера Левендера на кровать и натянув на него одеяло до самых глаз, Джо Петти тыльной стороной ладони смахнул пот со своего лба.

— Фу! — выдохнул он. — Ловкач же наш хозяин!

Супруга, следовавшая за ним по пятам, уже нацелилась на что-то, лежавшее на ковре.

— Это что такое? — спросила она, втягивая ноздрями воздух.

— Это? — повторил Джо, поднимая с пола трубку. — Ну, мне же пришлось бегом бежать, чтобы поймать его, и она, видно, выпала из кармана.

— И зажглась, — добавила миссис Петти и, быстро нагнувшись, подняла тлеющий комочек табака, который

уже прожег в ковре круглое отверстие.— Молодец, нечего сказать!

— Знаешь, ведь всего не предусмотритишь,— сказал Джо.

— Ты ничего не можешь предусмотреть,— ответила супруга.— Ты как правительство. Ну-ка! Приподними одеяла, пока я приложу бутылки к ногам. Боже мой! Да у него тут...— И она вытащила все пять газет, лежавших на различных частях тела мистера Левендера.— Ну, Джо Петти, я еще никогда не видела, чтобы кто-нибудь находил столь неподходящие места для вещей.

— Газеты тоже греют,— сказал Джо.

Мистер Левендер, который, очутившись в постели, тотчас же впал в беспамятство, вдруг пошевелился, и с губ его слетели слова:

— Пять против одного, один против пяти.

— Что это он говорит?—спросила миссис Петти, подтыкая хозяину одеяло.

— Это шансы Канделябры на Дерби.

— Только вера,— выкрикнул мистер Левендер,— может безгранично усилить...

— Унеси это прочь!—пробормотала миссис Петти и, скомкав газеты, сунула их Джо.

— Вера! — повторил мистер Левендер и задремал.

— Эта новая болезнь,— проговорил Джо,— как ты думаешь, она заразная? Мне самому что-то не по себе.

— Вздор! — отрезала супруга.— Забери газеты, вон ту кость и уходи сам, уведи Блинк и посиди на месте. Это единственное, на что ты способен. Другого такого ветрогона, как ты, днем с огнем не сыщешь.

— Ну, я как-то не умею ни о чем заботиться,— проговорил Джо уже в дверях,— у меня это не получается. Пока!

И он удалился, таща Блинк за ошейник.

Оставшись наедине с больным, миссис Петти — рьяная поборница чистоты и свежего воздуха — опустилась на колени и, выбрав обуглившиеся волоски по краям отверстия в ковре, распахнула настежь окно, чтобы запах паленого поскорее выветрился из комнаты.

«Если бы не я, не знаю, что с ним стало бы», — подумала она, высовываясь из окна.

На расстоянии нескольких футов от нее раздался голос:

— Надеюсь, ему не хуже? Что говорит доктор?

Осмотревшись в изумлении, миссис Петти увидела юную леди, которая выглядывала из окна напротив.

— Пока ничего не могу сказать,— довольно холодно ответила миссис Петти,— во всяком случае, ничего страшного.

— Это ведь не водобоязнь?—спросила юная леди.— Вы знаете, он же вывалился из окна.

— Что? — спросила миссис Петти.

— Вон там, видите, сирень поломана. Я была бы рада чем-нибудь вам помочь. Я в добровольной первой помощи.

— Благодарю вас,— сухо выговорила миссис Петти, ибо в ней уже начинало просыпаться чувство ревности, к которому она была склонна,— в этом нет необходимости.— И она подумала: «Добровольная, знаем мы таких!»

— Бедняга,— продолжала юная леди.— Как он грохнулся! Это было ужасно смешно. Скажите, а он не...— И она коснулась пальцами лба в том месте, возле которого ветерок шевелил завитки золотистых волос.

Несказанно разъяренная подобным вопросом о человеке, к которому она испытывала то уважение, с каким относятся к своей законной собственности, миссис Петти ядовито ответила:

— О нет, милочка! Он гораздо умнее некоторых!

— Видите ли, я спросила только потому, что он упоминал о каком-то последнем человеке и последнем долларе,— проговорила юная леди как бы про себя,— но, разумеется, это еще не признак помешательства.— И она внезапно разразилась звонким серебристым смехом.

Что-то защекотало левое ухо миссис Петти, и, обернувшись, она обнаружила, что рядом стоит ее хозяин в халате.

— Оставьте меня, миссис Петти,— проговорил он с таким достоинством, что она невольно отпрянула.— Быть может, вам покажется неделикатностью моя попытка вновь оправдаться перед вами,— продолжал мистер Левендер, обращаясь к юной леди,— но, будучи общественным деятелем, я страдаю от сознания, что нарушил этикет, приличествующий моему положению.

— А не лучше бы вам спокойно полежать в постели? — услышала миссис Петти голос юной леди.

— Моя дорогая юная леди, — ответил мистер Левендер, — мысль о постели приводит меня в ужас. Разве может быть в наши дни что-нибудь более позорное, чем смерть в собственной постели?

— Да я прошу вас жить, а не умирать в постели, — сказала юная леди; миссис Петти схватила хозяина за полу халата.

— Прочь, Блинк, прочь! — отмахнулся мистер Левендер, еще больше высовываясь из окна.

— Ради всего святого, — взвизгнула юная леди, — не упадите еще раз, не то я лопну.

— Ах, поверьте мне, — проговорил мистер Левендер слабым голосом, — ни за что на свете я не причиню вам боли.

Напрягая все силы, миссис Петти оттащила мистера Левендера от окна.

— Как вам не стыдно, сэр, в халате разговаривать с молодыми девицами! — сказала она сурово.

— Миссис Петти, — загадочно проговорил мистер Левендер, — все могло бы быть гораздо хуже. Мне хочется чаю с лимоном.

Приняв это за признак возвращающегося рассудка, миссис Петти осторожно довела его до кровати и, когда он улегся, подоткнула одеяло, говоря:

— Надеюсь, сэр, теперь вы не нарушите слова.

— Ни один общественный деятель... — начал мистер Левендер.

— Вот горе! Обещайте мне, что вы будете спокойно лежать в постели, пока я готовлю чай.

— Даю вам слово, — ответил наш герой, — ибо я чувствую некоторую слабость.

— Вот и хорошо, — сказала миссис Петти, — я вам верю. — И, закрыв окно на шпингалеты, она выбежала из комнаты и заперла за собой дверь.

Мистер Левендер лежал, уставясь в потолок, и щелкал пересохшим языком.

«Боже, — думал он, лишь тебя, боже, должно вспомнить в тот час, когда отечество в опасности, Хвала тебе, боже, за то, что ты создал Красоту! Но я не позволю ей обезоружить мою душу. Лишь когда дело че-

ловечности восторжествует, лишь когда мечом и пулей священной мести мы истребим тот преступный народ, лишь тогда я почувствую себя вправе впустить Красоту в свою обитель».

И выпив стакан чаю, который миссис Петти поднесла к его губам, он мгновенно погрузился в глубокий сон.

VI

„СОВЕРШАЕТ ОШИБКУ И ВСТРЕЧАЕТ ЛУННУЮ КОШЕЧКУ

Престарелая леди по фамилии Синкин, которая так заинтересовалась мистером Левендером, жила в своей крепости во Фрогнале; с нею там обитал молодой племянничек, мальчик лет сорока пяти, неразлучный с Опекунским советом. Именно благодаря ее рассказам он и появился у мистера Левендера на следующий же день и, послав визитную карточку, был введен к нашему герою.

Мистер Левендер, бледный, негнувшийся, сидел в своем кабинете и читал очередную речь; Блинк лежала у его ног.

— Простите великодушно, что не могу встать, сэр,— сказал он,— прошу вас, садитесь.

Племянничек, у которого было сонное, лишенное растительности лицо с маленькими раскосыми глазками, поклонился и, усевшись, несколько озадаченно посмотрел на мистера Левендера.

— Я пришел сюда,— выговорил он наконец,— чтобы задать вам несколько вопросов по поручению...

— Ради бога,— сказал мистер Левендер, сразу сообразивший, что его интервьюируют.— Я счастлив изложить вам свои взгляды. Прошу вас, возьмите сигарету,—кажется, ведь так полагается. Сам я не курю. Если вас интересуют какие-то личные моменты моей биографии, то вам будет небезынтересно узнать, что я бросил курить, когда убедился, что это дурное пристрастие расшатывает нервы наших героев, находящихся в окопах. Подавая пример воздержания и этим самым высвобождая какое-то количество табака для солдат, я чувствовал, что исполняю свой долг. Впрочем, не пишите об этом, пожалуйста. И поскольку уж мы говорим о моей

личной жизни, что я, разумеется, не очень одобряю, вы можете взглянуть на портрет моего отца — вон там, за дверью, и на портрет моей матери — над камином. Простите, что я не могу сопровождать вас. Дело в том, что — это тоже любопытный штрих — я довольно-таки часто подвержен прострелу. — И увидев, что племянничек Синкин, поднявшийся по его приглашению, стоит перед ним в нерешительности, он добавил: — Быть может, вам хотелось бы как следует рассмотреть мои глаза? Порою в них блещет почти сверхъестественное провидение. — К изображаемой минуте всякая скромность оставила его, ибо он некоторым странным образом вдруг отождествил себя с газетой, от которой его интервьюировали. — Мне пятьдесят восемь, — быстро добавил он, — но на вид мне не дашь моих лет, хотя мои густые выющиеся волосы преждевременно поседели, как это часто бывает с людьми, привыкшими к напряженной умственной работе. Маленький домик, утопающий в зелени, — отнюдь не грандиозный дворец, — вот фон, на котором действует эта исключительно интересная личность. Кошки оставляют следы на лужайках сада, а любовь его владельца к животным как нельзя лучше демонстрирует овчарка, которая лежит у его ног, обутых в турецкие туфли. Встань, Блинк!

Блинк, потревоженная движением хозяйской ноги, встала и томно посмотрела ему в лицо.

— Взгляните, — сказал мистер Левендер, — у этой овчарки самые прекрасные глаза в мире!

При этом замечании, показавшемся племянничку ничуть не более здравым, чем все остальные, — столь неверное представление сложилось у него о мистере Левендере — он закрыл блокнот, который было извлек из кармана, и сказал:

— Было ли у вас в семье что-нибудь... гм... замечательное?

— Безусловно, — ответил мистер Левендер, — рожденный в бедной, но благородной семье в городе Рочестере, мой отец избрал себе профессию издателя; моя мать была истинной дочерью бардов, отпрыском distinguished рода, истоками восходящего к друидам; ее девичья фамилия — Джонс.

— Вот как!— сказал племянничек Синкин, что-то записывая.

— Когда я был маленьким, она неоднократно рассказывала мне, что ее семья испокон веков отличалась неколебимым патриотизмом,— продолжал мистер Левендер.

— А она не умерла от... от...

— Нет, разумеется,— прервал его мистер Левендер,— она жива до сих пор.

— Вот как! — сказал племянничек.— А ваши братья и сестры?

— Один из моих братьев,— ответил мистер Левендер с вполне простительной гордостью,— главный редактор «Разжеванных Новостей». Другой—священнослужитель.

— Занятно,— рассеянно пробормотал племянничек.— Скажите мне, мистер Левендер, не слишком ли переутомляет вас ваша деятельность? Она не влияет на...— И он коснулся пальцем своего темени, покрытого лоснящимися черными волосами.

Мистер Левендер вздохнул.

— В эпоху, подобную нашей,— проговорил он,— мы все должны жертвовать своим здоровьем. Как вам известно, ни один общественный деятель сегодня не может сказать, что его голова принадлежит ему. Я бы счел себя дезертиром, если бы не принял эту истину за... гм... истину.

— Не принял... эту... истину.. за истину,— повторил племянничек, торопливо занося высказывание в блокнот.

— Он продолжает,— забормотал мистер Левендер, вновь отождествивший себя с газетой,— самоотверженно бороться за решение этой сложнейшей, запутаннейшей проблемы, он счастлив при мысли, что все — даже самый рассудок — готов принести в жертву на алтарь долга. Общество может спать спокойно, ибо он не прекратит своей борьбы, пока не окажется на щите.— И подсознательно уловив, что этими словами и следует закончить интервью, мистер Левендер умолк, причем вид у него был довольно испуганный.

— Понимаю,— сказал племянничек,— премного благодарен. Ваша собака не кусается? — спросил он, потому что Блинк тихо и зловеще зарычала.

— Это — самое добродушное существо на свете,—от-

ветил мистер Левендер,— и к тому же самое общительное. Я иногда думаю,— продолжал он изменившимся голосом,— что мы все сошли с ума и что лишь животные сохраняют благословенный разум, который некогда считался чисто человеческой добродетелью. Не записывайте это,— быстро добавил он,— у всех бывают минуты слабости. Это было лишь *obiter dictum*¹.

— Не беспокойтесь,— сказал племянничек, вставая,— мне это высказывание и не пригодилось бы. Еще один вопрос, мистер Левендер...

В это мгновение Блинк, которая давно почуяла, что этот высокий полный человек, от брюк которого не пахнет собаками, пришел сюда с дурным умыслом, увидела, что он подошел слишком близко, и осторожно куснула его за икру.

Племянничек рванулся назад.

— Она укусила меня,— шепотом сообщил он.

— Боже мой! — воскликнул мистер Левендер, безуспешно пытаясь подняться, ибо тело его утратило всякую гибкость.— Возможно ли это? Наверно, на это есть веская причина. Блинк!

Блинк помахала хвостиком, ткнулась носом в руку хозяина и, повернувшись к гостю, опять зарычала.

— Она вполне здорова, уверяю вас,— поспешно добавил мистер Левендер,— нос у нее холодный.

— Она укусила меня,— повторил племянничек, задирая штанину.— Следов нет, но она точно укусила меня.

— Это же сокровище! — проговорил мистер Левендер, стараясь пробудить в госте симпатию к собаке.— Вы заметили, какие темные у нее зрачки и какие белые белки? Она превосходно воспитана. Блинк!

Понимая, что о ней говорят, Блинк разрывалась между желанием помахать хвостиком и зарычать. Не придя ни к какому решению, она тяжело вздохнула и улеглась на бок у ног хозяина.

— А какая это прекрасная овчарка,— продолжал мистер Левендер,— то есть она бы замечательно стерегла овец, если бы ей позволить. Посмотрели бы вы, как она строга с овцами. Они ее просто не переносят.

¹ Случайное замечание (лат.).

— Я еще загляну к вам,— кисло сказал племянничек.

— Благодарю вас,— ответил мистер Левендер,— я был бы счастлив прочитать гранки; так, мне кажется, будет надежнее.

— До свидания,— сказал племянничек.

Только Блинк усмотрела зловещий смысл в словах гостя и, увидев, что он направляется к двери, стала громко лаять и забегать то слева, то справа, как будто гость был стадом овец.

— Заберите ее! — взволновался племянничек.— Заберите ее! Я не хочу, чтобы она опять укусила меня.

— Блинк! — со страданием в голосе позвал мистер Левендер.

Блинк, отличавшаяся необычайной послушностью, тотчас возвратилась, и мистер Левендер положил ей руку на ошейник. Она рычала до тех пор, пока шаги племянничка не замерли в отдалении.

«Никак не могу понять,— размышлял мистер Левендер,— почему она так странно отнеслась к этому безупречному журналисту. Быть может, он как-то не так пахнет? Кто знает!»

И, прижав ее усатую морду к своему подбородку, мистер Левендер стал искать разъяснения в невинном и живом мраке собачьих глаз.

Оставив мистера Левендера, племянничек незамедлительно возвратился во Фрогнальскую крепость и поспешил к тетушке.

— Тетя Рози, он совершенно ненормальный, а его собака укусила меня.

— Эта милая собачка?

— От собак лучше подальше.

— Ты всегда как-то странно относился к собакам, дружок,— утешила его тетушка.— Вот смотри, даже наша Сили недолюбливает тебя.— Она призвала свою маленькую беленькую собачку, на которую племянничек не обратил никакого внимания.

— Ты не заметил, как он одет? В первый раз я приняла его за пастуха, во второй... Как ты думаешь, что надо сделать?

— За ним нужен присмотр,— сказал племянничек.— Нельзя, чтобы сумасшедшие свободно разгуливали по Хемпстеду.

— Но, Уилфрид,— возразила престарелая леди,— хватит ли в Англии мужчин для того, чтобы следить друг за другом? Вообще говоря, я сама могла бы присмотреть за ним. Я так полюбила его очаровательную собачку!

— Постараюсь помочь,— сказал племянничек.

— Нет, не надо. Я зайду к его соседям. Это семейство Скарлет. Они, без сомнения, знают его. Сначала надо все обдумать.

Племянничек, ворча и ощупывая укушенную икру, удалился в свой кабинет. А престарелая леди, надев шляпу, мирно отправилась в путь, на сей раз без маленькой беленькой собачки.

Прибыв к крепости, которая утопала в кустах акации и калины, она спросила у горничной, открывшей дверь:

— Могу я видеть миссис Скарлет?

— Нет,— равнодушно ответила горничная,— она умерла.

— А мистера Скарлета?

— Нет,— ответила горничная,— он майор.

— О боже! — воскликнула престарелая леди.

— Дома мисс Изабел,— сказала горничная, которая, подобно большинству людей в военное время, оказалась простодушной и откровенной.— Она в саду.— И выпустила престарелую леди в сад через стеклянную дверь.

В дальнем конце сада под акацией миссис Синкин увидела юную леди в голубом, которая с сигаретой во рту и желтой книжкой в руках лежала в гамаке. Она приблизилась к ней, думая:

«Боже мой, как она удобно устроилась, и это в такое время!»

И, склонив голову набок, она проговорила с улыбкой:

— Моя фамилия Синкин. Надеюсь, я не потревожила вас?

Юная леди порывисто поднялась.

— О нет! Нисколько.

— Я искренне восхищаюсь людьми, у которых на все хватает времени,— сказала престарелая леди.

Юная леди блаженно потянулась.

— Отдыхаю перед тем, как отправиться на работу в очередной госпиталь. Садитесь,— сказала она, указывая на гамак.— Тут удобно. Хотите сигарету?

— Боюсь, что я слишком стара и для гамака и для сигареты,— сказала престарелая леди,— впрочем, мне частенько казалось, что они удивительно успокаивают. Я хотела бы поговорить с вами о вашем соседе.

Юная леди широко раскрыла свои большие серые глаза.

— Ах! — сказала она.— Он очарователен.

— Я знаю,— сказала престарелая леди,— и у него еще такая чудная собачка. Мой племянник очень интересуется ими. Быть может, вы слышали о нем — Уилфрид Синкин, чрезвычайно умный человек, член многих комитетов.

— Неужели? — сказала юная леди.

— Да, да! У него такая голова, что его не может смутить ничто на свете, это так ценно в наше время.

— А какое у него сердце? — спросила юная леди, выпуская колечко дыма.

— Столь же благоразумное. Вероятно, мне не следовало бы этого говорить, но он прямо-таки совершенство.

— Это потому, что он не врач! Вы себе представить не можете, как эти врачи действуют на нервы. Со многими я чуть не дралась. В конце концов они меня заклеямили.

— Не может быть! В какое место? Я до сих пор думала, что клеймят только лошадок. Как вы прелестно смеетесь! Знаете ли, в наши дни так отрадно услышать смех.

— А по-моему, все только и делают, что смеются! Я хочу сказать, что на моем месте ничего другого и не придумаешь — хоть помирай!

— Вероятно, вы чересчур мрачно смотрите на вещи,— успокоила ее престарелая леди.— Но вернемся к вашему соседу. Как его фамилия?

— Левендер. Но я зову его дон Пиквихот.

— Что вы говорите! Вероятно, вы замечали, он бывает довольно эксцентричен.

— Это зависит от того, как понимать эксцентричность. Скажем, гуляние в ночной рубашке? Понимаете, я не знаю, что вы считаете нормой.

Престарелая леди уже было ответила ей, но вдруг из соседнего сада донесся голос:

— Блинк! Не трогай эту милую лунную кошечку!

— Тс! — шепнула юная леди и, схватив гостью за руку, энергично потянула ее под акацию. Скрытые тонкими густолиственными ветвями, они сквозь щели в живой изгороди из жасмина увидели маленькую серебристую кошечку, готовую вскорости принести котят, которая подавала лапку совсем по-собачьи и смотрела своими светлыми глазками на мистера Левендера, стоявшего посреди лужайки со своей Блинк.

— Если увидите, что я сейчас не выдержу и расхожусь, ущипните меня посильнее, — прошептала юная леди.

— О лунная кошечка, — повторил мистер Левендер, — скажи, откуда ты? И чего ты желаешь, протягивая мне свою лунную лапочку? И как странно звучит твой голос, уточка ты моя.

Звуки, издаваемые кошечкой, действительно отдаленно напоминали тихое кряканье. Она приблизилась к мистеру Левендеру, обошла вокруг его ботинок и потерлась о Блинк, проведя своим задранным серебристым хвостом по ее носу.

— Это необыкновенно, — услышали они голос мистера Левендера. — Я бы погладил ее, если бы мне не было так трудно нагнуться. Как это мило, о лунная кошечка, что ты подружилась с моей игрушкой! Разве есть что-нибудь на свете милее, чем дружба кошки и собаки!

Престарелая леди, страстная любительница животных, была так растрогана этими словами, что по ошибке ущипнула юную леди в бок.

— Пока еще рано! — задыхаясь, прошептала та. — Слушайте!

— О лунная кошечка, — продолжал мистер Левендер, — в твоих золотых глазах светится счастливая Аркадия. Я верю, ты пришла к нам для того, чтобы показать, как далеки мы от нее. — И, не в состоянии наклониться к кошечке, чтобы погладить ее, мистер Левендер стал потихоньку опускаться на траву. — Бог Пан умер, —

сказал он, усевшись и положив ногу на ногу,— и Христа тоже нет в живых. О лунная кошечка!

Кошечка положила голову ему на ладонь, а Блинк ткнулась ему носом в губы.

— Ой, я сейчас чихну,— зашептала странно растроганная престарелая леди.

— Потяните себя за верхнюю губу сильнее, пока она не станет как у германской императрицы, и считайте до девяти! — пробормотала в ответ юная леди.

Пока престарелая леди тянула себя за губу, мистер Левендер снова заговорил:

— Жизнь в наше время — это цепь взрывов. Благовоспитанность исчезла, красота стала недостижимой мечтой. Когда у тебя будут котята, о лунная кошечка, воспитай в них добрую волю, научи их любить молоко, собачек и солнце.

Лунная кошечка, которая сидела уже у него на плече, провела кончиком хвоста по его подергивающейся правой брови, а ревнивая Блинк тотчас жадно лизнула хозяина в левую скулу. Одной рукой мистер Левендер гладил кошечку по голове, другой играл завитками, спадающими на лоб Блинк; и наши наблюдательницы могли видеть его сияющие глаза и взъерошенные волосы.

— Как это дивно! — пробормотала престарелая леди.

— Ущипните меня,— прошептала юная,— пониже, сильнее! О-о!

— О лунная кошечка,— продолжал мистер Левендер,— приди к нам и будь с нами! Принеси нам котят в ванной комнате и позабудь этот кровавый железный век.

И юная и престарелая леди вытирали слезы, выступившие у них на глазах, но вдруг сильно изменившийся голос мистера Левендера заставил их удвоить внимание. Его лицо внезапно стало напряженным и обеспокоенным.

— Никогда,— проговорил он,— никогда мы не примем доктрины наших общих врагов. Сила не есть право, джентльмены. Поднявший меч от меча и погибнет. Железом и кровью мы истребим это вредоносное племя. В их стране не останется камня на камне, ни одного мирно спящего ребенка. Мы восстановим законы человеколюбия и для этого, если нужно, пройдем через кровавые реки и железные горы.

— Кого это он называет джентльменами? — прошептала престарелая леди.

Но Блинк, взволнованно лизнув мистера Левендера в губы, установила столь полную тишину, что юная леди не отважилась ответить. Паузу прервало мурлыканье.

— Прочь, Блинк, прочь! — сказал мистер Левендер. — Посмотри, какие прекрасные манеры у этой лунной кошечки! Мы все можем поучиться у нее, как себя вести. Видишь, как красиво просвечивают ее ушки?

Заметив птицу, кошечка спрыгнула с плеча мистера Левендера, замерла и стала следить за ней; шевелился лишь кончик ее хвоста.

— Она бы хотела полакомиться птичкой, — сказал мистер Левендер, вставая, — но мы лучше пойдем домой и дадим ей молочка...

— Я думаю, он совершенно нормален, — прошептала престарелая леди, — разве что по временам на него находит... как вы полагаете?

— Прекраснейшая печать! — внезапно воскликнул мистер Левендер: на глаза ему попала лежащая в отдалении газета, которая выпала у него из кармана. — Прекраснейшая печать! Я могу прочесть даже отсюда: «Когда враг рода человеческого говорит «Бог», он богохульствует! Как это не похоже на нас!» — И, оторвав взгляд от газеты, он устремил его, как показалось взволнованным слушательницам, на дерево, под которым они скрывались. — Да! Те невидимые существа, которым открыты сокровенные помыслы наших сердец, знают, что даже самый отпетый джингоист может с полным правом сказать: «Я лучше их». О лунная кошечка, пойдем же!

И он направился к дому, бормоча и щелкая языком, Блинк сопровождала его.

— Он что, имел в виду нас? — тревожно спросила престарелая леди.

— Нет, это как раз на него нашло. Он ведь не совсем сумасшедший, он только так, помешанный.

— Разве есть какая-нибудь разница, дорогая моя?

— Ну, знаете ли, мы все помешаны на чем-нибудь, вся штука только в том, на чем именно.

— На чем же он помешан?

— Он, видите ли, получил сообщение. По воздуху.

— Никогда в жизни не получала сообщений по воз-

духу,— сказала престарелая леди.— Вероятно, это потому, что я все время провожу у себя дома, разве что хожу собирать лекарственный мох.

— Это ничего. Еще получите.

— Ну хорошо. Я расскажу племяннику обо всем, что здесь увидела,— сказала престарелая леди.— До свидания.

— До свидания,— ответила юная леди, и, подняв с травы желтую книжку, она опять удобно устроилась в гамаке и зажгла погасшую сигарету.

VII

...ПОСЕЩАЕТ РЕДАКТОРА И ОТЫСКИВАЕТ КРЕСТЬЯНИНА

Лишь через несколько дней после падения из окна тело мистера Левендера начало приобретать утраченную гибкость, столь необходимую для возвращения к общественной жизни. Тем не менее он проводил время с пользой, поглощая газеты и преисполняясь вдохновением.

Во вторник утром, вспомнив, что ему до сих пор не прислали гранок интервью, и решив, что он не может более пренебрегать столь важным делом, он направил стопы в редакцию выдающейся газеты, от которой — как он понял, исходя из чисто оккультных расчетов, — и приходил корреспондент. В каменном подъезде он спросил какого-то молодого человека, как найти редактора, молодой человек внимательно посмотрел на него и сказал:

— Ах, сэр, это вы! Редактор вас ожидает! Не подниметесь ли наверх?

Обрадованный тем, что его ожидают, мистер Левендер поднялся по лестнице. Молодой человек провел его через несколько вертящихся дверей в приемную, где молодая женщина печатала на машинке.

— Одну минуточку,— сказал молодой человек и исчез за следующей дверью. Из-за двери донесся приглушенный голос, и почти тотчас мимо мистера Левендера в колонну по одному прошагали вышедшие оттуда четыре распираемых смехом джентльмена с блокнотами в руках.

— Прошу вас, сэр,— сказал молодой человек.

Мистер Левендер вошел в просторную комнату с почти роскошной обстановкой, где седовласый господин

с длинной верхней губой и туманным взором возлежал в кресле за письменным столом и курил сигару. Увидев посетителя, он встал и протянул руку.

— Рад вас видеть, сэр,— сказал он.— Садитесь. Вы курите?

Мистер Левендер покачал головой и присел на кончик стула с зеленой кожаной обивкой. Снова развалившись в кресле, редактор в знак уважения к мистеру Левендеру положил ногу на ногу и, уткнув подбородок в грудь, заговорил:

— Относительно вашей статьи. Единственная помеха, разумеется, в том, что я сейчас из номера в номер печатаю эту штуку об англичанах в плену — большой успех! Вероятно, вы видели?

— Да, конечно,— ответил мистер Левендер,— я читаю вас ежедневно.

Редактор сделал жест, показывающий, что он польщен, и, еще сильнее уткнув подбородок в грудь, продолжал:

— Может быть, это будет идти еще неделю, может быть, кончится завтра — ничего не предугадаешь. Но пока я получаю горы писем. Огромный читательский интерес.

— Да, да,— подтвердил мистер Левендер,— это весьма важно.

— Конечно, мы могли бы напечатать и это и ваше одновременно. Но боюсь, они убьют друг друга. Все же...

— Я бы не хотел...— начал мистер Левендер.

— Знаете ли, я убежден, что публике надо давать только то, чего она хочет,— продолжал редактор.— Полагаю, лучше поговорить с редактором последних известий,— и он подул в рожок.— Пришлите мне мистера Трескинсона. Ваше дело чрезвычайно важно, сэр. Думаю, что мы начнем печатать вас с четверга. Да-да, следует ожидать, что к тому времени публике надоедят англичане в плену.

— Но не заставляйте меня...— начал мистер Левендер.

Взгляд редактора на секунду прояснился.

— Вы хотите отнести это куда-нибудь еще, если мы... Прекрасно! Итак, я думаю, мы будем печатать их одновременно. Послушайте, мистер Трескинсон,— мистер

Левендер увидел человечка, похожего на Бетховена, который хмуро смотрел из-под очков,— как по-вашему, можем мы печатать о немецких пленных одновременно с английскими или же они убьют друг друга?

Изумленный мистер Левендер чуть не упал со стула. — Вы что...— сказал он.— Разве это?..

Человечек, похожий на Бетховена, икнул и хрипло выговорил:

— Поток писем уменьшается.

— Вот оно что,— пробормотал редактор,— полагаю, мы прикроем эту штуку к четвергу. Новую пустим со вторника. На видном месте, Трескинсон. Это подогреет чувства и направит их. Все к лучшему, все к лучшему. Мнение созрело.— Затем он, казалось, на мгновение засомневался, и его подбородок вновь опустился на грудь.— Не знаю,— бормотал он,— конечно, это может...

— Пожалуйста,— начал мистер Левендер, поднимаясь; человечек в очках снова икнул. Эти два движения, видимо, придали редактору решимость.

— Все в порядке, сэр,— сказал он, тоже поднимаясь,— все в полном порядке. Мы говорим «четверг», и мы рискнем. Четверг, Трескинсон.— И он протянул руку мистеру Левендеру.— До свидания, сэр, до свидания. Рад был видеть вас. Так вы не хотите печатать под своим именем? Впрочем, это не имеет значения, все равно, только вы могли написать так. Фраза закручена превосходно! Вас и так узнают.— И мистер Левендер в сопровождении Трескинсона оказался в приемной.

«Как ошеломляюще быстро он решил все вопросы,— думал он.— И притом не только решал, он все это время отдыхал! Но не произошло ли ошибки?»

Мистер Левендер хотел было спросить об этом у своего спутника, но тот, икнув где-то в отдалении, исчез из виду. Оставшись в одиночестве, мистер Левендер подумал, не стоит ли вновь попроситься на прием к редактору, но в это время четыре джентльмена с блокнотами в руках колонной по одному прошагали в кабинет.

— Моя фамилия Левендер,— решительно сказал он молодой женщине.— Здесь не произошло недоразумения?

— Нет,— ответила она, не поднимая головы.

Мистер Левендер тихонько вышел из приемной.

«Быть может, в интервью я сказал больше, чем сейчас помню,— думал он.— В следующий раз я обязательно потребую гранки. А может быть, они приняли меня за какого-нибудь другого общественного деятеля?»

Но эта мысль была ему настолько неприятна, что он постарался выкинуть ее из головы и вышел на улицу.

В четверг — это как раз был день, когда мистер Левендер собирался возобновить свои ораторские поездки,—он с волнением раскрыл уже упоминавшуюся выдающуюся газету. На первой же странице над третьим столбцом стоял заголовок: «Великий Деятель призывает нас исполнить долг». Статья, занимавшая один столбец драгоценной газетной полосы, начиналась призывом столь волнующим, что, не прочитав и двадцати строк, мистер Левендер совершенно убедился в том, что ее автор не кто иной, как он сам; скажи ему кто-нибудь, будто данное излияние чувств не принадлежит ему, он тотчас же объявил бы сказавшего это лжецом. Статья бросала читателя в жар и в холод и заканчивалась страстным призывом к англичанам уморить голодом всех германских военнопленных. Сияя от восторга, мистер Левендер положил газету на стол.

«От слов я перейду к делу,— подумал он,— я немедленно поеду в какой-либо сельский район, где работают пленные немцы, и добьюсь, чтобы наши крестьяне исполнили свой долг».

От волнения позабыв позавтракать, он сунул газету в карман, надел пыльник и широкополую шляпу и вышел к поданному автомобилю, в котором уже сидела Блинк, не успевшая позабыть печальный опыт недавнего путешествия.

— Мы поедem в сельскую местность, Джо,— сказал он, влезая в автомобиль.

— Отлично, сэр,— ответил Джо, и, не замеченные населением, они углубились в маревое жаркого июньского утра.

— Что же дальше, сэр? — спросил Джо после трехчасовой езды.— Мы вроде приехали.

Мистер Левендер, завороженный красотой сменявшихся пейзажей, очнулся от грез и сказал:

— Я ищу германских военнопленных. Джо, когда вы увидите крестьянина, остановитесь.

— Какого сорта крестьянина? — спросил Джо.

— Разве они бывают разных сортов? — улыбаясь, возразил мистер Левендер.

Джо подмигнул.

— Вы никогда не жили в деревне, сэр?

— Не более, чем по несколько недель, Джо, если не считать Рочестера. Разумеется, я прекрасно знаю Истберн.

— Я знаю Истберн насквозь, — сказал Джо, уклоняясь от темы разговора, — я там однажды был официантом.

— Жизнь официанта, вероятно, очень интересна.

— Еще бы. Только терпением заpastись приходится. Говорят, терпеливым все в жизни дается. А насчет крестьян вы узнаете много неожиданного, сэр.

— Я всегда готов к этому, Джо, ведь представить в деталях все разнообразие общественной деятельности просто невозможно.

— Я вам сейчас расскажу о крестьянах. Мне как-то пришлось путешествовать на своих двоих.

— И чем вы только не занимались, Джо!

— Что верно, то верно, сэр. Я был моряком, бродячим торговцем, официантом, рабочим сцены, кочегаром, и я не знаю, что из этого можно назвать тепленьким местечком. Но опять же о крестьянах: есть старый английский тип, такой ходит в плисовых штанах, — обходите его подальше, может укусить. Есть современный научный фермер, но, чтобы найти такого, нам пришлось бы поискать недельку. И есть жалкий, обшарпанный мужичонка, не думаю только, чтобы такой мог вам пригодиться.

— Что же мне делать? — спросил мистер Левендер.

— Закусить, — ответил Джо.

Мистер Левендер вздохнул: чувство голода в нем боролось с чувством долга.

— Мне бы хотелось сначала отыскать крестьянина, — сказал он.

— Ладно, сэр, мы подъедем вон к тем букам, вы там походите, поищите, а я тем временем приготовлю завтрак.

— Это превосходная мысль.

— Еще одна вещь,— сказал Джо, когда его хозяин собрался на поиски,— не принимайте каждый дом за ферму. Это теперь в основном коттеджи нашей знати, в них живут одни психи.

— Я буду очень осторожен,— заверил мистер Левендер.

«О прекрасная земля! — думал он, удаляясь от буков в сопровождении Блинк.— Как радостно видеть, что под влиянием военной необходимости ты вновь даешь нам обильные урожаи! Наш крестьянин, безусловно, должен чувствовать себя счастливым человеком, ибо он благородно трудится на благо отечества, позабыв о собственном благосостоянии. Как дружно цветут эти бобы! — размышлял он, глядя на картофельное поле.— Раз уж я здесь, я должен призвать крестьян не только исполнить долг по отношению к пленным немцам, но и увеличить производство продуктов питания».— Блинк!

Блинк задержалась у ворот, мимо которых он уже прошел. Возвратившись к собаке, мистер Левендер увидел, что мудрое животное смотрит сквозь штакетины на спину крестьянина, который неподвижно стоит на поле ярдах в тридцати от ворот.

— Скажите, вы не...— живо начал мистер Левендер.— У вас работают германские военнопленные, сэр? Крестьянин, видимо, не слышал его слов.

«Это, должно быть, старый английский тип, флегматик»,— подумал мистер Левендер.

Крестьянин, который действительно был в котелке и плисовых штанах, продолжал озирая свои владения, даже не поглядев в сторону мистера Левендера.

— Я хочу задать вам вопрос, сэр,— сказал мистер Левендер погромче.— Но как бы патриотически ни увлекал вас вид возделанной вами земли, все же нет оснований быть невежливым.

Крестьянин и ухом не повел.

— Сэр,— вновь заговорил исполненный терпения мистер Левендер,— хотя я слышал, что изо всех людей на свете английский крестьянин менее всего поддается воздействию новых идей, я никогда не верил этому; и я убежден, что стоит вам меня выслушать, как все ваши взгляды на будущее сельского хозяйства Англии в корне изменятся.

Ему внезапно пришло в голову, что не скоро еще может представиться случай сказать перед сельской аудиторией речь об увеличении производства продуктов питания, не мог же он упустить такой случай. Крестьянин тем не менее по-прежнему стоял к нему спиной, уделяя его словам внимания не более, чем жужжанию мухи.

— Вы обязаны меня выслушать,— закричал мистер Левендер, бессознательно подражая некоему оратору прошлого, и, уловив, как ему показалось, звуки хихиканья, он выбросил правую руку вперед и воскликнул:

— Трава, джентльмены, трава — вот основа основ. Мы взялись за рукояти плуга,— при этих словах его воображение взыграло, и он продолжал свою речь голосом, рассчитанным на огромную толпу крестьян, которые, как ему казалось, стояли к нему спиной,— и мы не выпустим их до тех пор, пока каждый акр нашей родины не будет распахан. В будущем мы должны прокормить не только себя, но и наших собак, наших лошадей, наших детей, мы должны вернуть нашей стране ее былую славу в области древнейшего труда. Не пытайтесь возражать мне,— продолжал он, очаровательно улыбнувшись, ибо вспомнил, что, говоря с сельской публикой, надо проявлять добродушие,— и не пытайтесь намазывать мне хлеб маслом, потому что в будущем нам придется подумать и о маргарине. Одним словом, давайте оставим все предрассудки и отринем малодушие, пока наша страна вновь не расцветет, как сплошное пшеничное поле с несметными стадами коров. Господи, я вообще не против традиций, только сначала давайте решим стоящую перед нами проблему, не отступая ни на шаг от великих принципов Свободной Торговли, Частной Собственности и Личной Свободы, которые превратили наши города в огромнейшие, населеннейшие и богатейшие места под солнцем, которое, как известно, никогда не заходит над Британской империей. Нам следует постоянно изучать эту проблему в деталях и в целом, только тогда мы добьемся полного переворота в жизни страны, не пожертвовав ни одним принципом и ни единым пенни. Верьте мне, джентльмены, мы непременно добьемся того, что наши волки будут сыты и овцы целы.

Мистер Левендер перевел дух, и в глазах его запрыгали заголовки завтрашних газет с его речью: «Кри-

зис» — «Волки сыты и овцы целы» — «Важнейший вывод». Ветер, несколько окрепший за время речи мистера Левендера, вздул в этот миг одежду крестьянина, и она издала звук, похожий на шорох, пробегающий по взволнованной аудитории.

— Ах!—воскликнул мистер Левендер.—Я вижу, что взволновал вас, джентльмены. Клеветники, кто называет вас равнодушными! Да и разве вы не становой хребет отечества, заключающий в себе спинной мозг, по которому проходят соки, питающие головной мозг? И разве вы не сразу же откликнетесь на призыв, столь простой и столь жизненно важный? Уверяю вас, джентльмены, здесь нечего раздумывать, чем меньше вы будете думать, тем лучше, ибо раздумья лишь уменьшили бы вашу решимость и отвлекли бы вас от поставленной цели. Ваш долг — смело идти твердой поступью вперед, идти, пылая очами. Лишь так победим мы нашего общего врага.

Выкрикнув эти слова, мистер Левендер вдруг остановился, как часы, в которых кончился завод, и протер глаза.

Блинк, во время речи хозяина рыскавшая по полю, встретила неведомое ей четвероногое, называемое кроликом, и, в ужасе бросившись прочь от него, ткнулась в ноги крестьянину, отчего его штаны упали наземь, обнажив палки, на которых они держались. Увидев это, мистер Левендер громко воскликнул:

— Сэр, вы обманули меня. Я принял вас за человека. Теперь я вижу, что вы самовлюбленный автомат, занятый лишь своими делами и лишенный малейшей частицы патриотического чувства. Прощайте же!

VIII

.. МОРИТ ГОЛОДОМ НЕМЦЕВ

Расставшись с пугалом, голодный мистер Левендер приходил в отчаяние от того, что не встретил ни одного пленного немца. И вдруг он увидел перед собою небольшой карьер и в нем трех человек. У этих одетых в грубые куртки, насквозь пропыленных рабочих было в лице нечто столь безошибочно тевтонское, что мистер Ле-

вендер остановился как вкопанный. Они не придали его появлению никакого значения, а может, не заметили его совсем, и продолжали мрачно и молчаливо просеивать щебенку. Мистер Левендер уселся напротив них на придорожный камень, и сердце его сжалось.

«Какие они худые и грустные! — подумал он. — Я бы ни за что не хотел оказаться в плену вдали от родины, среди враждебного народа, где ни одна женщина не улыбнется тебе и ни одна собака не помашет хвостом. Бедняги! Хотя и необходимо ненавидеть немцев, все же, мне кажется, нельзя забывать, что все мы люди. Это слабость, — сдерживал он себя, — которой ни один редактор не допустит ни на секунду. Я должен бороться с ней, если хочу исполнить свой долг и убедить наш народ морить их голодом. Но у них уже такой голодный вид, такие впалые щеки! Я должен быть твердым. Быть может, дома у них есть жены и дети, которые сейчас думают о них. Но в конце концов они же гунны. Как это сказал наш великий писатель? «Червь — существо не более достойное сожаления, чем тигр или крыса». Как это верно! И все же... Блинк! — Собака, сидевшая перед ним, глядела на него с пристальностью, изобличавшей желание поесть. — Да, — продолжал мистер Левендер, — жалость — свойство слабых. Этот порок был некогда широко распространен в нашей стране; война произвела в нас по крайней мере одну благотворительную перемену — мы все более приближаемся к мужественной, ничего не прощающей натуре тигра и крысы! Да здравствует жестокость! Вот единственный полезный урок, который нам преподали германцы, мы ведь совсем позабыли искусство быть жестокими. О, какой опасности мы подвергались! Слава богу, сегодня в наших рядах снова стоят знатоки этого дела. — Глубокая морщина появилась у него между бровями. — Да, истинные знатоки! Как я преклоняюсь перед славными газетчиками и великой толпою очевидцев, которые превозмогли жалость, этот пагубный порок. «Гунны должны быть стерты с лица земли, вырваны с корнем, уничтожены в зародыше — в этом главнейший долг великого человеколюбивого народа Британии. Записывайтесь, леди и джентльмены, записывайтесь!» Великие мысли — великие слова! И все же...

Лоб мистера Левендера покрылся испариной; немцы продолжали просеивать щебенку, а Блинк, не отрываясь, глядела на него своими немигающими блестящими глазами.

«Как ужасно быть человеком,— подумал он.— Если бы я был только общественным деятелем и мог бы отринуть все человеческое, индивидуальное, как легко бы мне стало! Когда же ты не только общественный деятель, но к тому же и человек, положение твое затруднительно. У человека есть чувства, и это мешает, мешает! Не должно быть никакой связи между исполнением гражданского долга и человеческими чувствами! Надо, чтобы ты мог, не дрогнув, уморить голодом своего врага, чтобы ты, не моргнув, мог смотреть, как он тонет. Короче говоря, надо стать настоящим гунном. Мы все должны стать гуннами. Блинк, дорогая, мы все должны быть гуннами! Я должен закалять волю!» — И мистер Левендер отер испарину со лба; хотя его и посетила великая идея, ему все же не хватало зверского героизма осуществить ее. «Мой долг,— подумал он,— приказать этим голодным, несчастным людям следовать за мной, чтобы они видели, как я завтракаю. Это мой долг. Боже, дай мне силы! Ибо пока я не принесу в жертву свое мягкосердечие, я недостоин называться общественным деятелем, недостоин печатать свои мысли в газетах. *En avant, de Brasy!*»¹. Приняв это решение, он поднялся, Блинк тоже встала. Перейдя через дорогу, он стиснул кулаки и визгливым от волнения голосом спросил:

— Голодны ли вы, друзья мои?

Немцы перестали просеивать щебенку и взглянули на него. Один из них кивнул.

— Хотите ли вы пить?

На этот раз все трое закивали головами.

— Следуйте за мной,— сказал мистер Левендер.

И он зашагал по дороге назад, сопровождаемый Блинк и тремя немцами. Дойдя до буков, тени которых показывали, что было уже далеко за полдень, мистер Левендер увидел, что Джо давно уже разложил завтрак на ровной полянке и доканчивает свою долю.

«Что у нас на завтрак? — подумал мистер Левендер,

¹ Вперед, де Браси! (франц.)

испытывая некий ужас.— У меня такое чувство, словно я собираюсь есть человечину». И он оглянулся на троих немцев, неуклюже топтавшихся позади него.

— Прошу вас, садитесь,— сказал он.

Немцы сели.

— Джо,— обратился мистер Левендер к удивленному шоферу,— подайте мой завтрак. Побольше, побольше, и еще стаканчик пива.— И, став бледнее своего пыльника, он решительно сел на буковый пенёк; Блинк расположилась рядом с ним. Пока Джо накладывал паштет на тарелку и наливал стакан пенящегося пива, мистер Левендер смотрел в упор на немцев и испытывал муки осужденного на казнь.

«Я не сдамся,— говорил он себе,— если бог поможет мне, я, конечно, не сдамся. Ничто не помешает мне выполнить мой долг».

И глазами, вытаращенными, как у загнанного кролика, он смотрел на приближающегося Джо с тарелкой и стаканом в руках. Те трое тоже следили за действиями шофера, и, как показалось мистеру Левендеру, на их глазах проступили слезы.

«Смелей!» — приказал он себе, поддевая вилкой кусочек посочнее и отправляя его в рот. Не менее минуты он катал его языком, ибо не мог проглотить, а немцы, не отрываясь, смотрели на него, и в глазах их появилось мрачное удивление.

«Если бы это я был пленным в Германии,— лихорадочно думал он.— Ну, ну же! Ведь это только первый кусок!» — И, сделав нечеловеческое усилие, он проглотил его.

— Смотрите на меня! — выкрикнул он, обращаясь к немцам.— Смотрите на меня! Меня... меня... меня сейчас вытошнит! — И, оставив тарелку в сторону, он, шатаясь, пошел прочь.— Джо,— бормотал он,— кормите этих бедняков, кормите! Пусть они пьют, пусть едят! — И, выйдя из буков, он изверг все, что только что проглотил, к великой радости Блинк. Затем, отогнав рукой подоспевшего Джо, терзаемый совестью, мистер Левендер ринулся к зарослям орешника и там бросился наземь. Он хотел провалиться сквозь землю.

«Нет,— думал он,— нет, я не создан для общественной деятельности. Я не выдержал первого же испыта-

ния. Видел ли мир что-нибудь более отвратительное? Я предал свою страну и бросил тень на общественную деятельность. Эти немцы теперь до отвала наелись паштета и наглотались пива. Я ничтожный трус, недостойный зашнуровывать ботинки великим вождям Англии! Само солнце — свидетель моего позора».

Он не знал, сколько пролежал там, прижавшись лицом к земле, но вдруг послышался голос Джо:

— Вот вы где, сэр!

— Джо,— еле слышно ответил мистер Левендер,— мое тело здесь, но дух отлетел от него.

— Ну да! — сказал Джо.— Расстроились малость. Вот глотните-ка, сэр! — И он протянул хозяину колпачок от фляжки, наполненный коньяком.

Мистер Левендер выпил.

— Они ушли? — тяжело дыша, выговорил он.

— Ушли, сэр,— ответил Джо,— не сыты, не голодны. Откуда вы их выкопали?

— Из карьера,— сказал мистер Левендер.— Никогда не прощу себе, что изменил королю и отечеству. Я накормил трех немцев. Оставьте меня, я недостойн быть в обществе своих соотечественников.

— Что вы такое говорите, сэр! — удивился Джо.— Какие немцы?

Взглянув в лицо шоферу, мистер Левендер увидел на нем все признаки безграничного изумления.

— Отчего вы на меня так смотрите? — спросил он.

— Немцы? — повторил Джо.— Какие немцы? Эти три болвана с дороги такие же англичане, как мы с вами. О чем вы говорите, сэр?

— Как! — воскликнул мистер Левендер.— Так это не немцы?

— Их зовут Томкинс, Хобсон и Браун, это такие идиоты!

— Слава тебе, господи! — сказал мистер Левендер.— Выходит, я еще могу называть себя английским джентльменом. Джо, я очень проголодался. Осталось ли у нас что-нибудь?

— Ни крошки, сэр,— ответил Джо.

— Тогда отвезите меня домой,— сказал мистер Левендер.— Теперь мне ничего не страшно, ибо мой дух возвратился ко мне.

Проговорив это, он встал и, поддерживаемый Джо, проследовал к автомобилю, всем сердцем благодаря бога за то, что тот не дал ему опозорить отечество.

IX

...БЕСЕДУЕТ С ЧЕЛОВЕКОМ, ОТКАЗЫВАЮЩИМСЯ ИДТИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

— М-да,— проговорил мистер Левендер, когда они отъехали миль двадцать,— мой голод становится нестерпимым. Если нам попадется какая-нибудь гостиница, остановитесь, Джо.

— Порядок, сэр,— ответил Джо.— Правда, гостиницы теперь не те, что были, но что-нибудь перекусить нам дадут. Ваши карточки я прихватил.

Мистер Левендер, сидевший рядом с Джо, в то время как Блинк занимала все заднее сиденье, молчал не менее минуты, ибо его посетила философическая мысль.

— Как вы полагаете, Джо,— внезапно спросил он,— полезны ли вам жертвы, на которые вас принуждают идти?

— Это полезно для жажды, сэр,— ответил Джо.— Никогда в жизни я так дико не хотел пить, как теперь, когда пиво балуют водой. От такого только растрava. Кстати, та бутылочка, что была на завтрак,— последняя из домашних припасов, сэр, с ума можно сойти! И подумать только, эти болваны ее прикончили! Кабы мне знать, что они немцы, уж я бы им ее не уступил!

— Прошу вас,— сказал мистер Левендер,— не напоминайте мне об этом. Иногда мне кажется,— продолжал он настолько мечтательно, насколько позволял голод,— что когда человека вынуждают терпеть лишения, в нем пробуждаются самые низменные страсти, разумеется, я говорю как простой человек, а не как общественный деятель. Как вы думаете, Джо, что произойдет, когда нам не нужно будет более жертвовать собой?

— Тогда мы будем делать то, что всегда делали: будем жертвовать другими,— легкомысленно ответил Джо.

— Будьте серьезны, Джо,— сказал мистер Левендер.

— Ладно,— ответил Джо,— не знаю, что будете делать вы, сэр, а я-то уж гульну годок-другой.

Мистер Левендер вздохнул.

— Сомневаюсь, чтобы я мог последовать вашему примеру,— сказал он.

Джо взглянул на хозяина, и в его зеленоватых глазах засветилось сочувствие.

— Не горюйте, сэр,— сказал он,— все дело в том, кто как устроен. Вас бы такая жизнь в неделю доконала.

— Неделю!— проговорил мистер Левендер, захлебываясь слюной.— Верю, что я не смогу забыть свои обязанности на целую неделю. Общественные деятели не «гуляют», как вы выражаетесь, Джо.

— Осторожно, сэр, я не могу вести машину, не глядя на дорогу.

— Да и как им «гулять»? — продолжал мистер Левендер.— Ведь они, как атлеты, должны ежедневно тренироваться, чтобы побеждать в своей вечной борьбе с народом.

— Ну,— снисходительно ответил Джо,— это тоже пьянство особого рода, они все время на взводе, накачивают себя и усыпляют других.

— Не знаю, Джо, что вы имеете в виду,— строго сказал мистер Левендер.

— Разве вы не замечали, сэр? Существуют два мира: мир, как он есть на самом деле, и мир, каким он кажется общественному деятелю.

— Может быть, это и так,— согласился несколько взволнованный мистер Левендер,— но скажите, Джо, который из этих миров величественнее, благороднее? И разве другой мир имеет хоть какое-нибудь значение? Конечно же, я за мир, который возникает в умах великих людей, существует на бумаге, к которой прикасалось их перо, и процветает на словах, с которыми они обращаются к народу. Разве не лучше жить в мире, где никто не боится умереть с голоду или быть убитым, коль скоро это означает смерть за короля и отечество? Разве этот мир не прекраснее того, в котором люди хотят жить и только?

— Ну,— сказал Джо,— мы все готовы умереть за отечество, коли надо. Только смерть нам не кажется увеселительной прогулкой, мы ведь не общественные деятели. Уж очень все легко у них получается.

— Джо,— сказал мистер Левендер и даже на миг

заткнул уши,— это самое ужасное кощунство, которое я когда-либо слышал.

— Я еще и не то могу сказать, сэр,— ответил Джо.— Как, продолжать?

— Продолжайте,— сказал мистер Левендер, стиснув кулаки,— общественный деятель не уклоняется ни от чего, даже от враждебных насмешек.

— Ладно, так что же получается, сэр? Посмотрите, что они говорят и что есть на самом деле. Имейте в виду, я не говорю про английских или еще каких деятелей, я говорю про тех, каких много в любой стране. Это что-то вроде тайного общества, основанного на трепотне. Послушайте, сэр. Вот один просиживает штаны и сочиняет что-нибудь высокое. Потом вылезает другой и кричит что-нибудь еще более высокое, потом они вместе просиживают штаны и кричат до тех пор, пока атмосфера не накалится так, что не продохнешь; причем все это время мы все хотим, чтобы нас оставили в покое, и слушаем их только по доброте душевной. У этих типов только две слабости: одна — это идейки, а другая — их собственные персоны. Им надо быть важными, а без идей не поважничает, образуется порочный круг. Когда я вижу, что человек важничает, я говорю себе: «Господи, помоги нам, нам это очень скоро понадобится!» Раньше или позже так оно и выходит. Я скажу вам, сэр, какое проклятие тяготеет над миром: люди научились говорить то, чего не чувствуют. И, господи, сколько их таких!

— Джо,— сказал мистер Левендер, у которого глаза вылезали на лоб,— ваши слова — это похоронный звон по поэзии, философии и прозе, особенно прозе. Они могила истории, которая, как вам известно, состоит из войн и интриг, порожденных мыслями общественных деятелей. Если бы ваши низкие взгляды соответствовали действительности, кто бы сказал нам, участникам великой эпической борьбы, ободряющие слова о том, что мы творим историю? Разве была произнесена у нас хоть одна речь, которая не пролила бы целительный бальзам в наши уши? Подумайте о том, какую поддержку дают эти слова сиротам и вдовам и раненым бойцам, которые лежат под звездами и страждут. «Творить историю», «играть решающую роль в великой драме» — вот лозунг,

вечно стоящий перед нами, который служит утешением нам и опорой им. И вы бы хотели лишить нас этих слов? Позор, позор! — повторил мистер Левендер. — Вы бы хотели разрушить волшебство жизни и уничтожить все принципы.

— Дайте мне факты, — упрямо сказал Джо, — и заберите мои принципы. Насчет волшебства не знаю, что это такое, но можете его тоже взять себе. И вот еще что, сэр: разве вы не замечали, что, когда деятель кипит и что-нибудь говорит, это превращает его в куклу? Неважно, что будет после, он должен твердить свое, чтобы не выглядеть дураком.

— Разумеется, не замечал, — ответил мистер Левендер, — я почти никогда не встречал такой узости у общественных деятелей, и никогда я не видел, чтобы они «выглядели дураками», как вы весьма грубо выразились.

— Где же ваши глаза, сэр? — проговорил Джо. — Где же ваши глаза? Даю вам честное слово, что это почти всегда так, хотя, я согласен, они любят подпустить туману. Но, трезво говоря, — если это только возможно — общественные деятели неплохи, если держаться от них подальше. Вы же сами затеяли этот разговор, сэр, — добавил он примирительно, — кстати, вот вам и гостиница. Перекусите, и вам станет легче.

И он затормозил перед вывеской «Королевский Козел».

Мистер Левендер, затянутый в водоворот невероятных чувств, которые пробудил в нем цинизм шофера, глядел непонимающим взором на красный кирпичный дом.

— Здесь совсем неплохо, — сказал Джо, — когда я был бродячим торговцем, я частенько сюда наведывался. Там, где собираются коммерсанты, всегда найдется хорошее вино, — добавил он, щелкнув себя по горлу. — И потом, здесь чудно готовят пикули. Вот ваши карточки.

Вдохновленный этими словами, мистер Левендер вылез из автомобиля, в сопровождении Блинк вошел в гостиницу и стал искать закусочную.

Дородная служанка с быстрыми красивыми глазами взяла у мистера Левендера пыльник и карточку и ука-

зала ему на стол, за которым уже сидел бледный интеллигентного вида молодой человек в очках.

— У вас не найдется еще мяса? — спросил молодой человек, не поднимая глаз от тарелки.

— Нет, сэр,— ответила служанка.

— Тогда принесите мне яичницу с ветчиной,— добавил он.— Вот вам второй талон, и принесите мне еще чего-нибудь, что у вас есть.

Мистер Левендер, муки которого при слове «мясо» стали непереносимыми, взглянул на обглоданную кость и вздохнул.

— Мне, пожалуйста, тоже ветчины и пару яиц вкрутую,— сказал он.

— Ветчину я вам подам,— ответила служанка,— но яиц осталось только на одного человека.

— И этот человек — я,— выговорил молодой человек, впервые отрываясь от тарелки.

Мистер Левендер мгновенно почувствовал к нему отвращение; вид у него был нездоровый: высокий бледный лоб, странно блуждающие запавшие глаза за стеклами очков.

— У меня нет никакого желания лишать вас ваших яиц, сэр,— проговорил мистер Левендер,— хотя я сегодня ничего не ел.

— А я ничего не ел полгода,— ответил молодой человек,— и недели через две мне нечего будет есть целых два года.

Мистер Левендер, который обычно говорил правду, посмотрел на своего собеседника с некоторым ужасом. Но молодой человек снова устремил все свое внимание на тарелку.

«Как обманчива внешность,— подумал мистер Левендер,— у него такое интеллигентное, можно даже сказать, одухотворенное лицо, а ест он, как дикарь, и лжет, как бродяга!» И поскольку голод стал снова терзать мистера Левендера, он сказал довольно ядовито:

— Вероятно, сэр, вы находите чрезвычайно забавным рассказывать неправдоподобные истории незнакомому человеку?

Молодой человек, в это время уже расправившийся со всем, что было у него на тарелке, помолчал немного и затем, слабо улыбнувшись, сказал:

— Я говорил в переносном смысле. Я полагаю, сэр, вы никогда не сидели в тюрьме?

При слове «тюрьма» сразу же сказала природная доброта мистера Левендера.

— Простите меня,— тихо проговорил он,— скушайте всю ветчину, прошу вас. Я прекрасно обойдусь хлебом и сыром. Я бесконечно сочувствую вашему положению и ни в коем случае не хочу сделать ничего, что могло бы побудить вас еще раз навлечь на себя несчастье. Если это вопрос денег или чего-нибудь в этом роде,— робко продолжал он,— прошу вас, располагайте мною. Я ненавижу тюрьмы: это варварство; человека можно осуждать лишь на муки совести.

Глаза молодого человека зажглись.

— Меня и осудили,— сказал он,— только не на муки совести, а как раз из-за того, что я отказался идти против своей совести.

— Возможно ли? — воскликнул ошеломленный мистер Левендер.

— Да, да,— подтвердил молодой человек, отрезая себе здоровенный ломоть хлеба.— Иначе и не скажешь. Они хотели, чтобы я нарушил слово, чтобы я предал свои убеждения, а я отказался. Через две недели меня опять посадят, и вот, пока я на свободе, я должен есть, уж извините. Мне надо накопить как можно больше сил.— И он так набил себе рот, что не мог ничего более выговорить.

Мистер Левендер смотрел на него в великом смятении.

«Как несправедливо я судил о нем»,— думал он, и, увидев, что служанка принесла рульку от окорока, он начал срезать с нее то небольшое, что на ней оставалось, и, наполнив тарелку, придвинул ее молодому человеку. Тот поблагодарил его и, не взглянув на своего благодетеля, стал быстро поедать ветчину. Мистер Левендер смотрел на него со слезами умиления.

«Как хорошо, что я его встретил,— думал он.— Бедный юноша!»

— Где же яйца? — внезапно спросил молодой человек.

Мистер Левендер поднялся и позвонил в колокольчик.

— Принесите, пожалуйста, ему оставшиеся яйца,— сказал он.

— Слушаю, сэр,— сказала служанка,— но что же будете кушать вы? У нас больше ничего не осталось.

— Вот как! — испугался мистер Левендер.— Тогда чашку кофе и кусок хлеба, пожалуйста. Я могу поесть где-нибудь еще.

Служанка удалилась, что-то бормоча про себя; принеся яйца, она ткнула их молодому человеку, который проглотил их в два счета.

— Я намерен,— сказал он,— за эти две недели сделать все возможное, чтобы накопить побольше сил. Я буду есть почти не переставая. Им не удастся сломить меня.— И, протянув руку, он забрал остаток хлеба.

Мистер Левендер смотрел, как исчезает хлеб, и в нем шевельнулась досада, но он тотчас же постарался ее подавить.

«С моей стороны эгоистично даже думать о еде,— сказал он себе,— в то время, как этот юный герой еще голоден».

— Вы, вероятно, жертва какого-нибудь политического или религиозного заговора? — спросил он.

— И то и другое,— ответил молодой человек, откидываясь на стуле со вздохом пресыщения и отирая губы.— Меня сегодня выпустили и, как я уже говорил вам, через две недели день в день меня снова будет судить военно-полевой суд. На этот раз мне дадут два года. Но им не сломить меня.

Мистер Левендер вздрогнул при слове «военно-полевой суд», страшное сомнение стало одолевать его.

— Вы,— пробормотал он,— вы... вы не уклоняетесь от военной службы?

— Вот именно,— ответил молодой человек.

От ужаса мистер Левендер привстал.

— Я не одобряю,— выдавил он,— я ни в коем случае не одобряю ваше поведение.

— Разумеется,— сказал молодой человек, вдруг гордо улыбнувшись, и добавил:— Никто не одобряет. Если бы вы были на моей стороне, мне не пришлось бы так наедаться, да к тому же у меня не было бы чувства духовного одиночества, которое так поддерживает меня. Вы смотрите на меня, как на отщепенца, как на прокаженного. В этом мое утешение, моя сила. Хотя я

и испытываю искреннее отвращение к войне, я прекрасно понимаю, что не выдержал бы, если бы не сознание, что я не могу и не хочу унижаться до уровня подобных вам оппортунистов, примкнуть к стадам ничтожных плебеев.

Услышав подобный отзыв о своей персоне, мистер Левендер побагровел.

— Я служу принципу и не подчиняюсь никому,— сказал он.— Именно мои убеждения заставляют меня смотреть на вас как на...

— Жалкого труса,— спокойно подсказал молодой человек.— Продолжайте, не жалейте слов, к ним мы привыкли.

— Да,— сказал мистер Левендер, воспламеняясь,— вы трус. Простите меня. Изменник делу Свободы, дезертир из рядов Гуманизма, если позволите.

— Скажите, просто христианин, этим вы выразите все! — сказал молодой человек.

— Нет,— сказал мистер Левендер, поднявшись,— до этого я не дойду. Вы не христианин, вы фарисей. Вы мне отвратительны.

— А вы мне,— внезапно проговорил молодой человек.— Я христианский социалист, но я отказываюсь называть вас братом. И вот что я вам скажу: когда-нибудь, когда благодаря нашей борьбе восторжествует дело христианского социализма и мира, мы позаботимся, чтобы вы, поджигатели и джингоисты, не смогли более подымать свои ядовитые головы и нарушать всемирное братство людей. Мы уничтожим вас. Мы сотрем вас с лица земли. Мы, верующие в любовь, с радостью подвергнем вас тому, чему вы, апостолы ненависти, подвергаете нас. Мы отплатим вам сторицею, вы сами заставляете нас пойти на это.

Он умолк, ибо мистер Левендер вытянулся и одеревенел, словно собираясь произнести речь перед палатой лордов.

— Я не нахожу здесь ничего общего с преследованием свободы совести! — воскликнул он.— Дело гораздо проще. Бремя обороны отечества ложится равно на каждого гражданина. Я не знаю и знать не хочу ни того, что сулили вам судьи, ни того, при каких обстоятельствах был принят закон о всеобщей воинской повинности. И вы либо пойдете в армию, либо отправитесь в тюрьму.

Я простой англичанин и выражаю взгляды моих простых соотечественников.

Молодой человек, раскачивавшийся на стуле, посту- чал по столу рукояткой ножа.

— Давай, давай! — пробормотал он.

— И позвольте мне сказать вам вот еще что,— про- должал мистер Левендер:— Вы не имеете никакого права подносить ко рту хотя бы кусочек хлеба, коль скоро вы не готовы отдать за него жизнь. И если бы гунны пришли сюда завтра, я пальцем бы не пошевелил, чтобы оградить вас от участи, которая вас, несомненно, по- стигла бы.

В пылу спора голоса их сделались столь громкими, что обеспокоенная служанка отправилась в бар и сообщила собравшемуся там обществу, что человек, уклоняющий- ся от воинской повинности, съел все, что было в доме, и сейчас «бушует» в закусочной. Услышав это донесе- ние, общество — оно состояло из четырех коммивояже- ров, изрядно уже подвыпивших,— вооружилось тем, что было под рукою, а именно четыремя сифонами, постро- илось в две шеренги и выступило в направлении закусоч- ной. Сразу же поняв по седым волосам и благородным речам мистера Левендера, что он не может уклоняться от воинской повинности, они с четырех сторон подступили к ничего не подозревавшему молодому человеку и нача- ли беспощадно опрыскивать его содовой водой. Ослеп- ленный и вымокший, бедный молодой человек тщетно пытался прорвать окружение, но каждый раз новая струя в лицо возвращала его на место. Видя его страда- ния и слыша грубый смех его полупьяных мучителей, мистер Левендер испытал мгновение обостренной борьбы между своими принципами и присущим ему бла- городством. Затем, едва ли сознавая, что делает, он схватил обглоданную рульку, замахнулся ею на комми- вояжеров и громко закричал:

— Остановитесь! Не мучьте этого юношу! Вас четве- ро, а он один. Перестаньте, вы настоящие гунны!

Коммивояжеры, тем не менее, продолжали гоготать, и разъяренный мистер Левендер нанес одному из них удар рулькой по чувствительному месту на локте, отчего ударенный взвыл и завертелся волчком. Другой комми- вояжер немедленно отомстил за приятеля, направив

струю содовой в левый глаз мистера Левендера, отчего он в бешенстве атаковал всех четырех, размахивая рулькой, как палицей. И если бы Блинк и служанка не ухватили его за фалды, он мог бы серьезно изувечить своих противников. Как раз в этот момент Джо Петти, привлеченный шумом и криками, появился в дверях и, подбежав к хозяину, схватил его на руки и вынес из комнаты, причем тот, не переставая, размахивал рулькой и болтал ногами. Опустив его в машину, Джо быстро уселся на свое место и поехал прочь. Прошло минуты две или три, прежде чем мистер Левендер пришел в себя и осознал, что произошло. И тогда, отбросив рульку, он откинулся в отчаянии на спинку и уткнул подбородок в грудь.

«Что я наделал! — Эта мысль не оставляла его. — Что я наделал! Поднял кость в защиту человека, уклоняющегося от военной службы; я был на стороне того, кто изменил великой цели! О боже! Я, конечно же, не общественный деятель!»

Измощенный, опустошенный, подавленный, он был вместе с Блинк, уснувшей у его ног, доставлен домой, в Хемпстед.

Х

...ВИДИТ СОН И ВСТРЕЧАЕТ ПРЕКРАСНОЕ ВИДЕНИЕ

Обычно воздержанный в еде, мистер Левендер этим вечером был так голоден, что не мог оторваться от омар, поданного миссис Петти, до тех пор, пока на тарелке перед ним не осталась одна скорлупа. Поскольку принципы не позволяли ему облегчить душу ничем, кроме лимонада, он лег спать, испытывая известную тяжесть, и, утомленный тревожными днями, вскоре впал в тяжелое забытие, которое на рассвете было нарушено сном исключительной живости. Он увидел себя одетым в хаки с панцирем из газет с речами, которые он должен был произнести перед солдатами на фронте. Он мчался на крылатом танке по опустошенным войной местностям, о которых он так часто читал в ежедневных газетах и которые мучительный сон изобразил гораздо ярче, чем прекраснейшие слова передовиц. Вдруг танк перевернулся, и мистер Левендер вывалился в болото, которое озаряли бесчисленные осветительные снаряды, то и

дело пролетающие над головой. В трясине были сотни и тысячи людей, провалившихся, как и он, по пояс и отчаянно махавших руками.

«Вероятно, это солдаты, которым я должен сказать речь», — подумал мистер Левендер и оторвал от панциря газетный лист, но не успел он произнести и слова, как газета вдруг растворилась в воздухе; и он срывал с себя газету за газетой, надеясь найти речь, которая оказалась бы настолько прочной, что ее можно было бы произнести. Наконец обрывок газеты удержался в его руке, и тогда он громогласно воскликнул:

— Герои!

Но при этом слове люди со стоном пошли ко дну, и по трясине забулькали радужные от мерцания осветительных снарядов пузыри. В этот момент один из снарядов, разорвавшись над его головой, превратился в большую яркую луну, и мистер Левендер с изумлением обнаружил, что пузыри были не пузыри, а сидящие на заливной лунным светом трясине бабочки, трепетавшие багровыми крылами и смотревшие на него тысячью крохотных человеческих лиц.

— Кто вы? — закричал он. — Кто вы?

Бабочки сложили крылья, и у каждой на лице появилось выражение столь грустное и взыскующее, что слезы мистера Левендера так и хлынули на газетный панцирь.

— Мы убитые, — донесся до него шепот. И внезапно они взлетели стаями, на лету ударяя его крылами по лицу.

Мистер Левендер проснулся. Он сидел на полу посреди комнаты, свет падал на него сквозь щель в занавесках, а Блинк слизывала слезы, струившиеся по его щекам.

— Блинк, — сказал он, — я видел страшный сон.

И все еще ощущая на груди своей тяжесть, тяжесть многих произнесенных речей, он не решился снова лечь в постель; кое-как одевшись, он осторожно спустился вниз и вышел на улицу. Он шагал со своей Блинк навстречу подымавшемуся солнцу, один в серебристом свете хемпстедского утра, глубоко задумавшись о своем необычном сне.

«Вероятно, я не приобрел еще того блаженного спокойствия, без которого немислим успех оратора, — размышлял он. — В этом, без сомнения, и заключается раз-

гадка моего сна. Тяжесть на груди и тщетные попытки сорвать с себя газеты, которые тотчас же растворялись в воздухе, можно объяснить подсознательным признанием этого моего недостатка. Мне не хватает самодовольства, необходимого оратору при любых обстоятельствах, и той счастливой самоуверенности, которая так неотразима в письменных и устных высказываниях великих людей. Тем не менее мой недостаток можно исправить практикой!»

И, подойдя к крохотному цветущему деревцу, он обратился к нему с такими словами:

— О деревце, будь моей аудиторией, ибо в твоих озаренных солнцем ветвях я вижу образ безмятежного и прекрасного мира, который, по мнению всех ответственных лиц, неизбежно возникнет из нынешнего разгула железа и крови.

И деревце ответило ему звонким голосом черного дрозда.

Сердце мистера Левендера, чутко откликавшееся на каждый зов природы, тотчас же растаяло.

— Что царства земные, мечты государственных мужей, все козни и хитросплетения политики в сравнении с красотой этого деревца! — говорил он. — Оно, а быть может, это он или она, вольно дышит в своем простом трепетном одеянии и стремится лишь к тому, чтобы любить и быть любимым. Оно, он, она дает приют дрозду и дарит благоухание утру, цветы его, ее улавливают капли дождя и солнца. Я вижу в нем, в ней волшебство господне. О, если бы мне из его, ее красоты создать песнь искупления!

С этими словами он встал перед деревцем на колени, и очень тихая Блинк, усевшаяся рядом с ним, казалась в этот миг умнее многих других собак. Знакомый булькающий звук вывел его из благоговейной сосредоточенности и, оглянувшись, он увидел на дорожке свою юную соседку в форме сестры милосердия.

«Она упала с небес, — подумал он, — ибо все сестры суть ангелы».

И, сняв шляпу, он обратился к ней:

— Вы застигли меня в момент, которого я никоим образом не стыжусь: я причащался Красоты. И подумать только! Со мною вы, Аврора.

— Ничего себе Аврора,— сказала юная леди.— Мне так осточертел госпиталь, что я решила малость прогуляться, прежде чем снова лезть в хомут. Если вы идете домой, пойдемте вместе.

— С огромнейшей радостью,— сказал мистер Левендер.— Одевание милосердия очень идет вам.

— Вы находите?— ответила юная леди, щеки которой нисколько не заалели от комплимента.— По-моему, оно чудовищно. Скажите, вы всегда молитесь на то дерево?

— К стыду своему, должен признаться, что нет,— ответил мистер Левендер.— Но в будущем я намереваюсь делать это всегда, ибо под ним меня посетило такое прекрасное видение.— И он наградил свою спутницу взглядом, исполненным такого восторга и благоговения, что она постучала себя по губам, скрывая зевок, и глубоко вздохнула.

— Ужасно хочу спать,— сказала она.— Были у вас какие-нибудь новые приключения, у вас и вашего Сэмчо?

— Сэмчо? — переспросил мистер Левендер.

— Я так зову вашего шофера. Он ведь очень похож на Сэма Уэллера и на Санчо Панса, не правда ли, дон Пиквихот?

— Гм! — сказал смущенный мистер Левендер.— Вы имеете в виду Джо? Славный малый. В нем есть героизм такого рода, который я особенно ценю.

— Какой же? — спросила юная леди.

— Непобедимое чувство юмора перед лицом опасности, которым так славятся наши солдаты.

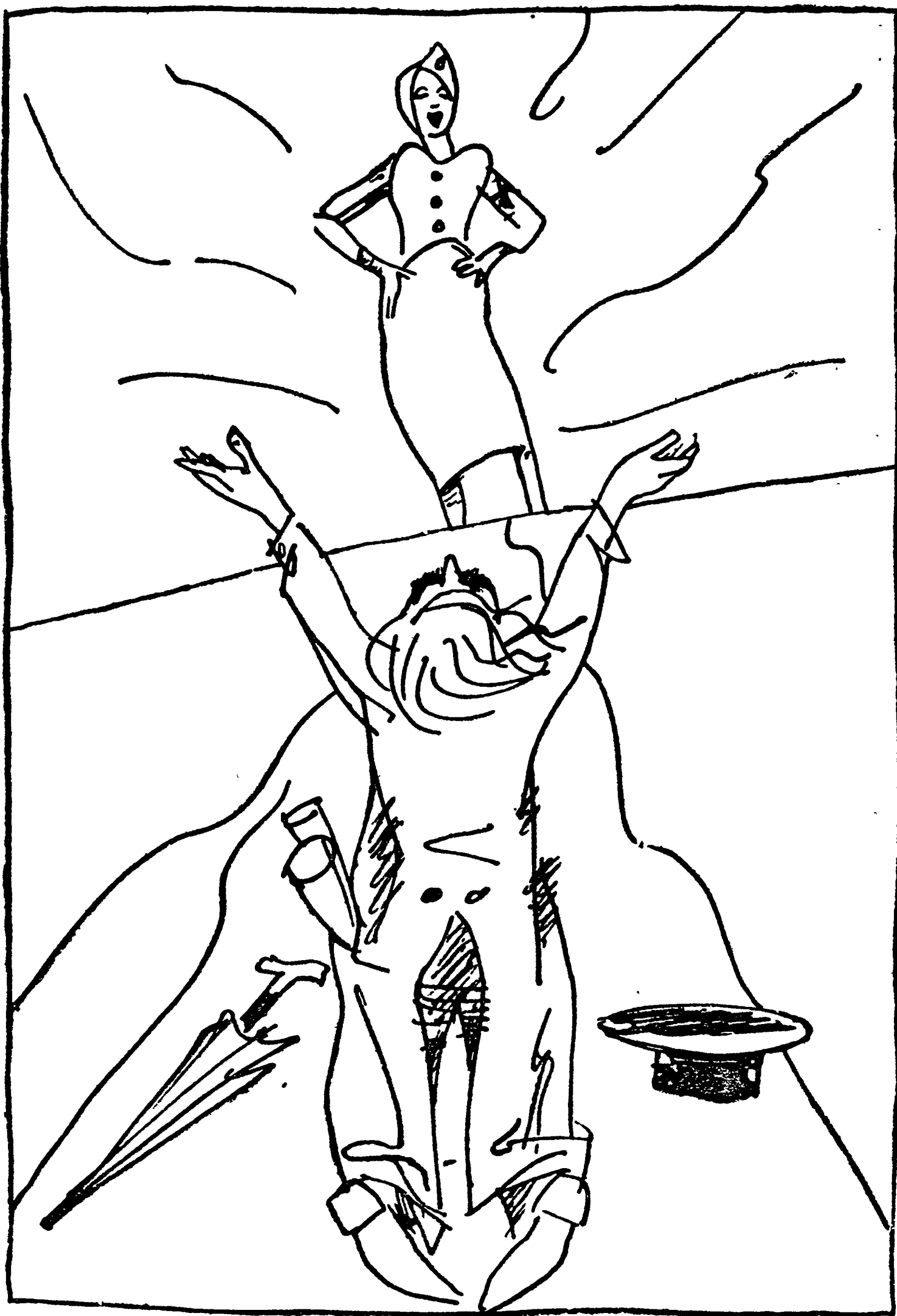
— Я вижу, вы сильно верите в героизм, дон Пиквихот,— сказала юная леди.

— А что была бы жизнь без него? — ответил мистер Левендер.— Война бы не могла продлиться ни минуты.

— Вы правы,— мрачно проговорила юная леди.

— Но вы не можете желать ее конца до полного истребления нашего общего врага? — спросил пораженный мистер Левендер.

— Я не пацифистка,— сказала юная леди,— но если бы вы видели такое количество безруких и безногих, какое приходится видеть мне, то, знаете ли, ваша героика как-то поблекла бы.— И она ускорила шаг, так что мистеру Левендеру, который был на четыре дюйма ниже ее, пришлось чуть ли не бежать.— Будь я солдатом,—



прибавила она,— я, наверно, захотела бы пристрелить каждого, кто произнесет хотя бы одну громкую фразу. Да, болтовня стала просто невыносимой.

— Аврора,— сказал мистер Левендер,— вы позволите мне, годному вам — увы! — в отцы, называть вас так? Вы, без сомнения, знаете, что громкие фразы — это те же боеприпасы, что они имеют значение отнюдь не меньшее, чем настоящие взрывчатые вещества. Возьмите, например, слово «свобода», разве вы хотели бы отнять его у нас?

Юная леди посмотрела на него своими большими серыми глазами, в которых заблестало сильное чувство.

— Дорогой дон Пиквихот,— сказала она,— я бы просто отобрала это слово у всех тех, кто не знает, что оно означает. И что бы тогда осталось? Да вы не смогли бы накормить баснями одного-единственного муниципального соловья! Вас всех не хватило бы на одну передовицу раз в год после дождичка в четверг! Разве вы не видите, дон Пиквихот, что свобода — это особая форма тирании и что нас больше всего тиранит именно громкая болтовня?

— Боже милостивый! — воскликнул мистер Левендер.— С таких алых губок слетают такие слова!

— Я пока еще не пацифистка,— продолжала юная леди, подавляя зевоту,— но я ненавижу жестокость, ненавижу ее так сильно, что готова сама жестоко расправиться с нею. Пусть гунны сами расхлебывают кашу, которую заварили. Я вовсе не жажду мщения, но что же поделаешь!

— Моя дорогая юная леди,— успокаивающе заговорил мистер Левендер,— вы ведь не можете быть мстительной, ибо каждый великий публицист и оратор говорит нам, что мстительность — чувство, чуждое союзникам, которые ищут лишь справедливости.

— Вздор!

Блинк, доселе спокойно слушавшая их беседу, решила, что это слово относится к ней, и, вскинув морду, лизнула юную леди в руку столь неожиданно, что та вздрогнула и сказала:

— Прелесть!

Мистер Левендер, приняв это слово на свой счет, жестоко покраснел.

— Аврора,— сказал он, задыхаясь,— сердечный восторг мешает мне воспользоваться вашим нежным словом. Простите меня, и давайте тихонько разойдемся по домам, ибо я увидел прекрасное видение и знаю свое место.

Хладнокровие, казалось, на миг оставило юную леди, ее губы чуть дрогнули, она стиснула руку мистера Левендера.

— Вы действительно прелесть,— сказала она,— думаю, что вам следует быть в постели. Кстати, мое имя Изабел.

— Только не для меня,— сказал мистер Левендер.— Вы Аврора, Заря, и ничто не убедит меня в обратном. И я клянусь отныне подниматься вместе с вами.

— Что вы! — воскликнула юная леди.— Пожалуйста, не воображайте, что я люблю вскакивать ни свет ни заря. Просто я сейчас иду с ночной смены.

— Это не имеет значения,— проговорил мистер Левендер,— я буду преданно следить за каждой вашей ночной сменой, и это придаст мне силы продолжать общественную работу, ибо меня всегда будет манить розоперстый рассвет грядущего.

— Ладно,— пробормотала юная леди,— пока что до свидания, и идите спать. Еще нет пяти.— И, помахав своими розовыми перстами, она легко пролетела по дорожке сада и скрылась за дверью дома.

Мистер Левендер на мгновение ощутил себя другим человеком. Он пошел в свой сад и стоял, глядя на ее окно, пока надежда увидеть ее там не угасла совсем; тогда он вошел к себе в дом.

ХІ

...СРЫВАЕТ ПАЦИФИСТСКИЙ МИТИНГ

За завтраком в то самое утро, когда его посетило прекрасное видение, мистер Левендер, всегда читавший газеты, как священное писание, наткнулся на объявление, что вечером того же дня в холлоуэйской церкви состоится митинг «Лиги борцов за свободу слова», которую его газеты частенько клеймили за миролюбие. Прочитав имена ораторов, мистер Левендер сразу же почувствовал, что его долг — явиться на митинг.

«Там, вероятно, не будет никого, кто мог бы выра-

зить протест,— решил он.— В Англии свобода достигла размеров, угрожающих благородным патриотическим чувствам. Без сомнения, это рецидив чудовищного здравого смысла, из-за которого каждый мог говорить, что хочет. Я бы рад остаться дома,— подумал он,— они, вероятно, могут применить ко мне грубую силу; однако трусость не пристала мне, я должен быть там».

Весь день он с крайним беспокойством размышлял о своем неприятном долге по отношению к этим опасным личностям и подзубривал те передовые из своих пяти газет, которые имели хоть какое-нибудь отношение к делу. Он не сказал никому ни слова о своих намерениях, так как был убежден, что, связываясь с пацифистами, идет на значительный риск; однако сознание исполняемого долга не позволяло ему желать, чтобы кто-нибудь помешал осуществлению его планов, хотя в глубине души он надеялся именно на это.

В шесть часов он замкнул Блинк в кабинете и, вооружившись тремя передовицами, отправился в свое рискованное путешествие. В семь часов он уже поспешал по мрачноватой дороге к холлоуэйской церкви, но у дверей ее столкнулся с непредвиденным препятствием.

— Ваш билет! — спросил здоровенный верзила.

— У меня нет билета,— сказал растерявшийся мистер Левендер,— но это ведь митинг «Лиги борцов за свободу слова», поэтому-то я и пришел сюда.

Верзила внимательно посмотрел на него.

— Без билета нельзя,— сказал он.

— Я протестую,— сказал мистер Левендер.— Какие же вы в таком случае борцы за свободу слова?

Верзила улыбнулся.

— Ладно,— сказал он,— вы слабее кролика, проходите!

Возмущенный мистер Левендер очутился в церкви. Митинг уже начался, и высокий человек с унылым лицом стоял за кафедрой и что-то говорил аудитории, которая почти полностью состояла из женщин и стариков, а его коллеги сидели позади него в президиуме с отсутствующими лицами. Мистер Левендер устроился на крайнем месте в одном из средних рядов и приготовился слушать.

«Как бы горячо ни стремился я исполнить свой долг,— думал он,— мне, поборнику справедливости, следует сначала установить, какого рода митинг я собираюсь сорвать». Еще в дверях по аплодисментам, часто прерывавшим речь оратора, мистер Левендер понял, что церковь битком набита людьми. По мере того как оратор продолжал говорить, мистеру Левендеру становилось все более не по себе. Однако действовало на него не то, что говорил оратор, ибо наш герой был всецело поглощен необходимостью подготовить достойную отповедь, для чего он, отрешившись от всего, подгонял друг к другу доводы и словесные фиоритуры передовиц, которые за этот день выучил почти наизусть. Деликатный от природы, он терпеливо ждал, когда кончит оратор, и тогда, сжимая в руке три передовицы, он решительно направился к сидящему президиуму. Повернувшись к нему спиной, он начал пронзительным от волнения голосом:

— Леди и джентльмены, настало время вам в соответствии с традициями вашего общества выслушать и меня. Я буду говорить без обиняков. В наших рядах еще есть некоторые вредоносные типы, подобные тому безызвестному джентльмену, который дошел до такого бесстыдства, что отцом имеет француза — француза, джентльмены! — не немца, леди! — обратите внимание на эту наглую маскировку; или подобные тому ренегату, лейбористскому вождю, который никого никуда не вел, но если бы повел, то непременно завел бы всех нас в волчью яму всеобщего уничтожения; или подобные тем высоколобым кастратам, которые принимают свое педантичное крючкотворство за жемчужные зерна и которые готовы безнадежно затемнить яснейшие вопросы набором изменнических пацифистских пошлостей. Заявим же им сразу — и пусть они это учтут! — что мы не потерпим этого, ибо мы...

Тут его слова потонули в шуме гораздо более громком, чем тот, который производили президиум и ошарашенная аудитория; мистер Левендер увидел, как толпа горластых юнцов оттеснила верзилу, стоявшего в дверях, и понесла его по проходу, пока он не оказался перед мистером Левендером, причем несчастный был к нему спиной и тщетно пытался повернуться. Увидев, что ему угрожает опасность, наш герой закричал что было мочи:

— Свобода слова, джентльмены, свобода слова! Вы наглядно демонстрируете мне, что у вас нет никакой свободы слова!

В ответ на это юнцы, запрудившие проход, подняли невообразимый шум.

— Джентльмены,— кричал мистер Левендер, размахивая передовицами,— джентльмены!..

Но в это мгновение верзилу швырнули головой в живот мистеру Левендеру, отчего оба попадали в разные стороны. Последовавший за этим рев лишь отдаленно донесся до сознания мистера Левендера, потому что многие ноги прошли по нему. Тем не менее он ухитрился отползти в уголок и, приподнявшись, увидел, что происходит. Вторгшиеся в церковь юнцы, числом и силою намного превосходившие президиум, верзилу и пришедших к ним на помощь троих-четверых здоровых слушателей, беззастенчиво пользовались своим превосходством; и сердце мистера Левендера облилось кровью, когда он увидел, как они побивают своих оппонентов и издеваются над ними. Их бесчинства привели его в такую ярость, что, позабыв все принципы, равно как и цель своего пребывания на митинге, он выпрямился во весь рост, скрестил руки на груди и во весь голос крикнул:

— Негодяй! Не смейте пользоваться тем, что вы сильнее! Негодяй!

Защитив, таким образом, то, что в здравом уме он считал злом, он стал спокойно ожидать своей участи. Но его слова потонули во всеобщем реве.

«Как раз в такие минуты,— подумал мистер Левендер,— великий оратор и утверждает свое превосходство, усмиряя бурю и заставляя выслушать свои слова».

И он стал мучительно припоминать, как это делается.

«Для этого нужен голос быка и шкура крокодила,— думал он.— Увы! Мне решительно недостает качеств общественного деятеля!»

Но тут его самоуничижение прекратилось, равно как и электрическое освещение. Вслушиваясь в разнорядицу голосов, раздававшихся в темноте, мистер Левендер вдруг понял, что по воле провидения он получил возможность говорить и что теперь его услышат.

— Остановитесь, друзья мои! — закричал он.— В этой тьме мы яснее видим истинные масштабы того

великого вопроса, каковым является свобода слова. Некоторые считают, что в демократической стране каждое мнение должно быть выслушано; так полагают лишь потому, что поскольку здравый смысл большинства всегда ведет страну по правильному пути, то меньшинству должна быть предоставлена полная свобода слова, ибо оно все равно не может сбить страну с заданного курса, кроме того, такая свобода слова действует как полезнейший предохранительный клапан. Более того, говорят, что запретить меньшинству выражать свои мысли можно только силой, а это недостойно большинства и противоречит тем идеалам, за которые мы боремся в этой войне. Но вслед за великими людьми, пишущими передовые статьи, я полагаю, что в то время, когда над отечеством нависла величайшая угроза, никто не смеет говорить что-либо идущее вразрез с мнением большинства; ибо только таким образом сможем мы создать фронт единства перед лицом нашего общего врага. Я заявляю вам,— а я принадлежу к большинству и, значит, во всем прав,— что если мы хотим спасти дело свободы и гуманизма, ни один человек, несогласный со мной, не должен высказывать какие-либо мысли. Я осуждаю насилие, но я исполнен решимости дать отпор любой вредоносной чепухе и без колебания употребляю все средства, которыми располагает большинство, вплоть до прусских мер принуждения, чтобы умолк трусливый шепот тех дезориентированных и антипатриотически настроенных лиц, чьи так называемые принципы побуждают их заявлять о праве иметь свои мнения. Англия всегда была свободной страной, и своей самовлюбленной болтовней они не смеют подвергать опасности ее свободу.

Мистер Левендер перевел дух, и в этот миг донесшийся из темноты неясный звук, подобный царапанью мыши, привлек его внимание. Полная тишина окрылила его.

«Удивительно,— подумал он,— я так приковал их внимание к своим словам, что даже слышу, как скребется мышь. Видимо, я произвел большое впечатление».

И, боясь испортить его дальнейшими словами, он стал ощупью пробираться вдоль стены в надежде найти выход. Но не сделал он и двух шагов, как его протянутая рука наткнулась на что-то теплое, что с визгом отпрянуло в сторону.

— Ах! — вскрикнул мистер Левендер, у которого по спине побежали мурашки.— Что это?

— Это я,— ответил сдавленный женский голос,— а вы кто?

— Оратор, сударыня,— с несказанным облегчением ответил мистер Левендер.— Не пугайтесь, прошу вас.

— Ох! — прошептал голос.— Это тот сумасшедший!

— Уверю вас, сударыня,— ответил мистер Левендер, стараясь не потерять собеседницу,— я ни за что на свете не причиню вам зла. Не скажете ли вы, в каком месте церкви мы находимся?

И, подавшись вперед, он вытянул руки и стал шарить вокруг себя. Слова его остались без ответа; он обнаружил, что стоит между двумя рядами стульев, и, держась за спинки передних, стал боком пробираться вдоль ряда, причем старался не терять контакта с задним рядом. Так в кромешной тьме он миновал пять-шесть стульев, когда свет вдруг зажегся, и он обнаружил, что смотрит прямо в глаза молодой женщине, которая, так же изогнувшись, пробиралась вдоль соседнего ряда, все время оглядываясь на преследователя.

— Боже мой! — произнес мистер Левендер, когда оба они с достоинством выпрямились.— Я понятия не имел...

Молодая женщина прикрыла затылок рукой, быстро скользнула вдоль ряда, промчалась по проходу и исчезла. В церкви никого больше не было. Оглядев горы изломанных стульев, мистер Левендер вышел из церкви в ночь.

«Это похоже на сон,— думал он,— и все же я исполнил свой долг, ибо ни один митинг никогда не был сорван более успешно. Совесть моя чиста, и я порядком проголодался. Можно идти домой».

XII

...УСКОРЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ И ПРИНИМАЕТ ВРАЧА

Окрыленный своим успехом на митинге пацифистов, мистер Левендер на следующее утро стал выискивать в газетах новое поле деятельности; прочитав всего несколько страниц, он наткнулся на заметку:

«Сегодня все зависит от транспорта, и мы не рискуем впасть в крайность, всеми имеющимися у нас средствами призывая к ускорению перевозок».

«Как это верно!» — подумал он. И, второпях закончив завтрак, он отправился с Блинк погулять и поразмыслить, чем он может быть полезен в этом деле.

«Я могу увещевать каждого, кто связан с транспортом, но не отдает ему все силы, — размышлял он. — Это не очень приятно, ибо, без сомнения, может вызвать враждебное отношение ко мне. Тем не менее это не должно меня останавливать, ведь подобные явления ежедневно сопутствуют общественной жизни, кроме того, как говорится, злые слова костей не ломают, даже наоборот, у нас, общественных деятелей, от них делается толще кожа и острее языки, так что мы можем побить врага его собственным оружием. Я предчувствую, что это послужит скорейшему воспитанию во мне тех качеств общественного деятеля, которых мне еще недостает».

Когда же он подумал о фургонах на хемпстедских холмах и мальчишках-возницах, сердце его сжалось.

«Чего им не хватает, — подумал он, — так это способности видеть транспортную проблему в деталях и в целом. Я должен попытаться привить этот навык всем, кто имеет какое-либо касательство к транспорту».

Не успел он прийти к этому умозаключению, как, свернув за угол, увидел большой фургон, застрявший перед вершиной холма. Возница стоял, лениво прислонившись к заднему колесу, и набивал трубку. Взглянув на ближнюю к нему лошадь, мистер Левендер обратился к вознице:

— Знаете ли вы, друг мой, что в эти дни великого национального кризиса нам дорога каждая минута? Если бы вы, подобно мне, рассмотрели транспортную проблему в деталях и в целом, то, я убежден, вы не стояли бы сейчас тут, раскуривая трубку, а поняли бы, что полчасовая задержка грузов может означать смерть одного из ваших товарищей на фронте.

Возница, иссохший беззубый старик, взглянул на мистера Левендера, оторвавшись от трубки, к которой он только что поднес защищенную ладонями спичку. Лоб его был весь в морщинах, глаза слезились.

— Заверяю вас, — продолжал мистер Левендер, — что

в эти дни никто из нас не имеет права хотя бы минуту мешкать с чем-либо, даже с произнесением речей. И когда меня посещает соблазн уклониться от исполнения долга, я тотчас же вспоминаю о наших сыновьях и братьях в окопах, о том, что каждый снаряд, каждое слово спасает их жизни, и я тотчас же приступаю к делу.

Старик, уже раскуривший трубку, глубоко затянулся и хрипло сказал:

— Валяйте дальше!

— Да, я не останавлиюсь на этом,— ответил мистер Левендер,— я знаю, что могу произвести настоящую революцию в ваших взглядах, и вы перестанете попусту тратить государственное время, стоя у колеса, но будете со рвением погонять лошадей и служить делу победы.

Старик оглядел оратора и столь криво и свирепо усмехнулся, что мистер Левендер даже спросил:

— Почему вы так на меня смотрите?

— Так получается,— ответил возница.

— Почему вы прохлаждаетесь здесь в то время, как ваша работа не доведена до конца? — продолжал мистер Левендер.— Причиной этому не крутой холм, вы уже на его вершине, да и лошади ваши как будто отдохнули.

— Это верно,— подтвердил старик, сделав новую гримасу,— отдохнули, по крайней мере, одна.

— Тогда ничто не может задерживать вас, кроме типично английской нерасторопности, которая и в общественной жизни так страшно мешает вести войну.

— Вон что! — сказал старик.— Только из одного, хозяин, двоих не сделаешь. Отойдите-ка в сторону, и все будет еще более в деталях и в целом.

Пораженный этими словами, которые сопровождались подергиванием морщинистых щек, мистер Левендер обошел фургон, смотря, не сломалось ли что, и вдруг увидел, что пристяжная лошадь лежит на земле с обрезанными постромками. Она лежала на боку и не шевелилась.

— Боже! — воскликнул мистер Левендер и опустился на колени перед головой лошади. Глаза ее быстро тускнели.

— Ах, бедная лошадь! — воскликнул он.— Не умирай! — И слезы его ручьем полились на морду лошади.

Казалось, она взглянула на него, и тут же глаза ее сделались совсем стеклянными.

— Умерла! — сказал мистер Левендер испуганным шепотом. — Это ужасно! А какая тощая — одни кости! — Взгляд его блуждал по торчащим ребрам околевшей лошади; живая лошадь в это время, склонив голову, глядела на свою околевшую подругу, грива которой разметалась по дорожной пыли.

— Я должен извиниться перед этим стариком, — громко сказал мистер Левендер, — ибо, вне всякого сомнения, горе его сильнее, чем мое.

— Ничего такого, хозяин, — слышался ответ, и, подняв глаза, мистер Левендер увидел, что старик-возница стоит рядом, — ничего такого: из всех собачьих дел, которые мне довелось в жизни переделать, три месяца езды на этой кляче были самым собачьим делом. Вот она отмучилась и теперь там, куда они все рады попасть. Я подгонял ее, хозяин, берег государственное время и государственный овес, я подгонял ее, это вот ее и доконало. Старая добрая кобыла, послушная кобыла околела, гоняли ее в хвост и в гриву, а кормили кое-как. Вот она лежит, и я рад, что лежит. — И тыльной стороной ладони старик отер мутную влагу, дрожавшую в уголках губ.

Мистер Левендер поднялся на ноги.

— Ужасно! Чудовищно! — воскликнул он. — Бедная лошадь! Кто несет за это ответственность?

— Да господа вроде вас, — ответил возница, — такие, которые видят ее в деталях и в целом с той стороны фургона.

Потрясенный до глубины души, мистер Левендер заткнул уши и почти бегом бросился прочь; он не останавливался ни на мгновение, пока не достиг своего спасительного кабинета, где он бросился в кресло, а Блинк тут же улеглась у его ног.

«Я куплю тележку, — думал он, — и мы с Блинк, соединив силы, будем выручать бедных лошадей. Мы можем доставлять молоко и овощи хотя бы себе самим».

Так, размышляя над мучительными коллизиями в жизни общества, он просидел около получаса; неожиданно голос миссис Петти вывел его из печальной задумчивости.

— К вам доктор Диндон, сэр.

При виде доктора, который недавно лечил его от алкогольного отравления, мистер Левендер испытал то смутно неприятное чувство, которое обычно следует за неосознанным оскорблением.

— Доброе утро, сэр,— сказал доктор,—я подумал, не мешает мне лишний раз убедиться, что вы в добром здравии. Это была неприятная история. Нет ли у вас боли в спине?

— Нет,— холодно ответил мистер Левендер, а Блинк зарычала.

— А в голове?

— У меня ничего нет в голове,— ледяным тоном ответил мистер Левендер.

— Мне помнится...— начал доктор.

— Доктор,— с достоинством отпарировал мистер Левендер,— вы не можете не знать, что у общественных деятелей в голове ничего быть не может, иначе бы они не были тем, чем они являются. Порою от речей у них может болеть горло, что же касается всего остального, то у них, к счастью, превосходное здоровье.

Доктор улыбнулся.

— А что вы думаете о войне? — спросил он самым непринужденным тоном.

— Успокойся, Блинк,— сказал мистер Левендер. И потом изменившимся, далеким голосом он прибавил: — Какие бы тучи ни собирались над нашими головами в данный момент, какие бы удары ни готовила нам судьба, мы будем героически бороться до тех пор, пока не достигнем нашей высокой цели, пока враг не будет отброшен. Но мы не остановимся на этом,— продолжал он, вдохновленный собственными словами.— Лишь плохой патриот может ограничиться решением тех задач, которые мы ставили, вступая в войну. Мы, не колеблясь, пожертвуем последними людьми, последними деньгами для выполнения нашей священной миссии — полного уничтожения вражеского государства, ввергшего мир в пучину бедствий. Даже если враг захочет сдаться, мы продолжим войну до тех пор, пока не продиктуем ему наших условий на пороге Потсдама.

Доктор, который со странным вниманием рассматривал ораторствовавшего мистера Левендера, быстро опустил глаза.

— Совершенно верно,—с чувством сказал он,—совершенно верно. До свидания! Я ведь только на минуту.

И, оставив окрыленного высокими чувствами мистера Левендера, необычный гость покинул его дом. За калиткой он встретил поджидавшего его племянничка Синкина.

— Ну как? — спросил племянничек.

— Не больше нас с вами,—сказал доктор.— Малость педантичен в выражении чувств, но совершенно нормален, уверяю вас.

— Его собака вас не укусила? — пробормотал племянничек.

— Нет,—рассеянно проговорил доктор.—Ах, если бы каждый держал свои взгляды при себе! Прощайте, я иду по делу.

И они расстались.

А мистер Левендер прошелся по комнате взад-вперед раз шесть и снова уселся в кресло, ощущая в желудке неприятный холодок, как это бывает с людьми наутро после попойки.

ХІІІ

...ГОВОРIT СОЛДАТАМ О ТОМ, ЧТО ИХ ЖДЕТ

В погожие дни мистер Левендер любил после обеда посидеть на одной из скамеек, красовавшихся на Спаньярд-Роуд, погреться на солнышке и полюбоваться панорамой городских башен в голубоватой дали. И в тот день, когда к нему заходил доктор, он вышел с Блинк и, усевшись на скамейку, прочел передовицу, которая предписывала всем и каждому принять живейшее участие в судьбе инвалидов войны.

«Да,—подумал он,—без сомнения, наш долг —заставить их, несмотря на все раны и увечья, продолжать борьбу и даже превзойти свой фронтовой героизм, стать выше самих себя». И ему показалось истинной волей провидения, что на его скамью неожиданно сели трое солдат в синих госпитальных пижамах с красными галстуками. Так они просидели несколько минут, разделенные стеной привычных условностей, и мистер Левендер ломал себе голову, как бы поестественнее заговорить

с ними, но вдруг на помощь пришла Блинк, которая встала перед одним из солдат и стала глядеть ему в глаза.

— Господи! — сказал солдат. — Ну и морда! А какие усищи! Ну, попрошайка, чего ты так уставилась?

— Моя собака любит глядеть на все прекрасное и необычайное, — заговорил мистер Левендер, стараясь не упустить удобный случай.

— Ну и ну, — сказал солдат, лицо которого было сплошь забинтовано, — и она все это нашла во мне?

Поощряемый улыбками солдат, мистер Левендер продолжал, стараясь как можно более непринужденно:

— Я уверен, вы прекрасно понимаете, друзья мои, какое огромное значение имеет ваша дальнейшая судьба.

Три солдата с удивлением переглянулись, насколько им позволили забинтованные лица, и промолчали. Мистер Левендер продолжал говорить, невольно подражая поэтическому строю только что прочитанной статьи:

— Мы сейчас переживаем критический момент, поэтому мы должны, не теряя ни минуты, внушать каждому инвалиду войны, что он вновь должен стать капитаном своей души. Тот, кто был героем на фронте, должен вновь продемонстрировать нам находчивость и выносливость, которыми он заслужил восхищение всего человечества.

Три солдата обратили к мистеру Левендеру забинтованные лица, и, увидев, что он привлек их внимание, мистер Левендер продолжал свою речь:

— Госпитальная апатия и отсутствие труда в огромной степени ответственны за то опасное положение, в котором сегодня оказывается инвалид войны. Только мы, люди, которым не угрожает такое будущее, можем понять, каким это будущее может стать, если инвалид войны путем напряженных усилий не добьется лучшей участи. Ребята, — с горячностью сказал он, вдруг вспомнив, что обладавшие тесным контактом с аудиторией ораторы всегда употребляли это слово, — ребята, делаете ли вы что-нибудь для этого? Подготавливаете ли вы себя духовно? Используете ли вы свой вынужденный досуг для того, чтобы занять такое место в жизни, где вы сможете противостоять всем пришельцам?

Он умолк в ожидании ответа.

Как показалось мистеру Левендеру, на лицах троих

солдат изобразилось чистейшее изумление. Помолчав с минуту, они заерзали, и один из них спросил соседа:

— Как думаешь, Альф, мы делаем то, что говорит джентльмен?

— Я могу сам ответить,— обрадованно проговорил мистер Левендер,— ибо по вашим госпитальным лицам я вижу, что вы живете лишь текущим днем; по мнению лучших наших публицистов, это типично английская привычка. Я уверяю вас,— продолжал он с торжествующей улыбкой,— что таким образом будущего вы не завоюете. Если вы тотчас же не начнете добиваться надлежащих мест в величественном храме промышленности, встречный поток захлестнет вас и выбросит на мель.

При последних словах некоторое раздражение на забинтованных лицах сменилось снисходительностью.

— Вы все верно говорите, хозяин,— покровительственно сказал средний солдат.— Вы не беспокойтесь, мы вас проводим.

— Это я должен проводить вас,— возразил мистер Левендер,— это скорее долг того, кто не имел счастья сражаться за наше отечество.

Эти слова окончательно утвердили солдат в мнении, что у мистера Левендера не все дома. Они встали.

— Пойдемте,— сказал один из них,— проводим друг друга. Нам надо быть к пяти. Ваша собака ведь не на поводке?

— Нет! — сказал удивленный мистер Левендер.— Я же не слепой.

— Ничего,— утешил его солдат,— пойдемте-ка, сэр, и поговорим об этом по дороге.

Мистер Левендер, восхищенный тем, что произвел на солдат такое сильное впечатление, поднялся и пошел с ними, машинально ведя их по направлению к своему дому.

— Так что же вы нам посоветуете делать, хозяин? — спросил один из солдат.

— Отбросьте все мысли о настоящем,—с горячей убежденностью ответил мистер Левендер,— навсегда забудьте прошлое, безраздельно посвятите себя будущему. Не делайте ничего, что могло бы принести вам немедленное удовлетворение. Не думайте ни о своих семьях, ни о таких преходящих явлениях, как развлечения, дом,

здоровье, деньги на пропитание; безраздельно доверьтесь тем, кто путем серьезных размышлений способен оценить личные обстоятельства каждого из вас. Ибо только превратясь в стадо овец, можете вы под нашим руководством прийти к тем пастбищам, на которых трава вашего будущего будет зелена и обильна. И превыше всего — будьте такими же героями, какими вы стали, когда отечество призывало вас, ибо вы не должны забывать, что отечество продолжает призывать вас!

— Вот это верно, — сказал солдат слева от мистера Левендера. — Мя-ау! Ваша собака гоняет кошек?

Столь неуместный вопрос заставил мистера Левендера подозрительно посмотреть направо и налево, но на забинтованных лицах ничего не выражалось.

— Где ваша больница? — спросил мистер Левендер.

— За холмом направо, — ответил солдат. — А ваш?

— Увы! Я отнюдь не в...

— Понимаю, — деликатно сказал солдат, — можете не говорить, не надо. Мы все братья по несчастью. Вам часто удается выходить?

— Я всегда гуляю после обеда, — ответил мистер Левендер, — когда я свободен от своей общественной работы. Если вы находите, что вашим товарищам это будет интересно, я буду только счастлив прийти к вам и поговорить о вашем будущем.

— Слышишь, Альф? — сказал солдат. — Как ты думаешь, будет им интересно, а?

Солдат, к которому относился вопрос, приложил палец к незабинтованной части губ и мякнул.

— Я бы мог произвести революцию в их взглядах, — продолжал немного озадаченный мистер Левендер. — Позвольте предложить вам эту газету. Прочтите ее, и вы увидите, как жизненно важно все, что я вам говорил. И если вы направите мне петицию, как это водится в демократической стране, я, может быть, смогу навещать вас каждый день после пяти. Иногда я чувствую, — мистер Левендер остановился посреди дороги, поддавшись внезапному наплыву чувств, — что я не имею никакого права жить, в то время как вы отдаете за меня жизнь.

— Ничего, старина, — сказал солдат слева, — вы бы сделали то же самое за нас, будь вы здоровы. Мы на вас не в обиде.

— Ребята,—сказал мистер Левендер,—вы настоящие мужчины. Не могу выразить, как я люблю вас, как восхищаюсь вами!

— Ну-ну, не волнуйтесь так, это может вам повредить. Послушайте-ка! Если с вами будут плохо обращаться, дайте нам знать, и мы покажем тем, кто там за вами смотрит.

Мистер Левендер улыбнулся.

— Бедная миссис Петти! — сказал он.— Но все равно я от души благодарю вас за добрые чувства. Я живу вот здесь,—заклучил он, останавливаясь у ворот домика, утопавшего в сирени и раkitнике.— Не хотите ли чашку чаю?

Солдаты переглянулись; мистер Левендер приписал их удивление слову «чай».

— Весьма сожалею, но я абсолютный трезвенник,—сказал он.

Эти слова укрепили солдат в сложившемся у них мнении о мистере Левендере и удвоили их изумление, что он живет в этом доме; в ответ на его приглашение они лишь переминались с ноги на ногу.

Мистер Левендер снял шляпу.

— Для меня было большой честью побеседовать с вами,—сказал он.— До свидания и да хранит вас бог!

Он открыл калитку и со шляпой в руке вошел в сад, сопровождаемый Блинк.

Солдаты посмотрели, как он скрылся за дверью, и затем молча пошли к себе за холм.

— Черт побери! — внезапно сказал один из них.— У некоторых таких штатских стариков мозги набекрень с самого начала войны. В окопах все проще!

XIV

...ПЫТАЕТСЯ ИНТЕРНИРОВАТЬ НЕМЦА

На седьмом небе от сознания того, что он помог раненым солдатам, мистер Левендер уселся за чай, который был подан ему в кабинет.

«Нет ничего в жизни,—размышлял он,— что давало бы такую радость, как любовь к ближним и умение помочь им». — О лунная кошечка!

Ожидавшая котят лунная кошечка, которая обитала

в крепости мистера Левендера с того дня, когда ее впервые угостили молоком, громко замурлыкала и посмотрела на хозяина горящими глазами; это значило, что она хочет молока. Мистер Левендер подставил ей блюдце и продолжил свои размышления.

«Все тщетно, мир полон теней и призраков, незыблемость есть лишь в любви к людям и в мурлыканье кошечки».

— Вас спрашивает леди, сэр.

Подняв глаза, мистер Левендер увидел миссис Петти.

— Как это приятно!

— Не знаю, сэр,— ответила экономка с присущей ей решительностью,— только она хочет вас видеть. Ее фамилия — Сплэттни.

— Сплэттни,— задумчиво повторил мистер Левендер,— кажется, не знаю... Пригласите ее сюда, миссис Петти, пригласите.

— На вашу ответственность, сэр,— сказала миссис Петти и вышла.

Перед мистером Левендером немедленно появились темно-зеленый шелк, длинная верхняя губа и отвислая нижняя и напряженное, несколько перекошенное лицо, которые, крадучись, приближались к нему.

— Прошу вас, садитесь, сударыня. Не хотите ли чашку чаю?

Гостья села.

— Благодарю вас, я только что пила. Я обращаюсь к вам по рекомендации вашей соседки мисс Изабел Скарлет...

— Что вы говорите! — воскликнул мистер Левендер, и его сердце учащенно забилося.— Располагайте мною, ибо я весь к ее услугам.

— Я пришла к вам,— начала гостья со странной извилистой улыбкой,— как к общественному деятелю и патриоту.

Мистер Левендер поклонился. Гостья продолжала:

— У меня огромная неприятность. Дело в том, что сестра мужа моей сестры замужем за немцем.

— Возможно ли это, сударыня? — спросил мистер Левендер, кладя ногу на ногу и прикладывая кончики пальцев правой руки к кончикам пальцев левой.

— Увы, да,— ответила гостья,— но ужаснее всего то, что он до сих пор на свободе.

Мистер Левендер, в сознание которого незамедлительно хлынул поток знаменитых речей, с молчаливым сочувствием смотрел на ее костлявое лицо.

— Вы сможете представить мои страдания и муки совести, сэр,— продолжала гостья,— если я скажу вам, что мы были очень дружны с сестрой мужа моей сестры и, разумеется, с этим немцем. Они очень дружная юная пара, детей у них нет, и они обожают друг друга. Я пришла к вам, чувствуя, что мой долг добиться его интернирования.

Мистер Левендер, тронутый чисто человеческой стороной вопроса, хотел спросить: «Но почему, сударыня?»,— однако леди продолжала:

— Я лично не слыхала, чтобы он хорошо отзывался о своей родине. Но сестра моей приятельницы, которая пила у них чай, явственно слышала, как он сказал, что ко всему на свете можно подойти так и этак и что он не в состоянии верить всему, что говорится в английских газетах.

— Господи! — проговорил встревоженный мистер Левендер.— Это очень серьезно.

— Увы, да,— продолжала гостья,— а однажды муж моей сестры сам слышал, как он сказал, что человек не может не любить свою родину и не желать ей победы.

— Но это же естественно...— начал мистер Левендер.

— Что?! — воскликнула гостья, приподымаясь.— Ведь его родина — Германия!

При слове «Германия» чувство меры вернулось к мистеру Левендеру.

— Вы правы,— сказал он,— вы правы. Я забылся. Поразительно, как безответственны бывают наши мысли! У вас есть основания считать, что он опасен?

— Я полагала, что сказанное мною могло убедить вас,— укоризненно ответила гостья,— но я не хочу, чтобы вы действовали прежде, чем убедитесь сами. Конечно, вы с ним не знакомы. Мне легко удалось сагитировать тех, кто его знает, но я не могу ожидать, что посторонний... И я подумала, что, если я дам вам его адрес, вы сможете составить собственное мнение.

— Да,— пробормотал мистер Левендер,— да. В высшей степени нежелательно, чтобы какое-либо лицо германского происхождения находилось на свободе и могло вредить нам. Дело не в ненависти или патриотическом фанатизме,— продолжал он все более странным, далеким голосом,— обычное благоразумие обязывает нас принять меры.

— Я должна сказать,— прервала его посетительница,— что мы все, разумеется, считали его порядочным человеком до самого начала войны. Иначе бы мы с ним не дружили. Он зубной врач,— прибавила она,— и, вероятно, люди считают, что он приносит пользу, а это осложняет дело. Я думаю, вы могли бы сходить к нему, скажем, удалить зуб.

Мистер Левендер содрогнулся и машинально тронул рукой щеку.

— Благодарю вас,— сказал он.— Я постараюсь найти подходящий зуб. Это дело нельзя предоставить слепому случаю. Нам, общественным деятелям, сударыня, нередко приходится совершать жестокие и даже бесчеловечные поступки без какой-либо очевидной причины. Опорой нам в таких случаях лишь собственная совесть. Мне рассказывали, что у публики порой возникает впечатление, будто нас можно сломить бурным изъяснением протеста. Лишь те, кто знает нас, понимают, как необоснованно это клеветническое утверждение.

— Вот его адрес,— сказала гостья, вставая и вручая ему конверт.— Я не успокоюсь, пока он не будет интернирован. Разумеется, не упоминайте моего имени. Это трагедия, когда приходится тайно действовать против собственных друзей. Ваша юная соседка с восторгом говорила о вашем усердии, и я уверена, что, назвав вас, как наиболее близкого мне общественного деятеля, она не хотела ввести меня в...

Мистер Левендер поклонился.

— Надеюсь, что это так,— скромно сказал он.— Я постараюсь исполнить свой долг.

Гостья еще раз улыбнулась странной извилистой улыбкой и направилась к двери, оставляя за собою слабый запах уксуса и сандала.

Когда она ушла, мистер Левендер присел на кончик стула перед чайным подносом и извлек изо рта вставные

челюсти. Блинк приняла их за кость, и глаза ее заблестели; лунная кошечка, устроившись меж хозяйскими ботинками, урчала от пресыщения.

«Все основано на разуме, но только не патриотические чувства,— думал он, шаря пальцем во рту,— в противном случае как могли бы мы истребить нашего общего врага до последнего человека? Нам, общественным деятелям, следует всегда подавать пример. Которым зубом я могу пожертвовать? — Он остановился на одиноком коренном зубе в нижней челюсти.— Боюсь, что будет невыносимо больно; однако, если делать под наркозом, то при разговоре будет присутствовать третье лицо; кроме того, весьма вероятно, что после мне все-таки будет очень больно и я не смогу составить о нем непредвзятое суждение. Я должен собраться с духом! Блинк!»

Дело в том, что Блинк уже предпринимала робкие попытки стащить одну из челюстей.

«Как приятно быть собакой! — размышлял мистер Левендер.— Ничего не знать ни о немцах, ни о зубах. Я буду чувствовать себя отвратительно, пока все это не кончится, но меня ведь рекомендовала Аврора; поэтому я не имею права жаловаться. Наоборот, я должен считать себя счастливейшим из общественных деятелей».

И, ероша свои волосы, покуда они все не встали дыбом, он смотрел на лунную кошечку, причем его правая бровь так и ходила вверх и вниз.

— О лунная кошечка,— вдруг заговорил он,— мы все игрушки судьбы и не знаем, что уготовано нам на завтрашний день. Мой зуб уже начинает болеть. Быть может, так и должно быть для того, чтобы я не забыл, который именно я должен принести в жертву.

Погруженный в раздумья, он вставил челюсти и, направляясь к книжному шкафу, стал искать сил и вдохновения в стенограмме парламентских дебатов о проживающих в Англии подданных враждебной державы.

Тем не менее он испытывал немалый трепет, когда на следующий день явился на Уэлкин-стрит и позвонил у двери дома, номер которого значился на конверте, зажатом в руке.

— Да, сэр, доктор дома,— ответила горничная.

У мистера Левендера сердце ушло в пятки, но, при-

звав на помощь образ Авроры, он слабым голосом проговорил:

— Мне необходима его помощь.

Горничная убежала наверх, а мистер Левендер остался ждать в тесной приемной, то снимая, то надевая шляпу,— так велико было его духовное смятение.

— Доктор ждет вас, сэр.

Быстро надев шляпу, мистер Левендер поднялся по лестнице, прижимая палец к щеке как раз против обреченного зуба, чтобы в последний момент ничего не перепутать. По мере приближения к месту мучения храбрость его возрастала, и он бодро вошел вслед за горничной в кабинет, не отнимая одной руки от надетой шляпы, а другой — от щеки, за которой был обреченный зуб. Перед зубоврачебным креслом с красной бархатной обивкой стоял одетый в белый халат молодой мужчина с круглыми глазами и очень обыкновенным лицом. Он спросил на хорошем английском языке:

— Чем я могу вам помочь, дорогой мой сэр? Вас, кажется, мучает супная боль?

— Страшная боль,—тихонько проговорил мистер Левендер,—страшная боль.—И это была правда, ибо от нервного напряжения здоровый зуб в самом деле начал болеть.

— Садитесь, сэр, садитесь,—сказал молодой человек,—и, вероятно, будет лучше, если вы снимете свою шляпу. Мы не будем делать вам больно, нет, нет, мы не будем.

При этих словах, которые, казалось, подвергали сомнению храбрость мистера Левендера, он взял себя в руки. Он снял шляпу, решительно сел в кресло и, взглянув на врача, сказал:

— Делайте со мной, что угодно, я ни на йоту не уклонюсь от поведения, приличествующего тому, кто должен подавать пример другим.

Сказав это, он вынул вставные челюсти и опустил их в стакан на вращающемся столике слева, после чего закрыл глаза и, засунув палец в рот, сказал:

— 'От этот.

— Простите меня, сэр,—сказал молодой немец.—Вы хотите, чтобы я удалил вам суп?

— 'Аково 'ое желание,— сказал мистер Левендер, не вынимая пальца изо рта и не открывая глаз.— 'От этот.

— Тогда мне придется позвать ассистента для анестезии.

— Я 'наю,— ответил мистер Левендер,— 'пешите.

И, ощутив холодок маленького зеркала, которое начало исследовать его рот, он стиснул кулаки и подумал:

«Вот подходящий момент доказать, что я тоже могу отдать жизнь за правое дело. Если я окажусь неспособным перенести ради отечества это ничтожное испытание, я никогда не смогу взглянуть в глаза Авроре».

Голос зубного врача грубо нарушил его глубокое смирение:

— Простите, который суп?

Мистер Левендер вновь засунул палец в рот и открыл глаза.

Зубной врач покачал головой.

— Невозможно,— сказал он,— этот суп совершенно здоров. Два другие гнилые. Они не полят?

Мистер Левендер покачал головой и повторил:

— 'От этот.

— Вы мой первый клиент за неделю, сэр,— сдержанно проговорил молодой немец,— но я не могу удалить вам здоровый суп.

При этих словах мистер Левендер ощутил, как душа его, находившаяся в пятках, возвращается на место.

— Нец? — спросил он, чувствуя, что душа поднялась уже до желудка.

— Нет,— ответил молодой немец.— Этот суп не мог причинить вам поль.

Мистер Левендер мгновенно почувствовал, что вся боль прошла, и вынул палец изо рта.

— Сэр,— сказал он,— я убедился в том, что вы честный человек. В вашем отказе удалить мне зуб есть что-то возвышенное, тем более, что у вас целую неделю не было клиентов.

— Не было,— сказал молодой немец,— правда, Сай-сили?

Мистер Левендер вдруг увидел, что в кабинете находится молодая женщина, которая стоит, прислонясь к стене, с пинцетом в руке.

— Удали ему, Отто, раз он так хочет,— прошептала она.

— Нет, нет,— быстро проговорил мистер Левендер, вставляя челюсти.— Я ни за что на свете не захотел бы отягощать вашу совесть.

— Мои клиенты — все патриоты,— сказал зубной врач,— моей практике пришел капут. Мы в плохом положении, сэр,— добавил он с улыбкой,— но мы стараемся рапотать честно.

Молодая женщина так страшно взмахнула пинцетом, что у мистера Левендера кровь застыла в жилах.

— Надо же нам жить,— услышал он ее слова.

— Сударыня,— сказал он,— я глубоко уважаю ваше стремление расширить практику вашего супруга. Я убежден в вашей глубочайшей честности и поэтому не могу не признаться вам относительно моих намерений. Мой зуб действительно не болит, хотя, когда я делал вид, что болит, он доставил мне немало страданий. Я пришел к вам, чтобы составить свое мнение о деятельности вашего супруга и добиться его интернирования.

При этом слове муж и жена стали рядом, с изумлением и тревогой глядя на мистера Левендера, руки их, еще сжимавшие зубоврачебные инструменты, бессознательно потянулись друг к другу.

— Вам не надо ничего опасаться! — воскликнул тронутый до глубины души мистер Левендер.— Я вижу, как вы привязаны друг к другу, и, несмотря на то, что ваш муж — немец, он все же человек, и ничто не заставит меня отнять его у вас.

— Кто вы? — испуганно спросила молодая женщина, обнимая мужа за талию.

— Просто общественный деятель,— ответил мистер Левендер.— Я пришел сюда, сознавая свой долг, вот и все, уверяю вас.

— Кто на нас донес?

— Я не волен сообщить вам это,— сказал мистер Левендер, кланяясь так низко, как только позволяло ему сидячее положение.— Но верьте мне: мое посещение ничем вам не угрожает; я никогда не сделаю ничего, что могло бы огорчить женщину. И прошу вас, получите с меня, как если бы зуб был удален.

Молодой немец улыбнулся и покачал головой.

— Сэр,— сказал он,— я благодарю вас за то, что вы пришли сюда, так как это показывает, какая угроза нависла над нами. Труднее всего было переносить неопределенность нашего положения, догадываясь, что наши знакомые что-то тайно замышляют против нас. Теперь мы точно знаем, что это именно так, и нам легче подготовиться к худшему. Но скажите мне,— продолжал он,— когда вы пришли сюда, вы, без сомнения, понимали, что отнять меня у жены — значит причинить горе и ей и мне. Теперь вы говорите, что никогда не можете сделать этого, как же тогда вы пришли сюда?

— Ах, сэр!—воскликнул мистер Левендер, ероша волосы и глядя в потолок.— Я так и думал, что это может показаться непоследовательным вашему логическому немецкому уму. Но на свете много такого, чего мы, общественные деятели, никогда не сделали бы, если бы видели, как это делается. К счастью, как правило, мы этого не видим. Верьте мне, уйдя отсюда, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти вас от той участи, которой вы вполне достойны избежать.

И он встал с кресла и взял шляпу.

— Я не предлагаю обменяться рукопожатием,— говорил он, отступая к дверям,— ибо чувствительнейше сознаю, что я перед вами в недостойном и неприличном положении. Я обязан вам зубом, и я не скоро это забуду. Прощайте!

Он спустился по лестнице и вышел на улицу, не в силах преодолеть волнение, которое испытывал при виде молодых людей, в страхе прижавшихся друг к другу. Тем не менее он удалился от дома зубного врача не на такое уж большое расстояние, когда рассудок вновь возобладал в нем и он начал понимать, что обитое красным бархатом кресло, в котором он только что сидел, на самом деле было радиопередатчиком, при помощи которого устанавливается связь с Берлином, или по крайней мере тайником для динамита, чтобы взорвать какого-нибудь короля или премьер-министра; что зеркала, которых в кабинете было по меньшей мере два, безусловно, предназначены для подачи сигналов вражеским аэропланам и цеппелинам. Душевное смятение его было так велико, что только случайно он пришел в Хэмпстед, а не в Скотленд-Ярд.

«Лишь в присутствии Авроры смогу я освободиться от угрызений совести, ведь я ходил туда по ее поручению»,— подумал он. И вместо того, чтобы пойти к себе, он встал на лужайку перед домом и стал размахивать руками, надеясь привлечь внимание юной леди. Он занимался этим довольно долго, к великой радости Блинк, которая приняла это за новую игру; но вот юная леди в форме сестры милосердия показала в стеклянной двери с желтой книгой в руке. Мистер Левендер удвоил усилия и, наконец, привлек ее внимание; тогда он подошел к жасминовой изгороди и глубоким, меланхолическим голосом проговорил:

— Аврора, я изменил долгу; ваше поручение, по которому я ходил, не выполнено. Муж сестры мужа сестры миссис Сплэттни все еще на свободе.

— Я знала, что так и будет,— ответила юная леди с радостной улыбкой,— и поэтому-то я и направила к вам эту... шуку!

Не в силах понять значение ее слов, мистер Левендер, стремясь объяснить ей все, резко подался вперед над изгородью, потерял равновесие и, стараясь спасти жасмин, грохнулся о горшки с геранью.

— Дорогой дон Пиквихот,— воскликнула юная леди, помогая ему встать на ноги,— цел ли ваш нос?

— Да, да, вполне,— ответил мистер Левендер, вытряхивая из шевелюры землю и одновременно пытаясь унять расплясавшуюся Блинк,— но зато уязвлена моя честь, ибо я позволил обыкновеннейшему чувству сострадания взять верх над долгом перед родиной!

— Ура! — закричала юная леди.— Это принесет вам огромную пользу.

— Аврора! — воскликнул ошеломленный мистер Левендер, направляясь за ней. Но юная леди лишь звонко рассмеялась.

— Прилягте-ка в гамаке! — сказала она.— А то вы совсем как тень. Вот я вас укрою пледом и покурю рядом с вами, чтобы вас комары не заели. Подогните ноги, вот так!

— Нет,— ответил мистер Левендер из глубин гамака,— пусть комары кусают меня,— он ощупывал свой нос,— я заслуживаю того, чтобы они меня съели заживо.

— Ладно,— сказала юная леди.— Тем не менее я советую вам вздремнуть.

И, усевшись на низенькую скамеечку, она раскрыла книгу и закурила сигарету.

Мистер Левендер молча глядел на нее глазами преданнейшего слуги, он не мог понять, уж не грезится ли ему выпавшее на его долю редкое счастье. Вскоре он задремал.

XV

...ВСТРЕЧАЕТ ПРУССАКА

Мистер Левендер не мог бы сказать, сколько он проспал, когда ему приснилось, что он пойман в сеть, ячейки которой состоят из криков мальчишек-газетчиков, оповещающих о зверствах на суше и на море. Он проснулся и увидел, что Аврора, стараясь унять его метания, держит его за щиколотки.

— О господи! Какой вы тощий! — были первые услышанные им слова.— Не диво, что у вас в голове такие завихрения.

Мистер Левендер, чье возвращающееся рыцарство болелось с бессознательным восторгом, с трудом пробормотал:

— Пустите меня, пустите меня, это невыносимо прекрасно!

— Больше не будете брыкаться? — спросила юная леди.

— Нет,— ответил мистер Левендер слабеющим голосом,— увы!

Юная леди отпустила его щиколотки и помогла ему подняться с гамака.

— Теперь я знаю, что с вами,— говорила она,— вы просто морите себя голодом. Вас надо уложить в постель по меньшей мере на три месяца и готовить вам все на сливочном масле.

Успокоив Блинк, которая при сонных метаниях хозяйки начала тяжело дышать, мистер Левендер сказал, ощущая, как у него текут слюнки:

— Каждый в эти дни должен работать вдвое больше и есть вдвое меньше, чем обычно, лишь так мы добьемся разгрома нашего общего врага.

Юная леди сказала что-то вроде «вздор», но ответ ее остался втуне, так как она нагнулась за своей желтой книгой, и мистер Левендер, залюбовавшись ее божественными формами, ничего уже не слышал.

— Аврора,— сказал он,— я не знаю, что именно роднит вас с богинями, но заставьте меня уйти с хвалою на устах за этот час, проведенный с вами.

И он уже рванулся за жасминовую изгородь, но она удержала его за полу пиджака и сказала:

— Нет, дон Пиквихот, вы должны пообедать с нами. Я хочу познакомить вас с моим отцом. Пойдемте!

И, взяв его под руку, она повела его в свою крепость. Мистеру Левендеру пришлось повиноваться, ибо ведущая его рука была чрезвычайно сильной, и он шел с чувством радости, к которому примешивался ужас от сознания того, что человек, о котором она только что упомянула, мог лицезреть все безумства его недавнего сна.

— Уверена, что в вас не больше ста фунтов,— говорила юная леди, глядя на него.— Кошмар!

— Не физическим весом и силой мы победим в этой войне,— отвечал мистер Левендер,— в основе своей победа зависит от верности принципам. Право всегда торжествует, и, несмотря на то, что наши материальные ресурсы неизмеримо превышают ресурсы противника, мы победили бы, если бы даже от нас осталась последняя унция, ибо наше дело правое.

— Если мы вас не подкормим, от вас действительно скоро останется последняя унция,— сказала юная леди.— Не хотите ли вымыть руки?

Мистер Левендер изъявил готовность и остался один в комнате, выстланной линолеумом. Когда же наконец он окончил мечтательное омовение и в сопровождении Блинк вошел в гостиную, он увидел, что Аврора уже переделалась в свободное голубое платье, которое слегка просвечивало, отчего она казалась пронизанной небесным сиянием. И он чуть не сказал об этом, но вдруг заметил джентльмена в хаки, который пристально смотрел на него живыми, слегка налитыми кровью глазами.

— Дон Пиквихот,— сказала юная леди,— мой отец майор Скарлет.

Пальцы мистера Левендера стиснула поистине железная рука.

— Это такая честь, сэр, познакомиться с отцом моей очаровательной юной соседки!— проговорил он, морщась от боли.

Голос майора был таким же колючим, как и его седые усы ежиком:

— Счастлив! Обед подан. Прошу!

Мистер Левендер заметил, что у майора впалые щеки и лысая, идеально круглая голова с несколькими волосками; на загорелом морщинистом лице его изображалась энергия и свирепое добродушие.

Привыкшему к умеренности человеку показалось бы, что стол, за который они сели, ломится от цветов, стекла и фарфора. И стоило мистеру Левендеру проглотить ложку горячего наваристого бульона, как воображение его воспламенилось, и он даже не заметил, что пьет из зеленого бокала какую-то жидкость янтарного цвета.

— У меня армейский паек,— сказал майор, протягивая Блинк кусочек говяжьего филе.— Славная собака, мистер Левендер.

— О да,— ответил мистер Левендер, радуясь, что его любимице оказано внимание,— она ангел.

— Немного худая,— сказал майор,— и в груди узковата, но все равно славная. Что вы думаете о войне?

Прежде чем мистер Левендер успел ответить, он почувствовал, что Аврора наступила ему на ногу, и услышал, как она сказала:

— Взгляды дона Пиквихота придутся тебе по сердцу, папа. Он за полное уничтожение гуннов.

— Разумеется! —воскликнул сияющий мистер Левендер.— Этого требуют Справедливость и Правосудие. Мы не ищем никакой выгоды для себя...

— Но захватим все, что возможно,— dokonчил майор.— Им не видать своих колоний. Мы приберем их к рукам.

Мистер Левендер с минуту смотрел на него, а затем, вспомнив свое ежедневное чтение, пробормотал:

— Мы не стремимся к захвату чужих территорий, но мы не должны забывать, что, пока хоть одна территория находится в руках нашего коварного врага, постоян-

ная угроза нависает над коммуникациями нашей необъятной империи.

— Вот именно,— сказал майор,— такая возможность бывает раз в жизни, мы ее не упустим.

Мистер Левендер двинулся поближе к собеседнику.

— Я никогда не соглашусь с утверждением, будто мы хотим захватить что-то, ибо это противоречило бы высоким принципам, которые мы защищаем, и нашим клятвенным заверениям, что мы стремимся к благу всего человечества,— сказал он,— однако наш бесчеловечный враг сам вынуждает нас обезвредить его.

— Да,— сказал майор,— мы должны убивать побольше немцев и хватать все, что можно, из их владений.

Мистер Левендер еще ближе придвинулся к майору и оказался на самом кончике стула; в его глазах росла тревога.

— В конце-то концов война есть война: мы или они! — продолжал майор.— И в итоге это должны быть мы. Все козыри у нас.

Мистер Левендер вздрогнул и слабым голосом повторил:

— Мы не вложим меча в ножны до тех пор, пока...

— Пока не заберем в свои руки все, что можно. Не тот прав, кто силен, но силен тот, кто прав, мистер Левендер. Ха-ха!

В поле зрения мистера Левендера оказался бокал, и он в смятении осушил его. Когда он поднял глаза, он уже видел майора как бы в тумане, но продолжал явно различать свирепое добродушие в его голосе.

— Каждого немца надо интернировать, все их имущество конфисковать, все экипажи их подводных лодок и цеппелинов перевешать, с немецкими пленными надо обращаться так, как они обращаются с нашими. Не давать им пощады. Дотла разбомбить их города. Можно пощадить разве что женщин. С остальными церемониться нечего. Я бы перебил их, как кроликов. Они были паразиты и есть паразиты.

Во время этой тирады в мистере Левендере произошло нечто столь удивительное, что глаза его чуть не вылезли из орбит. Ему показалось, будто он сидит за обеденным столом с пруссаком, и стоило добродушному

скрипу майорского голоса утихнуть, как мистер Левендер подпрыгнул на стуле и выкрикнул:

— Смотрите, вот он, пруссак, в сапожищах! — И, забыв, что он обращается к отцу Авроры, он продолжал с поистине чудовищной непоследовательностью:

— Хотя вы и победили нашу страну, сэр, вы никогда не изгоните из моей груди чувство свободы и великодушные, которые и делают меня англичанином. Я ненавижу вас, ибо вы завоеватель вселенной, солдафон, топчущий сапожищами принципы гуманизма, враг рода человеческого, апостол насилия! Вы задули искры любви и дружбы и этим навеки ограбили весь мир. Пруссак!

Последние слова он выкрикнул с таким пылом, что стул, на краешке которого он сидел, опрокинулся, и мистер Левендер съехал под стол, отчего из поля его зрения исчезла воображаемая фигура в сером мундире и остроконечной немецкой каске.

— Вылезайте! — слышался голос, и в то же мгновение взволнованная Блинк забралась под стол к хозяину.

— Никогда! — ответил мистер Левендер. — Бросьте меня в тюрьму, пытайте, делайте, что хотите. Вы завоевали ее тело, но никогда не заставите меня признать, что сумели лишить Британию чести и втоптать в грязь ее тончайшую культуру.

И, убежденный, что его сейчас вытащат и посадят в подземелье на хлеб и воду, он изо всех сил вцепился в ножку стола, а Блинк, со свойственной ей проницательностью понявшая, что с хозяином происходит что-то неладное, начала вылизывать ему затылок. Так он просидел с полминуты, напрягая слух, чтобы разобрать, о чем шепчутся наверху, и вдруг под столом появилось что-то блестящее — это была голова пруссака, присевшего, чтобы взглянуть на него.

— Убирайся отсюда, лысый! — тотчас же выкрикнул мистер Левендер. — Я не собираюсь идти на компромисс с врагом Справедливости и Гуманизма.

— Прекрасно, мой дорогой сэр, — ответила голова. — Не позволите ли моей дочери поговорить с вами?

— Не кощунствуй, пруссак! — ответил мистер Левендер, отодвигаясь подальше и цепляясь уже не за ножку стола, а за нечто зыбкое, шелковое, что непременно

ассоциировалось бы с Авророй, если бы не возбуждение.— У тебя нет дочери, ибо ни одна женщина не может быть дочерью того, чье ненавистное присутствие отравляет нашу страну.

— Ну-ну,— сказал майор.— Как мы его оттуда вытащим?

Услыхав эти слова и решив, что они обращены к прусской страже, мистер Левендер прильнул к зыбкому и шелковистому, что тотчас же стало извиваться и уходить из рук; тогда он подпрыгнул на четвереньках, как кролик, и ударился головой о лысину майора. Звук удара, проклятия майора, стоны мистера Левендера, лай Блинк и хохот Авроры произвели такой шум, который, наверное, был слышен даже в Португалии. Напряженность возрастала до тех пор, пока мистер Левендер не вылез из-под стола; тут он схватил нож, обернул левую руку салфеткой и приготовился дать отпор германской армии.

— Черт побери,— сказал майор при виде этих приготовлений,— ах, черт меня побери!

Аврора, все время державшаяся за стену, чтобы не упасть, задыхаясь от смеха, подошла к майору и прошептала:

— Папа, уйди, предоставь его мне.

— Тебе?! — воскликнул майор.— Это же не безопасно!

— Совершенно безопасно, ты только возбуждаешь его. Уйди!

И, взяв отца за руку, она вывела его из комнаты. Закрыв за ним дверь и прислонясь к ней, она ласково сказала:

— Дорогой дон Пиквихот, опасность миновала. Враг отбит, мы с вами одни, и ничто уже нам не угрожает. Ха-ха-ха!

Ее голос рассеял странную галлюцинацию мистера Левендера.

— Что?— еле слышно выговорил он.— Почему? Кто? Где? Когда?

— Вы опять вздремнули. Давайте я провожу вас домой и уложу в постель.

И, отобрав у него нож и салфетку, она открыла стеклянную дверь и вышла на лужайку. Мистер Левендер,

сознание которого полностью возвратилось к действительности, был готов следовать за нею куда угодно, и он вышел за нею, сопровождаемый Блинк и взглядами майора, который просунул голову в приоткрытую дверь. К несчастью, храбрость заставила мистера Левендера оглянуться именно в этот момент, и, увидя голову врага, он закричал что было мочи:

— Он там! Он там! Архивраг рода человеческого! Позвольте мне пойти и умереть под его сапогом; пока я жив, он не будет властвовать над нами! — И ослепленный джентльмен, без сомнения, бросился бы на своего гостеприимного соседа, если бы Аврора не удержала его за штанину. Майор скрылся за дверью, волнение мистера Левендера утихло, и он позволил проводить себя домой, где Аврора передала его на попечение миссис Петти и Джо, которые хлопотали вокруг него до тех пор, пока он не заснул с помощью сильной дозы снотворного.

XVI

...БОРЕТСЯ ЗА ВЕРУ

Треволнения, испытанные мистером Левендером, привели к тому, что Джо Петти назвал «честным нокаутом», и нашему герою пришлось провести три дня без газет, в постели. Тем не менее он распорядился, чтобы миссис Петти ни в коем случае не рвала и не теряла газеты, но складывала их стопкой в кабинете. Она так и поступала; хотя ее первой мыслью было каждое утро растапливать печь на кухне всеми пятью, однако по здравом раздумии она пришла к выводу, что двадцать газет, прочитанных в один присест, произведут на него более усыпляющее действие, нежели только пять.

Итак, мистер Левендер провел эти три дня в полном уединении, подкармливая Блинк, глядя в потолок и беседуя с Джо. Мучительное сознание, что он опять не сумел воздержаться от спиртного, заставляло его смотреть на жизнь глазами скорее ежемесячных, чем ежедневных изданий, и вести со своим шофером дискуссии отчасти философического характера.

— Наше будущее в значительной степени зависит от того, кто управляет нашей страной, Джо,— сказал ми-

стер Левендер в последний вечер своего вынужденного уединения.— Как вы думаете, кто управляет нами на самом деле?

— Понятия не имею,— ответил Джо,— может быть, Глист?

— Не знаю, кого или что вы обозначаете этим словом,— ответил мистер Левендер.— Я спрашиваю, управляет ли нашей страной Народ?

— Народ!—ответил Джо.— Народ похож на того типа в сумасшедшем доме, которому позволили иметь чувства, но только не выражать их. В один прекрасный день все это выйдет наружу, и тогда у нас будет веселая жизнь.

— В таком случае, быть может, нами правит Общественное Мнение, выражаемое Прессой? — продолжал мистер Левендер.

— Ну нет,— сказал Джо.— Пресса больше выражает мнение мэров. Вы замечали, сэр, когда Пресса хочет поддержать то, что не нравится народу, она отправляется за помощью к мэрам и печатает их общественное мнение в два столбца?

— Мэры—исключительно ценные члены общества,— сказал мистер Левендер.

— Да я ничего не имею против них,—ответил Джо,— очень средняя публика, но они не Народ.

Мистер Левендер вздохнул.

— Кто же тогда Народ, Джо?

— Я,— ответил Джо.— У меня нет никаких особых мнений ни о чем, просто я хочу жить спокойно: малость пивка, табачок, рабочая неделя покороче и никаких лишних забот.

— Если вы сравните это с устремлениями наших мэров, вы увидите, как убоги ваши мечты,— сурово проговорил мистер Левендер.

— Пусть убоги, сэр,— ответил Джо,— только одного вы не заметили. Чтобы добиться своего, мне не надо никого приносить в жертву. А почему? Да у меня нет никаких особых устремлений. Это самое ценное. Возьмите Прессу, Парламент, мэров — все с ума посходили от устремлений. То Свободная Торговля, то Империализм, то Свобода для Европы, то Рабство для Ирландии, то Пожертвуем последним человеком и последним долла-

ром. И никогда не знаешь, что у них будет следующим номером. А все эти устремления ведут к тому, что кого-то другого ради них приносят в жертву. Поймите все это правильно, сэр. Ну-ка, скажите речь, которая бы не исходила из этого!

— Мы уклонились от темы, Джо,— заметил мистер Левендер.— Так кто же управляет нашей страной?

— Невидимая Сила,— быстро ответил Джо.

— То есть?

— Ну, сэр, мы же демократическая страна. Народ избирает Парламент. Парламент избирает Правительство. Пока все в порядке, но что дальше? Правительство говорит: «Я сделаю то-то». Если с этим согласна Невидимая Сила, все идет гладко. А если не согласна? Эта Н. С. начинает действовать; в сотне газет появляется то, что Н. С. называет Общественным Мнением, то есть мнением тех, кто согласен с Н. С. Вот в ней-то и дело, сэр, управляет она, и это как будто убедительно. Нападки на политику правительства, гнусности о тех министрах, которые неосмотрительно говорят то, что думают,— им приписывают немецких родителей и прочие тайные грехи; и что самое главное, сотня газет никогда не скажет ни слова в поддержку правительства. Это идет изо дня в день, это беспокоит парламентские умы, действует на нервы правительству, а у правительства всегда слабые нервы, и вот министры говорят: «Явный беспорядок, общественное мнение против. Нас могут выставить, а этого допустить нельзя, потому что никакие другие парни отечества не спасут». Кабинет заседает, политика меняется. А настоящего общественного мнения они никогда и не слыхивали. Они слышали только то, что позволила Н. С. На месте правительства я бы раз и навсегда покончил с этой Н. С.

— Ах! — воскликнул мистер Левендер, у которого глаза повывезали из орбит, так глубоко он был взволнован этой новой для себя мыслью.

— Да,— продолжал Джо,— будь я Правительством, как только бы такое случилось, я бы сказал: «Ладно, старая чертовка, делай, что тебе заблагорассудится. Я за тебя не отвечаю. Нападай, дави и так далее. Мы все равно будем гнуть свое!» И я бы так и делал. И что бы получилось? Или Н. С. вышла бы за пределы закона —

и тогда бы я бросился на нее, прикрыл ее газеты и упек ее самое в каталажку,— или она сама бы сдалась и прекрасно проглотила все, что я делаю. Как бы то ни было, а Н. С. был бы конец. Ее цепей на мне бы не осталось. Но я не правительство, а правительство боится щекотки. Скажите, сэр: что толку иметь конституцию и избирать этих парней, когда они раз в жизни не могут поступить по своему разумению? Н. С. может быть патриотична и почтенна, может, у нее самые лучшие намерения и все такое, но она противоречит Конституции, а, кроме того, я не намерен отдавать последнюю кровь и последние деньги в демократической стране ради прихоти какого-нибудь типа или триумvirата, или кого-нибудь еще. А коли правительство не знает, чего хочет страна, то почему не спросить об этом как полагается? Нечего им судить понаслышке и верить газетам. Вот что я думаю.

Слушая эту речь, мистер Левендер взволновался до такой степени, что его начало трясти, ибо, сам того не желая, Джо обнажил перед ним зияющую бездну между его преклонением перед политиками и его любовью к Прессе. И, как только шофер умолк, он воскликнул:

— Оставьте меня, Джо, я должен это продумать.

— Ладно,— усмехнулся Джо, забрал у хозяина чайный поднос, поставил его туда, где он скорее всего мог перевернуться, и вышел.

«Может ли быть, что я служу и Богу и Маммоне? — подумал мистер Левендер, оставшись один.— Но что есть Бог и что есть Маммона? — прибавил он, и мысли его заплясали по бесчисленным речам и передовицам, составлявшим его духовную диету с самого начала войны.— А не может быть, что и то и другое есть Бог, или же, наоборот, Маммона? Если то, что говорит Джо, правда, и в газетах пишут только то, что одобряет эта Невидимая Сила, выходит, я все время знакомился с мнениями призраков и теней; да и разве сам я не призрак общественного деятеля? Ведь я не знаю ничего, кроме того, что пишется в газетах.— И, видя, что самые устои его веры находятся под угрозой, он сбросил с себя одеяло и стал расхаживать по комнате взад-вперед.— Выходит, что все мы лишь резиновые мячики, которыми играет невидимая рука,— размышлял он,— среди нас нет никого,

кто мог бы, отскочив, ударить жонглера в глаз и повергнуть его. Боже, как я несчастлив, я не знаю, что есть мой Бог и что есть я сам: общественный деятель или резиновый мячик».

И чем больше он думал, тем ужаснее казалось ему его положение, ибо теперь он понимал, что газеты и брошюры, которыми кабинет был завален до потолка, вероятно, сообщали ему не истину, но ее тщательно отредактированные версии.

— Я должен освободиться от этого кошмара,— проговорил он вслух,— иначе я потеряю способность помогать отечеству, над которым нависла угроза.

Внезапно его лоб покрылся испариной: он понял, что даже не знает, существует ли эта угроза на самом деле,— так странно подействовали слова Джо на его способность верить чему-либо.

«Но, без сомнения, эта угроза по крайней мере была когда-то,— подумал он, хватаясь для устойчивости за умывальник.— И все же, как я могу быть уверенным хотя бы в этом, ведь мне об этом только говорили; да и говорившие сами узнали это от Невидимой Силы, а та могла ошибиться или исказить истину в корыстных целях! О, как это ужасно, и где выход?»

И в судорогах, вызванных первыми сомнениями в истинности своей веры, он затряс фаянсовый таз умывальника.

— Куда же мне пойти, чтобы узнать истину? — вскричал он.— Даже книги, по-видимому, зависят от Невидимой Силы и не достигают моих глаз без ее санкции!

И чем больше он думал, тем больше убеждался, что ему ничто не поможет, кроме встречи лицом к лицу с самой Невидимой Силой, ибо только тогда он сможет убедиться, кто она, Ангел Истины или Демон, нисшедший на землю. Стоило этой идее прийти ему в голову, как он тотчас же осознал, что, осуществив этот план, он не только успокоит душу и окончательно утвердится в своей вере — или навсегда отречется от нее,— но и окажет величайшую услугу отечеству и всем общественным деятелям.

«Этим я увековечу свои труды,— подумал он,— и послужу Авроре, заре Истины и Красоты. Однако, я пока

недостойн взяться за это высокое дело, ибо оно бесконечно сложнее и мучительнее всего, за что я брался доселе. Что делать, чтобы подготовить мой разум для этой высокой миссии, просветлить и освободить его от всех предрассудков, в которых я погряз, сам того не ведая? О, если бы я мог хоть на мгновение покинуть землю, чтобы побеседовать с облаками! Мне надо побывать в Хендоне¹, может быть, там кто-нибудь за вознаграждение поднимет меня на небо, ибо на земле я более ни в чем не уверен».

И, завершив свои размышления этим высоким планом, он улегся в постель, причем голова его была легче, чем зрелый гриб-дождевик.

XVII

...ОБРАЩАЕТСЯ С РЕЧЬЮ К ОБЛАКАМ

Наутро по выздоровлении мистер Левендер ни свет ни заря отправился на знаменитый аэродром, никому не сказав о своем намерении. У подножия холма он с досадой обнаружил, что Блинк, заметив отсутствие хозяина, поспешила за ним. Поэтому ему пришлось проделать весь путь пешком, что сильно отсрочило его прибытие в Хендон. Однако судьба благоприятствовала ему, ибо он увидел, что его уже ожидает готовый к отлету аппарат, на который сосредоточенно смотрит молчаливый молодой человек с лошадиной челюстью и крылышками на груди.

— Готовы, сэр? — спросил он.

— Да, — ответил мистер Левендер, с ног до головы одетый в мех и кожу. — Не будете ли добры поддержать мою собаку? — обратился он к механику, погладив Блинк с таким чувством, словно навеки расстается с самым дорогим на свете существом.

Механик взял ее за ошейник, мистера Левендера посадили в кабину, где впереди него уже сидел молодой авиатор.

— У меня может быть приступ морской болезни? — спросил мистер Левендер.

— Может, — ответил молодой авиатор.

¹ Один из первых английских аэродромов.

— Это не остановит меня, чем менее материален я стану, тем лучше.

Молодой авиатор оглянулся на него, и мистер Левендер уловил удивление в его желтых глазах.

— Держитесь,— сказал авиатор,— включаю мотор. Мистер Левендер повиновался; аппарат медленно тронулся, но в это мгновение Блинк, издав отчаянный вопль, ринулась вперед и, вырвавшись из рук механика, вскочила в кабину и прижалась к груди мистера Левендера.

— Остановитесь! Остановитесь! — закричал он.— Моя собака!

— Устройте ее между ногами. Она не первая летит и не последняя вернется на землю.

Мистер Левендер устроил ее как мог.

«Если погибнем, Блинк, так вместе»,— подумал он.

Верное создание, уже сожалевшее о своем поступке, ибо аппарат стал подниматься в воздух, взглянуло потускневшими глазами на мистера Левендера, который обеими руками зажимал себе уши, потому что рев мотора был оглушителен. Он почувствовал, что в желудке его что-то подымается, но это ощущение скоро прошло и сменилось волнением от мысли, что он покидает землю, так как они были уже на высоте дома и быстро поднимались еще выше.

«Я совсем не чувствую себя птичкой,— думал он,— скорее, я словно на медленном поезде, идущем по поверхности моря, или же на деревянном коньке карусели. Тем не менее я предвижу, что мой дух скоро обретет свободу, ведь я покидаю землю, похожую отсюда на шахматную доску, на которой переставляет фигуры невидимая рука!» — И, чрезмерно вытянув шею, он стукнулся подбородком о спину авиатора.

С трудом вернув голову в нормальное положение, он сосредоточил свое внимание на очищении духа, так как это и было главной целью его воздушного путешествия.

«Я нахожусь в трансцендентальном эфире,— думал он.— Он должен придать мне такую поразительную силу слов, какой достигали лишь величайшие писатели и ораторы; и поскольку я так быстро отвлекаюсь от низкой реальности, передо мной, подобно одной из тех звезд,

к которым мы держим путь, появится Истина, впрочем, пока я ее не вижу».

Зажатая между коленями хозяина, Блинк, которая до сих пор не подозревала, что рассталась с землей, вылезла повыше и, положив передние лапы ему на грудь, скорбно смотрела в грозную пустоту окрест. Мистер Левендер судорожно обнял ее. Они быстро приближались к стаду небесных барашков, которые все росли и росли, пока не обратились в огромные снежные горы, разделенные полосами синевы.

«Неужели мы полетим над ними? — подумал мистер Левендер. — Надеюсь, что нет, они такие страшные».

Его опасения вскоре рассеялись, так как аппарат взял прямой курс, быть может, на тысячу футов ниже облаков, и лишь легкие их обрывки порою застилали поле зрения мистера Левендера и увлажняли его лоб.

Блинк опять устроилась между хозяйскими ногами, и вполне естественный трепет начал сменяться в душе мистера Левендера чувствами безопасности и восторга.

«Я вознесен на крыльях утра над всеми низменными страстями и умыслами. Скоро великие мысли начнут тесниться в моей голове, и я, наконец, увижу всеобщую абсолютную Истину».

Но великие мысли не приходили, вместо этого им овладела странная апатия, голова его откинулась, рот открылся. Так могло бы продолжаться до приземления, если бы авиатор не выключил мотор. Теперь они задумчиво плыли между облаками. С прекращением шума мысль мистера Левендера заработала вновь, и он с радостью услышал голос авиатора:

— Ну как вы там, сэр?

— Что касается моих ощущений, то это восхитительно, — ответил мистер Левендер, — ибо после первых мгновений, когда непривычность движения причиняет некоторые неудобства, я быстро ощутил радость нашего великого полета. Устремляться к сферам, видеть землю похожей на шахматную доску, ощущать под собою гибкое тело аэроплана, послушное каждому движению отважного юного авиатора, наполниться ревом мотора, быть как вольный орел, знать, что от малейшей ошибки бесстрашного юного пилота мы разлетимся на миллион

частиц,— значит пережить незабываемое, то, чего никогда... гм... не забыть.

— Да ну! — сказал молодой авиатор.

— Да,— продолжал мистер Левендер, который словно читал свою собственную статью в завтрашней газете,— такие чувства должна испытывать покинувшая бренное тело душа по пути от земли к небу. Мы увидели на огромном расстоянии под нами узкую ленту дороги, по которой ползли две черные точки, и поняли, что это люди точно такие же, каких мы видели, покидая наше огромное общее обиталище, именуемое Землей.

— М-да,— сказал молодой авиатор, пока мистер Левендер переводил дух,— у вас это здорово выходит, сэр! Где это появится?

— Эти огромные волокнистые существа, известные под именем облаков,— продолжал мистер Левендер, не обращая внимания на вопрос,— казалось, ждали нашего прибытия в утреннем блеске своих величественных снегов, и мы, дышавшие разреженным воздухом, вдруг почувствовали, что не можем молча пролететь мимо них.— Мистер Левендер был так увлечен собственной элоквиенцией, что действительно обратился к облакам с речью:

— О холодные призраки неба, ползущие по бескрайней голубизне! Мы, смертные, слабые, но неустрашимые, великодушно приветствуем вас. Исполненные скромности и отваги, мы прибыли сюда, чтобы состязаться с вами и с ветрами Урана, и сейчас мы летим в лучезарных дорогах между вами, мы ныряем, кружимся, прячемся и парим на своих ласточкиных крыльях. Мы — малые, но непобедимые Духи Д-з-з-з-земли!

Эти странные звуки, произнесенные мистером Левендером среди потока великолепной поэзии, настолько поразили его, что он не смог выговорить более ни слова.

— М-да,— сказал авиатор, в голосе его слышалась тревога.— Держитесь! — И они стали спускаться к земле еще быстрее, чем поднимались.

Они приземлились на том самом месте, с которого взлетели, и это показалось чудом погруженному в размышления мистеру Левендеру. Несколько человек ожидало их, и когда они вылезли, раздался голос:

— Прошу прощения!

Это было сказано столь недружелюбно, что вся задумчивость мистера Левендера сразу исчезла. У обратившегося к нему джентльмена были темные усы и густая седая шевелюра; если бы не монокль и не лишние дюйма три роста, его положительно нельзя было бы отличить от мистера Левендера.

— Благодарю вас от души,— ответил наш герой.

— Не за что,— сказал джентльмен,— совсем наоборот. Черт побери, кто вы такой?

— Общественный деятель,— сказал удивленный мистер Левендер и честно добавил: — Впрочем, я не вполне уверен в этом.

— Итак,— сказал джентльмен,— вы взяли и украли мой полет.

— Но кто вы? — спросил мистер Левендер.

— Я? — проговорил джентльмен, явно не на шутку удивленный тем, что его не узнают.— Я...

Но в эту секунду внимание мистера Левендера перескочило с джентльмена на Блинк, которая вдруг понеслась прочь, и, громко закричав «Моя собака», он сбросил с себя меха и кожу и со всех ног пустился вдогонку, так и не узнав, кто был сердитый джентльмен, и не сказав, кто он сам. Блинк же, заподозрив, что ее опять могут поднять в воздух, устремилась к воротам аэродрома и прыгнула в открытую дверцу стоявшего там автомобиля, приняв его за хозяйский. Мистер Левендер ворвался туда следом за ней; автомобиль качнуло на рессорах, отчего дремавший шофер проснулся, и, обернувшись к мистеру Левендеру, спросил:

— Желаете назад, сэр?

— Да,— задыхаясь, ответил мистер Левендер,— в Лондон.

XVIII

... ВСТРЕЧАЕТСЯ ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ИСТИНОЙ

«Боюсь, что я нечаянно воспользовался полетом, который предназначался для того выдающегося деятеля с моноклем,— размышлял мистер Левендер на пути в Лондон.— Но ничего, зато испытанное очистило мой дух. Если бы только знать, где можно повстречаться с этой Невидимой Силой — но, может быть, ее передвижения зарегистрированы в газетах?» — И, вытащив из карма-

на еще не прочитанные утренние газеты, он углубился в них. Он был поглощен чтением до тех пор, пока автомобиль не остановился и шофер не постучал по стеклу. Сопровождаемый Блинк, мистер Левендер вылез и стал рыться в карманах, чтобы заплатить шоферу, но тот вдруг воскликнул:

— Черт знает что! Не того привез!

И прежде чем мистер Левендер оправился от изумления, шофер развернул машину и помчался назад, к аэродрому.

«Как вышло неловко! — подумал мистер Левендер, отличавшийся крайней щепетильностью в денежных делах. — Что же мне делать теперь?» И он осмотрелся. О чудо! Перед ним была редакция великой газеты, от которой его выдающийся коллега, вероятно, и ездил на аэродром и к которой его верный шофер по ошибке привез мистера Левендера.

Узрев в этом перст провидения, мистер Левендер вошел в здание. Читатели, внимательно следившие за деятельностью мистера Левендера, легко догадаются, что все принимали его за человека крайне известного, и не удивительно, что ему тотчас сообщили, что нужное ему Высокое Лицо только что отправилось на открытие госпиталя в Брайтон и что его еще можно нагнать на вокзале Виктория.

С учащенно бьющимся сердцем он пустился в погоню на такси и, прибыв на вокзал, купил билеты для себя и Блинк и осведомился о брайтонском поезде.

— Спешите! — сказал ему кассир. Мистер Левендер побежал вдоль поезда, заглядывая в окна вагонов в поисках нужного ему Лица. Раздался свисток; мистер Левендер был в отчаянии, но вдруг на глаза ему попала табличка с надписью «Занято» на купе первого класса. Заглянув в окно, он увидел там одного пассажира, без сомнения, высокопоставленного, который сидел среди множества газет и курил сигару. Ни секунды не колеблясь, мистер Левендер рванул дверцу и вслед за Блинк ворвался в купе.

— Здесь занято, сэр, — проговорило Высокое Лицо, но поезд уже тронулся.

— Я знаю, — сказал мистер Левендер, опустившись на диван напротив, — и только неотложность моего дела

заставляет меня нарушить ваше священное уединение, ибо, верьте мне, сэр, я обладаю если не привычками, то по крайней мере инстинктами джентльмена.

Высокое Лицо сделало нетерпеливый жест, словно желая мановением руки остановить поезд, но, видимо, отказалось от своего намерения, водрузило сигару на место и уставилось на мистера Левендера.

Наш герой ответил на этот многозначительный взгляд молчанием, Блинк же убралась под диван и прижалась мордой к полу, взволнованная новым способом передвижения.

«Да,— думал мистер Левендер,— в его глазах почти сверхчеловеческая сила и коварство. Это глаза паука, засевшего в центре огромной паутины. Они завораживают меня».

— Вы, без сомнения, и есть Невидимая Сила, сэр,— внезапно заговорил он,— я, кажется, на пороге разрешения тайны. Вы сами скажете мне, кто я: марионетка или общественный деятель.

Высокое Лицо явно пришло к выводу, что имеет дело с помешанным, поэтому оно положило руки на колени, чтобы быть готовым к обороне; тем не менее во рту его была сигара, а на лице — натянутая улыбка.

— Чем я могу быть полезен, сэр? — спросил он. — Не хотите ли сигару?

— Нет, благодарю вас,— ответил мистер Левендер,— очи моей души должны быть ясными, потому что я хочу спросить вас о самом главном. Вы или не вы управляете нашей страной? От вашего ответа зависит все мое будущее. Скажите, когда я призываю народ к чему-либо, я говорю то, что подсказывает мне моя совесть или ваша? Далее, если я говорю то, что подсказывает ваша совесть, то есть ли она у вас?

Высокое Лицо, по-видимому, решило ни в чем не перечить незваному гостю и стряхнуло пепел с сигары.

— Черт побери, сэр,— сказало оно,— я не знаю, кто вы такой, но моя совесть так же чиста, как и ваша.

— Я счастлив узнать это,— проговорил мистер Левендер со вздохом облегчения,— ибо правите вы страной или нет, вы, несомненно, являетесь тем источником, где черпают вдохновение почти все мои соотечественники и я сам. Мы припадаем к вам и пьем. И сознание, что ваши

воды чисты и не замутнены никакими личными соображениями и властолюбием, бесконечно укрепит нас. Могу ли я в таком случае считать, что вы — стоящая над страстями и происками безличная сила и что ваши бесчисленные ежедневные издания отражают лишь объективную истину и никоим образом не искажают положения вещей предвзятостью или субъективизмом?

— Да вы хотите знать слишком много,— сказала Высокое Лицо, улыбаясь.

— Но как же можно знать слишком много? — спросил мистер Левендер.— Если вы на самом деле невидимый властелин, направляющий потоки общественной жизни и поворачивающий их в какую угодно сторону, то необходимо, чтобы мы верили в вас; однако, прежде чем поверить в вас, мы должны узнать о вас все — не так ли?

— Избави боже, сэр,— ответило Высокое Лицо,— это же противно всем основам религии. Вера никогда не опирается на знание.

Мистер Левендер был настолько потрясен этим ответом, что на мгновение умолк; брови его так и ходили вверх и вниз.

— Сэр,— выговорил он наконец,— вы подали мне новую идею. Если вы правы, то не доверять вам и вашим действиям или, вернее, вашим изданиям, есть не что иное, как кощунство.

— Надеюсь, что да,— сказала Высокое Лицо, выпуская длинную струйку сигарного дыма.— Вам это раньше никогда не приходило в голову?

— Нет,— простодушно ответил мистер Левендер,— я еще никогда не сомневался в том, что пишут в газетах.

Лицо усердно закашляло.

— Я всегда отношусь к ним с полным доверием,— продолжал мистер Левендер,— и хочу, чтобы меня считали таким же: «без страха и упрека». Насколько я понимаю, это тот принцип, на котором джентльмен должен строить свою жизнь, всегда доверяя другим и стремясь к тому, чтобы другие доверяли ему. Я, конечно, не говорю о немцах,— поспешно добавил он.

— Естественно,— ответило Высокое Лицо.— Попробуйте-ка найти в наших газетах что-нибудь, что противоречило бы этому принципу. Все, что они печатают, от-

носится к немцам, если не прямо, то косвенно. Немцы — их *idée fixe*¹, а без *idée fixe* никакая религия невозможна. Вам понятна моя мысль?

— Конечно! — воскликнул восхищенный мистер Левендер, для которого вдруг все на свете стало понятным и, более того, совпадало с его собственными предположениями, так что все сомнения тут же отпали. — Вы, сэр, то есть Невидимая Сила, есть кристаллизованное воплощение национальных чувств во время войны; служба вам и проводя в жизнь идеи, сформулированные в ваших газетах, мы, общественные деятели, служим всеобщей тенденции, которая, в свою очередь, служит слепому и жгучему инстинкту Правосудия. Это в высшей степени радостно для меня, не желающего лучшей судьбы, чем судьба скромного слуги в общем доме.

Но только он закончил эту тираду, как ему вспомнились слова Джо Петти об общественном мнении, и он добавил: — Но действительно ли вы есть всеобщая тенденция, а не тенденция одних мэров? Вот в чем вопрос.

Высокое Лицо, казалось, с трудом понимало, о чем он говорит.

— Что вы хотите сказать? — спросило оно.

Мистер Левендер взъерошил волосы.

— Все дело в том, кого считать носителем общественных чувств и разума, — спросил он. — Мэры это или не мэры?

Высокое Лицо улыбнулось.

— А как вы сами думаете? — спросило оно. — Вы никогда не слыхали, какие речи говорят мэры после ужина? Тут просто сомневаться не в чем. Если только это волнует вас, то можете быть совершенно спокойны.

Мистер Левендер страшно обрадовался добродушной уверенности ответа.

— Благодарю вас, сэр! — воскликнул он. — Я отправлюсь домой и опровергну домыслы этого низкого насмешника и разрушителя веры. Я встретился лицом к лицу с Истиной и теперь полон желания продолжить мою общественную деятельность. Я приношу вам тысячу извинений и покидаю вас, — добавил он, потому что поезд

¹ Навязчивая мысль (франц.).

как раз остановился в Саут Кройдоне.— Блинк! — И он вышел из купе в сопровождении Блинк.

Высокое Лицо, которое на самом деле было личным секретарем личного секретаря того Лица, которое мистер Левендер считал обладателем Истины, следило за ним из окна.

— Вот это был номер, черт побери,— выпуская струю дыма, пробормотало оно, когда его собеседник скрылся из виду.

ХІХ

...ПОДВЕРГАЕТСЯ ОПАСНОСТЯМ УЛИЦЫ

В воскресенье, после беседы с Истиной, мистер Левендер, всегда находивший день отдыха обременительным для своей деятельной натуры, вышел из дому после раннего ужина. Весь день шел дождь, но сейчас проглянуло заходящее солнце и озарило вершины деревьев горизонтальными лучами, выбившимися из еще затянутой облаками дали. Он шагал с Блинк по покрытому лужами пустырю, который расположен к западу от Спаньярд-Роуд; очень скоро дикая красота пейзажа проникла в его душу, и он остановился, залюбовавшись вечеряющей ширью. Дымчатые облака туманного дождливого дня еще плыли в свете заката по яблочно-зеленому небу; мистер Левендер смотрел на эти облака, и они казались ему символами вселенской смуты, а сзади него стояли похожие на ведьм высокие черные елки, которые, казалось, прислушивались к его космическим раздумьям. Он сейчас был бы сущей находкой для художника: западный ветер развеивал его седые волосы, трепал темные усы, а Блинк, опередившая его на шаг, смотрела вдаль и лаяла так яростно, что ее голова болталась из стороны в сторону.

«Как прекрасна наша земля,— думал мистер Левендер,— и как просто быть на ней добрым и счастливым. И все же нам приходится пройти двадцать миль за краем света, прежде чем мы обретем справедливость и свободу. И на этом пути нас подстерегают темные силы. Да,— продолжал он, повернувшись к елкам, которые слегка поскрипывали на ветру,— ненависть и угнетение, алчность, вожделения и честолюбие! Вот вы стоите и

злобно смотрите на меня. Прочь с дороги, черные, злобные ведьмы! Будь у меня топор, я бы поверг вас во прах». Но бедные елки не обращали на него никакого внимания и лишь поскрипывали чуть погромче. Мистер Левендер был так разъярен бесчувственностью тех, в ком, как он убедил себя, воплотились зловещие темные силы, что уже хотел броситься на них с голыми руками, однако нетерпеливая Блинк заставила его продолжать прогулку, и он взобрался к старинному валу, окаймлявшему Спаньярд-Роуд.

Он шагал вдоль него, а потом спустился с холма; в сознании его проносились бесчисленные тени и призраки; в мечтах он освобождал мир от всех препон, стоящих на пути общественных деятелей, пока не наступила темнота, и ему пришлось повернуть домой. Сопровождаемый присмирившей Блинк, он дошел до станции метрополитена и вдруг обнаружил в черном военном мраморе, что его преследует женщина. Он различил только, что она высока и стройна, и поспешил прочь от нее, но очень скоро убедился, что она не отстает и все время смотрит на него. Она, казалось, манила его рукой в перчатке, и, мгновенно осознав, что на него нацелен тот губительный порок, который, по мнению многих статей и писем в газетах, был одним из наиболее тяжких последствий войны, он готов был броситься наутек, но дорога шла в гору; и так как бежать было невозможно, он опять почувствовал себя общественным деятелем, чей долг — выстоять в борьбе с этой женщиной и нанести решительный удар крадущемуся за ним пороку военного времени. Тут же он испытал серьезные затруднения, ибо врожденная деликатность по отношению к женщинам мешала ему поступить с преследовательницей так, как она того заслуживает и как повелевает чувство долга.

Донесшийся до него сладкий аромат духов придал ему уверенности.

— Сударыня,— сказал он, стараясь не смотреть ей в лицо, которого, кстати, в такой тьме и не было видно,— бесполезно преследовать того, кто не только преклоняется перед женщинами, но и видит в них угрозу для общества во время, когда вся энергия страны должна быть направлена на разгром нашего общего врага.

Издав звук, похожий на смех, женщина направилась к нему; мистер Левендер поспешил прочь; так они двигались друг за другом по пустынной улице, причем ревнивая Блинк не отставала от хозяина ни на шаг.

— Знаете ли вы,— сказал мистер Левендер, стараясь быть как можно более деликатным,— как вредоносны для усилий нации красота и изящество, которые ловят в сети нашу славную молодежь и расслабляют ее мускулы? Тайнственная сила женского взгляда в подобные времена должна лишь призывать наших героев отдать жизнь за отечество. А вы, сударыня, обладательница самого тайнственного в мире взгляда, используете его лишь для того, чтобы, по словам одного великого деятеля, осквернить храм нашею... нашего...

Мистер Левендер не договорил, потому что деликатность не позволила ему даже в таком решительном случае назвать тело телом. Женщина подошла так близко, что он в ужасе пошел на другую сторону улицы.

— Сударыня,— говорил он,— вы, вероятно, уже поняли, что лета, увы, не позволяют мне стать защитником родины, и хотя я готов уступить вам, чтобы этим спасти от вас хотя бы одного молодого героя, я хочу, чтобы вы ясно осознали, что к этому меня побуждает лишь чувство долга.— Он с ужасом поднял глаза на приближающуюся стройную фигуру и, вновь вдохнув сладкий аромат, почувствовал, что у него кружится голова, и прислонился к фонарному столбу.

— Пощадите меня, сударыня,— проговорил он слабым голосом,— для отечества я готов на все, но знайте, что я тайно обожаю другую представительницу вашего пола, и если вы женщина, вы не захотите, чтобы я осквернил свое чувство и поступил не по-рыцарски.

С этими словами он изо всех сил обхватил столб и закрыл глаза, ожидая, что его сию минуту против воли вовлекут в грех. Хорошо знакомый голос, задыхаясь, проговорил ему в ухо:

— Ох, дон Пиквихот, дон Пиквихот, вы меня в могилу сведете!

Огорошенный мистер Левендер открыл глаза, и в тусклом оранжевом свете затененного фонаря увидел корчащуюся, задыхающуюся Аврору. Невыразимо потрясенный своей ужасной ошибкой, мистер Левендер

взмахнул руками и побежал; он пронесся через свой сад, он не остановился до тех пор, пока не вбежал к себе в спальню и не забился под кровать — так велики были его стыд и отчаяние. Под кроватью в обществе Блинк он провел, вероятно, самые мучительные часы своей жизни, проклиная всех епископов и романистов, которые заставили его поверить, что каждая женщина на темной улице опасна для государства; никакие увещевания миссис Петти и Джо не могли заставить его вылезти оттуда; отчаявшись, они покинули его, и он провел всю ночь в покаянии и муках стыда, даже не вынув вставных челюстей.

XX

...ПОЛУЧАЕТ ОТКРОВЕНИЕ

Лишь спустя неделю мистер Левендер оправился от последствий ночи, проведенной под кроватью, и вновь обрел интерес к общественной жизни. Его вывела из оцепенения и дала пищу воображению статья в одной газете, посвященная Лиге Наций, из которой он понял, что в настоящий момент Лига — самое главное. Аккуратно вырезав адрес общества, занимавшегося этим делом, он решил немедленно отправиться туда и из первых уст узнать, как он может заставить всех и каждого поддерживать это благородное начинание. Поэтому он закрыл все окна, предусмотрительно запер Блинк в кабинете, дошел до метрополитена и поехал на Черинг Кросс.

Прибыв по указанному адресу, он долго блуждал по лифтам и коридорам, пока на двери с номером 443 не увидел вывеску великой всемирной организации. Изумление его было велико, ибо он полагал, что столь обширная ассоциация должна занимать по крайней мере целое здание.

«Впрочем, внешность бывает обманчива,— подумал он,— от одного горчичного зернышка могут произрасти целые поля».

Поэтому он постучал в дверь и, услышав «Войдите», вошел в комнату, где две молодые леди с сильным насморком рассеянно ударяли по клавишам пишущих машинок.

— Могу я видеть Президента? — спросил мистер Левендер.

— Конечно, до только де сейчас,— ответила одна из них.— Может быть, вы обратитесь к секретарю?

— Да-да,— ответил мистер Левендер,— мне нужна информация.

Молодые леди что-то зашептали друг другу, причем до мистера Левендера донеслось лишь многократно повторенное «он».

Затем одна из них скользнула в соседнюю комнату, оставив за собой сильный запах ментола. Почти тотчас же она возвратилась и сказала:

— Пройдите в кабидет.

В комнате, куда вошел мистер Левендер, было два человека: один сидел за письменным столом, другой расхаживал взад-вперед и что-то говорил могучим басом. При виде мистера Левендера он умолк на секунду, взглянул на него из-под нависших бровей и опять стал расхаживать по комнате и говорить, причем пыл его заметно возрос.

«Вероятно, это и есть он»,— подумал мистер Левендер, присаживаясь и прислушиваясь: говоривший джентльмен сразу же произвел на него сильное впечатление. У него были очень большие красные уши и ни волосинки на черепе, крупное бородатое лицо и выпуклые глаза, полные силы и вдохновения.

— Это не пойдет, Титмарш,— говорил он,— мы не позволим политикам соваться в нашу затею. Нам нужны гении, которые могли бы силой воображения отвлечься от конкретных фактов. Это не под силу безмозглым политикам. Они до сих пор не уделили ни крохи внимания тому, что я говорил все время. Их надо гнать, Титмарш. Дайте нам механизм без махинаций, и мы переделаем весь мир. Это проще простого. Взять по гению из каждой страны, и никакого крючкотворства, никаких мелочных предрассудков.

Второй джентльмен, которого мистер Левендер принял за секретаря и который довольно устало подпирал щеку ладонью, дождавшись паузы, вставил:

— Вот именно! Кого бы вы могли рекомендовать, кроме себя? Ну, например, во Франции.

Первый джентльмен на секунду остановился, пристально посмотрел на мистера Левендера и снова заговорил, как бы не замечая его.

— Во Франции?—сказал он.—Там нет никого, Анатоль слишком стар... да, никого нет.

— Тогда в Америке,—отважился секретарь.

— В Америке!—повторил первый джентльмен.—Да там и полчеловека не найдется. Вот есть тот парень в Германии — я еще оказал на него сильное влияние; впрочем, не знаю... нет, думаю, не подойдет.

— Д'Аннунцио, разумеется...—начал секретарь.

— Д'Аннунцио? Господи боже мой! Д'Аннунцио! Нет! Нет никого ни в Италии, ни в Голландии, — она такой же банкрот, как Испания; в Австрии и кошки не сыщешь. Россия, может быть, дала бы нам кого-нибудь, но сейчас мне просто никто не приходит в голову. Да, Титмарш, это нелегко.

Волнение мистера Левендера возрастало с каждым услышанным словом: в его сознании все отчетливее вырисовывался грандиозный проект. Внезапно он встал.

— У меня есть мысль.

Секретарь выпрямился в кресле, словно получив гальванический удар, расхаживавший по комнате джентльмен резко остановился.

— Ни черта у вас нет, сэр,—сказал он.

— Нет, есть!—воскликнул мистер Левендер.—И по своей гениальной простоте это небывалая мысль. Мне ясно, сэр, что вы сами — один — должны быть всею Лигой Наций. Если она целиком окажется в ваших руках, не будет никаких проволочек. Все родится само собой, как Афина из головы Зевса, и великая благотельная перемена в судьбах человечества сразу же станет свершившимся фактом. Тогда не придется иметь дело с неподатливой человеческой природой, не надо будет призывать к терпению и возводить здание по кирпичику — это всегда разочаровывает людей и ставит под угрозу осуществление величайших преобразований. Нет, сэр, вы, вы сами должны быть Лигой Наций, и мы будем работать до победного конца, чтобы величайшее деяние рода человеческого было завершено не позднее, чем завтра.

Возобновивший хождение джентльмен украдкой

взглянул сначала на мистера Левендера, потом на секретаря и сказал:

— М-да! Это идея!

— Конечно! — воскликнул мистер Левендер в восторге от того, что его великое предложение незамедлительно принято. — Ведь только люди, подобные вам, могут одновременно витать в облаках и проводить свои замыслы в жизнь, и, что самое важное, дело никогда не утомит вас, и вы не оставите его, ибо вы сами — дело, а изменить себя человек не волен.

При словах «утомит вас» джентльмен вдруг взглянул на мистера Левендера и тотчас перевел взгляд на секретаря, который, уткнувшись в бумаги, прикрывал ладонью смехок.

— Кто вы такой? — резко спросил он.

— Всего лишь человек, готовый отдать все силы делу, которое осчастливит человечество, — ответил мистер Левендер. — Я бесконечно счастлив, что пришел сюда сегодня утром и нашел здесь самую суть — горчичное зернышко.

Опять зашагавший по комнате джентльмен пробормотал что-то, прозвучавшее, как «ни стыда, ни совести», но увлеченный мистер Левендер уже ничего не слышал.

— Я сейчас же пойду и сообщу народу добрую весть: поля засеяны, Лига образована, — сказал он. — С этой минуты нет более преград между народами, вечный мир обеспечен. Это грандиозно.

Джентльмен хотел было топнуть ногой, но передумал и повернулся к окну.

Мистер Левендер поклонился его спине и вышел; вне себя от восторга он направился прямо на Трафальгарсквер.

Прибыв на сей пуп земли, он увидел, что судьба ему благоприятствует: там уже шел какой-то митинг, и человек сорок столпились вокруг одного из львов. Благодаря своей внешности мистер Левендер без труда пробился к памятнику и, взобравшись на цоколь, оказался рядом с оратором, женщиной неопределенного возраста. Он стоял там, ожидая своей очереди, и готовился к речи, в то время как женщина протестовала, кажется, против посягательств на морское владычество Британии. Когда она

кончила, мистер Левендер схватил за чем-то стоявший у памятника британский флаг и стал им размахивать.

— Великая новость! — воскликнул он и тотчас начал речь, которую, несомненно, можно причислить к его шедеврам. — Великая новость, друзья! Я посеял горчичное зернышко; говоря попросту, я только что со встречи, которая заложила основу Лиги Наций, и мой долг этим же утром вкратце изложить вам принципы, которые будут основой политики всех государств. Поскольку мы боремся за всеобщее братство и вечное царство мира, мы должны первым делом полностью уничтожить нашего общего врага. Эти представители рода человеческого, которые своими злодеяниями в значительной мере поставили себя за его пределы, должны быть истреблены раз и навсегда. — Громкие крики одобрения приветствовали эту мысль, и окрыленный мистер Левендер продолжил: — Что же в таком случае должны делать цивилизованные народы, когда их совесть будет чиста? В первую очередь им надо позабыть все мелочные предрассудки и провинциальные устремления, ибо, хотя мир будет основан на незыблемом национальном принципе, человечество должно действовать как один великий народ. Дорогие соотечественники, в этом нет никакого терминологического противоречия: ибо, хотя каждый народ, солидарный с другими народами, будет еще больше гордиться собой, еще ревностнее оберегать свое доброе имя и суверенность, это не мешает ему пожертвовать своими неотчуждаемыми правами на благо всего объединенного человечества. Друзья, позвольте привести вам простой пример, в котором, как солнце в капле воды, отражается все наше великое будущее. Мы, британцы, справедливо гордимся и восхищаемся нашим флотом, говоря словами поэта, «мы держим все врата морей». Неопровержимо ясно, что еще более укрепившийся принцип национализма заставит нас увеличить наше морское могущество, в то время как принцип интернационализма побудит нас отказаться от него.

Собравшиеся, доселе слушавшие с открытыми ртами, закрыли их; и кто-то пронзительно крикнул:

— Короче, хозяин! Ты что, хочешь, чтобы мы отдали Гибралтар?

Это слово поразило мистера Левендера в самое серд-

це, и в душе его воцарилось такое смятение, что слова его стали совершенно неслышными.

«О боже! — в ужасе думал он. — Неужели я не продумал этот вопрос до конца?»

И повернувшись спиной к аудитории, он со страданием взглянул на возвышавшуюся над ним фигуру Нельсона. Он был готов жалобно воскликнуть:

«Соотечественники, я не знаю, что и думать! Ах, как я несчастен!» — Но тут он оступился и, запутавшись во флаге, упал с цоколя; два полисмена тотчас подняли его и отвели в тихий уголок напротив Национальной галереи.

В растерянности стоял он там, окруженный голубями и позабытый людьми, и тогда-то к нему и снизошло откровение.

«Странно, — подумал он, — я замечаю непоследовательность в моих поступках и даже в речах. Я — два человека, один из них — я, а другой — не я; и тот, который не я, толкает меня в объятия полисменов и ввергает в прочие неприятности. Тот, который я, любит голубей и Блинк, хочет жить мирно и нисколько не интересуется политикой, которая явно предназначена для людей иного склада. Откуда же появляется тот, который не я? Может быть, он происходит из речей и писаний различных деятелей и является недобрым духом, которого надо изгонять? Короче говоря, какое мне дело до того, наш Гибралтар или не наш, если люди живут в дружбе? Но если это так, имею ли я право заявить об этом вслух? Не должен ли я быть в первую очередь верен самому себе и оставить политику тем, у кого громкий голос и нет своего «я»?

Мысль эта была необыкновенно мучительна, потому что в свете ее открывалась полная несостоятельность последних месяцев его жизни. Подавленный и разбитый, он хотел было пойти в Национальную галерею и найти утешение в искусстве, но на пути его встал огромный плакат, возвещавший о ходе подписки на военный заем. Новое поле общественной деятельности открылось бы для него, и душа его неизбежно воспламенилась бы, если бы один из поднявших его полисменов не тронул его за рукав.

— Как вы себя чувствуете, сэр? — спросил он.

— Благодарю вас, полисмен, мне лучше, — ответил

мистер Левендер.— Мне очень жаль, что я доставил вам столько беспокойства.

— Ну что вы, сэр,— ответил полисмен.— А вы здорово грохнулись.

— Скажите мне, — вдруг проговорил мистер Левендер, глядя ему в лицо, — как, по-вашему, имеет ли право человек жить личной жизнью? Мое будущее в значительной степени зависит от вашего ответа.

На тяжелом лице полисмена появилось удивление, и он медленно произнес:

— Обычно личная жизнь человека бывает ниже всякой критики, вы сами это знаете, сэр.

— Я довольно давно не жил личной жизнью,— сказал мистер Левендер.

— Послушайте меня, сэр, и не мечтайте вернуться к ней,— проговорил полисмен.— У вас здоровье не то.

— Боюсь, вы меня не поняли,— ответил мистер Левендер, чье тело после падения изрядно побаливало.— Меня измучила как раз моя общественная жизнь.

— Я бы на вашем месте бросил ее,— сказал полисмен.

— Правда? — оживился мистер Левендер.— Бросили бы?

— Конечно,— сказал полисмен.

Мистер Левендер был так взволнован этим подтверждением своего внезапного желания, что вынул из кармана полкроны.

— Вы чрезвычайно меня обяжете,— сказал он,— если примете это как знак моей благодарности.

— Так и быть, сэр, доставлю вам удовольствие,— ответил полисмен,— хоть мне было совсем нетрудно: вы легкий, как перышко. Вы куда-нибудь сейчас направляетесь? — добавил он.

— Да,— ответил мистер Левендер слабым голосом,— к метрополитену.

— Тогда я вас провожу.

Мистер Левендер был даже рад идти под защитой этого верзилы, ибо силы покинули его — не столько из-за физической боли, сколько из-за полученного откровения.

— Послушайте меня, сэр,— сказал полисмен на прощание,— и не думайте ни о какой личной жизни, на это у вас силенок маловато.

— Благодарю вас, полисмен,— задумчиво проговорил мистер Левендер,— вы так добры. До свидания!

Он сидел в вагоне метрополитена, возвращаясь в Хэмпстед; обостренная борьба его мыслей не прекращалась.

«Если я как общественный деятель приношу больше вреда, чем пользы,— размышлял он,— то я готов ради отечества вернуться к личной жизни. Но полисмен сказал, что это для меня опасно. Что же мне остается? Не жить ни общественной, ни личной жизнью!»

Эта мысль, мучительная и героическая, так овладела им, что он приехал домой, буквально сходя с ума.

XXI

...И ВОЗНОСИТСЯ НА НЕБЕСА

К следующему утру эта мысль окончательно созрела и приобрела такую власть, что никакая сила на свете не могла бы помешать ее осуществлению; и всю ночь мистер Левендер не давал Блинк уснуть: он расхаживал по спальне взад-вперед, обдумывая подробности такого ухода от всего, который бы лучшим образом соответствовал его несчастью. Он с самого начала понял, что отказ от обеих его жизней не имел бы смысла, если бы об этом не узнал весь мир.

«Я смогу преподать урок всем общественным деятелям и частным лицам только в том случае, если совершу поступок столь поразительного свойства, что его нельзя будет не заметить».— И тысячи планов, как муравьи, закопошились в его мозгу.

Однако достойный план пришел ему в голову только с криком первого петуха.

«Осуществление этого плана потребует чрезвычайной предусмотрительности,— думал он,— иначе мне могут помешать или даже остановить меня на полпути, а это было бы и мучительно и нелепо». Идея его была столь возвышенной, что он пролил над нею немало слез и, расхаживая по комнате, не раз останавливался, чтобы увлажненными глазами взглянуть на ничего не подозревавшую Блинк. Весь день он бродил по дому и саду, прощаясь со всем, что было так дорого его сердцу; за завтраком, обедом и ужином он ел и пил даже меньше, чем

обычно, ибо был весь поглощен пафосом грядущего самоотречения. Он решил подготовиться к своему последнему деянию ночью, когда храп Джо помешает миссис Петти услышать шум; за ужином он стал прощаться со своей преданной экономкой, но постарался сделать это так тонко, чтобы она не могла догадаться, в чем дело.

— Миссис Петти,— сказал он, вертя в руках ломтик сыра,— бесполезно скрывать от вас, что я скоро отправлюсь в путешествие, и я чувствую, что не могу расстаться с вашими заботами, не выразив вам своей сердечной благодарности. Мне будет недоставать вас, крайне недоставать, то есть, если там, куда я отправлюсь, человеку вообще может чего-нибудь недоставать.

Миссис Петти, мгновенно решившая, что речь идет о ночных носках, ответила:

— Не беспокойтесь, сэр, я про них не забуду. А куда же это вы отправляетесь?

— Гм,— тонко ответил мистер Левендер,— пока все это очень неопределенно; в такое время, как сейчас, когда зацветает липа, на меня находит какое-то беспокойство, и вы можете заметить во мне некоторую перемену. Но что бы ни произошло, я вверяю мою дорогую Блинк вашим заботам. Кормите ее, как меня, и любите ее, как Джо, ведь счастье собаки больше всего зависит от еды и любви.

— Боже милостивый,— сказала миссис Петти,— да вы никак собираетесь надолго? Уж не в Истберн ли?

Услышав это, мистер Левендер вздохнул: к грусти прощального вечера прибавилось воспоминание о месте, где он провел столько счастливых дней.

— Пока я ничего не могу вам сказать, дело в том, что я сам еще не уверен в месте своего назначения. В общем, ни один об... об... общественный деятель,— он произнес эти слова, запинаясь, так как не знал, принадлежит ли теперь к таковым,— ни один общественный деятель не знает, куда он направится завтра. Довлеют дневные планы его.

— Хорошо, сэр,— простодушно проговорила миссис Петти,— но вам нельзя никуда ехать без Джо или без меня, это-то ясно.

Мистер Левендер улыбнулся.

— Дорогая миссис Петти,— пробормотал он,— есть

жертвы, которых нельзя требовать даже от самых верных друзей. Однако,— продолжал он с наигранным легкомыслием,— не будем думать об этом по крайней мере до послезавтра, потому что у меня еще много дел.

Зная по опыту, что планы мистера Левендера за два дня неизбежно переменятся, успокоенная миссис Петти слегка покачала головой и направилась к дверям.

— Вы все говорите загадками,— заметила она.

— Я бы хотел повидать Джо,— сказал мистер Левендер, не сводя глаз со своей преданной домоправительницы.

— Сейчас пришлю вам этого красавчика,— пробормотала она и вышла.

Отдав ломтик сыра Блинк — ей достался чуть ли не весь последний ужин хозяина,— мистер Левендер посадил лунную кошечку на плечо и стал нежно гладить своих любимиц.

— Блинк,— сказал он слегка дрожащим голосом,— будь, пожалуйста, добра с лунной кошечкой, когда я уеду, и если я задержусь дольше, чем ты предполагаешь, то не скорби, дорогая. Может быть, когда-нибудь ты соединишься ко мне, но если даже нам не суждено встретиться вновь, я не хочу мешать твоему второму браку и омрачать твое счастье напоминанием о себе, как это сделал бы жестокий супруг. Будь беспечна, моя дорогая, и не оплакивай своего хозяина.

И он обнял ее и крепко прижал к себе, вдыхая запах ее шерсти, похожий на запах овцы. В это время открылась дверь, и вошел Джо.

— Джо,— решительно начал мистер Левендер,— садитесь и закурите вашу трубку. В буфете бутылка довоенного портвейна. Достаньте ее и выпейте за мое здоровье, да и я сам тоже выпью — это придаст мне смелости. Мы всегда были добрыми друзьями, Джо,— говорил он в то время, как Джо откупоривал бутылку,— у нас были приятные и опасные приключения. Я призвал вас в момент, который когда-нибудь, вероятно, покажется вам торжественным, чтобы пожать вам руку и чтобы продолжить дискуссию об общественных деятелях, которую, как вы помните, мы начали несколько дней назад.

— Ну да,— сказал Джо со своей обычной беззаботностью,— когда я сказал вам, что они нагоняют на меня

тоску. Ну, и что, сэр? Разве они написали что-нибудь уж очень злобное? — Вытаскивая пробку, он поднял глаза на мистера Левендера и, увидев выражение его лица, добавил: — Не принимайте мои слова близко к сердцу, сэр, делайте, что хотите, вам-то общественным деятелем не быть!

Мистеру Левендеру показалось, что эти слова решили его судьбу, и на щеках его проступил слабый румянец.

— Нет,— продолжал Джо, разливая вино,— у вас для этого не хватает нахальства. Вы, вероятно, заметили, сэр, что в наше время грязные пятна на государстве заметны, как никогда. Ваше здоровье!

— Джо,— сказал мистер Левендер, торжественно поднимая бокал,— желаю вам счастья и успехов. Давайте выпьем за те качества, которые делают вас *par excellence*¹ представителем великого, самого добросердечного в мире народа, который никогда не заботится о завтрашнем дне, никогда не считает себя побитым и редко теряет чувство юмора.

— М-да,— загадочно ответил Джо, полузакрыв зеленоватые глаза и приставляя бокал к красноватому носу. Потом он залпом проглотил содержимое и наполнил бокал опять, мистер Левендер же успел выпить не более капли.— Я ничего не говорю,— продолжал Джо,— есть же общественные деятели, которые приносят пользу, так же, как маленькие люди, которые нас всех кормят, или как настоящий английский джентльмен, который делает свое дело и никогда не кричит об этом. Такому человеку можно верить, вот потому-то он нынче и не в почете; он воспитанный, он добротный товар; а эти нынешние — сырье, выскочки, проходимцы, неведомо откуда взялись — чтоб они там и остались со всеми своими «давай-давай!» и гимнами ненависти.

— Джо,— сказал мистер Левендер,— вы уверены, что это у вас не типичный английский снобизм? Помогите, вы, сами того не желая, преклоняетесь перед словом «джентльмен».

— А почему бы и нет? — ответил Джо, опрокидывая второй бокал.— Для страны было бы неплохо, будь мы все джентльменами, честными, малость глуповатыми

¹ По преимуществу (франц.).

и хоть изредка подумывающими о других.— Он снова наполнил бокал мистера Левендера.— Я определяю джентльмена не по деньгам, не по титулу, даже не по костюму; по-моему, джентльмен — тот, кто может быть у власти и при этом не терять ни головы, ни совести и делать то, что считает нужным, не слушая горлопанов. А вот мысли у него должны быть правильные и сердце доброе. Ваше здоровье, сэр!

Поглощенный мыслями своего шофера, мистер Левендер уже выпил два бокала; он встал со стула и, схватясь за голову, сказал:

— Не буду скрывать от вас, Джо, я всегда считал, что каждый общественный деятель обладает как минимум именно этими свойствами.

— Черта с два! — сказал Джо.— Вы это правда, сэр? Господи! Вам потом не понадобится то, что осталось в бутылке?

— Нет, Джо, нет. Мне это больше никогда не понадобится.

— В таком случае я воспользуюсь,— ответил Джо, выливая в свой стакан оставшееся вино.— Вы не хотели бы поговорить еще о чем-нибудь, сэр? Я всегда рад оказать на вас влияние.

— Благодарю вас, Джо,— ответил мистер Левендер,— сейчас мне нужнее всего одиночество и ваши добрые пожелания. Уведите, пожалуйста, Блинк и, когда она погуляет, запирайте ее в спальне и не забудьте закрыть окна. Покойной ночи, Джо. Зайдите ко мне завтра утром, только попозже.

— Конечно, сэр. Покойной ночи, сэр.

— Покойной ночи, Джо. Вашу руку.

Когда Джо увел упиравшуюся Блинк, которая все время оглядывалась на хозяина, мистер Левендер сел за письменный стол и, достав лист бумаги, написал наверху:

«Моя последняя воля и завещание».

Он долго думал, с чего начать, а затем, увлекшись вступительной частью, полностью опустил вопрос о наследовании. Вот что он написал:

«Я, Джон Левендер, настоящим сообщаю всему человечеству, что предпринимаемый мною акт носит чисто символический характер и никоим образом не может рассматриваться, как следствие усталости от жизни или

капитуляция перед лицом неудач, что было бы недостойно английского общественного джентльмена». (Мистер Левендер долго не мог решить, кто он, но затем решил, что лучшим выходом из затруднительного положения будет такое объединение «английского джентльмена» и «общественного деятеля».) «Долгий и нелегкий опыт убедил меня в том, что, лишь отказавшись от первого качества, я смогу удержать за собою последнее и, лишь отказавшись от обоих, я достигну моральной чистоты, приверженцами которой всегда были мои соотечественники. Сознавая, что один акт личного самоотречения не поколеблет государства и не может сбить с пути нацию, я решил тем не менее исчезнуть в голубом пламени, чтобы каждый англичанин мог усвоить преподанный мной урок и узнать на примере моей необычайной судьбы, как спастись от вредоносного влияния чужих речей. В то же время я хочу сполна засвидетельствовать свое почтение всем великим публицистам и ораторам нашего времени, которые оказали на меня столь губительное влияние». (Далее следовал в алфавитном порядке список имен от Б до Ч.) «При этом я не могу не заявить о своем полном несогласии со взглядами моего шофера Джо Петти. Расставаясь с жизнью, я утверждаю, что не сумел стать безупречным общественным джентльменом только из-за особенностей своего характера, а отнюдь не по убеждению, что быть таковым невозможно вообще, тем более, что я всегда искренне восхищался вышеуказанными великими людьми. Если кто-либо захочет после моей смерти написать мой портрет, то я желаю, чтобы меня изобразили устремленным к Заре, ибо я собираюсь покинуть мир именно в час рассвета, так живо напоминающий мне о глубоком чувстве, которое я не хочу сделать достоянием молвы. Если от меня что-нибудь останется,— что маловероятно, учитывая горючесть материала, из которого будет сложен мой погребальный костер,— я был бы крайне обязан, если бы мои останки без лишних хлопот погребли в моем саду с обычным для Хэмпстеда надгробием и надписью:

Здесь жил
ДЖОН ЛЕВЕНДЕР,
общественный деятель, отдавший жизнь
на благо отечества

В заключение я хотел бы сказать стране, которую любил и которой служил: «Избегай крайностей! Не верь чужим словам! Будь верна самой себе! Сочетай силу с великодушием и отвагу со скромностью! Любимая страна, прощай!»

Дописав последние слова, он долго не мог положить перо. Однако выпитый портвейн уже начал оказывать свое обычное действие, и мистер Левендер задремал, и лишь часов через пять свет полной луны разбудит его.

«Мой час настал», — подумал он и, открыв стеклянную дверь, вышел на лужайку, на которой белела роса. Предраассветная свежесть, лунное сияние и выпитый портвейн привели его в странно романтическое расположение духа, и, оказись у него в руках какой-нибудь музыкальный инструмент, он, весьма вероятно, заиграл бы. Несколько минут он расхаживал взад и вперед по росе и, наконец, избрал середину лужайки как наиболее подходящее место для задуманного, ибо оттуда ничто не мешало видеть окно Авроры, на которое он хотел устремить свой прощальный взгляд. Очертив носком ботинка двенадцатифутовую окружность в росе, он принялся в ярком лунном свете сооружать свой погребальный костер, для чего перетащил из кабинета книгу за книгой, газету за газетой, брошюру за брошюрой — все ценности, накопившиеся за четыре года; и со всем тщанием построив из них прочное и хитроумное сооружение, он застонал, так как вдруг вспомнил о своих былых обошлених и о славных мыслях, запечатленных в этой литературе. Внизу, в самом центре сооружения, он оставил местечко для наиболее легко воспламеняющихся материалов, состоящих из особой подшивки особой газеты; по окружности своего величественного конусообразного кургана он аккуратно разложил двести четыре военных выпуска одного еженедельника, чтобы огненное кольцо воспламенило более плотный материал, на котором он будет сидеть. Он работал два часа в блекнущем свете луны и, наконец, завершил свое роковое и героическое здание; перед самой зарей при свече, которая предназначалась для последнего штриха, он сел сочинять интервью с самим собой, в котором собирался поведать миру значение своего поступка.

«Я нашел его,— начал он от имени корреспондента,— сидящим на груди прекрасных листьев человеческой мысли, которая на заре нового дня горела довольно ярким пламенем, словно сама страсть, таящаяся в этих необычайных страницах, освещала скрытый смысл происходящего, равно как и черты героя, на которые страдание уже наложило безжалостный отпечаток.

— Я бы хотел,— сказал я, приближаясь к нему, насколько это было возможно, так как искры средиземноморскими светляками плясали у моих брюк,— я бы хотел услышать из ваших уст, каковы причины, побудившие вас уйти из жизни.

— Пожалуйста,— ответил он с учтивостью, не покидавшей его в минуты, которые были бы серьезным испытанием благовоспитанности более обыкновенного человека; и с великолепным спокойствием и ясностью он стал описывать тайные движения своей души, в то время как рассветные лучи все ярче и ярче озаряли его выразительное изможденное лицо, а языки пламени медленно лизали его левый ботинок.

— Да,— сказал он, окидывая себя умственным взором,— я наконец увидел эту проблему в деталях и в целом. Именно поэтому я и ищу прибежища в мире ином. Что ждет меня там, я не знаю, хотя очень многие общественные деятели пытались мне это разъяснить; но не в моих правилах отступать перед Неведомым, и я готов шагнуть за край света.

Я был потрясен великодушием, с которым он произнес эти слова, и тут же спросил его, нет ли, по его мнению, таких коренных черт в английском характере, которые помогли бы всем нам единодушно откликнуться на столь щедрую жертву и столь благородное дело.

— Что касается этого,— бесстрашно ответил он, хотя при свете разгоравшейся зари я ясно видел, что подвязка его правого носка уже тлеет, так что он не мог не испытывать мучительнейшей боли,— что касается этого, то как раз склонность современных англичан к крайностям в выражении мыслей и побуждает меня преподать им наглядный урок сдержанности и здравомыслия. Ох!

Это краткое восклицание вырвалось у него, несмотря на его железную выдержку, и запах горячей плоти как

нельзя убедительнее поведал мне об испытываемых им муках.

— Я чувствую,— сурово продолжал он,— что невоздержанность в речах и поступках пагубна для моей страны, и, испытав это на себе, я сейчас хочу своим огненным примером указать средство от болезни, которая подтачивает организм и угрожает рассудку моих соотечественников и превращает их во второстепенную расу духовных алкоголиков. Ох!

Признаюсь, что в это мгновение слезы выступили у меня на глазах, ибо редко приходилось мне быть свидетелем зрелища более возвышенного, нежели медленное самосожжение патриота во имя родины. Зрелище это обладало странной, устрашающей привлекательностью, и ни за что на свете я не мог бы оторваться от него. Я впервые до конца оценил силу воли и героизм рода человеческого и, осознав это, возрадовался, что принадлежу к тому же славному народу, как и этот герой, вылепленный из столь прочной человеческой глины, что ни одна слеза не сбежала по его щекам, дабы угасить пламена, поднимавшиеся вокруг него выше и выше. На востоке полыхала заря; я знал, что человечество вступает в великий день, и, внимательно следя за обугливающимся на моих глазах героем, я от всего сердца возблагодарил небеса, что мне суждено было стать свидетелем этой минуты. И тогда он громко воскликнул:

— Призываю Аврору в свидетели: я умер не дрогнув, поражая пылающим копьем то злоупотребление доверием, которое лишило меня рассудка! — И я увидел, что горячей рукой он сжимает пылающее копье из свернутых в трубку газет.

— Аврора! — снова воскликнул он и с этим загадочным словом на устах был поглощен высоким столпом алчного пламени.

Это было едва ли не самое потрясающее зрелище, какое я когда-либо видел».

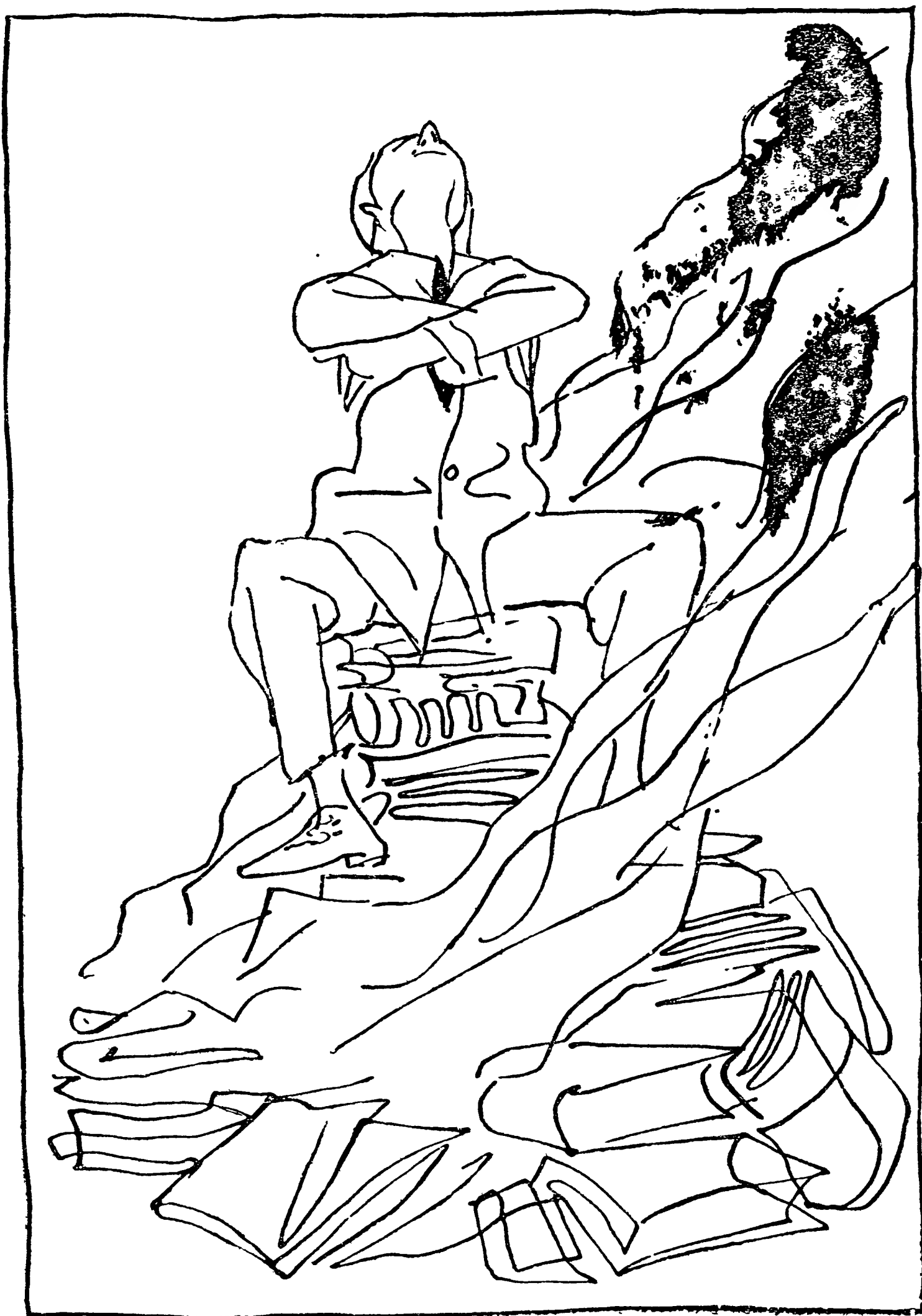
Закончив интервью, взволновавшее его достоверностью и богатством живых подробностей, и надписав на нем «Срочно. Для прессы», мистер Левендер почувствовал, что его пробирает озноб. Это был тот рассветный час, когда дрожь пробегает по всему миру; дрожа и почти радуясь предстоящему, мистер Левендер с горячей

свечой в руке прокрался к своему погребальному костру, подымавшемуся на высоту пяти футов посреди тусклой темной лужайки, которая точно начинала зеленеть в лучах занимавшегося дня. Он дважды обошел вокруг своего сооружения и уложил ступеньками четыре толстенных тома истории войны, затем опустился на колени, наклонил свечу, ровно горевшую в утреннем затишье, и поджег статью в воскресной газете. Сделав это, он глубоко вздохнул, вернулся к книжным ступенькам и, с трудом сохраняя равновесие, вскарабкался наверх, уселся там, свесив ноги и не сводя глаз с окна Авроры. Так он просидел минут десять, пока наконец не понял, что под ним ничего не происходит; тогда он слез вниз и заглянул в углубление, где была подожженная газета. При ярком уже свете небес он увидел, что огонь погас на словах: «Сцена теперь готова для последнего акта этой колоссальной всемирной драмы». И решив, что провидение хочет этой ободряющей фразой вернуть ему присутствие духа, он подумал: «Этим утром я тоже творю историю». И он снова поджег газету и, опустившись на четвереньки, стал мужественно раздувать огонь.

А в это время юная леди из соседней крепости встала с постели и подошла к окну поглядеть, как солнце всходит над Парламентским холмом. Почувствовав запах горящей бумаги, она поглядела вниз и увидела мистера Левендера за раздуванием огня.

«Что еще выдумал этот несчастный? — подумала она. — Это уже просто невыносимо!» Она сунула ноги в туфли, накинула голубой халат и, спрятавшись за занавеской, стала ждать, что будет дальше.

Мистер Левендер отполз от разгоревшегося пламени, но продолжал стоять на коленях, вероятно, желая убедиться, всерьез ли огонь занялся. Потом он встал и, к величайшему изумлению юной леди, взобрался на гору книг и газет. Сначала она следила за ним с жадным любопытством: уж очень смехотворна была эта фигурка, увенчанная взъерошенной седой шевелюрой, уж очень забавна была страстная тоска на его исхудалом скуластом лице, обращенном к ее спальне. Но скоро она с беспокойством обнаружила, что огонь под ним разгорается не на шутку, и, вдруг решив, что ему пришла в голову бредовая идея получить ожоги и этим привлечь



ее внимание, она бросилась по лестнице вниз и, выбежав с черного хода прямо в халате, обогнула свой сад и оказалась сзади мистера Левендера, готовая ко всему. Она была в двух шагах от него, но он не слышал ее шагов, так как взволнованная Блинк, следившая в закрытое окно спальни за самосожжением хозяина, пронзительно скулила, и сам мистер Левендер, подвывая, запел что-то странное и заунывное, что вместе с шелестом пламени, ползущего по еженедельникам, которые опоясывали книжную гору, производило столь жуткое впечатление, что у юной леди кровь застыла в жилах.

— Аврора, — жалобно пел мистер Левендер, — Аврора,

Унеси мое сердце с собой —
Все равно оно тут не сгорит,
Пусть и осенью и весной
Оно в твоём сердце стучит!
Прощай навеки!
Аврора, Аврора, ах!
Я мчусь на воздушном коне
И сейчас превращусь во прах,
Но ты вспоминай обо мне.
Аврора, Аврора!

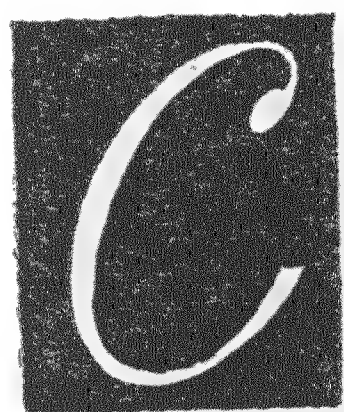
И в то мгновение, когда безудержный смех готов был овладеть ею, она увидела, что язык пламени, пожрав слово «Горацио», лизнул правую икру мистера Левендера.

— Ох! — отчаянно закричал он, воздев руки к небу. — Мой час настал! О сладостные небеса, раскройте и дайте мне увидеть ее лицо! Я вижу! Я вижу ее духовным взором. Довольно! Теперь смелее! Я должен умереть в молчании!

И он сложил руки на груди и стиснул зубы. Огонь, пожрав последнюю строчку еженедельника (который, кстати, лежал вверх ногами), так яростно лизнул мистера Левендера, что он невольно дрыгнул ногами и, потеряв равновесие, упал вниз головой прямо в объятия бдительной Авроры. Оказавшись в стороне от бушующего пламени, он прижался лицом к ее шелковистому голубому халату и понял, что уже сгорел и перешел из зловещего мрака ночи в светлые объятия утра, и с его непослушных губ слетели слова:

— Я в раю.

1919 г.



ТАТЬИ, РЕЧИ,
ПИСЬМА

ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ

В каждом человеке рассудок и чувства ведут между собой жестокую борьбу. Жизнь — доска, на которой качаются эти две силы, и ни один смертный не сидит на самой ее середине, ибо никто не выдержал бы нестерпимую скуку такой позиции.

Наши суждения, поступки и мысли — как традиционные, так и передовые, как мягкие, так и жесткие, как в материальном, так и в идейном плане — суть результат этой вечной борьбы, и если бы человек мог заглянуть достаточно глубоко в источник своего поведения — от чего, боже, упаси! — он бы удивился, обнаружив, сколь многое зависит от того, какие именно трюки он проделывает на этой большой качающейся трагикомической доске.

Так-то вот и получается, что человечество оказывается разделенным на людей рассудка и людей сердца. Но мы в Англии, с присущим нам чувством «честной игры», не находим ничего забавного в этом балансировании между яйцом страуса и яйцом куриным, тем более, когда последнее оказывается тухлым, поскольку состоит почти исключительно из бродяг, ирландцев и художников. В огромном своем большинстве мы люди рассудка, и когда мы видим, что ирландец жертвует обедом ради остроумной шутки, бродяга отказывается от работы, чтобы сохранить свою свободу, а писатель сочиняет пьесу, которая останется лежать в ящике его стола, мы не сердимся, не говорим горьких слов; мы жалеем этих несчастных, понимая, что они поддаются голосу таинственно-

го желания, стремятся утолить жажду ощущений, нам самим неведомую, и еще потому, что мы знаем: они, как им и подобает, составляют ничтожное меньшинство.

Эта вот надлежащая, приличная диспропорция между рассудком и чувством в нашей среде и породила шедевры наших виднейших современных драматургов. Они полагают, что люди не создают нормы нравственности, но сами созданы для нравственности, и что первейшая обязанность драматурга не столько показать, как силы природы воздействуют на человека, сколько утвердить торжество той или иной априорной концепции; из недели в неделю, из года в год они предлагают нам пьесы, которые в точности соответствуют требованиям рассудка, господствующего в нашем обществе, венчают лаврами этот самый рассудок, превозносят его до небес и дают ему свое благословение. Ибо все виднейшие наши драматурги — сами люди рассудка, люди здравомыслящие и глубоко убежденные в том, что художники безумны, а в ящиках стола — темно и мрачно.

Если бы провести опрос среди публики, вместе со мной заполнявшей театр, откуда я только что вернулся, то оказалось бы, что на каждые девяносто человек, считающих, что лучшие, самые захватывающие моменты в пьесе — это риторический монолог героя и самоотречение героини в четвертом акте, только десять стали бы утверждать вопреки рассудку, что ее «О мистер...», когда он ее целует в первом акте, и ее вальс на крыше, под шарманку, стоят всей остальной пьесы. Ведь в этом «О мистер..!» и в этом вальсе на крыше — вся тоска по любви, по радости, свету, краскам, которая таится в глубине каждого человеческого сердца, другими словами — в них человеческое сердце раскрывается, а это слишком опасно в жизни, неразрывно связанной с добыванием хлеба насущного.

Попробуем разобраться в том, как эти главные действующие лица изменяют себе в решающие моменты драмы в соответствии с требованиями здравого смысла или, может быть, лучше сказать, морали? Будем считать, что они задуманы всерьез, даже как типы, и начнем с героя. Так вот, герой—задуманный всерьез—это тип нравственно испорченного человека, который если что и представляет, так только испорченность, и о чьей нравствен-

ной испорченности нам без конца твердят и другие и он сам. Этот герой преследует молодую девушку, причем нам всячески дают понять, что он страстно в нее влюблен. В четвертом акте, когда он по ходу дела мог бы добиться своего, автор заставляет его отступить, а нас подводит к выводу, что либо герой в конечном счете все же не представляет собою тип нравственно испорченного человека, а следовательно, не представляет никого и ничего, либо что его отступление — это реверанс тем из нас, для кого невыносима мысль, что героиня может потерять свою добродетель, а заодно и возможность выйти замуж за человека, которого она не любит. Могут возразить, что в жизни мы не всегда следуем основным свойствам нашего характера, но, право же, не очень уважительно по отношению к виднейшим нашим драматургам предполагать, будто они не знают, что их долг — ставить своих героев в такие положения, из которых они могут выйти, только если будут следовать основным свойствам своего характера.

К тому же мы видим, как неловко чувствует себя герой на протяжении всей пьесы, как добродетельно и нудно он признает свою испорченность; но разве животному, именуемому человеком, свойственно такое самоосуждение? Вспомним тех из наших знакомых, которых можно поставить с ним рядом, и подумаем, какое впечатление они на нас производят. Если мы обнаружим — а я вполне допускаю такую возможность, — что все они как будто действуют и думают согласно каким-то своим собственным идеалам и взглядам, словно живут особой жизнью с особыми и в их глазах вполне оправданными мотивами и линией поведения, — если мы обнаружим это, тогда мы снова должны признать, сколь грациозен реверанс нашего драматурга и его персонажа нашему здравому смыслу и нашей морали.

Перейдем теперь к героине. Она тоже задумана всерьез, задумана как тип, а чтобы решить, в чем состоит ее типичность, вернемся к тем минутам, когда она раскрывает свое сердце. Она — кажется, так о ней говорили — тип привязчивой, слабой, падкой на удовольствия девушки; и нам показывают ее в ряде разнообразных ситуаций с единственной целью — продемонстрировать безобидную неустойчивость этой бедной маленькой щепки

в бурных волнах жизни. Наконец мы доходим до так называемой «кульминационной сцены» в четвертом акте, и тут вдруг выясняется, что героиня, столкнувшись вплотную с тем, что шокирует наш рассудок, проявляет неизвестно откуда взявшуюся твердость и сводит на нет то представление о ней, которое она так старалась нам внушить. Польщенные и умиленные тем, что она действовала строго согласно рассудку, мы все же ощущаем известную неловкость, и некоторые из нас, самые придирчивые, спрашивают: «Стоило ли трудиться изображать слабую героиню, если в единственной сколько-нибудь важной ситуации она оказалась сильной?» А если нам скажут, что ее «сила» в четвертом акте на самом деле слабость, попросту малокровность,— тогда к чему этот фальшивый налет силы, к чему «вознагражденная добродетель» в эпилоге?

Нет! Как ни посмотри, герою и героине никогда не следует ступать на опасные пути, выходить за пределы того, что диктует им наш здравый смысл: они должны зорко следить за своим положением в обществе, и с самого рождения им предназначен высоконравственный конец.

А это возвращает нас к тому трогательному единодушию, какое существует между нашими виднейшими современными драматургами и нами самими. Насквозь пропитанные здравым смыслом, ни мы, ни они не допускаем, чтобы человеческие сердца раскрывались; не можем слышать этого «О мистер...», видеть этот вальс на крыше: нам подавай риторику и самоотречение.

Люди сердца и люди рассудка! Пока соотношение между ними не станет обратным, пока луна не засияет среди дня, до тех пор наши виднейшие современные драматурги не поверят, что главное в жизни не законный брак и не положение в обществе, но любовь и смерть; что корень искусства — чувства; что неизбежностью не стоит пренебрегать и что единственная эпическая добродетель — это мужество.

1903 г.

НУЖНО УЧИТЬСЯ

«Et nous, jongleurs inutiles, frivoles joueurs de luth!»
...Ненужные жонглеры, бездумные музыканты! Неужели так должны мы говорить о себе, мы, из года в год поставляющие публике сотни и сотни «замечательных» книг? (Ведь когда мы берем в руки замечательные книги своих собратий, оказывается, что их «просто невозможно читать», а между тем пресса и издательская реклама уверяют нас, что это книги «замечательные»!)

Есть сказочка про то, как в густом орешнике бродили маленькие подслеповатые существа и пели, выпрашивая орехов. На некоторых из этих подслеповатых существ падали орехи тяжелые, полные, совершенно несъедобные, и они их быстро глотали; на других падали орехи легкие, пустые, потому что зерно уже было съедено где-то вверху, и вслед этим пустым орехам слышался свист или смех. А еще на других не падало никаких орехов, ни пустых, ни полных. Но с орехами или без орехов, с пустыми орехами или с полными, подслеповатые существа все бродили по лесу и пели.

Как-то раз проходил лесом путник и, остановив одно из этих существ, чей голос показался ему особенно противным, спросил:

— Чего ты поешь? От удовольствия или от боли? И что это тебе дает? Ты поешь для тех, кто там, наверху? Или для самого себя, для своей семьи — для кого? Ты думаешь, что твое пение приятно слушать? Отвечай!

Существо почесало себе живот и запело еще громче.

— А, это у тебя такая мания! — сказал путник. — Жаль мне тебя, но, конечно, ты не виновато.

Он пошел дальше и скоро увидел еще одно существо, которое пело что-то пискливым альтином. Оно ходило и ходило кругами в рожице чахлых деревьев, и путник заметил, что оно ни разу не ступило за пределы рожицы.

— Ты правда не можешь выражать свои чувства иначе? — спросил путник.

И в эту минуту на маленькое существо посыпался целый град жестких орешков, которые оно тут же принялось поедать с великой жадностью. Путник разгрыз один из орехов: ядро в нем было крошечное и отдавало гнилью.

— И почему ты все бродишь под этими деревьями? — спросил он. — Орехи здесь невкусные.

Но маленькое существо вместо ответа опять забегало кругами.

— Надо полагать, — сказал путник, — что скверные орехи для тебя лучше, чем ничего. Если ты выйдешь из этой рожи, то умрешь с голоду?

Подслеповатое существо отчаянно взвизгнуло. Путник принял это за утвердительный ответ и пошел дальше. Вскоре он увидел под большим деревом третье маленькое существо — оно пело очень громко, а вокруг стояла тишина, нарушаемая только тихими звуками, словно где-то посапывали крошечные носы. При его приближении существо умолкло, и тотчас сверху посыпались огромные орехи. Путник попробовал их — они были сладковатые на вкус и очень маслянистые.

— Зачем ты пело так громко? — спросил он. — Ты ведь не можешь съесть все эти орехи. Нет, в самом деле, ты поешь гораздо громче, чем нужно. Ну же, отвечай!

Но подслеповатое маленькое существо опять запело во весь голос, и крошечные носы засопели так громко, что путник поспешил прочь. В сумерках этого леса ему попалось еще немало подслеповатых маленьких существ, и наконец одно такое, что казалось совсем уже слепым, но пело голосом негромким, нежным и чистым, в полной тишине. Путник сел на землю и стал слушать. Он слушал долго и не замечал, что сверху не упало ни одного ореха. Но вдруг послышался слабый шелест, и он увидел на земле три небольших овальных орешка. Он разгрыз один из них. Орех оказался на диво душистый и вкусный. Путник взглянул на маленькое существо, стоявшее с запрокинутым кверху лицом, и сказал:

— Скажи мне, маленькое слепое сладкогласное существо, где ты научилось петь?

Маленькое существо чуть повернуло голову, словно прислушиваясь, не упадет ли орех.

— И правда,— сказал путник,— поешь ты звонко, но неужели это все, что тебе достается в пищу?

Маленькое слепое существо улыбнулось...

Лес, в котором бродим мы, писатели, окутан сумерками, и время от времени, хотя все это уже не раз было сказано, нам стоит напоминать себе и другим, почему там так мало света; почему так много у нас дурной и фальшивой беллетристики; почему спрос на нее так велик. Живя в мире, где спрос вызывает предложение, мы, писатели, составляем исключение из этого правила. Ибо подумайте, каким образом мы, как общественная группа, рождаемся на свет. В отличие от людей любой другой профессии от нас не требуется специального образования. Мы не кончаем особого учебного заведения, не сдаем экзаменов, не удостоиваемся степени, не получаем диплома. Нас не заставляют изучать то, что следовало бы изучать, мы вольны заполнять свое сознание всем, чего изучать не следовало бы. Как грибы, мы вырастаем за одну ночь — перо в руке, в голове очень мало, а в сердце и вовсе невесть что!

Мало кто из нас садится за первую книгу спокойно — что-то в нас требует выражения и не терпит отсрочки. Это — начало порочного круга. В первой нашей книге нередко что-то есть. Мы искренне стараемся что-то выразить. Правда, выражать мы ничего не умеем, потому что не учились этому, но то, что мы хотели выразить, пробивается на страницах — как отзвук настоящего опыта, настоящей жизни — ровно настолько, чтобы привлечь неискушенного читателя, ровно настолько, чтобы позволить великодушной прессе сказать: «От автора можно ждать многого». Теперь мы отведали крови и вошли во вкус. Те из нас, что были обременены неинтересной работой, спешат ее бросить, те, у кого не было никаких занятий, теперь нашли себе занятие по душе; очень немногие сохраняют и старую работу и новую. Какую бы из этих линий мы ни выбрали, поспешность, с какой мы ее выбираем, нас губит. Ибо часто оказывается, что в нас ничего и не было, кроме той первой книги, которую мы не

умели написать, и, выразив в ней то, что чувствовали, мы вынуждены во второй, третьей, четвертой книге либо перепевать все ту же тему — как подогревают остатки вчерашнего обеда, чтобы сегодня подать на завтрак,— либо выжимать из своего обычно банального воображения жиденькие фантазии, в которых те, кто не пытается думать самостоятельно, усматривают и вдохновение и жизненность. Лишь бы выпустить книгу, говорим мы, какой угодно ценой, лишь бы она вышла!

Такой безнравственный образ действий принят у нас с незапамятных времен, так что пресса и публика уже привыкли ждать от нас именно этого. С незапамятных времен мы позволяем себя подгонять могучим погонщикам по имени Хлеб и Хвала, и качество того и другого нас не заботит. Вольно или невольно мы поем так, чтобы заработать орехов в своем сумеречном лесу. Мы настраиваемся не на ключ «Хорошо ли это?», а на другой: «Прибыльно ли это?», и орехи сыплются на нас дождем. Это так естественно! Можем ли мы поступать иначе, когда у нас нет ни дисциплины, ни критериев, когда мы начинаем без той основы, какую дает учение? Изредка среди нас появляется крупный талант, изредка появляется человек, наделенный исключительным упорством, который учится сам, наперекор всем силам, работающим на его погибель. Но таких, кто не печатается, пока не научится писать, и не пишет, пока не почувствует в себе чего-то, о чем стоило бы писать, так мало, что их можно пересчитать по пальцам трех, самое большее четырех рук; по счастью, все мы — или почти все — причисляем себя к этой кучке.

Принято говорить, что публика получает то, чего хочет. Ну конечно, публика будет получать то, чего хочет, если ей будут это давать. Если бы сейчас отнять у нее то, чего она хочет, публика, широкая публика, согласно вполне понятному и естественному закону, приняла бы худшее из того, что осталось; если бы отнять и это, она приняла бы следующее снизу, и так до тех пор, пока не стала бы принимать относительно хороший товар. Публика, широкая публика,—это безвольный и беспомощный потребитель того, чем ее снабжают, и так будет всегда. Стало быть, публику нельзя винить за производство дур-

ной, фальшивой беллетристики. Нельзя винить и прессу, потому что пресса, как и публика, вынуждена брать то, что ей предлагают; критики, как и мы сами, по большей части не имеют специального образования, не проходят проверки на годность, не получают удостоверений; они не в состоянии нас вести, это мы их ведем, ибо мы-то можем прожить без критиков, а вот критики без нас бы умерли. Итак, прессу винить нельзя. Но нельзя винить и издателя: издатель издает то, что ему предлагают. Правда, если бы он ничего не издавал на комиссионных началах, это была бы с его стороны великая заслуга перед государством, но неразумно было бы ожидать от него этой заслуги, поскольку мы сами предлагаем ему книги и уговариваем его их печатать. Стало быть, мы не можем винить и издателя.

Винить мы должны тех, кто явно виноват, то есть самих себя. Мы сами создаем спрос на дурную и фальшивую литературу. У многих из нас есть постоянные доходы, и для таких оправдания нет. У многих никаких доходов нет; для таких, раз они уже пустились по литературной дорожке, оправдания есть, часто трагического свойства, но тем больше у них было оснований не пускаться в путь, не пройдя предварительно курс самообразования. Как ни верти — вина лежит на нас. Если мы не будем сами себя отдавать в ученье, пока мы молоды; если по-прежнему будем печататься, прежде чем научимся писать без ошибок; если не станем подавлять свои желания и будем бегать, не научившись ходить; если не усвоим хотя бы того, как не нужно писать, — мы так и будем бродить по лесу, распевая свои бессмысленные песни.

Но поскольку для того, чтобы научиться писать, нет другого пути, как писать, будем писать и сжигать написанное; тогда мы очень скоро либо бросим это занятие, либо начнем писать то, что сжигать не понадобится!

А сейчас мы пускаемся в сумеречный лес литературы без компаса, без карты, без дороги или хотя бы следа — и так и не выходим на простор.

Да, приходится сказать словами французского поэта:
«Et nous, jongleurs inutiles, frivoles joueurs de luth!..»

АЛЛЕГОРИЯ О ПИСАТЕЛЕ

Жил-был однажды принц Фелицитас, и собрался он в далекое путешествие. Дело было осенним вечером, в небе светило лишь несколько бледных звезд да серп месяца, узкий, как срезанный ноготь. И когда принц ехал предместьем своей столицы, то во мраке улиц ему ничего не было видно, кроме белой гривы его янтарного коня. Проезжая малознакомым ему кварталом, он с удивлением заметил, что конь не бежит, как обычно, легкой, уверенной иноходью, а осторожно переступает с ноги на ногу, временами же останавливается, изогнув шею и наострив уши, словно почуяв во тьме что-то невидимое и страшное; а справа и слева всадник слышал смутные шорохи и возню, и холодные сквознячки, словно поднятые чьими-то крыльями, оведали его щеки.

Наконец принц повернулся в седле, но столь густой мрак окружал его, что он даже не увидел своей свиты.

— Как называется эта улица? — спросил он.

— Государь, она называется Вита Публика¹.

— Здесь очень темно.

Не успел он произнести эти слова, как конь его споткнулся, с трудом удержался на ногах и стал, весь дрожа, — не хотел больше ни шагу ступить, несмотря на попущания и шпоры хозяина.

— Неужели ни у кого на этой улице нет фонаря? — спросил принц.

¹ Vita Publica — Общественная жизнь (лат.)

Приближенные его тотчас стали громко выкликать кого-нибудь с фонарем. И случилось, что крики эти разбудили одного старика, который спал в жалкой лачуге на охапке соломы. Услышав, что его требует сам принц Фелицитас, он поспешил со своим фонарем на улицу и остановился, трепеща от страха, возле принцева коня. Было так темно, что принц его не видел.

— Зажги свой фонарь, старик,— приказал он.

Старик повиновался. Бледные лучи побежали от фонаря во все стороны и осветили картину прекрасную, но и устрашающую. Высокие дома, ухоженные дворы, сад, засаженный пальмами; прямо перед принцем — глубокая выгребная яма, в которую чуть не соскользнули копыта доброго коня; а по всей изрытой колеями улице, куда только достигал мигающий свет фонаря,— вывернутые булыжники и гладкие плиты разноцветного мрамора, грязные лужи, свисающие с деревьев апельсины и черные силуэты огромных крыс, шныряющих от дома к дому. Старик поднял фонарь повыше, и в ту же минуту стаи летучих мышей налетели на него и загасили бы, если бы не тонкие роговые стенки.

Принц неподвижно сидел на коне, поглядывая то на кусок изрытой колеями дороги, по которой он только что проехал, то на тот ее кусок, что еще предстояло ему проехать.

— Без света на этой улице опасно,— сказал он.— Как тебя зовут, старик?

И услышал в ответ:

— Меня зовут Цетру.

— Цетру! Отныне да будет твоей обязанностью ходить с фонарем из конца в конец этой улицы всю ночь и каждую ночь.— Он взглянул на Цетру.— Ты понял меня, старик?

Старик отвечал голосом, дребезжащим, как ржавая флейта:

— Как же, как же — ходить по улице с фонарем, чтобы людям видно было, куда ступить.

Принц собрал поводья, но старик, быстро пригнувшись, коснулся его стремени.

— И на сколько времени мне такая работа?

— До самой смерти!

Цетру поднял фонарь, и стало видно, что лицо его, длинное, худое, как клин, обтянутый высохшей кожей, все подергивается и подрагивает, а жидкие седые волосы шевелятся на ветру, поднятом крыльями летучих мышей, устремившихся к свету.

— Трудненько это будет! — прокряхтел он. — И светит-то мой фонарь не больно ярко.

Надменно глянув на старика, принц Фелицитас наклонился и дотронулся до его лба.

— До самой смерти, старик, — повторил он и, повелев своим приближенным зажечь факелы от старикова фонаря, поехал дальше по извилистой улице. Цокот конских копыт замер в ночи, и снова стали слышны крысиные шорохи и шепот черных крыльев.

Оставшись один на темной улице, Цетру глубоко вздохнул, потом поплевал на руки, ту же затянул свой старый кушак и, надев фонарь на посох, поднял его до уровня груди и пустился в путь. Продвигался он медленно, потому что много раз ему пришлось останавливаться и снова зажигать фитиль: то фонарь задевали летучие мыши, то сам Цетру спотыкался, то его толкали какие-нибудь разбойники или запоздалые гуляки. Половину ночи он шел по этой длинной улице в одну сторону и половину ночи возвращался обратно. Оранжевый лебедь — рассвет, — медленно проплывая по небесной реке меж высоких крыш-берегов, изогнув шею, заглянул через темную воду-воздух вниз, где старик, едва передвигая ноги, все нес перед собою копящий фонарь. Не успел старый Цетру увидеть эту озаренную солнцем птицу, как испустил глубокий вздох облегчения, сел на землю и тотчас уснул.

Обитатели домов на Вита Публика, прослышав, что старик каждую ночь проходит с фонарем взад и вперед по их улице, или видя, как бледные лучи скользят по пестрому ряду садовых калиток и выгребных ям, безглазых лачуг и богато изукрашенных фасадов, а не то повисает в воздухе, как горсть желтых нарциссов на черном фоне тайны, говорили между собой:

— Это хорошо, что старик здесь проходит: нам лучше будет видно, куда мы идем; а если городские власти

затеют какие-нибудь работы, захотят, к примеру, починить мостовые, его фонарь очень пригодится.— И они кричали ему из окон и дверей:

— Эй, старый Цетру! В порядке ли наш дом и улица перед домом?

Но старик только поднимал повыше свой фонарь, и в кругу бледного света им открывалась та или другая картина улицы. И молчание это смущало их, ибо все они ожидали, что он ответит:

— Да, да! *Ваш* дом в порядке, почтенные господа, и улица перед ним тоже!

И постепенно они начали сердиться на старика, который только и умел, что поднимать свой фонарь. Им перестало нравиться, что он проходит мимо их дверей с бледным своим фонарем, при свете которого они, хочешь не хочешь, видели не только богато изукрашенные фасады и резные решетки дворов и прекрасных парков, но также и предметы, неприятные для глаз. И они стали роптать: «Какой толк от этого старика с дурацким его фонарем? Все, что мы хотим видеть, мы видим и без него; да что там, нам отлично жилось, пока его тут не было».

И теперь, когда он проходил, богачи, сидя за ужином, швыряли в него апельсиновые корки и выливали ему на голову остатки вина; а бедняки в своих лачугах ворочались во сне, когда лучи его фонаря будили их, и кляли его за то, что он нарушает их покой. Гуляки и разбойники тоже не жаловали старика — они привязывали его к стене, и там он бывал вынужден стоять, покуда какой-нибудь добрый прохожий не освободит его. И летучие мыши по-прежнему затемняли свет его фонаря своими крыльями и пытались погасить его пламя. И старик думал: «До чего же трудная эта работа — никому не угодишь!» Но раз таково было повеление принца Фелицитаса, он продолжал каждую ночь проходить с фонарем всю улицу из конца в конец, а каждое утро, заведя над головой оранжевого лебедя, тотчас засыпал. Но спать ему приходилось недолго: по многу часов каждый день нужно было собирать тростник и топить сало для фонаря. И худое его лицо все больше уподоблялось клину, обтянутому высохшей кожей.

И однажды случилось, что городские власти, к которым не раз обращались с жалобами на то, что людей на Вита Публика кусают крысы, засомневались, обязаны ли они истребить этих свирепых животных; учинили следствие и, призвав укушенных людей, спросили их, как они узнали в темноте, что кусали их именно крысы. Сперва все отвечали, что знают это только понаслышке, а поскольку это нельзя было считать показаниями, городские власти уже надеялись, что им не нужно будет браться за это скучное дело. Но вот явился один человек и заявил, что сам видел крысу, укусившую его, видел при свете фонаря, который держал какой-то старик. Услышав такие слова, городские власти осердились, ибо поняли, что если это окажется правдой, не миновать им тяжелой работы, а потому сказали:

— Приведите этого старика!

Дрожащего Цетру привели пред их очи.

— Что это мы слышим, старик, насчет твоего фонаря и крысы? И прежде всего, что ты делал на Вита Публика в такой поздний час?

Цетру отвечал:

— Да просто проходил там с фонарем.

— А сам ты крысу видел?

Цетру покачал головой.

— Может, ее мой фонарь видел,— прошамкал он.

— Ах ты, старый сыч! — крикнул капитан городской стражи.— Ты думай, что говоришь. Если ты видел крысу, так почему же ты не помог этому несчастному, которого она укусила,— не помог ему сперва увернуться от грызуна, а затем убить его и тем избавить город от смертельной опасности?

Цетру посмотрел на него и помолчал; потом произнес медленно:

— Я просто проходил с фонарем.

— Это ты нам уже сказал,— рассердился капитан стражи.— Это не ответ.

Дубленые щеки Цетру побагровели: так ему хотелось говорить и так это было трудно. А стража смеялась и глумилась над ним: «Вот так свидетель!»

Но вдруг Цетру заговорил:

— На что это мне нужно—крыс убивать? Убивать крыс — это не мое дело.

Капитан стражи погладил бороду и, с презрением взглянув на старика, сказал:

— Сдается мне, братья, что это старый бездельник и лодырь и никому от него нет пользы. Пожалуй, следовало бы привлечь его к суду за бродяжничество. Но сейчас нам не до того. По чистой случайности — нельзя сказать, чтобы счастливой, — этот старик проходил там с фонарем, и можно считать установленным, что горожан кусали крысы. Посему, как это ни печально, наш долг — предпринять действия против этих ядовитых и свирепых грызунов.

И под тяжкие вздохи всех городских властей так и решено было поступить.

Цетру рад был незаметно унести ноги из суда; он сел на землю под финиковой пальмой за городской стеной и подумал:

«Они грубо обошлись со мной! А что я сделал плохого?»

И он долго просидел там, а над ним свешивались гроздья фиников, золотых, как солнечный свет. Наконец, когда благоухание цветов, вырвавшись на свободу с приближением вечера, напомнило ему, что скоро ночь опустится на равнину, как стая темных птиц, он, кряхтя, поднялся на ноги и как всегда поплелся на Вита Публика.

Едва он ступил на эту темную улицу, держа фонарь на уровне груди, как до его длинных, тонких ушей донесся громкий всплеск и крики о помощи. Вспомнив, как выговаривал ему капитан городской стражи, он остановился и вгляделся в темноту, но так близко был свет фонаря, что он ничего не увидел. Он слышал и новый всплеск, и будто кто-то пыхтел и отдувался, но так и не разобрал, откуда идут эти звуки, и в растерянности продолжал свой путь. Но за следующим поворотом черной, извилистой улицы он снова услышал отчаянные жалобные крики и снова остановился, ослепленный своим же фонарем. Где-то совсем близко избивали человека — из фиолетовой тьмы в сияние фонаря попадали смутные, быстро движущиеся тени. Крики усиливались, замирали, опять звучали громче, а ошеломленный Цетру все шел и шел своей дорогой. Но уже в самом конце улицы он снова остановился: до него долетали длинные, глубокие

вздохи, точно какой-то толстяк мучился от душевной тоски.

«Ах, чтоб тебе,— подумал старик,— уж на этот раз я узнаю, что там такое!» И он стал поворачиваться на месте, то поднимая, то опуская фонарь, направляя его свет то вправо, то влево. «Что-то здесь нынче дело нечисто,— бормотал он себе под нос,— больно уж громко пыхтит». Но сколько он ни вглядывался, хоть убей, ничего не мог разглядеть, только чем выше он поднимал фонарь, тем печальнее становились жирные, но горестные вздохи. И, отчаявшись, он наконец побрел дальше.

Наутро, когда он еще спал на своей соломе, к нему явился один из солдат городской стражи.

— Старик, тебя требуют в суд. Вставай, да захвати свой фонарь.

Цетру с трудом поднялся.

— Зачем я им еще понадобился, сударь?

— Хотят положить конец твоим проделкам.

Цетру поежился от страха и промолчал.

Войдя в здание суда, он сразу понял, что затевается серьезное дело: судьи сидели в мантиях, и высокая зала с резными панелями была битком набита адвокатами, знатными горожанами и простым народом.

Цетру увидел, что все глаза устремлены на него. От этого он испугался еще больше и не мог оторвать взгляда от трех судей в изумрудных мантиях.

— Вот и подсудимый,— сказал старший судья.— Заслушаем обвинение.

Щуплый адвокатик в сюртуке табачного цвета поднялся с места и стал читать:

— Поскольку августа семнадцатого дня, года со смерти Мессии тысяча пятисотого, некая Селестина, девица, проживающая в сем городе, упала в выгребную яму на Вита Публика, и в то время как она спокойно утопала, была замечена гражданином Пардониксом при свете фонаря, который держал в руке старик Цетру; и поскольку вышеназванный Пардоникс прыгнул в яму и спас ее, с большой опасностью для жизни и загубив свою одежду, и в настоящее время лежит больной лихорадкой; и поскольку старый Цетру был причиной этих несчастий с гражданином Пардониксом, ибо это его фонарь по-

зволил увидеть тонущую девицу; вышеназванный Цетру сим обвиняется в бродяжничестве без определенных занятий.

И поскольку в ту же ночь стражник Филипо, заметив при свете того же фонаря трех рослых разбойников, пробовал их задержать, а злодеи напали на него и чуть не убили, названный Цетру сим обвиняется в соучастии в этом нападении, ибо он, во-первых, показал преступников стражнику, а стражника преступникам в свете своего фонаря, а, во-вторых, показав их, остался стоять в стороне и не оказал помощи блюстителю закона.

И поскольку в ту же ночь богатый горожанин Пранцо, приготовив званый обед, стоял в дверях, поджидая гостей, и при свете фонаря того же Цетру увидел, как нищенка с детьми роется в мусорной куче, ища пропитания, и от сего лишился аппетита; и поскольку он, Пранцо, подал жалобу на то, что женщинам и детям по закону разрешается голодать, Цетру сим обвиняется в крамоле и анархии, ибо он умышленно нарушает покой добрых граждан, показывая им без всякого с их стороны потворства неприятные зрелища, а к тому же подвергает опасности законы, вызывая в людях желание их изменять.

Вот в чем он обвиняется, уважаемые судьи.

И с этими словами адвокатик опустился на свое место.

Тогда старший судья сказал:

— Цетру, ты слышал? Что ты можешь ответить?

Но Цетру только стучал зубами от страха.

— Тебе нечего сказать в свою защиту? — спросил судья. — Обвинения серьезные.

Тогда Цетру заговорил.

— Простите, ваша честь, — сказал он, — разве я волен в том, что видит мой фонарь?

И, произнеся эти слова, он на все дальнейшие вопросы молчал так упорно, точно это был не человек, а одно туловище без головы.

Судьи посовещались между собой, и старший из них обратился к Цетру:

— Если тебе нечего сказать в свою защиту, старик, и никто не замолвит за тебя слова, тогда нам остается лишь вынести приговор.

Но тут поднялся с места совсем еще молодой адвокат. — Достопочтенные судьи! — сказал он голосом нежным и звонким, как трели малиновки. — Бесполезно ждать ответа от этого старика, ибо ясно, что сам он ничто, а замешан в деле только его фонарь. Но подумайте, почтеннейшие судьи, можно ли требовать от фонаря, чтобы он занимался ремеслом, или избрал профессию, или вообще делал что-либо, кроме как светить по ночам на улицах, что, если хотите, можно назвать бродяжничеством? И далее, господа, по второму пункту обвинения: можно ли требовать, чтобы фонарь прыгал в выгребные ямы, спасая девиц? Или чтобы фонарь избивал разбойников? Или как бы то ни было становился на сторону закона или тех, кто нарушает закон? Думаю, господа, что требовать этого нельзя. А что до третьего обвинения — в подстрекательстве к анархии, — разрешите мне объяснить вам, в чем сила пламени этого фонаря. Состоит оно, достопочтенные судьи, из фитиля и масла, да еще из дивного тайного тепла, о рождении коего все мои слова бессильны вам рассказать. И когда это бледное пламя горит, мигая от каждого порыва ветра, человек обретает зрение. Этому старика обвиняют в том, что он и его фонарь, показывая не только хорошее, но и дурное, не приносят миру радости; но я спрашиваю, господа, есть ли что в мире дороже, чем эта способность видеть равно красоту и безобразие? Нужно ли мне говорить вам о том, как это пламя вытягивает свои щупальца и грациозно пляшет и мерцает во мраке, вызывая образы из небытия? Делает оно это доброжелательно, а отнюдь не злонамеренно; ведь если человек встретит на дороге двух ослов, одного упитанного, а другого тощего, несправедливо будет обвинить его в злом умысле за то, что не оба осла упитанные. В этом, почтеннейшие судьи, суть дела в части, касающейся богатого горожанина Пранцо, у которого то, что он увидел при свете фонаря, вызвало беспокойство в желудке, ибо фонарь только показал то, что есть, и хорошее и дурное, не больше и не меньше. И хотя Пранцо в самом деле расстроен, но расстроен он не потому, что фонарь по злобе своей показал искаженные картины, а просто потому, что при свете его Пранцо увидел в правильном соотношении то, чего не видел раньше. И конечно же, вы, почтеннейшие

судьи, будучи людьми справедливыми, не захотели бы, чтобы этот фонарь отвратил свои лучи от того, что бедно и уродливо, лишь потому, что есть и много предметов прекрасных, кои он тоже может осветить. Да и как бы он, будучи фонарем, мог это сделать, даже если бы и захотел? И я прошу вас заметить, почтеннейшие судьи, что, беспристрастно показывая соотношение между одним и другим, этот фонарь как бы вечно затуманивает и опечаливает прекрасное, потому что в человеческой душе глубоко заложено стремление к справедливости и гармонии. Поэтому, каким бы жестоким и пристрастным ни казался этот фонарь тем, кто, будучи сам чужд его стремлению, желает всю жизнь видеть лишь то, что приятно, чтобы, подобно Пранцо, не лишиться аппетита,—несовместимо со справедливостью было бы помещать этому фонарю, даже если бы это и было возможно, невольню омрачать праздничную сторону жизни. Думаю, почтенные господа, что скорее достоин осуждения привередливый желудок Пранцо. Старик сказал, что не волен в том, что видит его фонарь. Это правильно, но если вы, почтеннейшие судьи, сочтете, что этот уравновешенный, равнодушный фонарь все же заслуживает порицания за то, что одновременно и рядом показывает череп и прекрасное лицо, лопух и лилию, бабочку и жабу, тогда, достопочтенные судьи, накажите его, но не наказывайте этого старика, ибо сам он лишь клочок дыма — пух от одуванчика — ничто!

И молодой адвокат умолк.

Опять трое судей посовещались между собой; они совещались долго, а потом старший из них произнес:

— То, что сказал этот молодой адвокат, представляется нам правдой. Мы не можем наказать фонарь. Отпустите старика! Он свободен.

И Цетру вышел на солнце...

И случилось так, что принц Фелицитас, возвращаясь из путешествия, опять проезжал по Вита Публика на своем янтарном коне.

Ночь была темная, как вороново крыло, но далеко впереди, в конце улицы, горел огонек, точно красная звездочка, сбегавшая с неба. Подъехав ближе, принц увидел, что это фонарь, а рядом с фонарем спит какой-то старик.

— Что же это, друг? — сказал принц.—Почему ты не ходишь по улице с фонарем, как я повелел тебе?

Но Цетру не ответил и не пошевелился.

— Поднимите его! — сказал принц.

Слуги подняли голову старика и поднесли фонарь к его закрытым глазам. Таким худым было это темное лицо, что лучи фонаря не задерживались на нем, но, соскользнув в обе стороны, уходили во мрак. Глаза его не открывались. Он был мертв.

И принц, коснувшись его, сказал:

— Прощай, старик! А фонарь все горит. Подите приведите мне другого, и пусть ходит с ним всю ночь и каждую ночь!..

1909 г.

НЕСКОЛЬКО ТРЮИЗМОВ ПО ПОВОДУ ДРАМАТУРГИИ

Драматическое произведение нужно строить так, чтобы смысл его возвышался над ним наподобие шпилья. Во всяком отборе и расположении жизненного материала заключено нравоучение, и дело драматурга—так отобрать и расположить свой материал, чтобы это нравоучение было на ярком свету. Такое нравоучение излучают «Лир», «Гамлет», «Макбет». Но не таковы нравоучения в большей части современных пьес. В рядовой пьесе в наше время (как, вероятно, и во все времена) нравоучение — это победа (причем победа любой ценой) того, что сегодня считается добром, над тем, что сегодня считается злом.

Порочная привычка выводить эти фальшивые нравоучения насквозь пропитала современную драматургию; снизила ее мастерство, гуманность и значительность; заразила драматургов, актеров, публику, критиков; непомерное количество пьес превратила из картин в карикатуры. Драматургия, живущая под сенью фальшивых нравоучений, разучивается быть свободной и прекрасной, разучивается так основательно, что даже начинает этим гордиться.

Если говорить о нравоучении, то перед каждым серьезным драматургом открыты три пути. Первый из них такой: недвусмысленно предлагать публике то, чего ей хочется,— те взгляды и тот жизненный кодекс, которым она сама руководствуется и в который верит. Этот путь самый обычный, успешный и популярный. Он обеспечивает драматургу прочный и ненавязчивый авторитет.

Второй путь такой: недвусмысленно предлагать публике те взгляды и тот жизненный кодекс, которым руководствуется сам драматург, те теории, в которые он сам верит, причем если все это — прямая противоположность тому, чего хочется публике, преподносить их так, чтобы она проглотила их, как горький порошок в ложке варенья.

А есть и третий путь: предлагать публике не готовый кодекс, но явления жизни и характеры, отобранные и сгруппированные (но не искаженные) драматургом в соответствии с его взглядами, показывать их без страха и без предвзятости, предоставляя публике самой выводить какое ни на есть нравоучение, подсказанное природой. Этот третий метод требует известной объективности; он требует сочувствия, любви и любопытства к людям ради них самих; он требует способности заглядывать в будущее, а также терпеливо трудиться, не ожидая непосредственных практических результатов.

О Шекспире кто-то сказал, что он никогда никому не принес пользы и никогда не принесет. К сожалению, этого нельзя сказать о большей части наших современных драматургов в том смысле, в каком здесь употреблено слово «польза». В самом деле, польза, какую Шекспир принес человечеству, не столь непосредственна, можно, пожалуй, назвать ее вечной; она сродни той пользе, какую приносит человеку созерцание моря и неба. И объясняется это отчасти тем, что Шекспир, во всяком случае, в лучших своих пьесах, был свободен от привычки выводить фальшивые нравоучения. Когда драматург преподносит публике жизненные факты, искаженные нравоучениями, каких публика от него ожидает, он поступает так для того, чтобы, укрепив публику в ее предвзятых рассудках, принести ей, как он думает, непосредственную пользу; а когда драматург преподносит жизненные факты, искаженные его собственной передовой этикой, он поступает так потому, что воображает, будто принесет публике пользу, заменив ее устарелую этику своей собственной. В обоих случаях драматург надеется оказать публике услугу непосредственную и практическую.

Но времена меняются, меняются и этические нормы; а люди остаются, и добросовестно изобразить людей и то, что с ними происходит, так, чтобы они сами выводили

ли для нас нравоучения, вытекающие из их естественных поступков,—этим тоже, надо полагать, можно принести пользу обществу. Во всяком случае, это труднее, чем изображать людей и события такими, какими они должны или не должны быть. Однако это не значит, что сам драматург с его мировоззрением должен остаться вне пьесы, да это и невозможно. Как человек живет и думает, так он и пишет. Но верно и то, что хорошая драматургия, как и всякое другое искусство, требует страстной приверженности дисциплине, предельного самоуважения, стремления к максимальной верности и красоте изображения и еще способности смотреть в глаза правде. Только эти качества обеспечат драме объективность, создадут впечатление, что иначе быть не может.

Тех немногих драматургов, которые работают именно так, нередко именуют «пессимистами». Слово это применялось, между прочим, к Еврипиду, Шекспиру, Ибсену; его будут применять еще ко многим. Однако нет ничего более зыбкого, чем употребление слов «пессимист» и «оптимист», ибо выходит, что оптимист — это тот, кто не приемлет жизнь такой, какая она есть, и вынужден изображать ее такой, какой она должна бы быть; а пессимист — тот, кто не только приемлет жизнь такой, какая она есть, но и любит ее достаточно сильно для того, чтобы правдиво изображать ее. Конечно же, по-настоящему любит людей тот, кто приемлет их во всех видах,—не только добродетели их, но и пороки, не только победы, но и поражения; и видит по-настоящему тот, кто видит не только радость, но и горе, а пишет по-настоящему о человеческой жизни тот, кто ни на что не закрывает глаза. И возможно, кстати сказать, что он-то и приносит людям настоящую пользу.

В человеческом обществе есть только две беспристрастные фигуры—ученый и художник, и к беспристрастию должен стремиться драматург, если он хочет писать не только для сегодняшнего дня, но и для будущего.

Но раз в большинстве своем драматурги не таковы, а излечить их нет возможности, больше смысла, пожалуй, рассмотреть, в чем сказываются их достоинства и недостатки.

Сюжет! Хороший сюжет — это крепкое здание, медленно вырастающее из воздействия обстоятельств на ха-

рактеры, а характеров — на обстоятельства, в окружающей атмосфере идеи. Лучший сюжет — это человек; может быть, не всегда понятно, почему это так, ибо не всегда удастся полностью понять идею, внутри которой он родился; но все же ясно, что он хороший сюжет. Он органичен. Такой же должна быть хорошая пьеса. Хорошие сюжеты не создаются одним рассудком: они возникают от первородного греха, четкого замысла и инстинктивного умения отбирать то, что способствует его выявлению. С другой стороны, плохой сюжет — это просто ряд колеб, на каждый из которых посажено по персонажу — персонажам этим хотелось жить, но они безвременно погибли; они бодро пустились в путь, но наткнулись на заранее вбитые колья и один за другим испустили дух, а призраки их продолжают шагать по пьесе, что-то пища и тараторя. Вытесаны ли колья из фактов или из идей — это зависит от характера автора, который их вбивал, но воздействие их на злосчастных персонажей от того не меняется: созданные с тем, чтобы быть посаженными на кол, они сей страшной смертью и погибают. Когда от драматурга, как это нередко случается, требуют хорошего сюжета, это обычно означает: «Пусть в пьесе будет побольше событий, все равно каких, чтобы мне не было скучно и не нужно было принимать героев всерьез. Заставьте своих персонажей действовать, невзирая на время, последовательность, атмосферу и правдоподобие!»

Но подлинное драматическое действие — это поступки персонажей, как бы и неожиданные, на самом же деле вытекающие из предыдущих их поступков. Нельзя давать публике догадываться о том, что будет дальше; но следует дать ей почувствовать, что поступки персонажей соответствуют их характеру и вытекают из предшествующих, уже известных зрителю поступков, а также из характеров и уже известных поступков других персонажей пьесы. Пристегивая характер к сюжету, вместо того чтобы пристегивать сюжет к характерам, драматург совершает тягчайший грех.

Диалог! Хороший диалог — это опять-таки характер. И написан он должен быть так, чтобы зрителю все время было интересно. Хороший диалог редко встречается в пьесах по той простой причине, что писать его очень

трудно: драматург не только должен знать, что именно интересно зрителю, он еще должен так безошибочно чувствовать характер, чтобы страдать, когда его детища говорят не то, что им положено, негодовать, когда они произносят слова ради слов, морщиться, когда они позволяют себе «эффектные» реплики.

Писать хороший драматический диалог — это суровое искусство, здесь автор не дает себе ни малейшей поблажки, он стонет от каждой фразы, необходимой только для поворота действия, изымает все шутки и парадоксы, несовместимые с характером персонажа, полагаясь на то, что юмор и пафос придут в пьесу от смеха и слез самой жизни. Хороший диалог с начала до конца — ручная работа, как хорошее кружево: он прозрачный, тонкий, и каждая нитка в нем содействует гармоничности и силе рисунка, которому все должно быть подчинено.

Но хороший диалог — это еще и внутреннее действие. Отрывая диалог от внутреннего действия, то есть от развития событий, или уводя его в сторону событий, не имеющих значения для обрисовки характера, драматург сводит на нет всю свою работу: он может написать приятный разговор, но это не будет значить, что он написал пьесу. А насилая характеры в угоду сюжету или нравоведению, он поступается самым главным — верностью жизни, которая одна только и придает пьесе высокое качество ручной работы.

По существу, свобода драматурга ограничена замыслом. Он волен выбрать любой характер или группу характеров, волен, не насилая своей индивидуальности, увидеть их с любой точки зрения, объединить любой идеей. Но после того, как характеры выбраны, увиденны и объединены, он обязан обращаться с ними по-джентльменски, проявлять самое нежное внимание к их сущности. Заботьтесь о характерах, а действие и диалог приложатся! Подлинный драматург свободно и неограниченно проявляет свою индивидуальность в самом выборе темы, крупной или мелкой; но когда тема и характеры выбраны, он становится справедливым, мягким, сдержанным, он не утоляет свою жажду похвал за счет своих детищ и не использует их как марионетки для того, чтобы посмеяться над публикой. Поскольку он сам —

природа, породившая их, он направляет их по пути, сужденному им при зачатии. Лишь тогда они имеют шанс победить время, которое только того и ждет, как бы уничтожить все фальшивое, злободневное, модное — словом, все, что не зиждется на неизменных свойствах человеческой природы. Идеальный драматург окружает персонажей и события кольцом основной идеи, которую он стремится выразить; а загнав их в это кольцо, он предоставляет им жить самостоятельной жизнью.

Сюжет, действие, характеры, диалог! Но есть и еще один повод для трюизма. Аромат! Свойство неосязаемое, еще менее уловимое, чем запах цветка, совсем особенное и до крайности необходимое во всяком произведении искусства! Это то легкое, пряное дуновение, которое исходит от пьесы и составляет ее сущность так же, как кофеин составляет сущность кофе. Словом, это душа драматурга, присутствующая в пьесе в летучем состоянии, так что никто не может точно сказать, что она вот тут-то или там-то. Это отличительное свойство пьесы, накладывающее на нее печать неповторимости, — единственное, над чем драматург не может работать, ибо оно за пределами его сознания. У человека может быть много разных настроений, но душа у него одна, и эту свою душу он неуловимо, бессознательно вкладывает во все свое творчество. Она проявляется сильнее или слабее, в зависимости от подъема или спада его душевных сил, но измениться она не может, как не может каштан превратиться в дуб.

А пьесы и в самом деле очень похожи на деревья — они начинаются с тоненького ростка, неизбежно принимают ту или иную форму, согласно заключенным в них самим законам, набирают соки из земли и воздуха, в борьбе с силами природы, их окружающей. Постепенно достигают своего предельного роста и стоят, открытые всем ветрам, либо скрюченные и чахлые, либо радующие глаз своей стройностью. И каждый драматург производит на свет деревья особой породы: он душа своей священной рощи, куда нет доступа ни одному чужому дереву.

И еще один трюизм. Сейчас модно противопоставлять одну форму драмы другой: превозносить драму реали-

стическую в ущерб эпической, эпическую — для умаления фантастической, фантастическую — для изничтожения реалистической. Толку от этого мало. Смысл, красоту, правду и иронию жизни можно раскрыть во всех этих формах. Каким бы методом ни действовать, видение жизни и человека может быть одинаково острым и верным, и пьеса может получиться одинаково правдивой и вдохновляющей, давать людям радость и будить их мысль: весь вопрос в том, достаточно ли хорошо она сделана, добрался ли автор до сердцевины орешка. Неважно, где выросла фиалка — в России, в Парме или в Англии. В Пестуме, возле греческих храмов, цветут фиалки небывало красные и душистые, словно там, где они выросли, некогда прошла легкой поступью языческая богиня; но у проселочной дороги в Девоншире под апрельским солнцем мелкие, без запаха фиалки точно так же впивают весну. То же и драма: неважно, какова ее форма, нужно только, чтобы она была «настоящая», чтобы она сумела уловить драгоценную влагу, правду и радость, и заключить их в чашу, к которой мы можем припасть и пить еще и еще.

Однако да будет мне позволено, исходя из этого последнего трюизма, поразмышлять о том, в какие формы вероятнее всего выльется наша возрождающаяся драматургия. Ибо драматургия наша возрождается, и ничто не остановит ее роста. Возрождается она не потому, что пьесы пишет тот или иной человек, но потому, что она прониклась новым духом. Отчасти здесь, несомненно, сказалось не сразу проявившееся влияние драматургии русской, французской и скандинавской, но главное — та новая гуманная струя, которая пробивается в сознании нашей эпохи.

Так по каким же основным руслам потечет в ближайшие годы возрождающаяся английская драматургия? Думается, что их будет два, и далеко друг от друга стоящих.

Одно — это широкая, прямая река реализма, по которой поплывет драма, четко оформленная, вдохновленная высокими замыслами, но верная кишащей вокруг нас многообразной жизни, та драма, которую кое-кто склонен называть фотографической, забывая под влиянием кажущейся ее простоты старую поговорку «*Ars est*

celare artem»¹ и упуская из виду, что жизненность и интерес реалистической драмы — так же как и самой романтической или возвышенно-поэтической пьесы — зависит от силы воображения, четкой композиции, отбора нужного и устранения лишнего — этих главных законов мастерства. Реалистическую технику нужно еще изучать и изучать. Цель драматурга, выбирающего ее, явно в том, чтобы создать на сцене иллюзию реальной жизни, заставить зрителя вместе с ним пережить какой-то его опыт; заставить его думать, говорить и двигаться вместе с людьми, которые думают, говорят и двигаются перед ним на подмостках. Одна неверная фраза, одно фальшивое или неуместное слово нарушит эту иллюзию и замутит поверхность, как камень, брошенный в спокойный пруд, разрушает отраженный в нем пейзаж. Но это лишь одна из причин, почему реалистическая техника самая трудная. Довольно легко воспроизвести разговор и жесты людей в какой-то комнате; но невероятно трудно создать естественный разговор и жесты этих людей, когда каждая естественная фраза и каждый естественный жест должны не только способствовать совершенству пьесы в целом, но и раскрывать фразу за фразой и жест за жестом существенные черты характера. Иными словами, реалистическое искусство, если оно живое, вернее, для того, чтобы быть живым, должно управлять целой вереницей тончайших символов. Его назначение — улавливать и собирать в единый фокус мысли и чувства людей, относящиеся к разным областям жизни. Оно как фонарь, который время от времени поднимает невидимая рука, чтобы в его ровном свете показать ясно и в правильном соотношении куски жизни, очищенные от тумана предрассудков и пристрастий.

А второе главное русло будет, мне думается, прелестной извилистой речкой, которая понесет на себе новые ладьи поэзии, может быть, и написанные в форме прозы, но прозы, воплощающей благодаря своей фантастичности и символике самые сокровенные мечты, тоску, колебания и таинственные движения человеческого духа; поэтическая драма в прозе, волнующая нас чистотой и разнообразием формы и выдумки и раскрывающая глу-

¹ Искусство в том, чтобы искусства не было видно (лат.).

бины человеческой души и силы природы, может быть, не так, как это делали античные трагедии, и не обязательно в эпическом плане, но всегда в стремлении к красоте, в духе исканий и открытий.

Таковы, мне кажется, будут две основные формы нашей драматургии в ближайшие десятилетия. И между ними не должно быть скороспелых союзов: они слишком далеки друг от друга, это было бы насильственное скрещивание. Ибо если и встречается кое-где в драматургии кажущееся слияние лирики и реализма, то, разобравшись, мы убеждаемся, что встречается оно только в таких пьесах, где — как в «Баловне Западного мира» Синга или в «Нэн» мистера Мэйсфилда — сюжет или обстановка так чужды нам и незнакомы, что мы не можем судить, до конца ли выдержана иллюзия, да нам это уже и неважно. Поэзия, которая может и должна присутствовать в реалистической драматургии, это только поэзия совершенной соразмерности, ритма, формы, — короче, та поэзия, которая присуща всему живому. Именно соединение несоединимого убило не одну сотню пьес. Не нужно нам больше ублюдочной драматургии; не нужны попытки рядить простоту и достоинство повседневной жизни в павлиньи перья фальшивой поэтичности; не нужны набитые соломой чучела героев и героинь; не нужны ни кролики и золотые рыбки из кармана фокусника, ни слишком яркий свет рамп. Пусть озаряет наши пьесы свет звездный, лунный и солнечный — и свет нашего самоуважения.

1909 г.

ВОЛЯ К МИРУ

Я шел по району Лондона, известному под названием Ноттинг-Хилл¹, высматривая признаки рая на земле, как вдруг заметил на одном рекламном плакате слова: «Почему Англии предстоит война с Германией?».

Я стоял, тупо глядя на эти слова, в обществе подвыпившей женщины, зверского вида мужчины, чахоточного мальчика и полумертвой от голода лошади, запряженной в телегу. Всех их, кроме лошади, скоро сменили щуплый чернорабочий с очень печальным лицом и болезненного вида женщина в рваной шали. Когда они тоже прошли дальше, рядом со мной остановились перед плакатом три девушки, возвращавшиеся с работы,— их смех напоминал потрескивание сухих веток,— и мужчина, благоухающий виски, с тем особым наглым блеском в глазах, который угасает столь же внезапно, как и вспыхивает. Эти тоже простояли возле меня недолго, а на смену им перед плакатом появились двое молодых оборванцев с серыми лицами и с окурками, зажатыми между бескровных губ. Когда их шаги и непечатная ругань замерли вдали, я остался один с плакатом и лошадью. У лошади все ребра выпирали наружу, и, судя по глубоким впадинам над глазами, затянутыми синеватой пленкой, она доработалась за свою жизнь до полного изнеможения. Чтобы немного отдохнуть, она приподня-

¹ В то время — трущобы.

ла одну переднюю ногу — слишком облезлую у колена, слишком мохнатую у копыта. Прибежали две девочки и, держась за руки, расплющили носы о стекло витрины, за которым висел плакат. Одна из них все переступала с ноги на ногу, точно ей жали башмаки, у другой были на ногах какие-то опорки.

И я подумал: «В сотнях городов по всей стране такие вот люди стоят перед этим плакатом или проходят мимо него. Одна треть нашего населения находится ниже черты мало-мальски сносного существования, еще одна треть удерживается чуть повыше этой черты ценою неустанных тяжелых усилий. Мы самая богатая страна в мире, так что даже в хорошо организованной Германии положение, очевидно, не многим лучше. Если верить этому плакату, между Англией и Германией будет война. И этот плакат не шутка, а показатель определенного настроения. К тому же, размышляя я, поскольку мы обязаны верить в честность каждого человека, пока не будет доказана его нечестность, настроение это искренне и основано на подлинном страхе — более того, его, очевидно, разделяют многие, как у нас, так и в Германии. Они ожидают войны между этими странами, когда и в той и в другой две трети населения едва сводят концы с концами; войны, в которой будут без пользы растратены сотни миллионов фунтов и возможные заработки сотен тысяч людей; войны, которая в полгода выкинет на помойку двадцать лет общественного прогресса, войны, в которой, скорее всего, не будет ни тени благородства, никаких высоких девизов, никаких вдохновляющих целей,— просто грязная схватка между одним деловым миром и другим, ради так называемых коммерческих выгод; войны, которая может превзойти все прежние войны по своей циничной жестокости и ребячливой недалёковидности. А плакат кричит, что такая война неизбежна!

Где, подумал я, где только живут люди, которые думают и говорят такие вещи? Где их сердце и ум, зрение и нюх? Неужели они не видят миллионы призраков, обитающих среди них? Или они надеются откормить их войной? Рассчитывают с помощью войны снизить цены

на хлеб и уголь, распространить просвещение, содействовать развитию наук и искусств? Поможет им война сохранить наиболее сильных и здоровых мужчин для совершенствования человеческой породы? Хоть как-то ускорить медленный процесс очеловечивания цивилизации, которая все еще производит миллионы подобных тем, кто стоял рядом со мной перед этим плакатом? Нет, подумал я, они, конечно, ответят так: «Война — это зло, но она необходима; ведь человечество разделено на части, несхожие между собой и с самого своего рождения вовлеченные в борьбу. Единственный залог благополучия всего человечества — это ревностная забота каждой страны о себе. Мечтать о мире ни к чему, готовиться к нему бесполезно; люди всегда убивали друг друга ради собственной выгоды и всегда будут убивать; если бы они не убивали других, то сами не могли бы выжить. Так уж устроена жизнь — на всех не хватает. Следовательно, мы знаем, что войны не избежать. Мы видим, что она приближается. Мы не можем оторвать от нее глаз, не можем уйти от нее. Мы должны принести себя в жертву этому неотвратимому кроважидному чудовищу».

Ну знаете, подумал я, если вам так хочется приносить себя в жертву, взгляните на эту лошадь! Взгляните на людей, что стояли перед этим плакатом! Вот кому требуется все самопожертвование, на какое вы способны! И тут я сам посмотрел на лошадь. Мутные глаза, опущенные углы губ — никогда не видел я существа, столь скептически настроенного. — Что вы такое, — казалось, говорила она, — как не стая бесхвостых хищных зверей?»

Но внезапно мой умственный взор устремился вдаль, и я уже не видел плаката — передо мной, как в видении, проплыли все великие жизни, прожитые людьми, все высокие мысли, ими рожденные, вся их удивительная изобретательность, и упорство, и сила воли; и как им всегда в конце концов удавалось добиться того, к чему они стремились всеми силами души. А фоном в этом видении были несказанные, неиспользованные богатства всех полей, лесов и вод, что лежат под солнцем. И я подумал: «То, что говорит этот плакат, верно только для тех, кто хочет, чтобы это было верно. Там, где есть воля к миру, там

найдут и способ его сохранить¹. Война между такими двумя странами, двумя хранителями цивилизации, вовсе не неизбежна. Утверждать обратное — значит кощунствовать, клеветать на человеческую природу, не верить в силу Земли».

1909 г.

¹ Примечание. Я помню статью в журнале, распространению которого должен был содействовать этот плакат; в ней доказывалось, что война между Англией и Германией неизбежна ввиду их торгового соперничества. Я тогда же подумал и думаю до сих пор, что выдвигать такие доводы кощунственно. Сколько бы сейчас ни кричали о необходимости торговой войны, мы не могли вступить в войну с Германией только по одной этой причине. В войне, которая — увы! — разразилась, у нас есть лучшие, более благородные цели. И все же я признаюсь, что не сумел правильно оценить настроения правящих классов Германии. Мне всегда казалось, что быть войне или не быть — это зависит от исхода гонок между манией вооружения и ростом интернационализма по мере демократизации общества. Я надеялся, что последний одержит победу, если люди направят свою волю на сохранение мира и если нам дадут еще несколько лет отсрочки. Я ошибся. Дж. Г. 1916 г.

О ЦЕНЗУРЕ ¹

Поскольку в этой стране свободных установлений не раз и не два было доказано, что подавляющее большинство наших соотечественников считают единственную форму цензуры, ныне у нас существующую, а именно театральную цензуру, надежным бастионом, ограждающим их покой и чувствительность от духовных исканий и игры ума людей, более смелых и не в меру деятельных, настало время всерьез подумать о том, не распространить ли правило, столь приятное для большинства, на все наши установления.

Никто не станет отрицать, что театральная цензура работает без волокиты и трений, гладко и быстро, как ни одно общественное учреждение. Безупречную эту работу не тормозит ни беспокойная гласность, ни скучные проволочки, каких требует апелляция. Ей не мешает ни закон, ни тягучая процедура народных выборов. Встречая полное одобрение подавляющего большинства, а протест лишь со стороны тех, кто от нее страдает, да еще со стороны ничтожной горстки людей, которые, тупо отстаивая свободу личности, осуждают сосредоточение неограниченной власти в руках одного человека, ответ-

¹ Эта статья — вклад Голсуорси в кампанию за отмену закона 1737 года о театральной цензуре, начатую в 1907 году группой драматургов: Грэнвиль-Баркером, Барри, Пинеро и др. В 1908 году в парламент был внесен законопроект, была создана комиссия из представителей обеих палат, на заседании которой Голсуорси выступал как свидетель. Комиссия представила доклад, но тем дело и кончилось.

ственного только перед собственной совестью, цензура добивается поразительных, триумфальных успехов.

Так почему же в демократической стране такая ценная защита воли, интересов и удовольствия большинства недоступна другим сферам общественной деятельности? Отсутствие всяких иных видов цензуры привело противников цензуры театральной к выводу, что это устаревший пережиток, механически перенесенный в эпоху, которая его давно переросла. Известны случаи, когда они заявляли, будто она еще держится только потому, что драматурги, чьей репутации и заработку она угрожает, всегда были немногочисленны и плохо организованы, иными словами — благодаря беззащитности и слабости наиболее заинтересованной стороны. Все мы должны решительно осудить такой поклеп на наше законодательство. Можно ли хоть на минуту предположить, что у государства, которое самому ничтожному, самому беспомощному и бедному из своих граждан обеспечивает суд с присяжными, которое самому страшному преступнику предоставляет право апелляции, хватило цинизма отнять у группы вполне порядочных людей простейшие права гражданства только потому, что число этих людей невелико, интересы разрознены, а протесты негромки? Нет, такое предположение просто нелепо! В нашей стране немыслима политическая оплошность, по которой целая группа граждан оказывается лишенной своих естественных прав, а плоды их труда поставлены под контроль человека, не ответственного перед законом. Да ведь это значило бы, что в нашем королевстве смеются над справедливостью! Поистине это было бы и цинично и неразумно! Мы ни в коем случае не должны признавать, что здание наших гражданских прав не зиждется на справедливости. Мы просто обязаны заключить, что и это деспотическое учреждение основано на справедливом и тщательно обдуманном принципе; ведь иначе его не потерпели бы у нас ни минутой дольше! Бум! Трах!

Итак, если театральная цензура справедлива, благотворна и основана на тщательно обдуманном принципе, мы вправе спросить, какую достаточно вескую и логичную причину можно привести для отсутствия цензуры в других областях национальной жизни. Если цензура драмы — в интересах народа или, во всяком случае,

данный цензор в данный момент так считает, тогда цензура искусства, литературы, религии, науки и политики — тоже в интересах народа, разве что удастся доказать, что между драмой и этими другими видами общественной деятельности есть какое-то существенное различие. Попробуем разобраться, есть такое различие или нет.

Неоспорим тот факт, что ежегодно в большом количестве выходят книги, подвергающие ум и чувства рядового читателя тяжким испытаниям; книги, в которых содержатся мысли, совершенно непосильные для нормальных мыслительных способностей; книги, в которых изложены взгляды на нравственность, расходящиеся с общепринятыми, и обсуждаются вопросы, не подходящие для молодых девиц; словом, книги, которые не доставляют широкой публике ни малейшего удовольствия, и, наоборот, причиняют ей непритворные страдания, оскорбляя либо ее чувства, либо ее вкус.

Правда, от таких книг (как, впрочем, и от пьес) публику охраняет бдительная и придирчивая пресса; охраняют ее также коммерческие соображения библиотек: они не станут держать у себя товар, который может прийтись не по нраву их клиентам, — точно так же, как от подобных пьес публику ограждает здравый смысл антрепренеров; и, наконец, ее охраняют полиция и закон страны. Но, несмотря на все эти охранительные меры, рядовому гражданину нередко случается купить какую-нибудь из этих смущающих и сомнительных книг. Имеет ли он право, когда обнаружит истинный ее характер, зайти к книгопродавцу и получить обратно свои деньги? Нет, не имеет. И поэтому он подвергается опасности, которая не грозит ему в театре, состоящем под защитой благоразумной цензуры. Уже по одной этой причине, насколько же лучше было бы, если бы некая отеческая рука (иные, вероятно, скажут — рука прабабушки, но нельзя смешивать зубоскальство с серьезными доводами) изымала эти книги до выхода их в свет и тем самым избавляла нас от опасности покупать, а может быть, даже и читать нежелательную или неприятную литературу!

Однако кое-кто выдвигает благовидное объяснение тому, что книги лишены цензуры, милостиво дарованной

театру. В театре, видите ли, человек смотрит пьесу на людях, и его чувства и вкус могут быть оскорблены, когда он сидит рядом с юношами или с женщинами любого возраста; может даже случиться, что он пришел в театр с женой или с молоденькой дочерью. С другой стороны, книгу человек читает в одиночестве. Все это так, и тем не менее спорщик, выдвигающий этот довод, хватается за обоюдоострый меч. Именно потому, что книгу не воспринимает одновременно большая и смешанная аудитория, литература не подвластна сдерживающему началу, которое служит самой верной гарантией против безнравственности в драматургии. Ни один антрепренер-практик, зарабатывающий себе на жизнь, не рискнет без разрешения цензора показать смешанной публике пьесу, которая может вызвать бунт зрителей. В самом деле, давно замечено, что антрепренеры, за редкими исключениями, опасаются той ответственности, какая легла бы на их плечи с отменой цензуры. Страх перед смешанной аудиторией всегда держит их в узде. Издателю, предлагающему свой товар всякий раз одному человеку, такой страх не знаком. И по этой-то причине, из-за смешанной публики, на которую постоянно и ошибочно ссылаются те, кто неясно представляет себе суть дела, литературная цензура более необходима, чем театральная.

Далее, если бы была у нас литературная цензура, то какие бы сомнительные книги она ни пропускала, совесть читателя всегда была бы чиста. Ведь то положение, что первым следствием цензуры является безмятежно спокойная общественная совесть, неоспоримо доказано театром: на сцене из года в год ставят немало сомнительных пьес, нисколько не нарушая душевного покоя публики, убежденной в том, что сие благодетельное, хотя и деспотическое установление охраняет ее от всякого зла. Ученые мужи, которые, к вящему смущению толпы, ратуют за свободу литературы от этого гнета, придерживаются старомодного мнения, будто нарыву следует помогать прорваться наружу, вместо того, чтобы тихо и пристойно загонять его внутрь и предоставлять ему там гноиться.

Легкомысленные люди выдвигают и еще один довод против введения литературной цензуры—что на это, мол,

потребуется слишком много цензоров. Довод недостойный и даже просто ошибочный. Назначая человека на пост театрального цензора, никогда не считали нужным подвергать его какой-то специальной проверке. Такой экзамен не только не нужен, он был бы даже опасен, поскольку главная задача цензуры — охранять самые распространенные предрассудки и образ мыслей. А значит, можно было бы хоть завтра без всякого труда набрать нужное количество литературных цензоров (скажем, двадцать или тридцать); ведь от них требовалось бы только одно: чтобы они в полной тайне и без всякого контроля руководствовались собственным вкусом. Короче говоря, эта наша свободная литература потакает передовым взглядам и всяким размышлениям; а те, кто полагает, что гражданская свобода должна быть ограничена только законом, и ратует за свободную литературу, — те ратуют за систему, в корне враждебную воле большинства, вовсе не жаждущего таких глупостей, как размышления и передовые взгляды. По существу, такие люди убеждены в том, что у народа в целом, не охраняемого деспотическими суждениями отдельных людей, достанет силы и ума разобраться в том, что для него вредно, а что полезно. Народ полагается на прессу и на закон, которые, будучи рождены общественной совестью, действуют открыто и доступны всем. До какой степени все это глупо и неправильно, мы видим на примере театральной цензуры.

Убедившись, что нет ни малейших причин освободить от цензуры книги, обратимся теперь к изобразительным искусствам. Каждая картина, выставленная в галерее, каждая статуя, водруженная на пьедестал, открыта взорам смешанной публики. Почему же у нас нет цензуры, которая ограждала бы нас от опасности увидеть произведение, способное вызвать краску стыда на щеках молодой девицы? Не потому же, в самом деле, что владельцы галерей больше достойны доверия, чем театральные антрепренеры! Сами антрепренеры, которые поддерживают театральную цензуру, первые обиделись бы на такую гнусную инсинуацию. Правда, общества художников и владельцы галерей преследуются по закону в тех случаях, когда они нарушают общепринятые нормы приличий; но то же можно сказать и о

владельцах театров и антрепренерах, а между тем для этих последних сочли целесообразным прибавить еще и цензуру. И тут уместно будет еще раз отметить, насколько же проще и удобнее, что общепринятые нормы приличий устанавливаются одним человеком, ни перед кем не ответственным, а не таким громоздким (хоть и более гласным) методом, как общественный протест.

Так почему же, в свете доказанной необходимости и эффективности театральной цензуры, цензура над искусством все же у нас отсутствует? Чем больше вдумываешься в этот вопрос, тем яснее становится, что *причин для этого нет!* В любой момент нам может попасться на глаза картина или статуя, столь же трагическая, душераздирающая и сомнительная по теме, как запрещенная цензурой пьеса «Ченчи», написанная неким Шелли; столь же опасная для всяких предрассудков и свидетельствующая о новом образе мыслей, как запрещенные цензурой «Призраки» некоего Ибсена. Давайте же протестовать против этой нависшей над нами опасности и требовать, чтобы немедленно был назначен один человек, выбранный не за какое-то там утонченное понимание искусства, а просто наделенный единоличной властью запрещать показывать в галереях и прочих общественных местах такие произведения, какие, по его единоличному и бесконтрольному мнению, не подходят для рядового ума и чувствительности. Будем требовать этого в интересах молодой девицы, а также тех общественных групп, которые едва ли вообще интересуются искусством и для которых задачи, размышления и достижения великих художников, работающих не только для нашего времени, но и для будущего, естественно, представляют собой темный лес. Потребуем еще, чтобы этот чиновник был уполномочен издавать приказы об уничтожении тех произведений искусства, какие он сочтет неподходящими для рядового ума и чувствительности, чтобы создатели их не могли на них нажиться, продав их в частные руки,— ведь драматурги лишены возможности наживаться на пьесах, запрещенных цензурой, их уже нельзя нигде поставить. Будем требовать этого со всей возможной настойчивостью — ведь несправедливо отдавать живописцу предпочтение перед драматургом!

Оба они художники — так пусть же их меряют одной меркой!

А теперь рассмотрим положение с наукой. Никто не решится утверждать, что научные исследования, облеченные в форму докладов или статей, всегда отвечают вкусам и способностям широкой публики. Вот, скажем, возникла широко известная доктрина эволюции, учение Чарлза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса, которые, собрав воедино некоторые факты, до тех пор известные лишь приблизительно, выступили с невероятными и кощунственными сообщениями, тем посеяв смятение и разлад во всех нормальных умах своего времени. В этом катаклизме пострадала не только тогдашняя официальная религия: открытие, что человек произошел от обезьяны, горячо поддержанное Томасом Генри Гексли, явилось невыносимым оскорблением нашего вкуса и чувств. Всем казалось, а многим кажется и по сей день, что защита этой теории грубо нарушает все нормы приличий и таит в себе большую опасность. Так подумайте, сколько страданий можно было бы предотвратить, каких серьезных последствий и подрыва наивной веры избежать, если бы в те дни существовал благоразумный цензор над научной мыслью, который, руководствуясь личной своей оценкой воли и настроения большинства, наложил бы запрет на доктрину эволюции!

Бесчисленные исследования ученых в таких вопросах, как возраст нашего мира, время от времени сводились воедино и бестактно преподносились публике, поражая и шокируя ее, когда оказывалось, что факты, которые она привыкла считать непреложными, отнюдь не соответствуют действительности. Так же и в области медицины: трудно привести хотя бы одно крупное открытие (например, профилактическая сила прививок оспы), обнародование которого не оскорбило бы предрассудков и не нарушило равновесия рядовых умов. Если бы эти открытия были в свое время благоразумно запрещены, либо подстрижены под уровень, подходящий, по мнению цензора, для тогдашнего восприятия, всех этих забот и волнений вполне можно было бы избежать.

Мне, несомненно, возразят (ибо никто не восстает против цензуры так рьяно, как те, кому она угрожает), что нет смысла сравнивать столь важное научное откры-

тие, как доктрина эволюции, с какой-то там пьесой. К счастью, ответить на это невеликодушное возражение легко. Если бы наука подвергалась цензуре, подобной той, какая в течение двухсот лет существует в театре, то научные открытия были бы не более значительными и волнующими, чем те, какие мы привыкли время от времени находить в нашей аккуратно подстриженной и укрошенной драматургии. Ибо мало того, что наиболее опасные и захватывающие научные истины были бы заботливо удушены еще при рождении,—сами ученые, зная, что всякий результат их исследований, не отвечающий общепринятым понятиям, будет запрещен, давно перестали бы тратить время на поиски знаний, неприемлемых для рядового ума, а следовательно, заведомо обреченных, и занялись бы работой, более соответствующей вкусам публики, например, стали бы заново открывать истины, уже известные и обнародованные.

С желательностью научной цензуры неразрывно связана и необходимость в цензуре религиозной. Ибо в этой области, отнюдь не наименее важной в жизни нации, мы из недели в неделю, из года в год наблюдаем картину, которую, в свете безопасности, обеспечиваемой театральной цензурой, нельзя не расценить как в высшей степени тревожную. Тысячи людей получают право каждое воскресенье излагать с церковных кафедр свои личные взгляды, независимо от установившихся убеждений своей многочисленной паствы. Правда, огромное большинство проповедей (как и огромное большинство пьес) находится и всегда будет находиться в полной гармонии с чувствами рядового гражданина; ибо, как правило, ни священник, ни драматург не наделен даром духовного дерзания, который мог бы сделать его ненадежным наставником; и к тому же соображения здравого смысла обычно удерживают их в определенных рамках. Но нельзя отрицать и того, что время от времени появляются люди вроде Джона Уэсли или «Генерала Бута»¹ —

¹ Джон Уэсли (1703—1791) — английский богослов и священник, основатель собственной секты; лишенный права служить в церквях, он пятьдесят лет странствовал по Европе, собирая своими проповедями огромные толпы народа. «Генерал Бут» — Уильям Бут (1829—1912), английский священник, основатель «Армии спасения».

люди такого неумного нрава, что они способны злоупотребить своей свободой и провозгласить доктрину или обряд, расходящиеся с религиозной традицией той или иной эпохи. И не следует забывать, что проповеди, равно как и пьесы, обращены к смешанной аудитории — к целым семьям, так что одно не прошедшее цензуру заявление с кафедры может за десять минут свести на нет религиозные уроки целой жизни, причем родители не вправе, как в театре, выразить свой протест, а должны сидеть молча и с болью душевной наблюдать, как их дети, иные даже в нежном возрасте, жадно впивают слова, идущие вразрез с тем, что сами они с таким трудом им внушали.

Если бы назначить цензоров (здесь, как и в литературе, одного, несомненно, не хватит, их потребуется примерно сто восемьдесят, но набрать их, по уже указанным причинам, будет легко), которые не отличались бы религиозным складом ума и, будучи свободны от скучных соображений ответственности, могли бы действовать быстро и издать приказ — давать им на проверку все проповеди и все публичные выступления на религиозные темы до того, как они будут произнесены, поручив им по прочтении вымарывать все куски, по их личному мнению не подходящие в данное время для ушей публики, — мы далеко продвинулись бы по пути сохранения status quo, а значит, и по пути сохранения в неприкосновенности верований и этических норм среди не столь одухотворенных широких масс. Если же все останется, как сейчас, у нации нет решительно никаких гарантий против религиозного прогресса.

Итак, мы доказали, что литературе, искусству, науке и религии цензура нужна так же, если не больше, чем театру. Теперь мы должны привлечь внимание к самой насущной потребности — к необходимости цензуры политической.

Поскольку цензура основана на справедливости, поскольку доказано, что она служит публике и успешно несет свою одинокую вахту, охраняя нашу сцену, ее логически необходимо распространить на все сходные случаи; мы не можем, не смеем сделать исключения для политики. Ведь как раз в этой высшей сфере общественной жизни власть и свобода передовых умов особенно

опасны. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть деятельность палаты общин. Шестьсот семьдесят человек, выбранных из числа сорокачетырехмиллионного населения, каковы бы ни были их личные недостатки, безусловно, граждане *выше среднего* предприимчивые, находчивые и решительные. Их избирают на срок до пяти лет. Многие из них честолюбивы; иные не признают компромиссов; немало есть и таких, которые страстно желают что-то сделать для своей родины, носятся с планами улучшения национальных и социальных условий, к каковым планам широкие массы, поглощенные повседневными житейскими заботами, не могут питать особенного сочувствия. И все же, как мы видим, этим людям разрешено произносить перед смешанной аудиторией, с оглядкой только на закон и на здравый смысл, какие угодно политические речи, чреватые самыми серьезными последствиями и способные в любую минуту развязать революцию или ввергнуть Англию в войну; речи, нередко вызывающие недоверие, отвращение и ужас, или кровно оскорбляющие огромное большинство англичан в их самых священных чувствах касательно семьи и собственности! И мы подвергаемся такому страшному риску, когда нас мог бы спасти один-единственный цензор или, самое большее, десяток цензоров, облеченных несложными, но неограниченными полномочиями — сокращать или целиком запрещать те политические речи, какие, по их личному суждению, могут обидеть рядового человека или смутить его душевный покой. Правда, широкие массы имеют защиту от неразумных или крамольных политиков в лице закона и средство для борьбы с ними в виде так называемой демократической процедуры выборов; но, как мы видели, театральная публика тоже пользуется защитой закона и имеет в руках такое средство, как бойкот, однако же для нее эта защита и это средство не считаются достаточными. Что же тогда сказать о политике, где опасность, сопряженная с зажигательными или подрывными речами, во сто крат серьезнее, а средство действует во сто крат медленнее?

Наши законодатели возвели цензуру в первый принцип справедливости, на которой основаны гражданские права драматургов. Тогда пусть их девизом станет «Цензура для всех!», пусть наша страна будет избавлена от

гнета и опасности свободных установлений! Пусть законодатели не только введут незамедлительно цензуру литературы, искусства, науки и религии, но и самих себя поставят в те условия, какими они преспокойно сковали свободу драматургов. Не может быть, чтобы они сочли совместимым со своим уважением к справедливости, со своей честью и, наконец, со своим чувством юмора, уклоняться от такой же опеки, какую они учредили над другими. Всем знакома старая истина, что хороший офицер никогда не даст своим солдатам приказа, какой он не согласился бы выполнить сам. И у нас нет оснований сомневаться в том, что наши законодатели, поставив драматурга в то положение, в каком он сейчас находится, теперь, когда им разъяснили, в чем их долг, без малейших колебаний сойдут с пьедестала и станут с ним рядом.

Но если они все же станут противиться и скажут так: «Мы всегда готовы подчиниться закону и воле народа, но нельзя требовать, чтобы мы поставили нашу профессию, наш долг и нашу честь в зависимость от безответственной власти самодержавного тирана, сколь бы он ни сочувствовал большинству!» — тогда мы их спросим: «А слышали ли вы, господа, великое изречение: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»? Ибо можно с уверенностью сказать, что драматурги, которых наши законодатели отдали во власть деспоту, не меньше, чем сами законодатели, гордятся своей профессией, сознают свой долг и дорожат своей честью.

1909 г.

СОЛОМИНКА НА ВЕТРУ

Некий писатель, вернувшись однажды с дневной репетиции своей пьесы, уселся в ресторане гостиницы, в которой остановился, приехав в Лондон. «Нет,— думал он,— не понравится моя пьеса публике; она мрачная, почти пугающая. Только сегодня я прочел в утренней газете такие слова: «Ни один художник не может позволить себе роскошь пренебрегать мнением публики, ибо, независимо от того, признает он это или нет, назначение художника — давать публике то, чего ей хочется». Выходит, я не только позволил себе лишнюю роскошь, но и не оправдал своего назначения в жизни».

Ресторан был переполнен: подошло время чая. И писатель, оглядевшись по сторонам, подумал: «Вот это и есть публика — та публика, которой моя пьеса не понравится!» Несколько минут он, как замороженный, смотрел на окружавших его людей. Но вот он заметил официанта, который стоял между двумя столиками, глубоко задумавшись. Маска профессиональной вежливости съехала у него набок, и весь его облик представлял разительный контраст с обликом тех, у кого он только что принимал заказы; он был, как птица, застигнутая в своем гнезде, еще не заметившая, что на нее устремлены глаза человека. И писатель подумал: «Но если публика — эти люди за столиками, что же тогда официант? Может быть, я ошибся, и не они, а он настоящая публика?» И, проверяя свою мысль, он стал перебирать в уме всех, кого видел за последнее время. Он вспомнил юбилейный банкет в одной известной школе, на котором

присутствовал накануне вечером. «Нет,— размышлял он,— я не вижу особенного сходства между теми, кто был на банкете, и этими, что сидят здесь, а уж между ними и официантом и подавно. Может быть, они-то и есть настоящая публика — они, а не официант, и не те, что сидят в этом зале?» Но не успел он это подумать, как ему вспомнилась группа рабочих, которых он наблюдал два дня тому назад. «Опять та же история,— подумал он,— что-то я не припоминаю ни малейшего сходства между этими рабочими и участниками банкета, и, уж, конечно, они не похожи ни на кого из сидящих здесь. А что, если настоящая публика — это рабочие, а не участники банкета, и не официант, и не те, что сидят здесь?» Тут мысли его снова пустились странствовать и на этот раз остановились на кружке его ближайших друзей. Друзья эти показались ему совсем не похожи на те четыре публики, которые он успел обнаружить. «Да,— решил он,— как подумаешь, мои друзья—художники, писатели, критики и прочая братия — не имеют как будто ничего общего со всеми этими людьми. Так, может быть, настоящая моя публика — это именно они, мои приятели?» Сообразив, что это была бы уже пятая настоящая публика, он немного растерялся. Но потом стал думать дальше: «Что было, то было, прошедшего не вернешь, эта моя пьеса публике не понравится; но ведь есть еще будущее! Я не хочу делать то, чего художник не может себе позволить. Я всей душой стремлюсь оправдать свое назначение в жизни; а поскольку назначение мое — давать публике то, чего ей хочется, мне, право же, очень нужно знать, что такое публика!» И он стал внимательно разглядывать лица окружающих в надежде, что ответ на его вопрос подскажет если не общественная группа, так тип человека. За соседним столиком сидела женщина, а справа и слева от нее — двое мужчин. Первый весь обмяк в своем кресле, у него были тонкие подвижные губы и морщинки вокруг глаз, щеки пухлые, но поблекшие и ямочка на подбородке. Можно было не сомневаться, что это человек с юмором, добрый, расположенный к людям, не очень уверенный в себе, склонный к размышлениям, в меру умный и, возможно, с зачатками воображения. Писатель перевел глаза на второго — тот сидел очень прямо, точно гордясь тем, какой

у него замечательный позвоночник. Это был рослый, красивый мужчина — крупный, правильный нос и подбородок, четко очерченные губы под шелковыми усами, взгляд прямой и дерзкий, немного срезанный лоб и такой вид, точно он хозяин вселенной. Было ясно, что он всегда в точности знает, чего хочет, что он не чужд жестокости, обладает острым практическим умом, решителен, начисто лишен воображения, зато самоуверенности у него хоть отбавляй. Писатель посмотрел на женщину. Хорошенькая, но лицо вялое, совершенно бесцветное. Он снова и снова обводил их взглядом, и чем дальше, тем все меньше усматривал между ними сходства. Наконец им стало не по себе от такого внимания. Тогда он отвел от них глаза. Новая мысль пришла ему в голову: «Нет! Публика — это не та или иная группа, не тот или иной тип; публика — это воображаемый среднеарифметический человек, наделенный средними человеческими свойствами,— некий продукт перегонки всех, кто сидит в этом зале, и всех, кто проходит сейчас по улице, и всех, кто живет в нашей стране». На время эта мысль его успокоила, но скоро он опять засомневался. «Если я должен дать этому воображаемому существу то, чего ему хочется, мне придется выяснить, как перегнать его из всех ингредиентов, которые меня окружают. Как же за это взяться? На то, чтобы собрать и прокипятить все их души, не хватит целой жизни, а без этого как мне выпарить нужный продукт? И уж совсем не останется времени, чтобы дать этому осадку то, чего ему хочется! А все-таки найти среднеарифметического человека необходимо, иначе меня до конца дней будет мучить, что я не даю ему то, чего ему хочется!» Писатель терялся все больше и больше. Оперировать знанием всех глубин и высот, всех пороков и добродетелей, вкусов и антипатий всех обитателей страны, не имея этого знания,— это, казалось ему, граничит с дерзостью. А еще большим нахальством, думал он, было бы взять эту сумму знаний, которых у него нет, и извлечь из нее некую золотую середину, чтобы дать ей то, чего ей хочется. Однако же именно так поступают все художники, которые оправдывают свое назначение,— иначе этого не написали бы в газете. Он поднял глаза к высокому потолку, словно мог увидеть там публику, витающую в легких синеватых об-

лаках табачного дыма. И вдруг подумал: «А если бы каким-то чудом моя птица «золотая середина» прилетела ко мне с открытым клювом, чтоб схватить пищу, которую я обязан ей давать,— может быть, она не оказалась бы таким уж диковинным созданием? Может быть, она оказалась бы очень похожей на меня самого? И правда, что, если публика — это я сам? Ведь предполагать, что мое обычное «я» наделено хоть одним-единственным свойством, которым не обладает вообще-то человек, было бы с моей стороны непростительным самомнением. Да, я и есть публика,— во всяком случае, иная моему сознанию недоступна». И тут он попробовал рассуждать логически. Сейчас, когда он был совершенно спокоен, когда нервы его перестали шалить, а ум и чувства работали нормально, ему и самому стало казаться, что воспринять его пьесу нелегко. «Вот оно что,— подумал он,— вперед мне наука: писать нужно только тогда, когда я совершенно спокоен, когда нервы в порядке, а ум и чувства не возбуждены. Словом, когда я в таком нормальном состоянии, как сейчас». Несколько минут он сидел неподвижно, глядя на кончики своих штиблет. А потом в голову ему закралась беспокойная мысль: «Но случилось ли мне писать, если я не чувствовал себя немножко... ненормальным? Случалось ли, чтобы мне захотелось писать, если мозг мой не работал особенно четко, чувства не были обострены, а душа взволнована больше обычного! Никогда! Увы, никогда! Так, значит, я жалкий ренегат, изменивший своему назначению в жизни, и у меня нет ни проблеска надежды исправиться, стать не таким уж недостойным художником! Ведь я просто не могу заставить себя писать, когда меня не подгоняет какая-нибудь эмоция, усилившаяся за счет других. Так было в прошлом, так будет и дальше: я никогда не смогу взяться за перо в нормальном и спокойном состоянии, никогда не смогу удовлетворить то свое «я», которое есть публика!» И еще он подумал: «Дело мое дрянь. Ибо удовлетворять это нормальное «я», давать публике то, чего ей хочется,— для этого, как говорят (и, наверно, не без основания) и существуют на свете художники. «Хоэфоры» и «Прометей» Эсхила, «Эдип — царь» Софокла, Еврипидовы «Троянки», «Ме-

дея» и «Ипполит», «Лир» Шекспира, «Фауст» Гете, «Призраки» и «Пер Гюнт» Ибсена, «Власть тьмы» Толстого—все эти великие произведения, очевидно, удовлетворяли нормальное «я» своих творцов; все, все без исключения, были тем, чего хочется среднеарифметическому человеку, то есть публике; ибо в этом, как нам известно, и состояло назначение их авторов, а кто осмелится утверждать, что эти великие люди не были ему верны? Это просто немыслимо. А между тем... между тем нас уверяют, да так оно и есть, что именно для этих пьес в нашей стране нет настоящей публики! Стало быть, Эсхил, Софокл, Еврипид, Шекспир, Гете, Ибсен, Толстой в величайших своих творениях не дали публике того, чего ей хотелось, не удовлетворили среднеарифметического человека, свое нормальное «я», и как художники не оправдали своего назначения. Стало быть, они не были художниками, что явно немыслимо; а стало быть, я так и не знаю, что такое публика!»

И, поняв, что зашел в тупик и последняя надежда найти ответ рухнула, писатель уронил голову на грудь.

Но тут в темный сад его отчаяния проник дрожащий проблеск света, подобный слабому лучу луны. «А может быть,— подумал он,— может быть, писатель просто не в состоянии вообразить публику до того, как пьеса поставлена? (А тогда уже слишком поздно!) Иными словами, может, для него и нет публики? Но если ее нет, тогда назначение мое не может состоять в том, чтобы давать ей то, чего ей хочется. Тогда каково же мое назначение в жизни? Что я, просто соломинка на ветру?» И, утомленный всеми этими неразрешимыми вопросами, писатель задремал. Он задремал, и ему приснилось, что в темноте он видит женщину и от нее исходит туманное сияние, какое летней ночью льется в темноту от белых цветов вискарии. Женщина простирала вперед бледные руки, повернутые ладонями вниз, трепещущие, как горлицы, когда опускаются на крышу; и даже во мраке видны были ее глаза — серые, лучистые, с темными ободками вокруг зрачков. Смотреть в эти глаза было немного жутко: они были прекрасны, но пронизывали душу писателя насквозь и глядели дальше, мимо него, словно ища нового в далеком странствии, где отдых под запретом.

Во сне писатель спросил ее: «Кто ты, стоящая во тьме? Мне трудно смотреть тебе в глаза. Кто ты?»

И женщина отвечала: «Друг, я твоя совесть. Я Правда, какой тебе дано ее увидеть. Я та, кому ты предназначен служить».

С этими словами она исчезла, и писатель проснулся. Перед ним стоял мальчик-газетчик, предлагая ему вечерний выпуск.

Сконфуженный тем, что уснул на людях, писатель поспешил купить газету и стал читать передовую статью. Начиналась она так: «Есть у нас драматурги, которые принимают себя очень уж всерьез; осмеливаемся напомнить, что им грозит опасность стать смешными...»

Писатель опустил руку, и газета соскользнула на пол. «Принимать всерьез публику я не могу,—подумал писатель,—потому что не в силах вообразить, что это такое; теперь мне говорят, что принимать всерьез себя, свою совесть, я не должен, чтобы не стать смешным. Да, дело мое дрянь!»

И он встал с места с чувством удивительной легкости, словно был соломинкой, подхваченной ветром.

1910 г.

ТУМАННЫЕ МЫСЛИ ОБ ИСКУССТВЕ

День стоял небывало прекрасный, когда я ушел в поля посмотреть, не удастся ли собрать эти несколько мыслей. Это был такой золотой, такой размаривающе жаркий день, что слетались они лениво, больше реяли вокруг, без порядка и цели, как ласточки, что вились надо мной; и как пьеса или стихи всегда обусловлены исходным настроением автора, так и тут я знал, что слова мои будут те же ласточки, быстрые, верткие, с бледной шейкой и раздвоенным хвостом. Но в конце концов, думал я, сидя на траве, мне нет нужды принимать свои критические суждения всерьез. Я не обладаю твердостью критика. Не мое ремесло быть во всем уверенным и внушать эту уверенность другим. Напротив, я часто бываю не прав, а такой роскоши ни один критик не может себе позволить. И вот, вторгшись, так сказать, в чужие пределы, я двинулся вперед с легким сердцем, чувствуя, что ни мне самому, ни кому-либо другому вовсе не нужно, чтобы я оказался прав.

Я думал о том, что же такое искусство? Ибо мне было ясно, что прежде чем думать о нем, следует его определить. Подавленный трудностью этой задачи, я и во все перестал было думать. А потом в голове у меня стали медленно складываться такие слова:

«Искусство — это образное выражение человеческой энергии, которое, конкретизируя чувства и восприятия, может вызвать у человека безличные эмоции и тем самым приобщить его ко всему окружающему миру. А величайшее искусство — то, которое вызывает самые

сильные безличные эмоции у самого совершенного человека».

Безличные эмоции! А что я хочу этим сказать?—думал я. Наверно, вот что: если то, на что я смотрю, внушает мне те или иные активные или направленные импульсы — это не искусство; если интерес к нему хотя бы на короткое мгновение вытесняет у меня интерес к самому себе — это искусство. Представим себе, что передо мной ванна из резного мрамора. Если мысли мои идут так: «За сколько ее можно купить?» (импульс приобретения), или «Где нашли этот мрамор?» (импульс познания), или «В какую сторону головой в ней удобнее лежать?» (смешанный импульс познания и приобретения), — то в эту минуту я не воспринимаю ее как произведение искусства. Но если я стою перед ней, весь трепеща при виде ее цвета и формы, пусть хотя бы в малой мере, пусть совсем ненадолго свободный от каких бы то ни было практических мыслей или импульсов, — значит, в этой мере и на столько времени она вытеснила меня из моей оболочки и сама заняла мое место; она связала меня с миром, заставив забыть о себе самом. И на это, только на это время она стала для меня произведением искусства. Таким образом, слово «безличный» в этом моем определении означает всего лишь кратковременное забвение собственной личности и ее активных потребностей.

Значит, думал я, Искусство — это то, что мы слышим, читаем или на что смотрим, не испытывая направленных импульсов, но ощущая теплый, бессознательный трепет. А что́ есть величайшее искусство, я, хоть убей, не могу определить, не представив себе совершенного человека. Но раз мы никогда не увидим это желанное создание, а если и увидим, то не узнаем, — значит, догматизм изгоняется из наших рассуждений и «академическое» для нас мертво — еще мертвее, чем каким оставил его Толстой после своего знаменитого трактата «Что такое искусство?» Ибо Толстой, низложив всех старых судей и всяческие академии, утверждает, что величайшее искусство то, которое доступно самому большому числу людей, и тем самым возводит массы в ранг новой Академии или нового судьи, столь же деспотичного и ограниченного, как те, которых он низложил.

Ну вот, думал я, идти дальше в определении того, что есть искусство, я не решаюсь. Но попробую уяснить самому себе, какое же важнейшее свойство позволяет искусству вызывать этот бессознательный трепет, эти безличные эмоции. Называют это свойство Красотой. Неудобное слово! Доказательство не от предпосылки, а от вывода; слишком затасканное слово, слишком двусмысленное; то слишком широкое, то слишком узкое — слово столь скользкое, что добратся до его значения невозможно. И какое опасное слово! Как часто оно заставляет нас обклеивать инородными украшениями то, что в неукрашенном виде было бы искусством! Украшать там, где украшения не нужны, быть лиричным там, где лирика не у места, — это, бесспорно, значит не достигать искусства, а портить его. Но это важнейшее свойство искусства называют также и более удачно, Ритмом. А что такое ритм, как не таинственная гармония между частями и целым, создающая то, что называется жизнью; точное соотношение, тайну которого легче всего уловить, наблюдая, как жизнь покидает одушевленное создание, когда необходимое соотношение частей в достаточной мере нарушено. И я согласен с тем, что это ритмическое соотношение частей между собой и частей и целого — иными словами, жизненность — и есть единственное свойство, не отделимое от произведения искусства. Ибо только то, в чем человек чувствует эту ритмическую жизненность, способно увести его от самого себя.

Здесь ход моих мыслей приостановился — я стал смотреть на ласточек: их быстрый, уверенный полет — сплошное дерзание, эквилибристика и неожиданность — показался мне символом тонкого равновесия и движения в искусстве, которое на каждого действует по-разному в нашем многообразном мире, где ни одно явление не повторяет другого.

Да, думал я, и это самое искусство — единственная форма человеческой деятельности, которая ведет к единению и ломает барьеры между людьми. Это — непрерывное, неосознанное, пусть мимолетное, вытеснение себя другими; подлинный цемент человеческой жизни; вечная отрада и обновление. Ибо самое тяжелое, самое горестное и мучительное в нашей жизни то, что мы за-

перты в самих себе, и хотим, и не умеем из себя вырваться. И когда искусство хотя бы на краткий миг уводит нас от самих себя, мы испытываем облегчение, глубокое, сокровенное чувство свободы. Активные формы развлечения и разрядки дают отдых лишь некоторым сторонам нашего «я», требуя участия других; целиком человек никогда не отдыхает, кроме как в те минуты, когда забывает о себе, погружаясь в созерцание природы или искусства.

И вдруг я вспомнил довольно распространенный взгляд, будто искусство дает не самозабвение, но скорее очень четкое осознание себя.

Хорошо, подумал я, но ведь это — не первичное, не непосредственное воздействие: этот новый толчок — лишь вторичное воздействие подмены самого себя произведением искусства; конечно же, это лишь результат короткого мгновения ухода от себя, освобождения и отдыха.

Да, искусство — это великое, всем доступное обновление. Ибо искусство никогда не бывает догматично; оно не защищает себя и не оправдывает — вы можете принять его или отвергнуть. Оно не навязывается тем, кто в нем не нуждается. Оно уважает любой склад характера, любую точку зрения. Но оно своенравно, капризно, как порывы ветра, оно ускользает и не дается в руки, и лишь в отдельные, благословенные мгновения касается наших сердец — ведь часто бывает, что, даже стоя перед величайшими творениями искусства, мы не в состоянии полностью отрешиться от себя! Мы сами не сознаем, когда приходит это отрешение, этот отдых, — и вот его уже и нет! Но когда он приходит, словно некий дух овеивает нас прохладными крылами, одаривает нас всех, от мала до велика, сколько кто может вместить, — дух бессмертный и многоликий, как сама жизнь.

А наш век, думал я, благоприятен ли он для людей искусства? Жизнь сейчас очень разнообразна, полна «течений», «фактов», «новостей»; рампа горит ослепительно ярко — все это мешает художнику. Но, с другой стороны, досуга стало больше; возможности учиться богаче, свобода пользуется уважением... в известной мере. Однако есть одна главная причина, почему, как мне кажется, искусство в наш век должно процветать: точно

так же, как скрещивание в природе, если не злоупотреблять им, часто придает потомству новые силы, так и скрещивание философий придает новые силы искусству. Мне представляется, что историки, оглядываясь на нас из далекого будущего, назовут наш век Третьим возрождением. Мы, затерявшиеся в нем, как деятели или как зрители, не можем сказать, что мы делаем, к чему приходим; но и мы можем заметить, что как во время Эллинского возрождения новая философия пронизала устаревшие языческие верования; как во время Итальянского возрождения языческая философия, вновь утвердив себя, заново оплодотворила ослабевшее от беспрестанного скрещивания христианство, так теперь ортодоксальная религия, оплодотворенная Наукой, порождает новую, более полную концепцию жизни — любовь к совершенству не в надежде на награду, не из страха наказания, а ради самого совершенства. Медленно, у нас под ногами, ниже уровня нашего сознания складывается эта новая философия, а ведь именно в периоды новых философий и должно процветать искусство, которое по самой сути своей всегда есть открытие нового. Те, кто клянется только прошлым, твердят нам, что наше искусство катится к гибели; и правда, путаницы и смятения у нас немало! Плотины прорваны, и каждый художник, не жалея сил, ищет, как бы спастись. Наш век — век волнений и перемен, нового вина и ветхих мехов. И тем не менее, несмотря на то, что многое разбивается вдребезги и много сил тратится впустую, все время изготавливается вино, которого, право же, стоит отведать.

Я опять перестал думать, потому что солнце опустилось низко, и начали кусать комары, и возникли вечерние звуки — бесчисленные, исходящие от людей, от животных и птиц, — далекие, берущие за душу звуки, что так отчетливо долетают до нас на закате в деревенской глуши. Я слушал их долго, в каком-то забытии, не в силах взяться за перо.

Новая философия — полнокровное искусство! Разве признаки его не налицо? В музыке, скульптуре, живописи, в прозе и в драматургии, в танцах и даже в критике, если считать критику видом искусства. Да, мы тянемся к новой вере, еще не оформившейся, к новому искусству, еще не совершенному: формы его еще нужно искать!

А как она возникла, эта медленно набирающая силу вера в совершенство ради совершенства? Наверно, так: в один прекрасный день западный мир проснулся и обнаружил, что он уже не верит единодушно и безоговорочно в загробную жизнь индивидуального сознания. Он почувствовал: я могу сказать только «может быть». Может быть, смерть — это конец человека, а может быть, смерть — ничто. Стоило ему усомниться, и он стал себя спрашивать: «А хочу ли я жить дальше?» И, обнаружив, что хочет этого ничуть не меньше, чем раньше, он стал спрашивать себя, почему это так. Постепенно он понял, что в нем живет страстное желание, о котором прежде и не подозревал, — святое желание совершенствоваться и в этой жизни и в загробной, буде она существует; совершенствоваться потому, что совершенство — желанная цель, высокий, вожделенный идеал, мечта, заключенная во вселенной; главная причина всего сущего. И он стал понимать, что в космическом плане это совершенство не что иное, как совершенный покой и гармония, а в плане человеческих отношений — не что иное, как совершенная любовь и справедливость. И совершенство засияло перед глазами западного мира, как новая звезда, чей благодатный свет озаряет все живое, едва оно рождается из великой тайны, и не гаснет до тех пор, пока оно в ту же великую тайну не возвращается.

Наверно, думал я, именно это и открывает для себя заново западный мир. В сознание наше снова прокрадась смутная мысль, что вселенная едина, что равновесие — высшее ее состояние и все сущее одинаково удивительно, таинственно и ценно. Иными словами, мы начали смутно прозревать мироощущение художника, верящего, что ничего нельзя пренебрежительно отбрасывать как недостойное, что все можно сделать хорошо, во всем найти красоту, что наш бог, Совершенство, присутствует во всем и дело нашего искусства — открыть его людям.

Набросав эти слова, я заметил, что несколько звезд пробралось на небо, медленно темневшее над подстриженными липами; кукушки, весь день куковавшие на акациях, затихли; уже не реяли в воздухе ласточки, зато над изгородью из остролиста металась летучая мышь; и лютики вокруг меня закрывали свои венчики. Измени-

лись все контуры, все настроение мира, точно передо мной повесили другую картину.

Да, думал я, не что иное, как искусство, должно стать служителем этой новой веры в совершенство с ее девизом «Гармония, Соразмерность, Равновесие». Ибо только искусству дано содействовать истинной гармонии в человеческих делах, находить истинные пропорции, сохранять истинное равновесие. Разве учиться быть художником не значит учиться правильно видеть соотношение вещей и ясно выражать это соотношение? Более того, учиться отделять от себя самую свою суть и передавать ее другим так тонко, что они не замечают, как это делается, однако незаметно для себя оказываются приобщенными? Разве не художник — враг и гонитель всякой предвзятости и узости, искажений и изысков, ловец блуждающего огонька — Правды? Ибо что же такое Правда, если не духовная соразмерность? Правда, сдается мне, не абсолютна, она всегда относительна, это уравниловка, лежащая в основе зыбких жизненных отношений; и самая совершенная правда — всего лишь конкретное выражение самого острого видения. Жизнь, увиденная как бесконечная выставка лучших произведений искусства; жизнь, оформленная, очищенная от несущественного, грубого, из ряда вон выходящего; жизнь, так сказать, духовно отобранная, — вот правда — нечто столь же множественное, изменчивое, неуловимое и странное, как сама жизнь, и столь же неподвластное догме. Правда знает один-единственный закон: чтобы было все, но ничего лишнего! Где закон этот не соблюден, там не может быть полной жизненности. И этим же законом тайно связано искусство, чье дело — создавать жизненные произведения.

Вероятно, прав был эстет, сказавший: «Поверить во что-нибудь нас может заставить стиль, только стиль». Ибо что такое стиль в истинном и самом широком смысле, как не верность идее и настроению и совершенная соразмерность в выражении их? И я подумал: «Можно ли верить в вырождение искусства в эпоху, которая, пусть пока бессознательно, начинает поклоняться тому, чему поклоняется искусство, — Совершенству, Стилю?»

Недостатки нашего сегодняшнего искусства — это недостатки от излишнего рвения, от смелых поисков, это

просчеты и промахи пионеров, ошибки и неудачи первооткрывателей. Ему еще предстоит переболеть многими лихорадками и не раз сбиться с дороги, но во всяком случае оно не умрет в своей постели и не будет похоронено в Кензал-Грин¹. И глядишь — там и тут, среди катастроф и крушений, сопряженных с плаваниями к неизвестным берегам, оно найдет что-то новое, новый способ украсить жизнь или показать суть вещей. Характерная особенность современных искусств — стремление каждого искусства вырваться из собственных границ, — по мнению многих, означает их гибель; на мой же взгляд, это — счастливое предзнаменование. Роман пытается стать пьесой, а пьеса — романом, тот и другая пытаются работать средствами живописи; музыка тшится стать рассказом; поэзия мечтает быть музыкой; живопись претендует на роль философии. Формы, каноны, правила — все плавится в котле: конец застою! Многое в этом хаосе коробит и оскорбляет даже самых смелых и жадных до нового. «Сил нет терпеть этих новомодных молодчиков! Они не признают формы! Бросаются очертя голову, сами не зная куда. Они утратили все лучшее, что было в прошлом, а взамен не дали нам ничего!» Пусть так, но ведь только из смятения и перемен и рождается новое благо. Отрицать это — значит отрицать веру в человека, отворачиваться от мужества! Кое-кому, разумеется, надлежит запира́ться в своих кабинетах, окружив себя картинами и книгами вчерашнего дня, — такие ученые энтузиасты тоже по-своему служат искусству. Но широкий мир всегда будет требовать новых форм. А их мы не дождемся, если у нас не хватит веры на то, чтобы рискнуть старыми. Хорошее останется, плохое умрет; и только будущее скажет нам, что хорошо, а что плохо.

Да, думал я, вполне понятно, что мы не проявляем к современному искусству должного терпения, ведь мы не видим ни тех целей, к которым оно идет почти вслепую, ни тех немногих совершенных творений, которые останутся стоять среди развалин и мусора неудавшихся попыток. Всякая эпоха хулит себя и превозносит своих предшественников. Это подтверждает неписаная история любого искусства. Возьмите роман, самое молодое

¹ Одно из лондонских кладбищ.

из искусств. Разве в эпоху, последовавшую за Фильдингом, не сетовали на то, что писатели изменили традиции плутовского романа, что они пишут не так, как Фильдинг и Смоллет? Еще как сетовали! Лишь очень медленно и наперекор сильному сопротивлению роман в нашей стране принял при Теккере богатую биографическую форму. Очень медленно и вопреки ожесточенным нападениям он терял эту форму, приобретая большую живость, так что читателю предлагалась, так сказать, уже не историческая констатация мотивов и фактов, а словесные картины событий и лиц, отобранные и расположенные так, чтобы он как бы сам увидел сущность жизни в ее движении. Новый роман вызывает не меньше lamentаций, чем вызывал старый роман, когда он был новым. Вопрос здесь не в том, что лучше, а что хуже, вопрос — в различии форм, в изменениях, которые диктуются постепенным приспособлением к меняющимся условиям нашей общественной жизни и к все новым и новым открытиям в области мастерства, причем в увлечении этим новым старое и не менее ценное мастерство слишком часто на время утрачивается. Исконные интересы жизни способствуют линии наименьшего сопротивления, все, что нарушает наш покой, вызывает неодобрение и протест. Однако нужно помнить и то, что всякая новинка обычно окружена заманчивым ореолом. В силу этих двух отвлекающих факторов те, кто вырывается из плена старых форм, по всей вероятности, успеют умереть, не дождавшись, пока новые формы, бессознательно ими созданные, займут свое место, высокое или низкое, в мире искусства. Как судить о том, что ново? Мы видели, как от растерянности при встрече с новым делались попытки связать воедино две столь резко отличные друг от друга фигуры, как Ибсен и Бернард Шоу, двух драматургов, у которых, кажется, не найти ни одной общей черты: ни общей традиции, ни общих взглядов, ни малейшего сходства в композиционных и иных технических приемах. И однако современная критика часто ставит их рядом! Они новые. Этого достаточно. Есть и другие, столь же несхожие с ними. Они тоже новые. Своего ярлыка на них еще нет — так давайте наклеим на них чужой!

Так будет всегда, думал я; ибо правильная оценка

всякого искусства требует времени. И не под влиянием ли этого чувства — что суждения современников позднее кажутся чуть ли не смешными — критика за последнее время часто представляет собой не столько суждения, сколько впечатления, своего рода воссоздание, некое выражение личности самого критика, порожденное книгой, пьесой, симфонией, картиной? Такого рода критику стало даже принято отождествлять с творчеством. Знак равенства между способностью эстетического суждения и творческим даром! С этим трудно согласиться. Можно сочувствовать этой новой критике. Можно признавать, что передача своих впечатлений — деятельность более широкая и гибкая и менее преходящая, нежели высказывание безапелляционных суждений, основанных на строгих правилах вкуса; можно допустить, что такая критика смыкается с творчеством постольку, поскольку она требует и восприимчивости и способности воссоздавать; однако «новому» критику все же не хватает той жажды открытия нового, которая предшествует всякому творчеству (как оно до сих пор понималось). Критика, вкус, эстетическая оценка по самой сути своей задачи вынуждены ждать, пока жизнь не окажется собранной в фокус художником, и лишь после этого критик пытается воспроизвести то изображение, которое этот пойманный в сети кусок жизни оставил на зеркале его сознания. А творчество начинается с зародыша, бессознательно возникающего от непосредственного воздействия жизни во всей ее полноте на личность художника; и вокруг этого зародыша художник-творец, без конца вглядываясь, открывая, отбирая, строит клетку за клеткой из бесчисленных новых мельчайших воздействий и прозрений. Утверждать, будто то же делает и критик в процессе воссоздания, значит сказать, что музыкант-исполнитель — творец в том же смысле, что и композитор, чью музыку он исполняет. Если даже признать, что качественно эти процессы сходны, то количественно они так далеки один от другого, что применять к обоим слово «творчество» по меньшей мере неудачно...

Однако, подумал я, это уж рассуждения более чем туманные. Надо же придать своим мыслям хоть какую-то связность и последовательность, подобную той, что ощущается в шествии этого вечера, уже переходящего в

ночь. Вернемся к рассмотрению природы и задач искусства! И признаем, что многие из наших мыслей покажутся ересью той школе, чью доктрину Оскар Уайльд воплотил в своем блестящем апофеозе полуправды, в очерке «Упадок лжи». Там он сказал: «Ни один великий художник никогда не видит вещи такими, как они есть». Но эту полуправду можно повернуть и иначе: тот, кто видит вещи такими, как они есть, кто видит соразмерность, скрытую от других (и наделен даром ее выразить), тот и есть художник. А великим художником его делает высокое горение духа, рождающее не относительную, а превосходную ясность видения.

Возле моего дома растут несколько сосен с узловатыми красными стволами, а по бокам от них — два вяза. Небо за ними часто бывает густо-синее. Обычно это все, что я вижу. Но изредка в тех же деревьях на фоне того же неба мне видится весь жар и страстность, какую Тициан вложил в свои языческие картины. Я прозреваю таинственный смысл, таинственную связь между этим небом, этими соснами с их узловатыми красными стволами и жизнью, какой я ее знаю. И в такие минуты я всегда чувствую, что вот это — реальность, а все то остальное время, когда я этого не вижу, — просто нереально. Будь я живописцем, я, прежде чем нанести первый мазок, ждал бы такого прозрения. В более трезвые минуты такое интимное, внутреннее видение реальности кажется чуть ли не абсурдом; и отсюда возникает эта новая легкая полуправда: «Искусство выше, чем сама жизнь». Да, искусство выше, чем жизнь, в том смысле, что сила искусства извлекает из жизни ее истинный дух и значение. Но в каком бы то ни было ином смысле утверждение, будто искусство выше жизни, из которой оно возникает и в которую должно снова погружаться, может привести лишь к тому, что художник окажется висящим над жизнью: ноги в воздухе, а голова в облаках — позер, изображающий из себя полубога. «Природа — это не великая мать, родившая нас. Она — наше создание. Только в нашем мозгу она обретает жизнь». Такова величайшая гипербола в теории эстетов. Но что такое творческий инстинкт, как не вечно живое сочувствие природе, непрестанное стремление, подобное стремлению самой природы, создавать что-то новое

из всего, что доступно способностям, которыми природа нас наделила? Способность видеть, воображать и выдумывать — такой же дар природы, как здравый смысл и мужество. Просто она реже встречается. Но, право же, никто и не придерживается этих эстетических взглядов всерьез, даже те, кто их высказывает. Это риторика, возвеличение полуправды, оружие человека, который хочет осудить «реализм», будучи органически неспособен понять, что такое реализм на самом деле.

Ну, а что же такое реализм? — думал я. Что значит это слово, которое употребляют к месту и не к месту? Относится оно к методу художника, или к его мироощущению, или к тому и другому, или ни к тому, ни к другому? Реалист ли Тургенев? Он самый большой поэт, когда-либо писавший прозой, и никто не умел так ощутимо показать нам живые лица и события. Никогда не было на свете более пылких мечтателей, чем Толстой и Ибсен; и никто больше их не заботился о том, чтобы сделать своих героев реальными. Реалисты они или нет? Невозможно себе представить большего фантаста, чем Достоевский, и никто не умел так живо изобразить реальную ситуацию. Реалист он или нет? Покойного Стивена Крейна называли реалистом, а это самый подлинный импрессионист, когда-либо живописавший словами. В чем же тогда суть этого слова, которое употребляют чуть ли не как ругательство? Для меня, во всяком случае, думал я, слова реализм, реалистический уже не связываются с методом, для которого гораздо более подходят слова натурализм и натуралистический. Не связаны они и с вопросом о силе воображения — реализм требует ее не меньше, чем романтизм. Мне представляется, что для реалиста ни в коей мере не обязателен натуралистический метод — он может быть поэтом, мечтателем, фантастом, импрессионистом, чем угодно, только не романтиком: романтиком он быть не может, поскольку он реалист. Да, этим словом определяется художник, который по самому своему складу в первую очередь стремится уловить и показать взаимосвязь жизни, характера и мышления, чтобы научить чему-то себя и других; в отличие от того художника (я называю его романтиком), который по своему складу тяготеет к тому, чтобы выдумывать повести или картины с целью доставить

радость себе и другим. Весь вопрос в том, каково первичное побуждение у того или иного художника.

Реалист и романтик! Просвещение и радость! Вот это правильное сопоставление. Передать что-то новое — рассказать сказку! А форму и тот и другой художник волен избрать любую — натуралистическую, фантастическую, поэтическую, импрессионистическую. Ибо не по форме, а по цели и настроенности своего творчества он будет отнесен к тому или иному течению. Надо сказать, что реалисты — включая реалистическую половину Шекспира, — поскольку они не заботятся в первую очередь о том, чтобы развлечь свою публику, и по сей день сравнительно непопулярны в нашем мире, состоящем преимущественно из людей действия, тех, что инстинктивно отвергают всякое искусство, кроме того, которое развлекает их, не заставляя при этом думать. Ведь думать — значит тратить энергию, которая уже целиком занята; думать — значит заглядывать в себя, а это выбивает из колеи привычных действий. Утверждая, что задача реалиста не столько доставлять радость, сколько просвещать, мы отнюдь не хотим сказать, что в процессе творчества он наслаждается меньше, чем автор сказки, хотя непосредственно и не задается такой целью; и немалой части человечества он тоже доставляет наслаждение. Ибо, даже соглашаясь с тем, что цель (и верный признак) искусства всегда в том, что оно вызывает ответный трепет, безличные эмоции, — обычно забывают о том, что люди, грубо говоря, делятся на тех, в ком искусство не пробуждает любознательности, чей ум не требует удовлетворения до того, как будут затронуты их эмоции; и тех, кто склонен размышлять, а значит, — воспринимая произведение искусства, должны сперва удовлетворить свой пытливый ум, и лишь после этого оно может взволновать их чувства. Аудиторию реалиста составляют люди второго типа; гораздо более широкую аудиторию романтика — люди первого типа. И в обоих случаях она дополняется горсткой изощренных ценителей, для которых всякое искусство есть стиль и только стиль и которые равно приемлют произведение романтика и реалиста, если оно сделано достаточно хорошо.

Итак, думал я, на мой взгляд, реализм и романтизм в таком толковании — вот две основных категории, на ко-

которые можно разделить искусство; но найти примеры того и другого в чистом виде нелегко. Ибо даже у самого убежденного реалиста пробивается романтическая струя, а самому заядлому романтику не всегда удается быть совсем уже нереалистичным. Гвидо Рени, Ватто, Лейтон — вот, пожалуй, чистые романтики; Рембрандт, Хогарт, Мане — в основном реалисты; Боттичелли, Тициан, Рафаэль — то и другое. Дюма-отец и Вальтер Скотт — несомненно, романтики; Флобер и Толстой — столь же несомненно, реалисты; Диккенс и Сервантес — то и другое. Китс и Суинберн — романтики; Браунинг и Уитмен — реалисты; Шекспир и Гете — то и другое; древнегреческая драматургия — реализм; «Тысяча и одна ночь» и Малори¹ — романтика; Илиада, Одиссея и Ветхий завет — и реализм и романтика. И если, запутавшись в своих туманных мыслях, я захотел бы проиллюстрировать суть этого разделения в искусстве на менее общих и туманных примерах, я мог бы взять двух писателей, Тургенева и Стивенсона. Ибо Тургенев выражал себя в повестях, которые следует назвать романтическими, а Стивенсон почти всегда пользовался реалистическим методом. И все же Стивенсона никак не назовешь реалистом, а Тургенева — романтиком. Тургенев без конца думал о жизни, находил в ней неисчерпаемые пути для духовных поисков, упорно обнаруживал и уяснял себе и другим многообразные черты и чувства человека, многообразные настроения природы; и хотя все его находки заключены в ларчики увлекательных сюжетов, всегда ясно, какое именно настроение заставляло его окунуть перо в чернила. Стивенсон, мне кажется, почти боялся открыть новое; он воспринимал жизнь так тонко, что не испытывал желания углубляться в нее; он плел свою паутину для того, чтоб увести себя и других прочь от жизни. Таково было руководившее им настроение; но мастер, живший в нем, стремился к ясности и остроте выражения, и это делало его более достоверным и конкретным, чем большинство реалистов.

Вот каким тонким бывает порою барьер! И какое нестоящее дело — хулить с собственных позиций искусство того или иного рода в мире, где любая индивидуальность

¹ Томас Малори (XV в.) — переводчик с французского и составитель сборника легенд о короле Артуре и его рыцарях.

имеет право выразить себя, а воркотня законна только в том случае, если соответствующее выражение не достигнуто. Одному может не нравиться написанный Рембрандтом портрет некрасивой старой женщины; другого может оставить холодным изящная фантазия Ватто. Но неразумен будет тот, кто возьмется отрицать, что и та и другая картина верна замыслу художника, что в обеих соразмерностью частей и частей с целым достигнут тот внутренний ритм, та жизненность, которая и есть печать искусства. Немногого стоит философ, по узости своей отвергающий то, что не удовлетворяет его личный вкус. Ни один реалист не может любить романтическое искусство так же, как свое собственное, но когда это искусство верно своим внутренним законам, он должен признать это, если не хочет быть слепым фанатиком. Романтику реализм не доставит удовольствия, но плохо, если он по узости взгляда заключит из этого, что реализм, когда он достигает жизненности, не есть искусство. Ибо что такое искусство, как не совершенное выражение своего «я» в неразрывной связи с миром? И не имеет никакого значения, наделено ли данное «я» даром просветителя или сказочника. Взаимные препреки реалистов и романтиков — это дуэль двух одноглазых, повернувшихся друг к другу слепой стороной. Не умнее ли каждую попытку судить по тем достоинствам, что ей присущи? Если вещь не фальшивая, не искусственная, не вымученная, если она верна себе, верна авторскому замыслу и соразмерна в отношении частей к целому, а значит, живая, — тогда, будь она реалистическая или романтическая, во имя справедливости, признайте за ней право на существование! Среди всех видов человеческой деятельности искусство, безусловно, самая свободная, наименее узкая и ограниченная, и оно требует от нас терпимости к любой его форме. Неужели мы будем тратить силы и чернила на осуждение художника только потому, что он не такой, как мы?

А тем временем дневные краски и контуры совсем расплылись; каждое дерево, каждый камень обволокла темнота. Как непохож был этот мир на тот, что окружал меня, когда я только что сюда пришел и надо мной мелькали ласточки! И настроение мое изменилось, потому что каждый из этих миров вселил в мое сердце

свое, особое чувство, оставил в моих глазах свою картину. А наступающая ночь принесет мне и еще новое настроение, которое в положенный срок, заключенное в раму сознания, повиснет передо мной, как новая картина. Над нижней лужайкой бесшумно проплыла сова и исчезла в черной листве дерева. И вдруг из-за края болота показалась большая оранжево-красная луна. Все вокруг стало зыбким, спутались мои мысли, затуманились чувства. Казалось, все контуры — лишь колебания лунной пыли, а действительность — лишь немое прислушивание к шуму ветра. Я долго сидел, глядя, как луна поднимается все выше, слушая слабый, сухой шелест листьев вдоль изгороди. И мне пришла в голову такая мысль: что такое вселенная, без начала и без конца, как не мириады, стремящиеся совершенствовать все новые картины, которые сливаются, переходят одна в другую и все вместе образуют одну необъятную совершенную картину? И что такое мы — рябь на поверхности обретшего равновесие Творческого начала без рождения и без смерти, — как не маленькие произведения искусства?

Пытаясь записать эту мысль, я заметил, что мой блокнот весь намок от росы. Коровы располагались на покой. И уже ничего не было видно.

1911 г.

МИР В ВОЗДУХЕ

Из всех многочисленных симптомов помешательства в жизни современных наций самый страшный — это то, что завоевание воздуха протитутуируется в военных целях.

Если когда-либо люди являли собой картину полного идиотизма, так это теперь, когда, одержав наконец победу в долгой борьбе за подчинение этой дотолe непокоренной стихии себе на благо, они тут же начали осквернять эту стихию, столь героически завоеванную, заполняя ее орудиями смерти. Если когда-либо была у богов причина иронически усмехаться, так это теперь, клянусь богами! Может ли хоть один думающий человек наблюдать это пока еще предотвратимое бедствие без ужаса и отчаяния? Ужаса перед тем, во что оно может вылиться, если тотчас не положить ему конец; отчаяния оттого, что люди могут быть так слепы, так безнадежно и беспомощно продаваться в рабство собственной изобретательности. Когда еще столь очевидна была необходимость удушить во младенчестве отвратительное ухищрение черного искусства войны, когда еще великим державам представлялся такой случай совместно и раз навсегда запретить новую страшную угрозу?

Немного разума, каплю здравого смысла, проблеск трезвого суждения, пока не поздно, пока есть еще силы пренебречь имущественными интересами и разорвать цепи новой привычки! Если не покончить с этой чертовщи-

ной в ближайшие годы, будет слишком поздно. Как будто людям мало земли и воды, чтобы убивать друг друга! Ради солнца, и звезд, и синего неба, к которым испокон веков устремлялись все наши чаяния, оставим воздух невинным! Неужели те, кто имеет глаза, чтобы видеть, добрую волю и власть, чтобы эту волю осуществить, неужели они не спохватятся, пока еще есть время, и не спасут человечество от этого последнего и самого худшего из его безумств?

1911 г.

ПОЧЕМУ НАМ НЕ НРАВЯТСЯ ВЕЩИ КАК ОНИ ЕСТЬ

Да! Почему это самая характерная черта нашего искусства? Какими тайными инстинктами объяснить это врожденное отвращение? Но прежде всего верно ли, что мы его испытываем?

Стоять и смотреть на что-то ради той радости, которую это доставляет, без единой мысли о материальной выгоде для себя или для своих ближних, просто из интереса — типично это для англичанина? Думаю, что нет.

Если к концу дня в ноябре мы войдем с Бейсуотер-Род в Кенсингтонский сад в том месте, где он примыкает к Хайд-парку, и, пройдя перед затейливым фонтаном, взглянем на полукруглую скамью, встроенную в унылый маленький Храм Солнца, то непременно увидим на ней несколько расположившихся полумесяцем неподвижных фигур. Вот уселась здесь скоротать часок непривычного безделья старая женщина с немигающими глазами — явно из деревни, в поношенном пыльно-черном платье и древней шляпке, подвязанной лентами; рядом с ней — горожанин с пропитым лицом, в обвисшей, перепачканной одежде; чахоточный иностранец с провалившимися глазами; загорелый молодой землекоп — он спит, выставив далеко вперед заляпанные грязью сапоги; кто-то бородатый, тоскливо свесивший голову на грудь; и еще чахоточные, еще бродяги, еще люди, смертельно усталые, молча глядящие в пространство из этого полукруглого убежища, где не дует в спину, а иногда пригревает солнце. И глядя на них, мы думаем, в зави-

симости от собственного состояния духа: «Несчастливые! Как я хотел бы чем-нибудь им помочь!» или «Безобразные! Как можно допускать такое!» Но испытываем ли мы удовольствие от одного созерцания их, то ощущение, что возникает у кошки, когда ее чешут за ухом? Вызывают они у нас интерес просто как проявления жизни, как порождения ее приливов и отливов? Опять скажу: думаю, что нет. А почему? Либо потому, что нам сейчас же приходит в голову мысль: «Надо что-то предпринять; это опасно и не сегодня-завтра поставит под угрозу наше собственное благополучие; да и, кроме того, просто противно на них смотреть, когда мы пришли сюда полюбоваться этим красивым фонтаном». Либо потому, что мы слишком гуманны! А впрочем, возможно, что наши сокрушенные вздохи «Ах, как это грустно!» на самом деле означают: «Уйдите, пожалуйста, вы портите мне настроение!» А возможно, есть и еще одна причина, почему мы стараемся не видеть вещи как они есть, избегаем всего неприглядного: может быть, тут играет роль «нетворческий инстинкт» — эта гарантия и неотъемлемый спутник цивилизации, требующей от нас полной трудоспособности, практического и основательного заполнения каждой минуты нашего времени и каждого квадратного дюйма нашего пространства? Нам, разумеется, известно, что из ничего ничего и не получается, что для того, чтобы что-то «создать», человек должен сперва воспринять впечатления, а для восприятия впечатлений нужен аппарат из нервов и щупальцев, обнаженных и отзывающихся на малейший трепет окружающей жизни, — аппарат, столь противный нашему национальному духу и традициям, что при одной мысли о нем мы заливаемся краской. Смело в том признаваясь, полные твердой решимости не дать вытеснить себя из быстрого потока цивилизации в сонную заводь сплошных впечатлений, мы с недоверием относимся к попыткам воспитать в нас восприимчивость и, как следствие ее, творческое начало, микробы которого живут в каждом человеке. Смотреть на тот или иной предмет просто так, совершенно не считаясь с тем, как он может на нас повлиять, и даже не видя в данную минуту, какую выгоду мы можем из него извлечь, — это претит нашей совести, ранит ощущение безопасности и слаженности нашей жизни, ибо мы чув-

ствуем, что это потеря времени, что это опасно для общества и не способствует тому, чтобы мы лучше ели и пили, лучше одевались, жили в большем комфорте,— не способствует прочности и упорядоченности нашего существования.

Очень вероятно, что первые две из этих трех возможных причин, почему нам не нравятся вещи как они есть, заключены в третьей. Но чем бы ни объяснять такое отношение, оно у нас есть, безусловно, есть! Если не считать Хогарта в его непроповеднических картинах и Констебля в его этюдах неба,— я говорю только о покойниках,— породила ли Англия хоть одного живописателя действительности, подобного Мане или Милле, Флоберу или Мопассану, Тургеневу или Чехову? Мы, наверно, чересчур цивилизованы, до того цивилизованы, что природа уже кажется нам неприличной. Поступки и чувства, не задрапированные этикой, нас страшат. Интеллигенция континента уже давно считает нас варварами почти во всех вопросах эстетики. Ах, если бы они только знали, какими варварами они сами кажутся нам в своем наивном презрении к нашему варварству, в своем ребяческом, на наш взгляд, интересе к вещам как они есть! Ведь мы давно все это переросли, мы, дети старейшей из западных стран, так отлакировавшие свою жизнь, что уже не знаем, из какого дерева она сделана! Мы, так крепко проспиртованные «хорошим тоном», уже недоступны зову и требованиям этой невоспитанной особы — жизни! Мы, клеймящие как нечто недозволенное или просто *vieux jeu*¹ даже упоминание о неприкрытых чувствах и суровой борьбе человека с судьбой, не говоря уже об изображении их средствами искусства! Мы, для кого художник — подозрительная личность, если он не проявляет себя в своем творчестве как спортсмен и джентльмен! Мы, сокрушенно качающие головой, когда писатель упрямо касается вопросов пола, и закрывающие его книгу со словами: «Хуже всего то, что ведь эти молодчики пишут правду!»

Что ж поделаешь,— наверно, вся беда в том, что мы слишком давно убедились в бесполезности размышлений, слишком решительно посвятили себя действиям—

¹ Устарелое (франц.).

материальной стороне жизни, а для душевного отдохновения оставили себе привычку к сентиментальным грезам, тщательно отгороженным от вещей как они есть. Мы как будто пришли к заключению, что «вещей» этих нет, а если они и есть, то напрасно, а о таких вещах что пользы думать? Нашим национальным идеалом стала воля к здоровью, к материальному благополучию, и ему мы пожертвовали волей к чувствительности. Это тоже точка зрения. Но для философии, стремящейся к совершенству, для духа, жаждущего золотой середины и вздымающего по спокойной и устойчивой позиции на самой середине качающейся доски, такая точка зрения, пожалуй, и узковата и не очень достойна, это расписка в поражении, сознательное ограничивание своего духовного мира. Неужели с этим нужно мириться, неужели мы навсегда отвернемся от вещей как они есть и будем глушить свое воображение и чувствительность из страха, как бы они не завладели нами и не подорвали наше душевное здоровье? Это вопрос, который всегда стоит перед художником и мыслителем. Оттого, что за полным расцветом неизбежно следует унадок, что огонь, разгоревшись до предела, неизбежно спадает, должны ли мы отказаться от попыток достигнуть совершенной гармонии? Лучше любить и потерять свою любовь, чем так и не узнать любви; лучше шагнуть вперед и схватить самое полное выражение души человека и души нации, чем все время оставаться под сенью стены. Мне даже представляется, что можно быть чувствительным, не впадая в неврастению, сочувствовать людям, не теряя рассудка, и подставлять себя всем ветрам, не боля инфлуэнцей. Сохрани нас бог от того, чтобы наша литература и искусство выродились в бердслейанство; но между этой крайностью и нынешним их «здоровьем» лежит вершина полного цветения, которой мы еще далеко не достигли.

А для того, чтобы расцвести, нам, думается, следует немного больше видеть вещи... как они есть!

1905—1912 гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ ДИККЕНСА «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»

«Il réchait par l'excès de ses qualités. Il avait d'innombrables passions»¹. Так описывает Мопассан своего «колосса Родосского»; так меня тянет написать о Диккенсе. В свое время он внушил мне настоящую страсть, первую серьезную и самую долговечную страсть в моей умственной жизни. Сейчас, перечитывая этот роман через двадцать семь лет, я как будто вспоминаю каждое слово — не потому, что это мой любимый роман Диккенса (на мой взгляд, «Записки Пикквикского клуба», «Давид Копперфильд», «Наш общий друг» и «Мартин Чезлвит» стоят выше), но потому, что, читая его впервые, я влюбился в автора; потому что каждое его слово я с двенадцати до семнадцати лет читал со страстью. Такое, кажется, случалось со мной только в отношении семи других писателей. Это Уайт-Мелвилль, чьи невозмутимые денди прямо-таки подорвали мое юношеское здоровье; Теккерей, которым я увлекался от семнадцати до двадцати двух лет; Дюма-отец, который владел мною от двадцати пяти лет до двадцати восьми; Тургенев, который поразил мой ум и душу, когда мне было лет тридцать; Мопассан, взявший то, что осталось от Тургенева; Толстой и, в несколько меньшей степени, Анатоль Франс. Я никогда не был дегустатором книг, верхоглядом, литературным волокитой: мне всегда нужно было проникнуться к тому или иному блюду под-

¹ Он грешил от избытка собственных достоинств. Страсти его были несчетны (франц.).

линой страстью, иначе у меня не было на него аппетита. Помимо произведений этих семи писателей, у меня был флирт с «Томом Сойером» и «Гекльберри Финном» Марка Твена; с «Дон Кихотом»; и с «Тремя сказками» Флобера. Вот и вся моя исповедь. Литературная жизнь на диво чистая и безгрешная.

Сейчас, когда я вернулся к этой первой любви, меня особенно поражает то, как это все прекрасно читается. Вся литературная вода, которая утекла с тех пор, словно и не коснулась этой книги. Вероятно, не найдется ни одного так называемого эстетического правила или канона, который не был бы нарушен в ней десятки раз. В ней нет ни линии, ни формы, ни логической последовательности, ни какого-либо нравственного откровения. Сюжет мелодраматичен и строится на случайностях; характеры — по большей части карикатуры. Автор неприкрыто морализирует, его юмор зачастую вопиюще дешевый, а пафос отдает патокой. Стилль не отличается особым изяществом. Чуть не на каждой странице все маленькие божки искусства краснеют от стыда. А между тем!.. Какое богатство, какая жизненность, какой размах и простор! Какая силища, какие беспорядочные россыпи сокровищ! Ах, милые мои божки искусства, как все это пригodiлось бы там, где вы властвуете! Только гений способен так подняться над собственной техникой. Поистине всеобъемлющее сердце Диккенса, его великолепное сочувствие к людям — вот причина, почему его произведения живы сегодня не меньше, чем в те дни... когда мы не знали лучшего! Сколько бы ни искать, вы не найдете на этих страницах ничего, что не вылилось бы из прекрасного, благородного сердца, из сердца, которое ненавидело подлость и жестокость — эти неразлучные пороки, единственные подлинные пороки человечества; и ничего такого, чего не стоило бы сказать, пусть оно и сказано по-чудному. Какая во всем этом душевная мудрость, как чудодейственно духовный палец писателя проникает сквозь внешние оболочки любого явления и безошибочно находит его пульс!

Хотя перо Диккенса создало Англию — и притом, пожалуй, Англию более живую, чем настоящая, — мне порою кажется, что никогда не было в английской литературе писателя столь неанглийского.

Сухость нашей крови и костей, обусловленная влажным климатом, наша худосочная, чудаковатая чопорность; наш гнусный страх перед тем, что скажут соседи,—ничего этого у Диккенса не было. Он всегда был в движении — непрерывно действующий вулкан; и горы извергнутой им лавы более разнообразны, чем холмы всех наших других писателей, вместе взятые.

Да, ни один англичанин никогда не обладал такой великолепной несдержанностью, как Диккенс; а от всех других английских писателей его отличает то, что в нем причудливо сочетались интерес ко всему несуразному и ненормальному и понимание основных типов человеческого характера. О его поразительной разносторонности свидетельствует то, что мозг его создает какую-нибудь диковинную мисс Флайт или Крука с таким же увлечением, как миссис Джеллиби, Скимпола, Талкингхорна и Ричарда Карстона, в каждом из которых воплощена та или иная из главных человеческих слабостей. Если ангелы всегда удавались ему хуже, это значит только, что героическое — материал для поэзии, а не для прозы. Персонажи, на которых автор смотрит снизу вверх, никогда не бывают живыми. Джарндис и Эстер Саммерсон именно потому и малокровны, что Диккенс благоговейно взирает на них снизу вверх; он не решился прикоснуться к ним кистью юмориста, и в крови их недостает красных шариков, которые литературный персонаж впитывает в более грубых слоях сознания своего творца. Безыскусственный героизм Кедди, Принца Тарвидропа и Лоренса Бойторна сверкает, как золото, потому что на них направлен прямой и твердый взгляд человека, не навязывающего им своих собственных идеалов. У них нет крыльев, поэтому они ближе к небу. Убеждает ли нас когда-нибудь «ангельский характер» — по преимуществу, женский? Я не вспомню ни одного такого случая во всей художественной литературе. Может быть, лучше выразить эту мысль так: есть ли во всей художественной литературе хоть один персонаж, который захватывает нас и чарует, если наряду с его добродетелями автор не увидел и не изобразил также и его слабости? Мне эта редкая птица еще не попадалась. Изображение героизма — дело тонкое, здесь лобовая атака не годится, от излишнего преклонения ореол его быстро ту-

скнеет. Героическое должно застигать нас врасплох, неожиданными вспышками; оно должно таинственно подмигивать нам из праха. Диккенс иногда устремляется к нему напролом. Ну что ж, в таких случаях он терпит неудачу. Но он не много грешил в этом отношении. Его неудачи—Эстер Саммерсон, Агнес Уикфильд, Флоренс Домби, Кэт Никльби, Джарндис и Николас Никльби — это лишь малая доля в необъятной галерее его образов, хотя в опасной близости к ним стоят и Том Пинч, и Марк Тэпли, и даже Томми Трэдлз. Il réchait par l'excès de ses qualités — когда он видел добро, он видел его сахарным, а когда видел зло, макал перо в самые что ни на есть черные чернила.

Какими болванами мы были бы в глазах Диккенса—мы, бедные писатели эстетической эпохи, которых чуть ли не предают анафеме за искреннее выражение наших антипатий! Он-то орудовал мечом, снова и снова вонзая его во всяческую мерзость, и кто теперь бросит в него камень за его долгую борьбу против всевозможных лицемеров и жестоких глупцов? Но какой это был меч!

«— Боже мой, что такое? — осведомляется мистер Снегсби.— Что тут происходит?

— Этому малому,— говорит квартальный,— тысячу раз приказывали проходить, не задерживаться на одном месте, но он не хочет...

— Да неужто я задерживаюсь, сэр? — горячо возражает подросток, вытирая грязные слезы рукавом.— Я не задерживаюсь, я, сколько себя помню, все хожу да хожу. Куда же мне еще-то идти, сэр?

— Он не желает слушаться,— спокойно объясняет квартальный...— хотя не раз получал предупреждение, и я поэтому вынужден заключить его под стражу. Это такой упрямый сорванец, каких я в жизни не видывал. Не желает проходить, и все тут.

— О господи! Да куда же мне идти! — кричит мальчик, в отчаянии хватаясь за волосы и топая босыми ногами по полу в коридоре мистера Снегсби.

— Не дурить, а не то я с тобой живо расправляюсь! — внушает квартальный, невозмутимо встряхивая его.—

Мне приказано, чтобы ты не задерживался. Я тебе это пятьсот раз говорил.

— Да куда же мне деваться? — взвизгивает мальчик.

— М-да! А все-таки, знаете, господин квартальный, это разумный вопрос,— задумчиво произносит мистер Снегсби и покашливает в руку, выражая этим величайшее недоумение и замешательство.— В самом деле, куда ему деваться, а?

— Насчет этого мне ничего не приказано,— отвечает квартальный.— Мне приказано, чтобы мальчишка не задерживался на одном месте».

Это благородная сатира, высокое искусство, хотя уже от следующего абзаца, где автор преподносит нам те же чувства без всякого покрова, божков должно бросить в краску. Il réchait!.. Но ничего! Он обстрелял царство Бамблов, как никто ни до, ни после него. Он изрешетил ведомственный идиотизм, так что в отверстия, пробитые его пулями, ворвался более вольный и теплый ветер и поднял внутри ураган.

Когда я в детстве страстно зачитывался им, я лишь смутно прозревал его великий подвиг; теперь, когда я немножко знаю жизнь и сам посмотрелся Бамблов всех мастей, я не устаю стоять при дороге, смиренно сняв шляпу, и смотреть, как проезжает мимо этот великий, блестящий призрак.

1912 г.

О ЗАКОНЧЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Гранд-Кэньон в Аризоне — одно из самых захватывающих чудес Природы. Здесь она так расположила свои эффекты, что получилось законченное и даже вставленное в раму произведение искусства: между двумя линиями высокого плато, ровного, как поверхность моря, далеко в глубине разбросаны каменные троны бесчисленных богов, возлежащих на них и в бесконечной смене освещения и красок вечно благоговеющих перед Великой тайной.

Увидев это чудо своими глазами, я понял, почему многие либо шарахаются от него и первым же поездом уезжают домой, либо называют его «удивительным геологическим образованием». Ибо рядовой человек жаждет законченности и определенности, но не той, которая преклоняется перед Тайной. В природе, в религии, в искусстве, в жизни, — везде тот же вопль: «Скажите мне в точности, к чему я пришел, что я делаю и куда иду! Освободите меня от мучительного ощущения, что я ничего не знаю наверняка!» Из религиозных учений лучше всего воспринимаются наиболее определенные и законченные. Модны те профессии, что обеспечивают нам прочное положение. Наиболее популярны те книги, в которых на долю нашему воображению ничего не остается. И разве можно не отнестись снисходительно к этой погоне за неизменной прозой, когда хоть немного знаешь жизнь, а следовательно, знаешь, что в нас обычно сильнее всего не самые высокие и не самые мужественные черты, и мы упорно тяготеем к уюту плотно закрытых дверей и к линии наименьшего сопротивления? Мы веч-

но уверяем, что хотим все знать наверняка; но если бы просьбу нашу исполнили и не осталось бы Тайны, которая синей дымкой обволакивает горы и обращает день в ночь, мы, конечно же, не замедлили бы взмолиться: «Избавьте нас от этого ужаса, знать наверняка — что может быть страшнее!»

Если говорить об искусстве, то здесь я вполне согласен с одним ныне здравствующим писателем, который требует от искусства определенности, полагая ее в том, что он называет «нравственным открытием», — эти слова он, очевидно, употребляет в самом широком смысле. Однако я бы добавил, что такая определенность не исчерпывается правильным выводом из заданных предпосылок; она может также проступить постепенно, негативно, из всего произведения, как некое нравственное раскрытие самого автора. Другими словами, ясная точка зрения автора, переданная читателю, может придать произведению такое единство и жизненность, что в них будет заключена вся определенность, какой можно требовать от искусства. Ибо определенность, нужная в искусстве, будь она положительная или отрицательная, это не определенность догмы или фактов, это только определенность чувства — некий духовный свет, смутно прозреваемый зрителем в том странном мерцающем тумане, каким душа одного человека всегда остается для другого. И этим же, кстати сказать, достигается некая таинственность искусства, необходимая ему еще более, чем определенность, ибо тайна, обволакивающая произведение искусства, — это тайна его творца, а тайна его творца — это разница между его душой и душой всякого другого человека.

Но позвольте мне привести пример того, что я разумею под этими двумя видами определенности, возможными в искусстве, и показать, что, в сущности, это лишь две половины одного и того же целого. Едва ли кто-нибудь усомнится в том, что ранний роман Анатоля Франса «Красная лилия» — произведение искусства. Так вот, в этом романе есть определенность *положительная*, поскольку внутренний вывод из его предпосылок кажется нам правильным. Но к произведениям искусства нельзя не причислить и четыре романа о господине Бержере того же автора, где определенность *отрицатель-*

ная состоит лишь в той атмосфере, которой все они проникнуты. Если бы за тему «Красной лилии» взялся Толстой, Мередит или Тургенев, они, исходя из тех же фактических предпосылок, сделали бы выводы, отличные от выводов Франса, как круг отличен от квадрата, а между тем, будучи сделаны не менее великими художниками, эти выводы, безусловно, показались бы нам не менее правильными. Так не значит ли это, что положительная законченность «Красной лилии», хотя и выраженная средствами иного мастерства, по существу, одно и то же, что и отрицательная законченность романов о господине Бержере? Не есть ли они обе попросту неповторимый цветок — душа автора, верного себе? Если аромат, краски и форма этого цветка достаточно отчетливы и прекрасны, чтобы подействовать на наши духовные чувства, тогда все остальное — чистая теория и несущественно.

Но тут подает голос рядовой человек. «Неповторимый цветок», — говорит он, — «духовные чувства»! Это еще что такое? Подавайте мне то, что я могу понять! Разъясните мне, куда я иду!» Словом, ему нужна не та определенность, какую может дать искусство. Он раздраженно допытывается у автора, какое решение тот предлагает, или какой преподает урок, или в чем вообще смысл его книги, не замечая того, что несчастный пытался выразить этот смысл в каждой своей фразе. Он желает знать, почему автор не сказал, что случилось дальше с Чарлзом или Мэри, чья судьба так его заинтересовала; и почти пугается, услышав в ответ, что автор и сам этого не знает. А если ему, чего доброго, предложат приобщиться философии, которая не обещает ему четко определенной позиции как в этом мире, так и в будущем, он попятится назад и скажет не без презрения: «Ну нет, сэр! Это для меня пустой звук. А если для вас это что-нибудь значит, в чем я сильно сомневаюсь, могу сказать одно: мне вас жаль!»

Ему подавай факты, и еще факты, не только в настоящем и прошедшем, но и в будущем. И он требует фактов как раз там, где фактов ему не получить. Он упорно требует фактов у искусства, вернее, тех фактов, каких искусство дать не может, ибо в конечном счете «душа автора» — это тоже своего рода факт.

Возьмите, к примеру, шедевр Синга, его пьесу «Балс-вень западного мира». Вот вам «душа автора» во всей красе. А что это для рядового человека? Пасквиль на ирландский характер! Ловко написанная вещица! Забавный фарс! Загадочный скепсис, который никуда не ведет! Автор — какой-то чудаки! А у рядового человека чудаки вызывают досаду.

Да, «душа автора» мало кому нужна. К тому же ее обычно ищут там, где ее нет. Сказать, что законченность, какой требует искусство, это всего лишь единство настроения, душа автора, — еще не значит сказать, что ее может нам передать любой мускулистый молодчик, вколачивающий свои взгляды в бумагу. Вовсе нет! Пока в произведении виден автор как человек, до тех пор цветка его души нам не увидеть. Если автор притязает на роль художника, пусть скроется в тень. Романы о Бер-жере сделаны с таким же тонким мастерством и так же безличны, как и «Красная лилия». В каждую их страницу вложено не меньше труда и творческих терзаний, чтобы от них исходил аромат таинственной определенности, скрытое, но осязаемое суждение. Неповторимый цветок — «душа автора» — встречается не так часто, как лютик, или калифорнийский мак, или веселая техасская галлардия, и по этой самой причине законченность, сообщаемая им, никогда не будет достаточно ясной для рядового человека, который любит все готовенькое и снабженное ярлыками с надписью крупным шрифтом. Вы только вспомните — я беру лишь один образец этого спроса на фактическую законченность, — как упорно от нас требуют характеров, которым можно было бы поклоняться; как упорно хотят услышать, что Чарлз был настоящий герой, и как горько сожалеют о том, что Мэри показала себя не с лучшей стороны. Рядовому человеку подавай героя так героя, героиню так героиню, и уж для таких он, разумеется, приемлет только счастливый конец.

Помню, когда мы, налюбовавшись на Гранд-Кэньон, уезжали из Аризоны, в поезде рядом с нами сидели молодой человек и девушка, явно влюбленные. Он подсел к ней очень близко и, героически игнорируя всех нас, читал ей вслух роман в бумажной обложке:

«...Сэр Роберт, — пролепетала она, подняв на него

свои дивные глаза,— я не могу вас соблазнить, для этого вы мне слишком дороги!» Сэр Роберт сжал ее прелестное лицо в своих сильных ладонях. «Прощай!» — сказал он и вышел в ночь. Но что-то говорило им обоим, что когда сэр Роберт исполнит свой долг, он возвратится...» Он еще не возвратился, когда мы доехали до узловой станции, но в этом баронете была определенность, и мы не сомневались, что он непременно вернется. Еще долго после того, как прилежный голос молодого человека замер у нас в ушах, мы размышляли о сэре Роберте и, сравнивая его с знаменитыми литературными персонажами, постепенно пришли к выводу, что ни один из них не героичен столь определенно. Нет, всем им далеко до него. В самом деле, Гамлет — в высшей степени неопределенный субъект, а Лир донельзя несдержан. Пикквик питает пристрастие к пуншу, а Сэм Уэллер любит приврать. Базаров — нигилист, а уж Ирина!.. Левин и Анна, Пьер и Наташа — все они вспыльчивы и не всегда ведут себя примерно. «Простая душа» — всего лишь служанка, и к тому же старая дева; «Святой Юлиан Странноприимец» — какой-то фанатик. Полковник Ньюком — слишком раздражителен, да вдобавок и глуповат. Дон Кихот — клинический случай помешательства. Хильда Вангель, Нора, Гедда — да сэр Роберт и разговаривать не стал бы с такими предосудительными особами! Мосье Бержере — тряпка! Д'Артаньян — прямо-таки головорез! Том Джонс, Фауст, Дон Жуан — о них даже думать неприятно. А уж эти несчастные греки! Прометей — бессовестный бунтовщик. Эдип надолго был изгнан цензором. Федра и Электра еще менее добродетельны, чем та Мэри, что показала себя не с лучшей стороны. А если вспомнить более знакомые фигуры — Иосиф и Моисей, Давид и Илия — ни один из них не мог похвастаться столь законченным героизмом, как сэр Роберт, ни один не мог с ним потягаться... Мы размышляли долго и, додумавшись до того, что автор всегда должен быть выше своих детищ, порадовались при мысли, что на свете живет столько авторов, способных породить сэра Роберта; ибо сэр Роберт и та законченность, какая есть в нем, а не сомнительные герои, не душа автора, не тайна, — вот чего требует и всегда будет требовать от писателя рядовой человек.

Людей можно разделить на две категории — это так же верно, как то, что масло не смешивается с водой. Главная трещина во всей истории и есть это трудно уловимое, но всепроникающее разделение человечества на людей фактов и людей чувства. Причислить их к той или к другой категории можно не по тому, что́ они собой представляют или что делают, а именно по их отношению к определенности. К счастью, большинство из нас гибриды. Но чистокровные представители того и другого рода питают друг к другу самую настоящую вражду, более глубокую, чем вражда расовая, политическая или религиозная, вражду, от которой не помогут до конца избавиться ни обстоятельства, ни любовь, ни добрая воля, ни необходимость. Скорее пантера договорится с быком, чем человек чувства с человеком фактов. Это два мира, разделенные пропастью, через которую не перекинешь моста.

И не всякого человека так легко поместить в один из этих двух миров, как ту даму, что сказала, протянув руку к дальнему берегу Гранд-Кэньона:

— На вид тут нет тринадцати миль, но его измерили вон там! Простите, что показываю пальцем.

1912 г.

ИСКУССТВО И ВОЙНА

Скульптор Роден — вероятно, величайший из ныне живущих художников — недавно определил искусство как поиски красоты, а красоту — как «выражение того, что есть лучшего в человеке». «Человек, — говорит он, — испытывает потребность выразить в совершенной форме какого-либо искусства все свое неосознанное стремление к Непознаваемому». Слова эти могут послужить ответом тем, кто воображает, что война вырвет хоть один из корней дерева искусства — дерева, которое все растет и растет, с тех самых пор, как в глазах человека впервые засветилась душа.

Наш мир (как признают все) — одно из бесчисленных выражений непознаваемого Творческого начала, которое мы в обиходе называем богом; но не все признают, что это Творческое начало формирует не только материю, но и то, что мы зовем духом, при помощи трения: сталкивая людей носами, сердцами, мыслями. Пока материальное состояние нашей планеты — теплота или трение внутри ее — будет оставаться благоприятным для жизни человека, до тех пор неизбежно будет нарастать человеческое величие в силу все нарастающего трения одной человеческой души о другую; трения, вызываемого самой жизнью, а следом за ней — теми изображениями жизни, теми выражениями человеческих поисков и порывов, которые мы зовем искусством. Искусство для искусства — если словам этим когда-либо придавали их настоящий смысл, что сомнительно, — всегда было пустым и неумным девизом. С тем же успехом можно сказать,

что художник не человек. Искусство не только властвует над человеком, но и служит ему. Цивилизация, которая, по сути дела, есть всего лишь постепенное превращение животного под названием человек в человека, пошла от искусства в большей степени, чем от религии, закона и науки. Ибо больше всего, после самой жизни, обогащает человеческое сердце именно «выражение неосознанного стремления человека к Непознаваемому в более или менее... совершенных формах искусства».

Несомненно, что цель человеческой жизни — счастье. Но что такое счастье? Работоспособность, богатство, материальный комфорт? Многие утверждают это своей жизнью; кое у кого хватает цинизма утверждать это на словах; но на смертном ложе никто этого не ощущает. Даже свобода сама по себе еще не дает счастья. Счастье в душевном богатстве. А душевное богатство — это та внутренняя свобода, которая позволяет нам понимать других людей, сочувствовать им и, если нужно, помогать им. В душевном богатстве истоки справедливости, любви, самопожертвования; без него все наши усилия теряли бы смысл, и история человечества была бы не более как историей очень одаренных животных; ведь многие из них весьма трудоспособны и обладают чувством общности — отчасти в силу инстинкта, отчасти потому, что на опыте убедились в его полезности; но ни одному из них недоступен сознательный альтруизм при полном отсутствии заботы о собственной выгоде, движимый только ощущением своей красоты. В общем, вся цивилизация — это рост сознательного альтруизма; а направляющая нравственная цель — наше смутное, но от духовного трения непрерывно растущее прозрение того, что мы все больше приближаемся к пониманию самих себя и друг друга и ко всему, что из этого вытекает. А следовательно, вообразать, будто нынешняя война, при всем ее размахе и ужасе, может прекратить рост этого понимания (а не просто задержать его на короткое время), — значит упускать из виду весь тот медленный процесс, который на протяжении веков все больше отдалял человека от животного; и бояться, что война иссушит и сожжет искусство, этот основной фактор взаимного понимания, — значит либо причислять себя к тем мелким эклектикам, которые производят лишь эстет-

ские безделки, либо откровенно расписываться в полном незнании того, что́ есть искусство.

Те, кто говорит и пишет об искусстве, сплошь и рядом забывают о его относительности. Для одной школы публика как бы не существует; для другой нет ничего, кроме публики. Обе эти точки зрения явно ошибочны. Искусство может быть очень наивным и все же быть искусством — все же выражать детское видение, обращенное к детскому видению, заставляющее биться детские сердца. Так,

Была у Мэри овечка,
Шерстка — снега белей,
И повсюду эта овечка
Ходила следом за ней

—это искусство для пятилетнего ребенка, на чье сердце и воображение оно воздействует. А

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чаши!
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой? ¹

—искусство для пишущего и читающего эти строки.

С другой стороны, Толстой, сведя все искусство лишь к тому, что понятно простому народу, превосходно выполнил одну свою задачу — разоблачение эстетских вывертов, но от правды в более широком смысле оказался до ужаса далеко. Сущность искусства — в общении сердец. Верно. Но так же, как человеческой природе нельзя сказать: «Будь такой-то или такой-то», как нельзя сказать волнам человеческого понимания: «До сих пор и не дальше», так же нельзя сказать этого искусству.

Всякий может нарисовать дерево, но немногие могут нарисовать его так, чтобы другие его узнали, а передать самую душу дерева может только один человек из миллиона. Если человек не способен перешагнуть через рампу к той или иной публике, никто, кроме него самого, не признает в нем художника. Но стоит ему установить подлинную связь между своим творением и восприятием других людей, и он уже производит искусство — пусть в

¹ Уильям Блейк (1757—1827). Перевод С. Маршака.

большинстве случаев и очень нехитрое. Об одном следует напоминать еще и еще: искусство черпает вдохновение из жизни, и существование его как искусства зависит от того, воздействует ли оно, рано или поздно, на других людей. Статуя, картина, книга, которая при полной к тому возможности не взволновала никого, кроме своего создателя, безусловно, не искусство. Из этого не следует, что художник должен подлаживаться к публике или стараться угодить кому бы то ни было, кроме самого себя; но если, угождая своему лучшему «я», он не сумеет угодить другим, будь то в прошлом, настоящем или будущем, значит, то, что он произвел, не искусство. Разумеется, достоинство художника измеряется не численностью его публики. Публика — это обычно лишь очень ограниченная группа в каждую данную эпоху. Толстой как будто забывает об этом и упускает из виду, как важно самое качество публики. Ибо если (как он признает) сущность искусства в том, чтобы связывать воедино сердца, ценность его может быть больше от того, что поначалу оно трогает и обогащает сердца не столько широкой публики, сколько других художников, — ведь через этих других художников оно расходится вдаль и вширь, кругами и волнами выражения. Искусство — всемирный путешественник, его влияние не знает государственных границ. Раскрывая сущность, лежащую под видимой каждому поверхностью и случайными обстоятельствами, погружаясь в окружающую природу и в природу человеческую и воссоздавая мир из почерпнутого там материала, оно одолевает десятки тысяч миль в пространстве, десятки тысяч лет во времени и все же находит отклик у тех, кто встречается его на этих далеких берегах. Искусство — единственное достояние всякой страны, которое обычно уважают и любят даже ее враги. Война — разрушитель, порождение той грани человеческой природы, что враждебна душевному богатству, — может на время парализовать деятельность художников, но может ли она сковать самый дух искусства или прекратить брожение творческого инстинкта? С незапамятных времен война была естественным состоянием человечества, однако наряду с войной процветало искусство, отражая чаяния и устремления человека и через бесчисленные выражения индивидуального ви́де-

ния и чувства собирая человеческую жизнь воедино, поскольку безличные эмоции передавались и передаются от сердца к сердцу путями незримыми, как пути ветра, несущего семена и пыльцу растений. Если б можно было увидеть эти несчетные хрупкие мостики, сотканные искусством, паутинки в росе, протянувшиеся над всей лужайкой жизни! Если б мы хоть на минуту могли их увидеть, унылое жужжание сомнений и отчаяния перестало бы смущать наш слух. В силах ли эта война сделать то, чего не сделали миллионы прежних войн? Да, она более грандиозна и кровава, но тем более сильную реакцию она вызовет. Даже если в западном мире будут уничтожены все произведения искусства и убиты все художники, неужели человеческая природа вернется в то животное состояние, из которого искусство в известной мере ее подняло? Нет. Искусство удержит все позиции, какие оно успело завоевать в душе человека.

Когда война кончится, люди обнаружат, что меньше всего изменилось искусство. Они увидят, что поубавилось денег, которые можно было бы на него тратить; что некоторые художники убиты; что с дерева облетели кое-какие засохшие листья, наросты и сухие ветки,— вот и все. Но самое дерево устоит—ветер войны, несущий злоеоние смерти, не отравит его и не погубит. Полезность искусства, вызывающая столько насмешек в эти дни страданий и крови, снова станет очевидна даже для насмешников еще до того, как затихнет грохот последнего взрыва. «Красота полезна»,— говорит Роден. О да, еще как полезна!

Кто знает, может быть, даже в разгар этого небывалого побоища будут созданы произведения искусства, которые по совокупности своего влияния на человечество перевесят и переживут совокупность последствий войны, как творения Еврипида, Шекспира, Леонардо, Бетховена и Толстого перевесили результаты войн Пелопонесской, шестнадцатого века, наполеоновских и Крымской. Война невыразимо трагична потому, что и без нее природа, дай ей только время, достигла бы тех же результатов, только по-иному. Всякая война—это очередной бунт древних инстинктов дикаря против медленного и постепенного очеловечивания животного, называемого человеком. Она исходит от беспокойных и так называе-

мых мужественных людей, для которых нестерпимо движение человечества по пути к взаимному пониманию, людей, нередко кощунственно провозглашающих свою веру в искусство, свою приверженность богу. И сейчас еще, видимо, достаточно кучке таких людей сойтись вместе и поиграть на страхах и патриотических чувствах широких масс, чтобы разжечь пожар на целом континенте. А к чему это ведет? Те из нас, кому доведется через тридцать лет оглянуться назад, на этот ураган смерти, горько посмеются, придя к выводу, что если бы войны и не было, в основном все в мире обстояло бы точно так же.

Говоря это, я далек от мысли отрицать первостепенную важность этой войны теперь, когда мы в нее вступили: Гуманизм и Демократия оказались внезапно ввергнуты в смертельную схватку со своими исконными врагами; и надо сделать так, чтобы исход этой схватки соответствовал медленному, но верному и всеобщему прогрессу человечества. Но если бы судьба оказалась милостивее и эта страшная война не обрушилась на цивилизацию, та же победа была бы со временем одержана другими путями. В том-то и состоит ирония. Ибо, независимо от войн, будущее, безусловно, за гуманизмом.

Однако у искусства нет оснований унывать, а у художников—опускать руки. Они служат будущему не меньше, а больше, чем служили прошлому; они верно служат и настоящему, потому что должны сохранять свое умение и острый глаз в предвидении того времени, когда их снова начнут ценить. Подлинно прекрасная картина — это радость, которая когда-нибудь будет волновать сердца, даже если сейчас картину эту не продать и нельзя будет продать еще несколько лет после войны; красота остается «выражением того лучшего, что есть в человеке», хотя сейчас земля и пропитана кровью.

Русский поэт Сологуб, говоря недавно о будущем искусства, как будто выразил мнение, что после войны искусство отойдет от путей реализма; а реалистов он определяет как «людей, описывающих жизнь с позиций материального удовлетворения». Я лично совсем не согласен с таким определением, но спорить о словах бессмысленно. В терминологии, относящейся к искусству,

царит такая путаница, что лучше всего выкинуть из головы всякие термины и, рассуждая о том, в какие формы должно вылиться искусство, уходить глубже, к критерию общения между сердцами. Важно одно—облекать видение, воображение, чувства в такую одежду, которая позволит другим сердцам полнее всего воспринять их; чем проще форма, чем яснее и общедоступней, тем лучше; вот и все, что можно сказать на эту тему. Искать для вымысла одежд усложненных, изощренных, вычурных, значит, лишь мешать восприятию и ставить под угрозу общение; художники, занимающиеся такими поисками, обычно не слишком значительны. Величие Блейка — это величие сравнительно простых его стихов. Впрочем, делать вид, будто люди более ребячливы, чем они есть на самом деле, в такой же мере аффектация, как и делать вид, будто все они обладают утонченностью Роберта Браунинга. Если кругозор художника широк, воображение следует правде, а чувства горячи, тогда, чем более простую и доступную форму он выберет, тем шире отклик найдет, тем глубже затронет сердца, тем ценнее будет его искусство.

«Нам нужно настоящее искусство», — говорит господин Сологуб. Совершенно верно! В произведении искусства нужно естественное, невымученное соответствие между замыслом и формой, содержанием и духом, так чтобы мы, не отвлекаясь соображениями о натурализме, мистицизме, кубизме и прочих измах, могли просто волноваться, глубоко и бескорыстно, переданными нам чувствами художника. Сейчас мне приходят в голову два примера. В Лувре висит картина Жана Франсуа Милле «Весна». В ней художник путем простого отбора, насколько не отступая от нормального изображения жизни, исходя только из своего видения и чувства, воплотил самую суть весны, ее задумчивость и белые вспышки, ожидание перемен, ощущение половодья — все то, что с каждой весной снова и снова переживает каждое человеческое сердце, — воплотил и передал от своего зренья и сердца зрению и сердцу других людей.

А второй пример — те главы из романа «Отцы и дети» соотечественника господина Сологуба, Тургенева, в которых описана просто и реалистично смерть Базарова. Здесь тоже биение чувства самого общечеловеческого,

и передано оно так живо, что и не думаешь о том, как это сделано.

Это два случая того полного слияния формы и духа, которое только и требуется и которого только и можно требовать от искусства; остальное зависит от величия и силы чувств художника. После войны искусство, как и раньше, пойдет самыми разными путями; и время от времени какой-нибудь художник будет достигать истинного слияния формы и замысла, которое и есть красота.

Для Родена красота — это благоговение перед всем; что человек воспринимает своими духовными чувствами. Да, так оно и есть. И задача художника — склоняться ниц перед жизнью, пока ему не удастся вырвать ее сердце и слепить его со своим; от таких союзов рождаются драгоценные отпрыски, крылатые посланцы.

В Лувре висит одна картина Франчески, не в меру отреставрированная (есть мнение, что это не подлинный Франческа, но тогда не подлинники и те его картины, что висят в Национальной галерее в Лондоне, а их подлинность, сколько мне известно, не оспаривается), — Мадонна, сжав руки, стоит на коленях перед обнаженным Младенцем на фоне холмов и рек. Во всей ее фигуре — неизъяснимая, щемящая любовь и красота. Живописец уловил их своими духовными чувствами и, благоговей, написал то, что увидел, смешав с порывами собственного сердца. Кто однажды посмотрел на эту картину, тот всегда будет знать, что такое материнская любовь и красота. А художник уходит от нее вдохновленный и с новыми силами берется за долгие поиски.

Вот в чем полезность искусства. Оно, как свет, перебегаёт от человека к человеку, показывая высоты и глубины природы, зовет вперед или предостерегает от гибели и, будя чувства, открывает одно сердце другому. Искусство — жрица Гуманизма, оно укрепляет нашу слабеющую веру в возможность приблизиться к Незознаваемому, и так будет до тех пор, пока волны Творческого начала не пойдут на убыль, и планета наша остынет, и Человек, прожив свой день в полную меру своих сил, постепенно отойдет ко сну.

1915 г.

РУССКИЙ И АНГЛИЧАНИН¹

Еще много лет назад у меня сложилось убеждение, что русский и англичанин составляют как бы две дополняющие друг друга половины одного целого. То, чего недостает русскому, есть у англичанина, то, чего недостает англичанину, есть у русского. Произведения Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова — поразительная искренность и правдивость этих мастеров — позволили мне, думается, проникнуть в некоторые тайны русской души, так что русские, которых я встречал в жизни, кажутся мне более понятными, чем другие иностранцы. Для такого понимания у меня было то, что школьники называют шпаргалкой. Только дурак может утверждать, что он знает все: чужая душа, несомненно, темный лес; но русская душа представляется мне лесом менее темным, чем многие другие, — отчасти потому, что достоинства и недостатки русских так бросаются в глаза англичанину, отчасти же потому, что великие русские писатели, доставившие мне столько наслаждения, велики превыше всего своей правдивостью. Сопоставляя русских и англичан, лучше всего, пожалуй, и начать с вопроса о «правде». У англичанина есть то, что можно назвать страстью к букве правды: он хозяин своего слова... почти всегда; он не лжет... почти никогда; честность, по английской поговорке, — лучшая политика. Но самый дух правды он не особенно уважает. Он бес-

¹ Статья была напечатана на английском и русском языках в журнале «Россия XX века», выходившем в Англии во время первой мировой войны.

сознательно занимается самообманом, отказываясь видеть и слышать то, что может помешать ему «преуспеть». Им движет дух соревнования, он хочет не столько жить полной жизнью, не столько понять, сколько победить. А для того, чтобы победить, или, скажем, создать себе иллюзию победы, надо на многое старательно закрывать глаза.

Русский, сколько я понимаю, легче относится к букве правды, но упивается самопознанием и самораскрытием, любит исследовать глубины своих мыслей и чувств, даже самых мрачных. Русский — так мне по крайней мере представляется — жадно накидывается на жизнь, пьет чашу до дна, потом честно признает, что обнаружил на дне мутный осадок, и как-то мирится с этим разочарованием. Англичанин берет чашу осторожно и прихлебывает маленькими глотками, в твердой решимости растянуть удовольствие, не взмутить осадка и умереть, не добравшись до дна.

Это два полюса одного и того же инстинктивного желания — желания взять от жизни все возможное, которым спокон веков руководствуется человек. Русскому важно любой ценой познать всю полноту чувства и достичь предела понимания; англичанину важно сохранить иллюзию и побеждать жизнь до тех пор, пока в один прекрасный день его самого не победит смерть.

Чем объяснить это существенное различие, я не знаю, разве что несхожестью наших климатических и географических условий. Вы, русские, — дети необъятных равнин и лесов, сухого воздуха, резких смен холода и жары; мы, англичане, — дети моря, миниатюрных, пересеченных изгородами ландшафтов, тумана и средних температур. Как это ни парадоксально, мы с нашей сознательной слепотой к этому беспокойному фактору — правде, а может быть, и в силу этой слепоты, добились такой свободы слова и действий, какая вам еще не дана, хотя вы, конечно, далеко превзошли нас в стремлении все выворачивать наизнанку, чтобы докопаться до сути. Политическое устройство страны, как мне кажется, основано на национальном складе характера; и политическая свобода, которая годится для нас, старой нации с практическим и осторожным взглядом на жизнь, пока еще

была невозможна для вас, нации молодой и так щедро себя растрачивающей. Вы растете главным образом в молодости, у нас молодость — сравнительно вялая пора, а рост начинается в зрелости. Однако в политическом смысле вы все молоды, а мы все стары, и опрометчиво было бы предсказывать, к чему вы придете. Да и вообще таинственная игра политических сил, причин и следствий политики, выходит далеко за рамки этого краткого очерка.

Вас, русских, должны больше всего поражать в нас, а может быть, и вызывать вашу зависть, наш практический, здравый смысл, веками выработанное понимание того, чего в жизни можно достигнуть, и самых лучших и простых способов этого достигать. Нам же следовало бы завидовать вам потому, что вы «не от мира сего». Я вовсе не хочу сказать, что вы смотрите на этот мир как на преддверие другого мира,— это значило бы обвинить вас в меркантильности. Я имею в виду ваше естественное расположение к тому, чтобы жить без оглядки, жить чувствами. Неумение отдаться чувствам — наш большой недостаток. Сумеете ли вы, в результате нынешнего нашего сближения, немного заразиться нашим здравым смыслом, а мы — вашим «не от мира сего» — в этом весь вопрос. И я бы ответил на него так: в искусстве мы можем позаимствовать кое-что у вас; в жизни вы можете позаимствовать кое-что у нас. Ваша литература, во всяком случае за последние два десятилетия, сильно повлияла на нашу. Русская проза ваших мастеров — это самая мощная животворная струя в море современной литературы, струя более мощная, осмелюсь утверждать, чем любая из тех, какие прослеживает в своем монументальном труде Георг Брандес. Ваши писатели внесли в художественную литературу — на мой взгляд, из всех областей литературы самую важную — прямо в изображение увиденного, искренность, удивительную для всех западных стран, особенно же удивительную и драгоценную для нас — наименее искренней из наций. Это свойство ваших писателей, как видно, глубоко национальное, ибо даже Тургеневу с его высоким профессиональным мастерством оно присуще в такой же мере, как его менее изощренным собратьям. Это, несомненно, одно из проявлений вашей способности глу-

боко окунаться в море опыта и переживаний, самозабвенно и страстно отдаваться поискам правды.

У тех из ваших современных писателей, которых я читал — у Куприна, Горького и некоторых других, — я тоже с радостью отметил эту особую способность показывать жизнь, окрашивая ее — но не затемняя — своим личным мироощущением, так что впечатление получается такое, словно между тобой и жизнью нет печатного текста. Утверждая, что вы оказали глубокое влияние на нашу литературу, я не хочу сказать, что мы, подобно вам, уже восторжествовали над этим промежуточным звеном — печатным текстом — или что наш душевный склад уподобился вашему; я хочу сказать, что некоторые из нас заразились стремлением видеть и изображать правду и отрешиться от морализирования, которое с незапамятных времен проклятием тяготело над английским искусством. Другими словами, ваше стремление понять несколько умерило наше стремление достигнуть. В вашей литературе нас особенно пленяет правдивость, глубокая и всеобъемлющая терпимость. Насколько мне известно, вас в нашей литературе особенно привлекает здравомыслие и утверждающая сила, то есть то, что для вас непривычно и ново. Смею надеяться, что вы не заразитесь этим от нас; что никакое сближение между нами не замутит духовной и умственной честности ваших писателей, не лишит их искренности. Если вы восхищаетесь нашей более энергичной литературой, ее насыщенными сюжетами, ее позицией «К черту психологию!», то, прошу вас, для вашего же блага, восхищайтесь издали, не давайте ей коснуться вас слишком близко! Не воображайте, что, если вам хочется привить русской душе практичность, действенность, методичность, вы можете позволить себе шутить шутки со своей литературой. В этой области вам ничего от нас не нужно, вы можете спокойно довольствоваться той лучшей долей, которая у вас уже есть. Тут мы должны заимствовать от вас, должны по возможности научиться подобно вам окунаться в жизнь и воссоздавать ее, ничего не навязывая читателю от себя, кроме той неуловимой личной окраски, которая придает каждому произведению искусства его неповторимо индивидуальное свойство. Даже если вашей литературе в последнее время недостает сдержан-

ности, вы можете поучиться ей у ваших же старых мастеров лучше, нежели у нас; ибо наша сдержанность в искусстве — это либо поверхностность, либо ханжеское наследие пуританства. Сдержанность в жизни, в поведении — иное дело. Тут вам, пожалуй, есть чему поучиться у нас, ведь мы непревзойденные мастера по части того, чтобы держать свои чувства в узде.

В вопросах поведения мы, можно сказать, старше вас; думается, в этом отношении мы больше походили на вас в дни Елизаветы, триста лет тому назад. Люди, с кем бы они ни общались, не становятся моложе. И если в будущем, в результате нашего нынешнего боевого содружества, нам доведется расширить наши торговые и общественные связи, я думаю, что ваши обычаи и нравы, а может быть, и ваши социальные и политические взгляды скорее поддадутся нашему влиянию, чем наоборот. Повторяю, нам есть чему поучиться у вас в искусстве, вам есть чему поучиться у нас в жизни.

Обычно взаимной симпатией проникаются друг к другу люди либо очень схожие между собой, либо очень несхожие. Мне говорили, что наши солдаты как нельзя лучше ладят с вашими. Но когда война кончится, общаться между собой будут не военные, а штатские — деловые люди и туристы. Нельзя ожидать, что мы, если не считать редких исключений в той и другой стране, до конца поймем друг друга, а тем более станем одинаково думать и поступать. Наша взаимная терпимость будет во многом зависеть от признания того положения, с которого я начал: что мы как бы две половины единого целого, совершенно между собой не схожие; мы дополняем друг друга, мы совместимы, но отнюдь не взаимозаменяемы. И вы и мы, хоть и очень по-разному, весьма существенные разновидности человечества, очень замкнутые в себе, очень отграниченные от всего нерусского и неанглийского; очень неизменные и непроницаемые для посторонних влияний. Отнять у англичанина его английские качества почти невозможно, и так же трудно, вероятно, отнять русские качества у русского. Англичанин за границей как будто рассчитывает, что аборигены будут смотреть на все его глазами, и даже склонен сердиться, когда этого не происходит! Нам следует остерегаться этой своей черты: не глупо ли ожидать то-

ждества от полной себе противоположности! Нам следует усвоить, что в России время и пространство не имеют того значения, какое они имеют у нас, что жить для русских важнее, чем овладевать жизнью, что чувства там не стесняют, а дают им полную волю; что в России встречаются не только крайности жары и холода, но и крайности скепсиса и веры, интеллектуальной тонкости и простодушия; что правда для вас имеет совсем другое значение; что нравы у вас иные, а то, что мы называем «хорошим тоном», для вас бессмысленная условность. И поскольку англичанин учится туго и характер у него неважный, мы просим вас проявить терпение.

Вам, со своей стороны, предстоит узнать, что скрывать свои чувства еще не значит не иметь сердца; что под чопорной деловитостью англичанина нередко прячется и душевное тепло и душевная тонкость, что он и не так глуп и не так хитер, как порою кажется. Я не жду слишком многого от духовного общения между нашими двумя народами, ибо не очень верю в восприимчивость и сочувственное любопытство рядового человека, будь то англичанин или русский. Тон будут задавать интересы торговые и политические. И все же я думаю, что те русские и те англичане, которые умеют видеть, найдут друг в друге много привлекательного и интересного и что это обогатит их ум и сердце.

1916 г.

ДЕТИ И ВОЙНА

(Открытое письмо)

Все мы были когда-то детьми, но те, кто вершит судьбы политики, едва ли помнят об этом; и сейчас, накануне конференции по разоружению, я считаю своим долгом сказать о том, что значит война для детей, и выступить от их имени, поскольку сами они не могут этого сделать. Я не буду перегружать это открытое письмо статистикой, но прилагаю к нему краткую — очень краткую — сводку тех различных последствий, какие имела для детей Мировая война.

Если в мирное время ребенка подвергают надругательству или убивают, вся страна приходит в волнение. Во время войны подвергаются надругательству и гибнут миллионы детей — по-иному, но не менее ужасно. На них обрушиваются голод, эпидемии, увечья, сиротство, смерть от болезней, ядовитых газов и бомб. Лишенные отцовского надзора, многие из них становятся малолетними преступниками. Истощенные, физически и нравственно ослабленные, они раньше времени бросают школу и идут работать на военные заводы. Последствия войны они чувствуют на себе еще много лет спустя, иногда всю свою жизнь. Счастливы те сотни тысяч, которые родились бы, не будь войны, но не успели. И, вероятно, страдания детей в прошлых войнах — ничто по сравнению с тем, что их ожидает в войнах будущего, когда жизнь целой страны возможно будет парализовать нападением с воздуха на густонаселенные города и уни-

чтожением заводов и морских портов. Война, как ни посмотри на нее,— всегда безумие. Она не достигает никаких реальных целей; не дает здорового и прочного удовлетворения национальной чести, не приносит подлинных экономических выгод, даже не укрепляет характер страданиями, ибо если вначале она и может оказать очистительное действие, то очень скоро уже становится затяжной болезнью. Но если посмотреть на войну с точки зрения детей, являющих собой беспомощное будущее страны, отданное во власть наглому и расточительному настоящему,— война сразу предстанет перед нами как чудовище с прожорливой, окровавленной пастью, убивающее и калечащее без жалости и без разбора,— тот самый свирепый дракон, каким пугают детей. Допуская войну, мы отдаем в заклад свое будущее — не только в том смысле, как это стало нам сейчас до ужаса ясно в связи с нашими экономическими затруднениями, но и способом гораздо более тонким и пагубным — частично уничтожая и целиком портя урожай, который мы посеяли для завтрашнего дня и большую часть которого нам не доведется собрать в житницы.

Пусть каждый из тех, кто скоро соберется на конференцию с целью, как они объявили, рассмотреть, в какой степени возможно свести к минимуму вероятность и размеры будущей войны, задаст себе вопрос: «Если бы меня подстрекали к тому, чтобы надругаться над ребенком или убить ребенка, что я сказал бы такому подстрекателю, как поступил бы с ним?» И пусть они помнят, что здоровье, моральное благополучие и жизнь миллионов детей, поколение за поколением, зависят от того, насколько им, этим людям, удастся уберечь будущее от разнузданных безумств настоящего и от страшных жестокостей и унижений прошлого.

1920 г.

К ЧЕМУ МЫ ПРИШЛИ

Цивилизация? Что это такое? Богатое, научно организованное общество? Или всеобщая гуманность? Не ища во что бы то ни стало единого этического определения, мы все же можем признать, что самым цивилизованным государством будет то, в котором (пропорционально его населению) больше всего счастливых, здоровых, разумных и гуманных граждан. Если судить по этим критериям, достигала ли когда-нибудь цивилизация высокого уровня? Едва ли: перед войной уровень этот, во всяком случае, был достаточно низок, а сейчас он еще ниже. Великая война не обрушилась на невинное человечество как гром среди ясного неба: это было возмездие, старательно взращенное в недрах современной цивилизации; естественный, исподволь достигнутый результат грубой системы конкуренции, доведенной почти до предела,— кульминация личных, политических и межнациональных распрей, которые, начиная со средних веков, неуклонно к этому вели.

Развитие человечества направляется не волей его и не его верованиями, но воздействием великих и, так сказать, случайных открытий на человеческую природу. Открытие и использование языка, огня, хлеба, лодки, металлов, пороха, книгопечатания, угля, пара, электричества, летательных аппаратов (использование атомной энергии еще впереди), воздействуя на человеческую природу, которая, по существу, неизменна, определяет формы человеческой жизни, а религии, принципы, личности, идеи и политические курсы лишь служат этому удоб-

ной и приятной маскировкой. После открытия и использования пороха и книгопечатания века на некоторое время приостановили свой бег, но затем появился уголь, пар и современные машины, и начался быстрый рост промышленности, который и привел мир к его теперешнему состоянию.

По сравнению с ролью этих открытий и их как будто бы и незаметным влиянием на жизнь человека влияние политических идей представляется незначительным. Ибо теории не предшествуют материальным условиям, не вызывают их, а возникают из них как их следствие. Так, например, английский либерализм не породил Свободу Торговли (это практичное дитя Богатства и Недальновидности); он даже не ввел в обиход теорию «невмешательства». Он лишь увенчал туманным ореолом давно признанное состояние общества, в котором промышленность возобладала над сельским хозяйством. Прусская «воля к власти» не вызвала, а лишь увенчала терниями нарастающую волну промышленности и богатства Германии. И нельзя сказать, что выдающиеся личности, подобные Гладстону и Бисмарку, возвеличивают свою эпоху: скорее сама эпоха выдвигает и возвеличивает их.

Это одна из двух простейших истин, с которыми нужно считаться, когда думаешь о будущем цивилизации; вторая — уже упомянутая неизменность человеческой природы. То обстоятельство, что в наше время люди более тонки, честолюбивы и гуманны, чем первобытный человек, не так уж важно для созданий, которые живут на свете каких-нибудь семьдесят лет и по своему духовному облику в общем не выше, а по физическому развитию, вероятно, ниже, чем древние греки и римляне.

Такой катаклизм, как Мировая война, всех нас заставил оглянуться на пройденный путь; и сейчас мы на сто ладов, с какой-то автоматической деловитостью, рассуждаем о том, к чему мы пришли, — очевидно, с похвальным намерением прийти к чему-то иному. Мы будем и дальше пытаться понять, в чем мы потерпели неудачу и что нам теперь делать, а поступать, вероятно, будем так, как нам велят наши открытия и изобретения, воздействующие на общую нашу натуру. Однако столь фа-

талистическое соображение должно не обескуражить нас, а побудить к новым усилиям. Ибо не будем тешить себя иллюзиями: человечество, не понимающее, какую власть забрали над ним его же открытия, тем более бессильно против этой власти. Не стоит также закрывать глаза на то, что мы собой представляем. Задумайтесь на минуту над этой диковинной смесью, что зовется общечеловеческой природой. Простой человек, превосходящий своих эксплуататоров, хозяев и пастырей выносливостью, выдержкой, терпением и юмором, уступает им в способности воображать, рассуждать, придумывать, соперничать и командовать. Порожденные конкуренцией и интригами свойства этих вождей общества — политиков, генералов, капитанов промышленности и эксплуататоров, газетных магнатов, рабочих лидеров, юристов, священников и писателей — вместе с простыми качествами людей, которых они за собою ведут, и образуют ту амальгаму, что зовется общечеловеческой природой. Но как ведущим, так и ведомым почти одинаково недостает чистого альтруизма, забвения собственных интересов; так что, в общем, человеческая природа — это нечто эгоистичное, напряженное, выносливое, терпеливое, недальновидное, воинственное и честолюбивое — как раз тот материал, какому впору растеряться от ужаса перед собственными открытиями и изобретениями.

Война ни на йоту не изменила человеческую природу, число же наших неосвоенных открытий и изобретений она не уменьшила, а скорее увеличила: она способствовала развитию орудий уничтожения и летательных аппаратов, будь то для целей торговли или войны, она развила всеобщую изобретательность и умножила возможности материального производства. Что еще она сделала? Зачеркнула старые границы и проблемы и породила множество новых. Смела несколько самодержавных государств и создала другие, столь же чреватые тиранией меньшинства над большинством. Революционизировала Россию, вероятно — навсегда; и до такой степени истощила молодежь и богатство Европы, что подлинный центр циклона переместился на Тихий океан и в три не обескровленные войною страны, расположенные к востоку и к западу от него. Раздула понятие нации и в общем сузила понятие личной свободы.

Война выдвинула теорию объединения наций, которая, увы, так и останется прекрасной теорией, если только державы, занимающие сейчас первые места в мире, к своему великому удивлению, не проникнутся внезапно альтруизмом. Она сильно продвинула вперед женскую эмансипацию и ослабила семейные узы. Она укрепила надежды и повысила потребности «рабочих» — термин, предполагающий монополию, в природе не существующую. Развив авиацию, она свела и сухопутную и морскую войну к азартной игре в воздухе. Она показала, что каждой стране необходимо обеспечить себя собственными продуктами питания, не вызвав, впрочем, в Англии ни малейшего желания этим заниматься. И, насколько можно судить, она ни в чем не изменила единственный идеал, принятый всеми современными государствами, — максимальное производство богатства на квадратную милю.

А между тем нечего надеяться, что будущее цивилизации окажется лучше, чем ее прошлое и настоящее, если вместо этого обанкротившегося идеала не принять другой — максимальное производство здоровья и счастья (что бы мы ни говорили и ни думали, разница между этими двумя идеалами есть). Судя по речам некоторых лидеров, «рабочие» стремятся к такой замене. Но сомнительно, многие ли из них доросли до объективного понимания этой необходимости или правильно оценили корни зла.

Приведем один пример: в Англии сейчас много кричат о добыче угля, национализации шахт и т. п. Лишь изредка какой-нибудь глас вопиет в пустыне о необходимости сосредоточить внимание страны на том, чтобы обуздывать реки и строить гидроэлектростанции, разрабатывать залежи нефти или обращать уголь в ту же нефть. Уголь — это проклятие, нужно искать любого пути обойтись без него. Ибо, хотя сам по себе он нужен, дым от него сгубил больше здоровья и счастья, чем любое другое из наших великих открытий. И даже если бы уголь не давал дыма, все равно его нужно добывать, а значит, миллионы людей в нашем прекрасном мире должны работать под землей. Нам кричат, что от добычи угля зависят наши возможности экспорта — возможность платить за пищу, которую мы вынуждены ввозить.

И лишь робким шепотом нам говорят, что вместо этого мы сами должны растить свою пищу,— а это возможно в гораздо более широких размерах, чем сейчас,— и таким образом сокращать свою потребность в угле. Откуда такой фатализм в отношении угля? Да просто мы не можем выбраться из привычной колеи, освоенное открытие действует на человеческую природу: мы знаем, что у нас имеются огромные неразработанные залежи угля; многие из нас владеют угольными шахтами или акциями угольных компаний; очень многие зарабатывают на жизнь добычей угля; наши правители зависят от голосов общества, поклоняющегося углю; мы жаждем быстрого обогащения; короче говоря, все мы люди, каждый из нас предпочитает собственную непосредственную выгоду тому, что в будущем принесет пользу нам всем. Это конкретный пример того, почему будущее цивилизации достаточно мрачно.

Всех нас мчит вперед в колеснице промышленности, а правит ею слепой возница, наш дух конкуренции. Это можно сказать не только об Англии. Америка и Япония быстро следуют по нашему пути, превращаются в страны, задущенные городами, помешанные на промышленности. Следующая серьезная война, вероятно, вспыхнет между ними. Даже китайцы заразились западной идеей — добиваться максимального богатства на квадратную милю. Их «передовые» люди говорят: «Мы должны перенять западные методы, иначе мы не можем конкурировать с западной промышленностью». Индустриализация без двух основных гарантий — отечественного производства продуктов питания в каждой стране и переключения духа конкуренции на духовные ценности, на искусство, на спорт и путешествия — это неосторожный курс, при котором цивилизация не может надеяться на движение вперед. Пока идеалом каждой страны остается, грубо говоря, максимальное производство богатства на квадратную милю, никакие планы экономии, жилищного строительства, здравоохранения, просвещения, промышленного развития и мало ли чего еще не предотвратят гибели, заложенной в самом прогрессе этих стран.

Нации, как и отдельные люди, могут быть здоровыми и счастливыми даже при относительной бедности. В

крайнем случае лучше уж научным способом ограничить рост населения, нежели мчаться очертя голову по этому опасному пути. Богатство не цель, а средство к достижению цели. Его пробовали приравнять к здоровью и счастью, но эта попытка бесславно провалилась и привела нас к войне.

Если помнить, что человеческая природа не меняется, что от изобретений никуда не денешься и что почти всегда люди учатся на опыте слишком поздно — *si jeunesse savait, si vieillesse pouvait*¹, можно заключить, что цивилизация зашла в тупик. Когда государственные деятели уверяют нас, что скверный старый мир непременно уйдет в прошлое, мы, естественно, задаемся вопросом, с чего бы новому миру быть лучше старого, если только не изменится самый дух прогресса. Так что же нам делать — развести руками и сказать: «Мы всего только люди; мы делаем, что можем, и ведь как-никак в некоторых отношениях мир стал лучше, чем был, даже если мы и несемся к катастрофе, более страшной, чем та, которую мы только что пережили»? Или стоит все же хотя бы попытаться выйти из тупика?

Если путь к спасению есть, то состоит он в следующем: взять за идеал для всего мира не богатство, как сейчас, а здоровье и счастье; и средством к достижению этого нового идеала сделать *воспитание*, начиная с младенческого возраста. Для этого государства должны изменить весь дух воспитания, иными словами, ввести в него религию: не прежние формальные религиозные учения, но гуманную религию служения общему благу, религию общественной чести, которая всеобщее здоровье и счастье ставит на первое место, а собственное богатство — на второе.

Любопытно и утешительно то обстоятельство, что общительность, которую развили в нынешних нациях, быстрота современных средств передвижения и непрерывное общение, уже подспудно формирует эту новую гуманистическую религию. Но этой тенденции еще не хватает средств, чтобы полностью проявиться. В наше время основная цель воспитания и образования —

¹ Если б молодость знала, если б старость могла (франц. поговорка).

это материальный успех с некоторой пристойной приправой в виде воспитания моральных качеств. А должно быть наоборот. Детей нужно обучать думать, в материальных вопросах, в первую очередь о других; им нужно внушать убеждение, что, облегчая жизнь всем, они тем самым и себе прокладывают путь к здоровью и счастью. Важно, в каком духе нас обучают учиться. Со школьных лет нужно подавлять, а не укреплять, как это делается сейчас, врожденный эгоизм и стяжательство. А на это способны лишь такие учителя, которые сами вдохновлены идеалом служения общему благу. Поэтому первое, что нужно цивилизации, это подобрать и подготовить таких учителей и воспитателей.

Профессия педагога достойна уважения превыше всякой другой; направление ее идеалов, критериев и программ, подбор самих педагогов следует поручать наиболее просвещенным и гуманным людям в стране — не просто способным администраторам или ученым, но мужчинам и женщинам, на практике доказавшим, что они способны подняться до альтруистического подхода к жизни общества. На это великое, самое основное дело — на правильное воспитание и образование молодежи — государства должны тратить деньги и усилия так же щедро, как они до сих пор тратили их на взаимное ослабление и уничтожение.

Никакое экономическое производство, никакое развитие науки, никакие открытия и изобретения не спасут нас, если они ведутся в духе безудержной конкуренции. Торговля сама по себе не благо, поскольку она неизбежно воспитывает в человеке черствость и эгоизм. Вместо духа коммерции нам нужен некий всемирный спортивный дух, основа того настроения, при котором наряду с самым усиленным соревнованием в области духовной — в архитектуре, музыке, литературе, в тех областях науки, что служат здоровью и счастью, — а также с соревнованием в области спорта и путешествий люди согласились бы объединить свои производственные и промышленные усилия и поставить на первое место материальное благоденствие всего человечества, а на второе — свое собственное; и нужно, чтобы такое настроение отмело и подчинило себе все узконациональные предрассудки и симпатии.

Истинное, высокое значение Лиги Наций состоит в том, что она, впервые за всю историю международных отношений, может создать предпосылки для такого настроения. Ибо нужно честно признать, что если этих предпосылок не будет в международных делах, нет надежды, что таким настроением проникнутся отдельные нации.

Итак, если Лиге Наций не удастся склонить весь мир к этому новому принципу поведения, цивилизация будет по-прежнему развиваться только на страницах газет и в речах государственных деятелей всех стран, на самом же деле все будут быстро, хотя, может, и не сознавая этого, катиться к черту в пекло. Более того, в силу нашего слепого прогресса в применении орудий разрушения это неизбежно приведет нас к новой всемирной катастрофе, во много раз худшей, чем только что пережитая, и тогда те из нас, кто уцелеет, будут утешаться мыслью, что мы только люди и нельзя требовать от нас слишком многого.

1920 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЫСЛЬ

«Международный обмен мыслями — единственный путь к спасению мира».

Тем, кто до 1914 года верил в уважительное отношение человека к человеку, война и последовавший за нею мир принесли большое разочарование. Поглощенные своими гуманитарными профессиями, как правило, незнакомые с подлинной борьбой за существование, они были застигнуты врасплох. Остальные представители человечества особенного удивления не испытали: для них обставлять друг друга было повседневной практикой, и когда это приняло коллективные формы, ничто в их психологии не изменилось, это было ужасно... и естественно. Возможно, такой взгляд на человеческую жизнь не популярен, однако это правда. Обычно жизнь — это долгая борьба; успех одного есть неудача другого; сотрудничество и справедливость — только легкий покров для беспощадной конкуренции. О ничтожной кучке разочарованных не стоило бы и говорить, если бы не то обстоятельство, что именно они — нервы и голос общества. Их исторические труды, стихи, романы, пьесы, картины, трактаты, проповеди были выражением того, что мы зовем цивилизацией. А разочарованные философы, хоть они в какой-то мере оказываются ближе к правде жизни, в той же мере, пожалуй, утрачивают свою полезность для человечества. Нам едва ли нужны напоминания о правде, которая всегда при нас; скорее нам нужны непрестанные заверения в том, что правда могла бы быть — и при известном усилии может стать — менее горькой. Да, нельзя закрывать глаза на действитель-

ность, но все же сущность этической философии в том, чтобы вдохновлять.

Особенно достойно сожаления, что современная философия туманна и неряшлива, что искусство уходит от жизни, увлекаясь ничего не значащими приемами формы и цвета; что литература варится в собственном соку или буйствует без всякого удержу; наука больше занимается совершенствованием ядовитых газов, чем борьбой с дымом или исцелением от рака; религия норовит спрятать голову под крыло спиритизма; что, хоть об этом и не говорят открыто, вера в жизнь слабеет и убывает. Быть может, спасительной силой в нашем мире является спорт — над ним по-прежнему реет флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей стороне победа. Если дух честной игры, царящий в спорте, когда-нибудь возобладает в международных делах, звериная сила, которой там все сейчас подчинено, уползет прочь, и человеческая жизнь впервые выберется из джунглей.

Мир, если посмотреть на него без розовых очков, являет собой довольно-таки неприглядное зрелище. Под тонким покровом уважения к цивилизации, а иногда и без него, каждая страна, большая и малая, преследует свои цели — пытается отстроить собственный дом в сожженной деревне. Только страх перед еще худшим хаосом, еще более страшной смертью, еще более свирепой чумой заставляет государства соглашаться на такой компромисс, как мир. Можно ли надеяться на лучшее будущее?

«Международный обмен мыслями — единственный путь к спасению мира» — это слова Томаса Гарди, и слова столь справедливые, что стоит обозреть те средства для международного обмена мыслями, какие у нас имеются. «Постоянный международный суд»; «Лига Наций»; «Панамериканский конгресс»; несколько содружеств между теми или иными двумя нациями, не свободных от налета своекорыстия; эпизодические международные конференции по тому или иному вопросу; и такие организации, как Международный Ротарианский клуб, Международная федерация студентов и еще — Пен-клуб, международная ассоциация писателей, преследующая цели дружбы, но не ставящая себе никаких

политических задач. Вот, пожалуй, и все, и нельзя сказать, чтобы народы, населяющие землю, особенно считались с этими организациями. А между тем спасение мира, в котором мы все живем,— дело, казалось бы, немаловажное. Так почему же пренебрегают единственным существующим путем к спасению? Обосновывают это примерно так: «Жизнью людей всегда управляла и всегда будет управлять сила. В основе жизни лежит соперничество. Есть, правда, определенные замкнутые общины, где с помощью сотрудничества и справедливости удастся ослабить наиболее грубые формы преступности, но удастся лишь потому, что внутри такой общины общественное мнение представляет собою силу, которой отдельная преступная личность не может противостоять. Однако целые страны — это не замкнутые общины, поэтому там нет единого общественного мнения, а значит — нет силы, способной удержать отдельные нации от преступлений — если, к тому же, можно считать преступлением нарушение законов, которые нигде не записаны».

Таков, в общем, нынешний практический взгляд на вещи. Если он и дальше будет преобладать, миру нечего надеяться на спасение. «Почему? — возражает наш практик. — Такой взгляд существовал всегда, а мир живет и живет». Это верно. Однако за последние годы условия человеческого существования претерпели коренную перемену, до сих пор еще полностью не осознанную. *Наука разрушения сделала гигантский, ни с чем не сопоставимый шаг вперед.* Она развивается так быстро, что всякое безответственное утверждение национальных прав или интересов заметно приближает мир к краю пропасти. Нет сомнения в том, что силы разрушения быстро нагоняют силы созидания. В прежние времена, чтобы истощить страну, требовалась тридцатилетняя война; скоро станет возможно (а может, и сейчас уже возможно) истощить страну в одну неделю, разрушив ее крупнейшие города с воздуха. Покорение воздуха, с таким ликованием встреченное теми, кто не дает себе труда думать, может обернуться самым грозным событием в нашей истории просто потому, что мы не были к нему готовы и не сумели устоять против страшных соблазнов, которые оно в себе таило. Свидетельство тому — использование авиации в последней войне; еще яснее об

этом свидетельствует тупое нежелание напуганных наций взглянуть в лицо фактам и единодушно запретить химическую войну и использование авиации в военных целях. Никто не станет отрицать, что покорение воздуха — великое, удивительное достижение; никто не станет отрицать, что оно могло бы стать благотельным достижением, если бы государства это допустили. Но человечество, судя по всему, еще не достигло той степени порядочности, при которой ему можно было бы доверить столь притягательное и страшное оружие. Всем нам знаком такой довод: сделайте войну достаточно ужасной, и войны не будет. Но никто из нас в это не верит. Последняя война начисто опровергла этот довод. Уже сейчас люди мыслящие стали отождествлять гонку вооружений с соперничеством в воздухе. Через несколько лет только это и будет иметь значение. С помощью нашей науки мы создали чудовище, которое пожрет нас самих, если только мы путем международного обмена мыслями не создадим в противовес новым силам разрушения общественное мнение, столь сильное и единодушное, что ни одна страна не решится пойти против него.

На днях один известный сторонник Лиги Наций сказал: «Я не считаю нужным предоставить в распоряжение Лиги определенный контингент вооруженных сил. Такого контингента, который мог бы помешать одной из великих держав нарушить мир, она не могла бы содержать. Сила ее — в использовании общественного мнения. в том, чтобы быть рупором повсеместного осуждения потенциальной агрессии, где бы она ни проявилась».

Предание гласности всех военных приготовлений и военных действий любой страны, обнародование разрушительных изобретений и орудий, безусловно, содействовало бы нашему спасению больше, чем какие бы то ни было уставы. Вот если бы химики всего мира и инженеры всего мира собирались в духе дружбы на ежегодные конференции ради спасения человечества! Если бы они совместно постановили, что совершенствовать орудия разрушения для использования их правительствами — значит совершать преступление, а получать за это деньги — значит предавать человечество! Если бы наладить такой вот международный обмен мыслями, то-

гда поистине мы слышали бы шуршание спасительных крыл. А, собственно, почему бы и нет? В наше время не правительства должны ответить на вопрос «Что суждено человечеству — счастье или горе, рост или гибель?». Правительства — это лишь конкурирующие между собою агенты конкурирующих частей человечества. Дайте им в руки разрушение, и они используют его в интересах своих хозяев, так же, как используют и даже вдохновляют прессу — этот духовный ядовитый газ. Истинный ключ к будущему — в руках тех, кто производит средства разрушения. Неужели ученые (химики, изобретатели, инженеры), работающие на разрушение, в первую очередь американцы, англичане, французы, немцы, японцы, русские, а потом уже люди? Что должно их больше волновать: интересы собственной страны или интересы всего человечества? Сейчас, когда будущее человечества впервые оказалось в их руках, это главный вопрос, на который они должны ответить. Современная наука так стремительно шагнула вперед, что центр ответственности переместился. Как никогда раньше, ответственность несет наука, наука и... финансы. И тут международный обмен мыслями тоже приобрел первостепенное значение. Так, если бы финансисты всего мира установили постоянный, не от случая к случаю, обмен мыслями, то в свете своих знаний, под нажимом своих затруднений, в целях взаимной помощи они, безусловно, могли бы додуматься до реального и надежного способа улучшить экономические условия жизни.

На такое предложение наш практик ответит: «Чепуха! Изобретатели, химики, инженеры, финансисты — все хотят есть, и так же, как и прочие, склонны верить каждый в свою страну. На первом месте для них собственный карман и та страна, которая этот карман наполняет». Да, суть дела именно в этом. Если ни ученые, ни финансисты не пожелают мыслить в международном масштабе, то, видимо, ничего не останется, как замкнуться в своем разочаровании и ждать того, что не заставит себя ждать долго, — не полного конца, но, скажем, примерно такого положения, какое совсем недавно наблюдалось в пораженных голодом областях России.

Пессимистом быть легко, и легко поддаться дешевому оптимизму; гораздо труднее найти средний путь меж-

ду тем и другим. У нас еще есть шанс спасти и улучшить нашу цивилизацию, какая она ни на есть; но шанс этот зависит от того, насколько мы сумеем в ближайшие годы наладить международный обмен мыслями. Некоторые люди отождествляют самое слово «международный» с социализмом, даже с коммунизмом. Однако в том значении, в каком это слово употреблено здесь, оно не имеет ничего общего с экономическими теориями, классовыми барьерами или политическими задачами. Международный обмен мыслями, который только и может нас спасти,— это обмен мыслями между специалистами — между государственными деятелями всех стран; юристами всех стран; учеными, финансистами, писателями всех стран. У государственных деятелей и юристов уже есть организации для такого обмена мыслями (хотя используются они далеко не достаточно); а вот ученые (изобретатели, химики, инженеры) и финансисты, то есть те две категории специалистов, в чьих руках главным образом находится будущее мира, до сих пор не имеют сколько-нибудь удовлетворительной международной организации и до сих пор еще не понимают, какая ответственность за судьбы мира легла на их плечи. Если бы они осознали всю меру этой ответственности, битва за жизнь была бы уже наполовину выиграна.

Что касается международного обмена мыслями в нашей собственной профессии, то писатели как таковые могут способствовать наступлению лучшего будущего тремя способами. Они могут оказывать дружеское гостеприимство писателям других стран — для этого существует международный Пен-клуб с его многочисленными отделениями. Они могут признать и внедрять принцип, что литературные произведения, как, впрочем, и все произведения искусства, принадлежат всему человечеству, а не только стране, в которой они создаются; что, к примеру, перестать во время войны с Германией читать немецкую поэзию, слушать немецкую музыку, смотреть на немецкие картины значило допустить нелепую и пагубную ошибку, которая не должна повториться. Всякое подлинное произведение искусства индивидуально и национально по своим корням и фактуре и в то же время воздействует на любого человека любой страны. Искусство — одно из великих связующих звеньев (может быть,

единственное великое связующее звено) между различными породами людей, и сбрасывать со счетов его очеловечивающее влияние во время войны значит распяться в том, что мы всё еще обезьяны и тигры. Только писатели могут распространять эту веру, только писатели могут во время межнациональных раздоров держать открытой дверь для искусства; и их первейший долг — оказывать человечеству эту услугу.

Третий и самый важный способ, каким писатель может способствовать наступлению лучшего будущего, можно выразить простыми словами: честная игра. Сила прессы легко становится в один ряд с силой науки и финансов. Если бы пресса в целом всегда правдиво освещала события; если бы она не пожелала безотказно служить партийным или патриотическим страстям; если бы вела игру так, как ведутся игры спортивные, — насколько это очистило бы атмосферу! В настоящее время — разумеется, есть и немало похвальных исключений — пресса всех стран ведет игру по собственным правилам, весьма далеким от тех, что приняты в спорте.

Прессу обслуживает целая армия писателей, у огромного большинства которых личный критерий честной игры выше, чем у прессы в целом. Я уверен, что они сами первыми бы это признали. Добиться, чтобы пресса повысила свой критерий честной игры в политических и международных вопросах, могут только отдельные писатели, из которых и состоит пресса. И добиться этого можно будет только тогда, когда редакторы и журналисты примут за правило обмениваться мыслями в международном масштабе, обогащать свой ум и сердце новыми воззрениями, помнить, что они должны относиться к другим так, как хотели бы, чтобы другие относились к ним. Словом, только тогда, когда они начнут поступать так, как большинство из них поступало бы в качестве частных лиц, некие всемирные миазмы перестанут порождать международные лихорадки и горячки. В частной жизни мы обычно не считаем, что цель оправдывает средства. Почему же в жизни прессы должно быть иначе, почему так часто принимают сообщения без должной проверки, если они подтверждают то или иное мнение, и отвергают без должной проверки, если они этому мнению противоречат? Почему так часто замалчивают

точку зрения другой стороны? и т. д. и т. д. Пресса имеет большую силу и декларирует высокие идеалы; у нее много достоинств; она приносит большую пользу; но она приносит еще больше вреда в тех случаях, когда по каким бы то ни было причинам отступает от правды или от правил честной игры.

Итак, правительства и народы перестали править миром. Наша судьба — в руках трех великих сил: науки, финансов и прессы. Под ярким покровом политики эти три великие силы тайно определяют ход жизни наций; и трудно надеяться на лучшее будущее, если силы эти не станут более человечными и не примут международного характера. В каждой из перечисленных профессий, несомненно, есть люди, убежденные в этом так же твердо, как автор этих строк. На них — вся надежда мира, надежда на то, что они сумеют учредить своего рода опеку над человечеством — создать новый тройственный союз Науки, Финансов и Прессы и поставить его на службу новой вере. Нации в целом никогда не подадут друг другу руки, никогда не объединят своих интересов, никогда не поймут точку зрения друг друга. У выдающихся специалистов всех стран больше шансов найти общий язык; у них общая отправная точка — их специальность — и более острый глаз. Сейчас их разъединяет слишком узкий патриотизм и, грубо говоря, деньги. Изобретателям нужно как-то существовать; финансистам нужно жить; а газеты должны приносить доход. Но какая ирония! Хотя наука, финансы и пресса как будто в том и сомневаются, спасение человечества — более прибыльное дело, чем его уничтожение, и сулит бóльшие и более постоянные доходы для этих «трех сословий». А между тем, если не будет свободного международного обмена мыслями, мы можем не сомневаться, что они по-прежнему будут добывать свой хлеб насущный на чисто национальной основе, а если так, то род человеческий вскоре прекратит свое существование, или, если и не прекратит вовсе, то, во всяком случае, о нем можно будет сказать, как о старухе у Анатоля Франса: «Он еще жив, но живет еле-еле!»

1923 г.

СИЛУЭТЫ ШЕСТИ ПИСАТЕЛЕЙ

Первым я хочу набросать силуэт Чарлза Диккенса, который родился в 1812 году в Лондоне и умер в Гедсхилле в 1870-м. В те в некотором роде великие годы раннего викторианства английские романисты, хотя и горячо возмущались проявлениями социальной несправедливости, все же почитали условности, мораль, обычаи, идеалы и установления своего времени; они всем сердцем верили, что жить хорошо, общепринятые ценности считали абсолютными и не воспринимали действительность иронически, как трагикомедию. Они не видели снисходительной усмешки на лице Судьбы. В их творениях ощущается почти величественная непосредственность. Таков был и Диккенс, подлинный сын своего века.

В сравнении с Диккенсом Шекспир, живший за двести пятьдесят лет до него, был куда более склонен к самоанализу и размышлениям.

Диккенс—писатель чрезвычайно безыскусственный и потому всегда отдавался на волю своего таланта; замечательный мастер веселых нелепостей и превосходный, необычайной силы стилист. Он был прирожденным рассказчиком и удивительно тонко понимал человеческую натуру и человеческие характеры; в этом великом художнике было какое-то озорство, как у школьника на рождественских каникулах.

Диккенс был противником всякой фальши, страстно ненавидел жестокость, нетерпимость и самодовольную

тупость и на протяжении всей своей литературной деятельности непрерывно атаковал социальное зло, которое встречал в жизни. Диккенс бичевал бюрократизм, лицемерие, злоупотребление властью. Но при всей склонности к сатире он прежде всего приковывает внимание к сюжету и характерам. Самобытный, стихийный и богатый талант его отмечен страстной человечностью и широтой взгляда. «Добрые дела нужно творить ради них самих и во имя их самих без малейшей мысли о благодарности», — сказал он однажды.

Вероятно, Диккенс, подобно большинству романистов, считал себя поэтом. Но у нас мало доказательств, подтверждающих это обвинение. В произведениях Диккенса нет языческого начала, не ощутимо влияние не только греческой и латинской, но вообще какой бы то ни было иностранной культуры. Он истый англичанин, и по романам Диккенса даже сейчас можно понять Англию лучше, чем по любым другим литературным произведениям. Некоторые персонажи их не более как фигуры, которые совершают экстравагантные поступки, но тем очевиднее талант автора, ибо мы воспринимаем их как живых людей. Он писал сочно, с великой жизненной убедительностью. У Диккенса добродетель — это добродетель, порок — это порок, и они редко соединяются в одном лице, как это бывает у обычных людей, за исключением, разумеется, наших общественных деятелей. Диккенс рисует нравственный облик человека широкой кистью, и будь в его картинах хоть малейшая претензия на искусство, они действовали бы на нас, как на быка красный цвет. Но в те дни писатели не заботились об искусстве. Думаю, что на тогдашних литературных собраниях пробавлялись остротами и устрицами, вином и разговорами о политике. Теккерей, великий современник Диккенса, кое-что слышал об искусстве и полагал, что оно достойно некоторого внимания; что касается Диккенса, то он считал искусство чем-то «иностранном» и не пускал к себе на порог.

У Диккенса был здоровый самобытный талант, но как-то странно говорить о нем, как о писателе, когда меньше чем в двухстах милях от него такой совершенный художник, как Проспер Мериме, создавал «Кармен» и «Венеру Илльскую», Тургенев — «Дым» и «Вешние во-

ды», когда за океаном Натаниель Готорн писал «Алую букву» и Эдгар По — свои «Страшные рассказы». Никто не подумал бы учиться у Диккенса искусству писать романы, но все романисты могут бессознательно перенимать у него основы стиля, ибо он был прирожденным писателем, и заимствовать основы философии, хотя он отнюдь не был философом.

Для меня Диккенс, бесспорно, величайший романист Англии и величайший в истории романа пример торжества подлинного, буйного таланта. Силою природного воображения и художественной выразительности он запечатлел в памяти людей такие яркие и разнообразные представления о человеческой природе, каких не встретишь ни у кого из западных романистов.

Общая культура не может научить писать романы. Образование в узком смысле этого слова скорее глушит, чем развивает дар воображения. Прежде чем начать писать, я успел пере забыть почти все, чему меня учили в школе и университете. Люди точных наук редко бывают сильными художниками: они знают слишком много и в то же время слишком мало. А люди с богатым воображением не склонны тщательно изучать что бы то ни было, кроме жизни. Чувство слова, красок и ритма речи можно развить чтением стихов и хорошей прозы, но оно зависит преимущественно от врожденного вкуса и музыкального слуха. Дар композиции тоже дается природой, равно как и дар выразительности; их нельзя приобрести, можно только развить. Никто не может заставить писателя чувствовать и видеть жизнь так, а не иначе. После того, как он научился читать и писать, единственное, чему он может поучиться у других, это — как не следует писать. Подлинный наставник писателя — сама жизнь.

Теперь, когда мы, говоря о романе, так любим употреблять слово «искусство», необходимо вспомнить историю романа, продолжающуюся и поныне смену его разнообразных форм, начиная от первого великого западного романа — «Дон Кихота» Сервантеса.

Ранние западные романы принимали форму авантюрного, «плутовского» романа; они представляли собой ряд похождений одного или нескольких центральных персо-

нажей, построением своим напоминая связку лука, и зачастую имели привкус этого овоща. Соотношение частей и их единство носило, как видим, примитивный характер, о них просто не заботились. Роман тогда имел длину, но не отличался ни широтой, ни глубиной. К началу XIX века роман все больше и больше округляется, и в ту пору, когда писал Диккенс, признанной формой его стало, фигурально выражаясь, яйцо — раздавшееся посередине и узкое с обоих концов, словно преуспевающий литератор. Не берусь судить, что обусловило это постепенное изменение, но развитие его сходно с развитием живописи в эпоху Ренессанса. В творчестве Джейн Остин, Диккенса, Бальзака, Стендаля, Скотта, Дюма, Теккерея и Гюго роман приобрел определенное соотношение частей и целого, но нужен был писатель с еще более поэтическим мировосприятием и с большей чуткостью, чтобы довести пропорции романа до совершенства, ввести принцип отбора материала и достигнуть того полного единства частей и целого, которое создает то, что мы называем произведением искусства. Таким писателем оказался Тургенев, настолько же овладевший искусством романиста, насколько Диккенс был писателем безыскусственным.

Иван Тургенев родился в 1818 году в русском городе Орле и умер в Буживале близ Парижа в 1883 году. Критики обычно предлинно рассуждают об оторванности Тургенева от его родной русской культуры, о разнице между ним и стихийным гигантом Гоголем и другим аморфным гигантом — Достоевским. Старательно причисляя Тургенева к «западникам», они не замечали, что не столько Запад повлиял на него, сколько он на Запад. Тургенев достиг исключительного положения сам по себе; он был поэтом от природы, самым утонченным поэтом, который когда-либо писал романы. Именно это отличало Тургенева от его великих русских современников и объясняло его выдающееся место в литературе и влияние на Запад. Россия не любила Тургенева: у него была дурная привычка говорить правду. Это свойство всюду считается нежелательным, особенно у писателей. И Россия отделалась от него. Но если бы он и не покинул России, произведения его были бы такими, как они есть, — благодаря его врожденному чувству формы. Тур-

гениев неповторимо владел искусством рисунка, он продумывал и разрабатывал темы до того, как выразить их на бумаге, и хотя он не пренебрегал объективной действительностью, художественное мышление его определялось скорее средствами настроения, чем факта. Тургенев — аристократа, человека высокой культуры, тонко разбиравшегося в иностранных литературах, обожавшего музыку и живопись, драматурга и стихотворца — сближают с Диккенсом три общих, но наиважнейших признака: глубокое понимание человеческой природы, глубокий интерес к жизни и глубокая ненависть к жестокости и фальши. Те, кто сомневается в этой ненависти, пусть прочитают «Муму», рассказ о немом дворнике, крепостном Герасиме, и его собаке. Никогда еще искусство не выражало столь волнующего протеста против деспотизма и жестокости. Диккенс как писатель был нетребователен в выборе средств, Тургенев же предельно требователен. Диккенс изобличал жестокость, злоупотребления и сумасбродство открыто или пользуясь откровенной карикатурой, а Тургенев облакал свою критику в форму объективного художественного изображения. Утверждают, что Тургенев — изысканный стилист, и этому нетрудно поверить, ибо даже в переводе ощущается очарование и своеобразный аромат его стиля. Диалог у Тургенева — живой, легкий, естественный и в то же время содержательный и превосходно раскрывает характеры, которые хотя и подчинены занимающей писателя главной теме или идее, не перестают оттого быть живыми людьми. Описания природы у Тургенева восхитительны. Красота «Бежина луга», «Свидания» и «Вешних вод» навсегда пленяет нас. Все его произведения проникнуты каким-то грустным восторгом, какой испытывает поэтическая натура перед лицом природы. Иные стихотворения в прозе у Тургенева менее поэтичны, чем его рассказы и романы; преднамеренность губит истинную поэзию, которая возникает из настроения и чувства почти независимо от самого поэта. В произведениях Тургенева заметны еще элементы пародии, черты гротеска — словом, следы того, что называют «старомодным». Если учесть, однако, что с того времени, когда расцвело его творчество, прошло уже шестьдесят лет, поражаешься, как мало скрипит механизм его искусства.

Несмотря на то, что английский роман, быть может, богаче и разнообразнее, чем роман любой другой страны, он все же — от «Клариссы» до «Улисса» — был склонен, фигурально выражаясь, прощать себе собственные недостатки и частенько отправлялся спать навеселе. И если теперь английский роман обладает какими-то манерами и изяществом, то этим прежде всего он обязан Тургеневу. Я, во всяком случае, в большом долгу перед Тургеневым. У него и у Мопассана я проходил духовное и техническое ученичество, которое проходит каждый молодой писатель у того или иного старого мастера, влекомый к нему каким-то внутренним сродством. Даже Флобер, апостол рефлектирующего искусства, не оказал на английских писателей такого сильного влияния, как Тургенев: в произведениях Флобера ощущается определенная замкнутость, камерное настроение. В этом никогда не упрекали Тургенева, не упрекали даже после 1907 года, когда в Англии стало модно говорить о нем с пренебрежением, потому что иные наши критики открыли (увы, с запозданием) новый светоч русской литературы — Достоевского. Казалось, для обоих талантов хватит места, но в литературном мире принято гасить один светильник, прежде чем зажигать другой. Теперь это уже отошло в прошлое, и имя Тургенева вновь, как и прежде, знаменито в Англии, но он утратил былое влияние на умы. Для новой эпохи Тургенев слишком уравновешен и поэтичен.

Перехожу к третьему силуэту, силуэту писателя, которого, как говорят одни, все еще читают на его родине, во Франции, хотя другие утверждают, что книги его давно поставили на полку.

Великие литературные достижения Ги де Мопассана, который родился в 1850-м и умер в 1893 году, относятся к небольшому периоду в двенадцать лет. Мопассан известен преимущественно как новеллист, но, по моему, талант этого писателя в полной мере проявляется в романе и повестях, таких, например, как «Пышка» и «Иветта». Все его произведения, большие и малые, рисующие события трагические или повседневные, драматичны в своей основе, и хотя Мопассан мало писал для театра, он обладал качествами большого драматурга. В вопросах стиля он верховный учитель. Никто пока

не превзошел его в наблюдательности, остроте мысли, в умении облечь их в краткую и четкую форму. Лучше, чем кто-либо другой, Мопассан научил нас выбрасывать лишнее из наших книг. Он лучше, чем кто-либо, следовал завету Флобера: «Изучайте предмет до тех пор, пока не постигнете существенных его отличий от других предметов и не сумеете выразить их словами». Творчество Мопассана—живой укор путанице, поверхностному экспрессионизму и расплывчатому субъективизму, что нередко принимают за искусство. Будучи художником дисциплинированным до мозга костей, он сумел, однако, проникнуть в глубины человеческих чувств и показать их. Его язвительной натуре были ненавистны предрассудки и глупость, и в редком писателе сыщешь такое неподдельное и горячее сочувствие людям, жгучую любознательность, такую прозорливость и чуткость. Все это помогло ему верно воссоздавать жизнь.

Порой Мопассан писал рассказы, которые недостойны его пера. Иные его произведения кажутся вымученными. Душевная болезнь, омрачившая конец его жизни, губительно сказалась на некоторых поздних его вещах. Но, несмотря на это, я, вслед за Толстым, ставлю Мопассана выше его учителя, Флобера, как в вопросах стиля, так и по оригинальности.

Под пером Мопассана достигает вершины совершенный по форме рассказ, прозрачная проза, которая призвана посредством объективного метода раскрывать загадочные глубины и отдели челоуеческой души; та форма беспристрастного и строгого искусства, когда темперамент автора свободен только в выборе тем и характеров. В Англии Мопассана когда-то считали жестоким реалистом. Для нынешней же литературной молодежи он не более как... чувствительный, детски наивный романтик, а слог его находят старомодным и драматичным. Позволю себе привести цитату из его предисловия к роману «Пьер и Жан»:

«En somme, le public est composé de groupes nombreux qui nous crient: «Consolez-moi», «Amusez-moi», «Attendez-moi», «Attendez-moi», «Faites-moi rêver», «Faites-moi rire», «Faites-moi frémir», «Faites-moi pleurer», «Faites-moi penser». Seuls, quelques esprits d'élite demandent à l'artiste: Faites-moi quelque chose de beau,

dans la forme qui vous conviendra le mieux, suivant votre tempérament. L'artiste essaie, réussit ou échoue»¹.

Идеалом Мопассана было создать прекрасное произведение, отвечающее его темпераменту. Поскольку вокруг слова «прекрасное» ведутся бесконечные споры, да будет мне позволено воздержаться от определений. Одно скажу: художник, который создает правдивое, живущее своей жизнью произведение, тоже достигает высот прекрасного — я пришел к этому выводу после долгих размышлений. Мопассану не раз удавалось поймать пугливую птицу, именуемую Красотой.

Примечательно, что Толстой, который так непохож на Мопассана, восхищался им.

Лев Толстой родился в 1828 году в Ясной Поляне и умер в Астапове в 1910-м. У него была деятельная и полная впечатлений юность, и он начал писать в возрасте двадцати четырех лет. Толстой служил в армии во время Крымской войны, и написанные им тогда «Севастопольские рассказы» быстро принесли ему известность. Главные шедевры этого писателя — «Война и мир» и «Анна Каренина» — были созданы в годы 1864—1873.

Толстой являет собой волнующую загадку. Пожалуй, невозможно указать другой пример, когда в одном лице так совмещаются художник и реформатор. Толстой-проповедник, которого мы знаем в последние годы его жизни, уже заслонял Толстого-художника в «Анне Карениной». Да и в последней части монументального романа «Война и мир» кое-где автор выступает как моралист.

Пожалуй, и все творчество Толстого отмечено духовной раздвоенностью. Оно как бы поле битвы, на котором видишь приливы и отливы постоянной борьбы, напряженную схватку гигантских противоречий. Если верить современной теории, развитие характера определяется состоянием желез, поэтому объяснение этой зага-

¹ «В сущности, читающая публика состоит из множества групп, которые кричат нам: «Утешайте меня», «Позабавьте меня», «Дайте мне погрузиться», «Растрогайте меня», «Дайте мне помечтать», «Рассмешите меня», «Заставьте меня содрогнуться», «Заставьте меня плакать», «Заставьте меня размышлять».

И только немногие избранные умы просят художника: создайте нам что-нибудь прекрасное, в той форме, которая всего более присуща вашему темпераменту. И художник берется за дело и достигает успеха или терпит неудачу».

дочной двойственности мы предоставим врачам: они утверждают, что если железы человека выделяют большое количество гормонов, то он художник, если малое, то, по-видимому, моралист.

Если бы любители ярлыков во всякого рода опросниках осведомились у меня, какой роман можно назвать «величайшим из всего написанного», я бы, не колеблясь, назвал «Войну и мир». В этой книге Толстой разрабатывает две темы, напоминая циркового наездника, который вольтижирует на двух лошадях и чудом достигает конюшни целым и невредимым. Благодаря творческой энергии Толстого каждая страница этой книги удивительно содержательна, и в этом секрет успеха писателя. Роман вшестеро длиннее обычного, он ни в единой части не растянут и не утомляет читателя; создаваемая писателем картина человеческих страстей, исторических событий, быта и общественной жизни поистине огромна.

В «Войне и мире», как и в других своих произведениях, Толстой пользуется собирательным методом: он дает бесконечное количество явлений и живописных деталей. В противоположность Тургеневу, который полагается больше на отбор фактов и расположение материала, на настроение и поэтическое равновесие, Толстой заполняет все промежутки, ничего не оставляя воображению читателя, и делает это с такой силой и свежестью, что неизбежно увлекает его. «Стиль» Толстого — в узком смысле этого слова — ничем не примечателен. Все его произведения носят отпечаток личности художника, который заботится о том, что сказать читателю, а не о том, как это сделать.

Если к бесчисленным определениям мастерства добавить еще одно и назвать мастерством способность писателя устранять преграды между собой и читателем, то вершина мастерства достигается тогда, когда между ними возникает близость. При таком определении, хотя оно исключает многих писателей, Толстого должно назвать замечательным мастером, потому что он, как никто другой, в своем повествовании создает непосредственное ощущение действительной жизни. Толстому чужда та преднамеренность, которая так часто губит произведения утонченных писателей. Толстой полностью отдавал-

ся своим порывам как творческим, так и реформаторским. Он не останавливался на берегу, пробуя воду сначала одной ногой, потом другой,— а ведь это обычная слабость современного искусства. Полное жизни и смысла искусство возникает тогда, когда художник захвачен своей темой. Остальное в искусстве — не более как упражнения в технике, которая помогает воплотить великие замыслы, возникающие — увы! — слишком редко. Живописец, который полжизни мечется, мучительно решая, кем ему быть — постимпрессионистом, кубистом, футуристом, экспрессионистом, дадаистом (или как они там еще сейчас называются), который постоянно копается в себе и силится найти какую-то неведомую удивительную форму и меняет свои эстетические взгляды, проделывает бесплодную работу. Но когда художник захвачен темой, все сомнения насчет того, как ее выразить, разрешаются сами собой — и рождается шедевр.

Толстой знал Россию и русского крестьянина, хотя был аристократом. Но он не был так близок к гуще русской жизни, как Чехов, который вышел из народа и знал его как бы изнутри. Россия, изображенная Толстым в «Войне и мире» и «Анне Карениной», — это Россия прошлого, быть может, только верхний ее слой, который теперь безвозвратно смят и уничтожен. Какое счастье, что сохранились эти две великие картины минувшей жизни!

Я перехожу к пятому силуэту — портрету Конрада. Джозеф Конрад (Юзеф Коженевский) родился в 1857 году в семье польского шляхтича; после восстания 1863 года его родители были высланы в Россию, и он провел детство в русской Польше. Юность его прошла в странствиях и приключениях, и, став наконец офицером Британского торгового флота, Конрад накопил огромный запас жизненных впечатлений, узнал обычаи, быт и языки разных народов. Лет тридцать назад он покинул море ради занятий литературой, поселился в Англии и начал писать под именем Джозефа Конрада. Его проза — более двадцати томов, — написанная не на родном языке, но отмеченная богатством и разнообразием стиля, — редчайшее явление в истории литературы. Поразительная яркость и образность ранних произведений Конрада с годами сменилась более спокойными красками, но, если взять его творчество в целом, ни один английский

писатель не превзошел его в умении живописать словом. Произведения Конрада не безупречны по композиции. Будучи главным образом колористом и рассказчиком, он слишком усложняет иногда сюжет; это придает особую тонкость, богатство и глубину психологии героев и атмосфере рассказа, но в то же время заводит читателя в такие дебри субтропических лесов, что тот почти теряет надежду выбраться оттуда. И все же в конце концов выходишь на дневной свет равнин, к тому, что Конрад называл «нравственным открытием». Более других романистов Конрад обладал чувством космического. По страницам его произведений шествует всемогущая, таинственная Судьба, которой полностью подчинены человеческие существа, какой бы сильной индивидуальностью они ни обладали. Из подчиненности судьбе и вырастают трагический пафос и неотразимость его образов — своего рода эпичность, присущая людям, которые всю жизнь борются против того, что в конце концов неизбежно одолевает их. Ощущение, что природа выше человека — даже когда он сохраняет свое «я» и вступает в великую схватку, как это часто происходит в романах Конрада, это ощущение отнюдь не навязывается читателю, но незаметно завладевает им — таков талант писателя.

У людей не часто встречается чувство космического: мы в большинстве своем чересчур антропоморфичны и даже божественное рассматриваем с человеческой точки зрения. Мы не сознаем своего места в мировом порядке вещей, как это сознавали древние греки. *L'état c'est nous*¹. Мы порядок вещей, и нами движется мир. Такое убеждение, быть может, и естественно для человека, но с точки зрения времени, которое миллиарды лет взирало на землю, еще не заселенную людьми, это — убеждение выскочки. Причины, происхождение и конец жизни, даже жизни человеческой, окутаны тайной. И признание этой тайны придает бытию определенное величие, то величие, которое мы находим в творчестве Конрада.

Во всей английской литературе, пожалуй, только Генри Джеймс превзошел Конрада в умении передавать тончайшие оттенки человеческой психологии, побужде-

¹ «Государство — это мы» (франц.).

ний и чувств. Между тем ни Конрад, ни Джеймс не англичане. Но их эмоциональное восприятие мира почти противоположно. Выражаясь иносказательно, Генри Джеймс пил чай, а Конрад — вино. Генри Джеймс как художник жил в воображаемом мире, в котором не было места стихиям и первобытным свойствам человеческой натуры. Он не позволял своим героям отдаваться грубым или неистовым страстям. Разум — вот тот стержень, вокруг которого вращается порядок вещей у Джеймса. Мир Конрада, напротив, многообразен, в нем есть все, даже дикость, и главный, если не единственный обитатель его — природа, не знающая границ в своей необузданности.

Очарование Конрада — в неповторимом сочетании реальности с романтикой: он рисует в своих книгах мир неведомых морей и небес, рек, лесов и людей, мир кораблей и далеких гаваней, — словом, все то, что в нашем ограниченном представлении овеяно дымкой чудесного опыта. Конрад не в пример другим современным писателям прожил романтическую жизнь. Еще не думая стать писателем, он много лет бессознательно ощущал в себе биение этой жизни и отдавался ей со всей пылкостью юноши, склонного к приключениям. Как много талантов гибнет из-за отсутствия бессознательно накопленного опыта и запаса впечатлений! Как много писателей пытаются сбивать масло, когда в маслобойке нет сливок!

Конрад особенно близок англичанам и вообще людям, у которых любовь к морю в крови. Ни один писатель, кроме Германа Мелвилла в его «Белом ките» и Пьера Лоти в «Исландском рыбаке», не умел так, как Конрад, передавать настроения и очарование моря, опасности, которые в нем таятся. Его картины моря проникнуты благоговейным трепетом перед стихией и неисчерпаемым интересом к ней человека, который борется с морем и побеждает или склоняется перед бесконечным его разнообразием. «Негр с «Нарцисса», «Тайфун» и «Молодость» Конрада — подлинные шедевры.

Перейти от Конрада к моему последнему силуэту — значит обратить взор от берегов Малайи к Орлеанской набережной. В драме жизни Конрад сам играл на сцене, а Анатолий Франс от рождения в 1844 году до конца

своих дней в 1924 году наблюдал за ней из кресел. У Франса беспристрастный ум ученого. Выросший в атмосфере учености, он был книжником и редким эрудитом и обладал ко всему острым пером. Бич его сатиры был удивительно изящен, и Франс пользовался им весьма успешно. Он разил с непревзойденной учтивостью. Он умел так ловко изрешетить свою мишень — предрассудки и идолопоклонство, — что отверстия бывали едва заметны, и жертвы его никогда не угадывали, откуда сквозит. За свою долгую писательскую деятельность — он начал писать в 1868 году и продолжал работать до самой смерти в 1924-м — Франс только трижды, если не ошибаюсь, выступил в роли чистого романиста. «Преступление Сильвестра Боннара», «Красная Лилия» и «Театральная история» по методу письма стоят особняком от других произведений Франса. Только здесь он выступает преимущественно исследователем человеческих характеров и рассказчиком. В других книгах он прежде всего философ и сатирик. Даже такое замечательное произведение искусства, как «Таис», при всей своей увлекательности, по существу, критично и выковано в пламени гневного сердца. Романы о Бержере, хотя и содержат много превосходных портретов, созданы человеком, задавшимся целью громить предрассудки, а не рисовать характеры. Небольшой шедевр «Прокуратор Иудеи» дает нам незабываемый портрет Понтия Пилата, но написан он для того, чтобы довести до совершенства сатирическую мысль. Бедный Кренкебиль — очень человеческий образ, и все же мы ценим и помним его больше как живое обличение несправедливости. Даже собачонка Рике помахивает хвостом так, словно критикует человеческие нравы. Если Вольтер рубил мечом, то Франс искусно фехтует шпагой, и жертвы его до сих пор даже не подозревают, что они убиты. Они продолжают читать писателя и называют его мэтром. Бесподобный по своей прозрачности и изяществу стиль Франса — это поэзия чистого разума. Он был истый француз. Мы вряд ли еще когда-нибудь встретим такое блестящее воплощение французского остроумия. Франс по праву взял себе «*nom de plume*»¹, созвучный с названием своей

¹ Псевдоним (франц.).

страны. Франс — самый убежденный и воинствующий гуманист из всех писателей, чьи силуэты я нарисовал в этой небольшой галерее. Франсу не выпала честь быть сожженным или обезглавленным, так как он, по счастью, родился слишком поздно, но ему все-таки повезло: Ватикан отлучил его от церкви.

Предоставим тем, кто лично знал Франса, судить, откуда то сострадание к людям, которым пронизано большинство его произведений, — от сердца или от разума. Это сострадание выражено так искусно и изящно, что те, кто не был знаком с Франсом, предполагают второе. Склонность Франса облекать свои обвинения в легчайшие одежды изысканной аллегории в известной степени оградила его от нападок тех, кто руководствуется принципом «не говорить ничего, что имеет какой-то смысл, и не писать коротко». Франс еще не вышел из моды — этой чести он пока не удостоился, — но в определенных парижских кругах и среди некоторых кретинов Нью-Йорка восхищаться им было бы рискованно. Можно с уверенностью сказать, что жестокость, ограниченность, грубость, всякие крайности внушали ему отвращение. Месье Бержере — это сам Франс, правда, без его язвительной иронии, высокоцивилизованный человек, который не может жить вне культуры. Анатолий Франс немыслим на Малайских островах, в полях России, в трущобах викторианского Лондона или среди нормандских крестьян. Никто не превзошел Франса в иронической перетасовке ценностей. Но возьмите его «Жонглера богоматери» — насколько мягкой может быть его ирония! И как ни любил он язычество, он все же отдавал должное Нагорной Проповеди. Это видно из «Счастливых простаков», в которых заключена мораль многих его сказок. Крестьяне Франса не раз пытались воздвигнуть статую Пресвятой Девы из золота или слоновой кости, но она все падала — до тех пор, пока ее не сделали из простого дерева. Франс с упоением, словно острым охотничьим ножом, отдирает от сердцевины христианства все лицемерие, фальшь и суеверия.

Читаешь «Кренкебиля» и видишь, как нестерпима была натуре Франса всякая несправедливость. Дело Дрейфуса заставило его покинуть сады философских раздумий и фантазий, и «Аметистовый перстень» стал поч-

ти таким же мощным вкладом в дело Справедливости, как и «Я обвиняю» Э. Золя. Хотя Франс и называл себя социалистом, а в последние годы жизни — и социалистом крайнего толка, ему не удавалось, как и другим литераторам, сколько-нибудь влиять на политику. Он перешел к прямой политической пропаганде, она оказалась бесплодна. Но его многогранная и страстная критика искоренила многие предрассудки и наложила глубокий отпечаток на современную общественную мысль.

Буду ли я неправ, если скажу, что мы, на беду свою, чересчур гоняемся за «модернизмом», этой новомодной птицей, и дух времени превращает нас в *petits maîtres*¹, стремящихся к сенсационному изображению банального, к словесным узорам, не имеющим ничего общего с истинной ценностью мысли, к созданию нестройной джазовой музыки?

И неужели я ошибаюсь, полагая, с другой стороны, что мы снова придем к трезвому ремесленничеству и будем неодобрительно поглядывать на шутовство собственного «я»? Или, может быть, мы внушаем это себе? Нельзя отрицать, что у модернизма, этой славной птицы, есть свой, особый вкус, особенно когда ее подают к столу. В условиях войны модернизм был неизбежен. Время от времени в истории случаются такие взрывы. Тогда на поверхности событий появляется дух времени. Он шагает по водам, стараясь обратить на себя внимание, а потом, удивленно пискнув, исчезает в глубине, оставив по себе лишь легкое волнение. В литературе по-настоящему никогда не бывает застоя, главный поток ее все время неуклонно продолжает свое движение. Волнение и всплески на поверхности иногда чрезмерны, иногда еле видны. Но их всегда поднимает мелкая рыбешка, крупная же рыба целеустремленно движется в своей стихии. Вы замечали, наверно, как в живописи вслед за одним направлением возникает другое, ему приклеивают ярлык, потом оно выходит из моды, оставив нам того или иного мастера — Тернера, Манэ, Милле, Уистлера, Гогена, — вокруг которого вертятся десятки других. То же самое происходит в литературе, и только Время

¹ Щеголей, модников (франц.).

дает оценку великим. Форма меняется понемногу, незаметно, она никогда не изменяется скачками, ибо консерватизм препятствует этому. Искусство, как и жизнь, органично, и чем крупнее художник, тем ближе держится он к основному течению прогресса, к его естественному темпу, тем меньше мечется из стороны в сторону, рискуя бултыхнуться в стоячую воду и забрызгать грязью летний полдень.

Искусство, даже искусство романа, всегда было предметом борьбы двух эстетических школ. Одна школа требует от искусства раскрытия и критики жизни, другая — только приятных выдумок. Но в пылу схватки обе школы порой забывают, что независимо от того, будет ли произведение искусства критичным и обличающим или только приукрашенным вымыслом, его сущность, то есть то, что делает его произведением искусства, заключается в загадочном качестве, называемом «жизненностью». А каковы условия «жизненности»? Нужно, чтобы в произведении было определенное соотношение частей и целого и чтобы в нем ощущалась индивидуальность художника. Только эти элементы придадут произведению оригинальность, вдохнут в него жизнь.

Подлинное произведение искусства вечно остается прекрасным и живым, хотя приливы и отливы моды могут иной раз ненадолго выбросить его на мель. Оно остается прекрасным и живым просто потому, что живет своей собственной жизнью. Произведение искусства может изображать природу и человека, как драмы Еврипида или романы Тургенева, и может быть фантастично, как, например, сказки Андерсена или «Сон в летнюю ночь». Говоря о таких произведениях, мы забываем о моде.

Поэтому вечный спор о том, должна ли быть в романе критика жизни или нет, — пустой спор. Романисты бывают самых разных, как говорится, мастей. Мопассана, Тургенева и Конрада называют чистыми художниками. У Диккенса, Толстого и Франса сильна жилка сатирика или проповедника. Никто не станет отрицать, что все шестеро — великие писатели и что произведения трех первых, «чистых» художников содержат также элементы критики. Дело в том, что все шестеро в своих произ-

ведениях преломили жизнь сквозь призму своей личности, а писатель их масштаба, обладающий такой силой художественного выражения, не может не быть критиком действительности. Даже Флобер, апостол объективности и полубог эстетизма, в своих шедеврах «Простая душа», «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» и «Мадам Бовари» дал глубокую критику жизни. Поскольку главное — это творческий дух и выразительность, право, не имеет значения, написана ли картина с кажущимся беспристрастием или на холсте проступает «я» художника.

Все шесть великих писателей, силуэты которых я набросал, — гуманисты. Пищей для их творчества были прихотливые извивы человеческих чувств, неровное бие-ние человеческого сердца, бесчисленные парадоксы земного существования. И каких бы взглядов они формально ни придерживались — если придерживались, — их истинная вера заключена в словах карлика из сказки Гримма: «Человеческое мне дороже всех богатств мира».

Ни в ком из этих писателей нет и следа литературного фатовства; никто из них, даже Толстой, не был теоретиком, который сводил бы жизнь к схеме, а искусство — к шаблону. Ценности жизни были для них относительны задолго до того, как профессор Эйнштейн выдвинул теорию относительности. Я думаю, все они глубоко верили в то, что средства оправдывают цель. И хотя в этих словах, как и во всякой пословице, содержится лишь половина истины, но она соответствует нашему веку, изжившему приверженность к догме. Используя в качестве материала для своего искусства подлинную жизнь, великий романист светом своих произведений может ускорить развитие человеческого общества и придать морали своего времени тот или иной оттенок. Ему не обязательно быть сознательным учителем или сознательным мятежником. Ему достаточно широко видеть, глубоко чувствовать и суметь из пережитого и перечувствованного лепить то, что будет жить своей, новой и значительной жизнью. Разве художник Мане не сказал, что для него начинать новую картину — все равно что прыгнуть в море, не умея плавать? То же можно сказать о романисте, который пасется на лугах челове-

ской жизни. Никакие примеры, никакие теории не направляют его усилий. Писатель должен быть первооткрывателем. Он должен сам выковывать себе образец из отобранного им жизненного сырья.

Гуманизм — это кредо тех, кто верит, что в пределах загадок бытия судьба людей — на счастье и на горе — в конце концов в их собственных руках. И эти шесть писателей естественной причастностью ко всему человеческому и великой силой художественного выражения укрепили веру, которая становится, быть может, единственно возможной верой для современного человека.

1924 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О КОНРАДЕ

Многие писатели, знавшие моего покойного друга, напишут о нем лучше, чем я; но ни один из них не был знаком с ним так долго и не знал его с двух сторон — как писателя и как моряка.

Впервые я встретил Конрада в марте 1893 года на английском паруснике «Торренс» в Аделаиде. Он руководил погрузкой. На палящем солнце лицо его казалось очень темным — загорелое лицо с острой каштановой бородкой, почти черные волосы и темно-карие глаза под складками тяжелых век. Он был худ, но широк в плечах, невысокого роста, чуть сутулый, с очень длинными руками. Он заговорил со мной с сильным иностранным акцентом. Странно было видеть его на английском корабле. Я пробыл с ним в море пятьдесят шесть дней.

На парусном судне самые большие тяготы ложатся на помощника капитана. Чуть ли не всю первую ночь Конрад тушил пожар в трюме. Мы, семнадцать человек пассажиров, узнали об этом лишь долго спустя. Ему досталась львиная доля работы и во время урагана у мыса Луин и позднее — во время другого шторма. Он был хороший моряк — чуткий к погоде, быстрый в управлении кораблем, внимательный к юнгам; среди них был один несчастный долговязый бельгиец, который плохо переносил море и до смерти боялся лазить на мачты, и

Конрад по возможности избавлял его от этого. Матросы его любили: для него они были живые люди, а не просто команда. И сам он долго потом вспоминал то одного из них, то другого, особенно старого Энди: «Хороший, знаете ли, был старик». Он дружески относился ко второму помощнику — веселому, толковому молодому человеку, типичному англичанину, и почтительно, хоть и чуть насмешливо — к англичанину-капитану, бородатому, толстому и старому. Поскольку считалось, что я в ту пору изучал навигацию, чтобы заняться адмиралтейским правом, я с этим капитаном ежедневно определял положение нашего корабля. Сидя с ним по одну сторону стола в кают-компании, мы сверяли свои наблюдения с данными Конрада, который, сидя напротив, поглядывал на нас не без лукавства. Ибо Конрад и сам командовал судами, а его подчиненное положение на «Торренсе» объяснялось лишь тем, что он еще не вполне оправился после экспедиции в Конго, чуть не стоившей ему жизни. Много вечерних вахт провели мы в хорошую погоду на юте. У Конрада, великолепного рассказчика, уже было за плечами около двадцати лет, о которых стоило рассказывать. То были рассказы о кораблях и штормах, о революции в Польше, о том, как в юности он контрабандой переправлял оружие карлистам в Испанию, о малайских морях, и о Конго, и о множестве разных людей; а я в двадцать пять лет был ненасытным слушателем...

Семь или восемь лет спустя, в лучший период его творчества, когда критики уже давно признали в нем большого писателя, но он все еще не имел надежной крыши над головой, все еще не пробил равнодушия читателей, которые позднее толпами бросились читать его произведения худшего периода, я, помнится, уговаривал его поправить свои финансы выступлениями с устными рассказами. Он отказался и правильно сделал. А между тем столь несравненный рассказчик, безусловно, имел бы успех, несмотря даже на то, что публика, вероятно, не разобрала бы многих слов из-за его своеобразного, хотя и обаятельного акцента.

Тогда, на корабле, он говорил не о литературе, а о жизни, и неверно, будто это я приобщил его к литера-

туре. В Кейптауне, в мой последний вечер, он пригласил меня к себе в каюту, и я, помню, тогда же почувствовал, что из всех впечатлений этого путешествия он останется для меня самым памятным. Обаяние было главной чертою Конрада — обаяние богатой одаренности и вкуса к жизни, по-настоящему доброго сердца и тонкого, разностороннего ума. Он был на редкость впечатлителен и восприимчив. Если вспомнить нарисованные в его книгах портреты полудикарей, а также англичан, несложных людей действия, всех этих маловыразительных Крейтонов, Маквиров, Лингвардов, Бейкеров, Аллистоунов, то следующий отрывок из его письма ко мне от февраля 1899 года по поводу Генри Джеймса даст некоторое представление о широте его симпатий:

«Техническое совершенство, если оно не освещено и не согрето изнутри настоящим огнем, неминуемо остается холодным. У Генри Джеймса такой огонь есть, и далеко не тусклый, но нам, привыкшим к безыскусственному выражению простых и честных (или бесчестных) чувств, искусство Генри Джеймса все же кажется лишенным сердца. Его контуры так четки, образы так закончены, отточены и рельефны, что мы, привыкшие к теням, бродящим по современной литературе, к этим более или менее расплывчатым теням, — мы готовы воскликнуть: «Да это камень!» Вовсе нет. Я говорю — это плоть и кровь, но очень совершенно изображенная, быть может, с несколько излишним совершенством *в методе*... Его сердце проявляется в тонкости трактовки... Он никогда не прячется в густую тень, не выходит на яркое солнце. Но он глубоко и тонко чувствует малейшие оттенки. Большого мы не должны требовать. Не всякий писатель Тургенев. К тому же Тургенев (и в этом отчасти его очарование) не цивилизован в том смысле, в каком цивилизован Генри Джеймс. *Satis!*¹».

Мы видим, что Конрад умел ценить утонченность и высокую культуру не хуже, чем понимать жизнь и мысли самых несложных людей. И все же, сколько я могу припомнить, в его галерее нет ни одного портрета по-настоящему утонченного англичанина, потому что Марлоу

¹ Довольно об этом! (лат.).

при его английской фамилии по натуре вовсе не англичанин.

В последние годы своей моряцкой жизни Конрад в промежутках между рейсами снимал комнаты на Джиллингем-стрит, близ вокзала Виктории. Там он прочел несчетное количество книг, там же страдал от приступов неотвязной тропической лихорадки, которая подрывала его здоровье и временами глубоко омрачала его дух. Однажды он написал мне: «О физической боли я не говорю, ибо, видит бог, ей я не придаю никакого значения». И правда, он был подлинный стоик, и врожденная его жизнерадостность выручала его в самые тяжелые минуты. Но все годы, что я его знал — тридцать один год, — он был вынужден непрестанно бороться хотя бы за сносное здоровье. В его письмах снова и снова попадают слова: «Я перенес ужасающую болезнь — в самом деле ужасающую», — и при этих постоянных болезнях его замечательные книги, написанные вдобавок не на родном языке, граничат с чудом.

Английской литературе подарило Конрада море. То была счастливая случайность: он тогда знал французский язык лучше, чем английский. Его, так сказать, взрослая жизнь началась в Марселе. В одном из писем ко мне (в 1905 году) он говорит: «В Марселе, тридцать один год тому назад, я по-настоящему начал жить. Там у щенка открылись глаза». Во французской литературе он всегда чувствовал себя более дома, чем в английской, говорил по-французски чище, чем по-английски, любил французов и лучше понимал их более четкие, чем у англичан, мысли. И все же, возможно, то была не совсем случайность: ведь, как-никак, в нем жил дух бродяжничества, который сделал англичан самой великой морской нацией в мире; и, думается, именно на английских кораблях он бессознательно искал наиболее полной возможности себя проявить. К тому же Англия была для него страной мечты: еще в Польше, в его детских глазах, ее окружили ореолом Чарлз Диккенс, капитан Мэрриет, капитан Кук и Франклин, исследователь Арктики. О Диккенсе он всегда говорил с той нежностью, какую мы питаем к писателям, пленившим нас на заре жизни.

Всякого, кто читал ранние произведения Конрада, вероятно, охватывала растерянная радость человека, открывающего глаза на новый мир,— то самое ощущение, которое он описал в «Молодости», когда он просыпается в шлюпке в первом своем восточном порту и «Восток безмолвно смотрит на него». Думается, его невозможно превзойти в создании того, что мы, люди Запада, называем «экзотической атмосферой». Берега и реки Малайи в «Капризе Олмейера» и «Отверженном с островов», первые страницы «Спасения», Конго в «Сердце тьмы», центральная Южная Америка в «Ностромо» и еще многие другие картины земли и моря — это шедевры пейзажной живописи. Лишь одним выражением можно точно описать то, что мы испытали, когда в 1894 году прочли «Каприз Олмейера»: мы стали протирать глаза. Критика приняла Конрада с самого начала; каждую новую его книгу встречал хор похвал; но потребовалось двадцать лет, чтобы и публика его оценила и тем самым дала ему приличный доход.

Наконец в 1914 году «Случай» — очень средняя вещь для Конрада — принес ему известность и богатство. После этого и до самого конца книги его раскупались хорошо; но за исключением «Тайного сообщника» и частично «Победы» ни одно его произведение этого позднего периода не выдерживает сравнения с его лучшими вещами. Можно ли считать естественным, что успех у широкой публики совпал с ухудшением качества? Или это всего лишь пример того, как трудно иностранцу пронять толстокожее животное, именуемое «читатель»?

Хвалить без разбора все написанное Конрадом было бы неуважением к его памяти. После непомерных восхвалений уже намечается реакция: молодое поколение склонно задирать нос и толковать о его «красивости». Нынешняя молодежь не застала блестящей поры его творчества, а эта пора обеспечила ему место среди лучших писателей всех веков. Книги Конрада от «Отверженного с островов» до «Тайного агента», его «Тайный сообщник», первые главы «Спасения» (написанного в 1898 году) и некоторые части «Победы» превосходят по своей ценности «Золотую стрелу» и последнюю часть «Спасения», как жемчуг превосходит перламутр. К концу он очень

устал, вымотался до предела. Судить о нем по плодам усталости было бы глупо; свалив все его произведения в одну кучу, как будто он всегда был одним и тем же Конрадом, мы не могли бы справедливо оценить его величие.

Во второй раз я встретился с Конрадом через несколько месяцев после того путешествия: мы вместе слушали «Кармен» в Ковентгарденском оперном театре. «Кармен» была нашей общей слабостью. Он тогда слушал эту поистине трагическую оперу в четырнадцатый раз. Трубный глас Вагнера оставлял его равнодушным, и меня тоже. Зато он, так же как мой отец, питал непонятное пристрастие к Мейерберу. В июне 1910 года он писал: «Я сейчас, вероятно, единственный человек на этих островах, считающий Мейербера великим композитором; а я к тому же иностранец, и значит, не вполне заслуживаю доверия». Но музыка, как он ни любил ее, не могла занимать большого места в жизни человека, который долгие годы провел в море, а после женитьбы в 1895 году поселился в деревне. В Лондоне он бывал только наездом. Он всегда писал кровью и слезами, а это требовало уединения.

Для произведений Конрада характерны внезапные концы — его живая, порывистая натура безотчетно тянулась к драматическим эффектам. Не говоря уже о том, что всю эту долгую раннюю пору его гнала вперед самая настоящая нужда.

И как моряк и как писатель, он не знал цены деньгам. Он был не из тех, что составляют себе точный бюджет и придерживаются его; да и никакой бюджет не помог бы — слишком уж мало у него было денег. Правда, при своей любви к драматическим ситуациям и присущей ему тонкости ума он иногда, забавы ради, принимался измышлять средства против безденежья, но невеселое это было развлечение для человека, который был вынужден подстегивать свой мозг, когда бывал утомлен, болен, близок к отчаянию. В письме за письмом, в беседе за беседой проходили передо мной эти годы мучительного труда. Хорошо, что он был стойком, — это ему пригодилось.

С 1895 по 1905 год я часто гостил у него — сперва в Стэнфорде в Эссексе, потом в Стэнфорде в Кенте. Он был

неутомимо внимателен и добр ко мне, когда мои щенячьи глаза, в свою очередь, стали открываться и я на подступах к литературе только начинал борьбу за овладение мастерством, которая у сколько-нибудь стоящего писателя не кончается никогда.

Он не скупился на проявления доброжелательного интереса. В его письмах — а я получил их около трехсот — каждая фраза явственно говорит о его желании, чтобы я работал как можно лучше. В них много строгих критических оценок, но никогда не чувствуется раздражения и нет недостатка в поощрении и похвалах. В дружбе Конрад был постоянен. Те, кто говорит и пишет о нем, часто употребляют слово «верность». И не даром. Он всегда был верен тому, чем дорожил, — своим взглядам, своей работе, своим друзьям; он был верен даже своим антипатиям (а их было немало) и своему презрению. Конрада называют аристократом; по-моему, применять к нему это слово бессмысленно. Семья его матери — Бобровские были польскими помещиками; Коженевские, семья отца, тоже, кажется, владели землей. Но слово «аристократ» слишком сухо для Конрада; он никем не правил и способности к этому не имел, разве в той мере, в какой это нужно, чтобы командовать кораблем; это был бродяга и художник, который так хорошо знал жизнь и людей из первых рук, что не терпел готовых ярлыков и полочек, дешевого теоретизирования и словесных оргий. Он смотрел жизни прямо в глаза и не доверял тем, кто поступал иначе. А главное, он обладал острым чувством юмора, которое убивает наповал все рубрики и каталоги и все идеалы и чаяния, не основанные на самых простых побуждениях человеческой природы. Он смеялся над штампами так называемой цивилизации. Чувство юмора у него было много сильнее, чем можно подумать, судя по его книгам. Благоглупости вызывали в нем чуть ли не свирепое злорадство. В книгах юмор его словно высушен или ожесточен. Но в разговоре чувство смешного проявлялось гораздо живее; оно часто вспыхивало в самые мрачные или тревожные минуты и заявляло о себе в полный голос.

После своей женитьбы Конрад сменил шесть загородных домов, не считая двух временных пристанищ. Как-то он в шутку написал моей жене: «Домà по при-

роде своей строптивы и враждебны человеку». Возможно, что, прожив столько времени на кораблях, он и в самом деле ощущал нечто подобное. Во всяком случае, дома быстро ему надоедали.

Лучше всего я помню ферму Пент — маленький, очень старый, неудобный, но прелестный дом с огромным сараем, защищенный почти отвесным склоном Пента. То было уютное жилище, где приходилось все время помнить о низких потолочных балках, где за окнами резвились утки и кошки, а дальше, на лугу, — ягнята. Конраду нравились и тихие эти поля и охранительный склон горы. Он не принадлежал к числу «любителей природы», которые способны часами наблюдать жизнь цветов и птиц, деревьев и животных, но прелесть и разнообразие ее отнюдь не оставляли его равнодушным. К тому же он любил книги Хадсона; а их нельзя любить, не чувствуя природы.

В кабинете Конрада на ферме Пент мы провели вместе немало вечеров и выкурили немало трубок. Там была написана часть рассказов, вошедших в сборник «Молодость», «Лорд Джим», почти весь сборник «Тайфун», «Ностромо», «Зеркало морей», «Тайный агент» и еще некоторые из лучших вещей Конрада. Если не считать того, что «Молодость» и «Негр с «Нарцисса» были написаны немного раньше, в Стэнфорде (Эссекс), можно сказать, что «Пент» — это лучший период Конрада. Кент, несомненно, стал любимым его графством, а ферма Пент была первым из его четырех кентских жилищ.

Естественно было предположить, что Конрад поселится у моря. Но этого не случилось. Моря он повидал слишком много; как матрос, забравшись в свою койку, тщательно загораживается от малейшего доступа морского воздуха, так Конрад всегда селится подальше от берега. Море не было дорого сердцу человека, слишком хорошо знакомого с его причудами. Он не любил, когда его называли морским писателем. Лучше него о море не писал никто, даже Герман Мелвилл; но во всем, что он писал о море, властно звучит тема борьбы и освобождения. Его герой не море, а человек в борьбе с этой безжалостной и коварной стихией. Корабли он любил, но море — нет. Он не ругал его, не говорил о нем с отвра-

щением; он принимал его, как принимал всю неисповедимую жестокость природы. Дело человека — противопоставить природе верное и стойкое сердце. Таково было кредо Конрада, его вклад в благородство жизни. И есть ли что лучше этого? Его неизменно интересовали люди, захватывала грозная картина их борьбы в мире, который он воспринимал без иллюзий. В нем была доля злого сарказма, но ни капли цинизма, отличающего людей равнодушных и мелких.

Работал он обычно по утрам и нередко часами просиживал над одной страницей. В 1906 году, когда он жил в нашем лондонском доме, он писал моей жене: «Не могу сказать, чтобы я много работал в деревянном домике (беседка в саду), но я честно курю там по три с половиной часа каждое утро, положив перед собой лист бумаги и держа в руке американскую вечную ручку. Чего еще можно требовать от добросовестного писателя — право, не знаю».

В позднейшие годы, когда подагра, его заклятый враг, то и дело добиралась до его правой руки, он бывал вынужден диктовать черновики своих произведений. Я убежден, что это плохо отражалось на его работе. Но на пути его вставали и другие помехи — война, которую он переживал очень тяжело, и бесконечные болезни, подрывавшие его поразительную жизнеспособность. Я, кажется, никогда не видел Конрада в состоянии полного покоя. Его руки, ноги, колени, губы — нервные, выразительные, насмешливые губы — что-нибудь всегда было в движении, мотор внутри него ни на минуту не затихал. У него был удивительно живой ум и редкая память на людей и впечатления, сохранявшая с необычайной точностью все, что видели его темно-карие глаза, такие пронизательные, а временами такие мягкие. У него было драгоценное свойство — внимание к подробностям. Этому мы обязаны его картинами и эпизодами из далекого прошлого — их убедительной достоверностью, живым разнообразием их композиций. Кладовая его подсознания была, вероятно, одним из самых обширных и интересных музеев мира. Подсознание составляет нам материал для творчества. Глаза Конрада, не переставая, делали моментальные снимки, и миллионы этих фотогра-

фий, откладываясь в подсознании, всегда были к его услугам. Кроме того, его природная наблюдательность не страдала от эгоистической занятости самим собой. Он не был эгоистом — для этого в нем было слишком много любознательности и подлинного интереса к событиям и людям. Я не хочу сказать, что он не интересовался собой и не верил в свои силы. О своей работе он обычно отзывался пренебрежительно, но в глубине души знал себе цену; и похвалы, особенно если они исходили от людей, в чье мнение он верил (а таких было немного), доставляли ему удовольствие. Кажется, ни одного писателя нашего времени столько не превозносили; но в нем не было и тени зазнайства — этой болезни выскочек, и «Я, я, я» никогда не звучало в его беседе.

Высказывалось много предположений о том, под чьим влиянием он сложился как писатель. Духовными отцами его называют Флобера и Генри Джеймса. Ничего подобного. Конрад был необычайно прожорливым читателем, он знал три языка. Славянский темперамент, жизнь, полная приключений и подчиненная долгу, множество самых разнообразных книг и английский язык — вот элементы, из которых родилось его сугубо самобытное творчество. Не мне, с которым он так часто говорил на эти темы, отрицать его восхищение Флобером, Мопассаном, Тургеневым и Генри Джеймсом; но достаточно прочесть первую книгу Конрада «Каприз Олмейера», чтобы убедиться, что он с самого начала шел своим путем, разрабатывал собственный метод — может быть, неоправданно усложненный, — и я не могу проследить в его вещах влияния ни одного определенного писателя. От Генри Джеймса он был так же отличен, как Восток от Запада. Оба в какой-то мере тяготели к сложности и излишнему психологизированию, но этим сходство между ними и ограничивается. Что касается Флобера — которого Конрад, кстати сказать, прилежно читал, — то этот добросовестный француз и убежденный стилист доставлял ему удовольствие, но помочь ничем не мог. Никто не мог помочь Конраду. Полетам своего воображения ему приходилось подчинять язык, который не был для него родным; ему приходилось работать в обстановке, не представлявшей естественной среды для его польско-

го склада. Пустыня, которую он пересекал, не была описана в путеводителях. Больше всего, мне кажется, он наслаждался Тургеневым; но никаких следов влияния последнего мы у него не найдем. Тургенев ему нравился и как человек, в отличие от Толстого. Имя Достоевского действовало на него, как красная тряпка на быка. Мне говорили, будто однажды он признал, что Достоевский «глубок, как море». Поэтому, возможно, он и не выносил его, а может быть, на польский вкус Достоевский слишком пропитан русским духом. Так или иначе, его безудержные метания из крайности в крайность оскорбляли что-то в душе Конрада.

О его любви к Диккенсу я уже говорил. Тrolлоп ему нравился, Теккерея, кажется, не слишком, хотя он по достоинству ценил такие образы, как майор Пенденнис. Персонажи Мередита казались ему ненатуральными, а его стиль — напыщенным. Он восхищался поэзией Гарди. Высоко ценил Гоуэлса, в особенности его замечательный роман «Карьера Сайласа Лепхема». О его любви к Стивену Крейну мы знаем по его предисловию к биографии этого одаренного писателя, принадлежащей перу Томаса Бира. Генри Джеймс в его среднем периоде, когда были написаны «Дэзи Миллер», «Мадонна будущего», «Гревил Фейн», «Неподдельное», «Пансион Бо-репа», был очень ему дорог. Но о своем отношении к этому тонкому мастеру, а также к Анатолю Франсу, Мопассану, Додэ и Тургеневу он сам написал в своих «Заметках о жизни и литературе». Помню еще, что ему очень нравились два столь не схожих между собою писателя, как Бальзак и Мериме.

Философских трудов он прочел много, но говорить на философские темы не любил. Двадцать и больше лет назад он находил удовлетворение в трудах Шопенгауэра; нравился ему Уильям Джеймс — и как человек и как философ.

Во время войны я редко виделся с Конрадом. Да и с кем мы тогда часто видались? Начало войны застало его в Польше, ему удалось вырваться домой лишь через несколько месяцев. Как уроженец континента и трезвый реалист, он, разумеется, был глубоко равнодушен к громким фразам, вроде «война, которая покончит со всеми войнами». Когда война кончилась, он мне написал: «Пи-

шу эти несколько строк, чтобы пожелать вам обоим безоблачного счастья в вашем новом доме и долгих лет мира. Впрочем, должен признаться, что не очень-то верю ни в безоблачное счастье, ни в мир. У меня такое впечатление, что эти божественные, но непопулярные гости сидят на чемоданах. Думается, единственное подходящее место для них — Северный полюс, где не думают и не спорят, где даже вода неподвижна, а демократические выкрики добродетельных вождей человечества замирают в ледяном безответном молчании». Конрад всегда уважал людей действия, работников, которые не суются в чужие дела, а свое дело делают на совесть; и соответственно остерегался дилетантов-всезнаек и неунывающих умников; на все заверения политиков и журналистов он только кривил презрительно губы и, не стесняясь, высказывал свое отвращение ко всякому балагурству и пустой болтовне. Мне кажется, больше всего в жизни он презирал теории, не подкрепленные знанием, а ненавидел — крикливость и притворство. Он чуял их издалека и сейчас же ошетикивался. Он необыкновенно быстро составлял суждение о людях. Помню, я как-то устроил обед, чтобы познакомить его с одной его соотечественницей. К ее мужу — не соотечественнику — Конрад мгновенно проникся такой ощутимой даже на расстоянии неприязнью, что все мы чувствовали себя за обедом очень неловко. Неприязнь эта была вполне заслуженной. Такому быстрому распознаванию враждебных ему характеров и типов соответствовали столь же безошибочные пристрастия, так что дружба у него всегда или почти всегда длилась долго — я могу припомнить только одно исключение. Он был живым доказательством той бесспорной истины, что дружба в большой мере определяется нервами, глубоко заложенным сродством, исключающим возможность трений, что ей способствует скорее инстинкт, нежели разум или обстоятельства. Предисловие Конрада к «Биографии Стивена Крейна» — достаточное свидетельство его внезапной, но прочной симпатии к некоторым людям и столь же внезапной антипатии к другим. Там же говорится, что, став писателем, он «никогда не вел дневника и не имел записных книжек», — утверждение, не удивившее тех, кому были известны ресурсы его памя-

ти и умение углубляться в себя в процессе творчества.

Кто-то определил «гениальность» как способность создавать многое из малого. В «Ностромо» Конрад создал континент из южноамериканского порта, мельком увиденного матросом за двадцать лет до того. В «Тайном агенте» он создал целый преступный мир, вероятно, из столь же беглых личных впечатлений. С другой стороны, в «Молодости», «Негре» и «Сердце тьмы» сырой материал его собственной жизни переплавлен в чистое золото искусства. Люди, воображающие, что писатели, подобные Конраду, если они есть, вытряхивают книги из рукава, как фокусники (а такое мнение случается слышать), были бы поражены, узнав, с какой болью и напряжением он творил. В предпоследнем своем письме ко мне, в феврале 1924 года, он писал: «Все же я начал понемногу работать — над своим беглым романом. Я называю его «беглым», потому что гоняюсь за ним уже два года («Морской Бродяга» — это всего лишь интервью) и никак не могу его догнать. Конца все еще не видно. Это похоже на гонки в кошмаре — жутко и бесконечно утомительно. Вы пишете, что закончили роман, и это меня немного утешает. Значит, есть романы, которые можно закончить, почему бы и моему не оказаться в их числе? Конечно, в газетах читаешь объявления о вышедших книгах — их целые кучи. Но мне кажется, что все эти объявления — мираж... В их реальность я не верю». В его письмах десятки таких упоминаний о страшных усилиях, о близости к отчаянию. Как у всех хороших работников, и у него, вероятно, бывали минуты удовлетворения, искупавшие многое; но если кто работал когда в поте лица и духа, так это Конрад. Именно поэтому его высокие достижения так вдохновляют. Он трудился, невзирая ни на какую погоду, по большей части ненастную. Никогда не отлынивал. В наши дни, когда мы работаем все более механически, все больше стремимся к экономии времени и к линии наименьшего сопротивления, его пример сияет особенно ярко — верность, которую он пронес через всю свою творческую жизнь, стремление художника сделать все, что в его силах. Верность! Да, этим словом лучше всего подытожить его жизнь и творчество.

В последний раз, что я видел Конрада — около года назад, — я был не совсем здоров, и он сидел у меня в спальне, полный дружеской заботливости. Мне до сих пор не верится, что я больше его не увижу. Его жена говорила мне, что в последний месяц на него нападала тоска по родине, что временами ему как будто хотелось все бросить и уехать в Польшу. Это Рождение перекликалось со Смертью — вероятно, не более того, потому что он любил Англию, страну его скитаний, его труда, его долгой последней стоянки.

Если покой отпускается человеку по заслугам, сон Конрада будет крепок и сладок.

1924 г.

ВОЕННЫЕ ФИЛЬМЫ И СУРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В первые годы после заключения мира все вспоминали войну как бедствие. Несколько миллионов людей погибли на этой войне, еще больше людей потеряли руки и ноги, зрение, рассудок, сыновей, отцов, близких друзей, имущество, надежду — почти все или даже все, ради чего стоит жить.

Молодое и среднее поколения воюющих стран провели четыре года в аду; познали кровь и грязь, раны, мороз, вшей, мух, вонь и болезни — знали их так, как теперь знают улицы, по которым каждый день идут на работу или в поисках развлечений. И четыре года люди пожилые и старые дни и ночи проводили в тревоге и печали.

Когда война кончилась, и потом еще несколько лет, взрослые люди и слышать больше не хотели о войне, потому что знали, что это такое — с начала до конца безобразный, кровавый кошмар; ничего доблестного и честного; сплошной хаос напряженного ожидания, лишений, жертв и ужаса. Когда он кончился, это было такое облегчение, что сильные мужчины не могли удержаться от слез.

А теперь мы ставим военные фильмы, субсидируемые правительствами стран — участниц войны. Американский фильм «Конвой», немецкие «Эмден», «Когда флот встречается с флотом» и «Официальный военный фильм»; французский уже снятый фильм «Верден»; и

наши, отечественные: «Армагеддон»¹, «Морские бои при Коронеле и у Фолклендских островов», «Ипр», «Монс», «Сомма», «Зеебрюгге», поставленные при поддержке Высшего военного совета и Адмиралтейства.

Я не видел ни одного из этих фильмов, но, судя по рассказам, они поставлены и просмотрены цензурой с таким расчетом, чтобы не оскорбить чувствительность публики, не показать ей кровь и грязь, вшей, вонь, зияющие раны, неотступную боль и страшные душевные муки — все то, что составляет подлинный Армагеддон.

Да если бы я и не слышал никаких рассказов, здравый смысл подсказал бы мне, что иначе оно и быть не может. Фильмы должны окупаться; а зная хоть немного человеческую природу, можно с уверенностью сказать, что они не окупались бы ни в одной стране, если бы всерьез действовали публике на нервы.

Изображение хотя бы миллионной доли тех ужасов и страданий, какие приносил с собою каждый день войны, обеспечило бы любому из этих фильмов полный провал. Значит, их никак нельзя назвать познавательными, поскольку они не показывают ничего, даже отдаленно напоминающего правду. Да, в сущности, рассказать правду о войне в фильме просто невозможно.

А раз так, чем объяснить это явление, получившее, как мы видим, больший размах в Англии, чем в какой-либо другой стране? Желанием уничтожить самую память о том, чем в действительности была война? Может быть, те, кто знает правду, хотят внушить молодежи, что война — это нечто доблестное и вдохновляющее? Или они упустили из виду, что смотрят эти фильмы по преимуществу люди молодые, которым к концу войны еще не исполнилось и семнадцати лет и которые понятия не имеют о настоящей войне, и что с каждым годом таких зрителей будет все больше?

Или, может быть, существует мнение, что возвеличение той или другой страны, неизбежно присутствующее в этих фильмах, будет способствовать делу мира и ра-

¹ Армагеддон (библ.) — место грядущей решающей битвы между силами добра и зла. Так называют всякое жестокое военное столкновение, в частности первую мировую войну.

зоружения, о котором мы столько слышим, и укреплять добрую волю между народами?

Или так слаба официальная вера в патриотизм, что считают нужными эти напоминания о войне, в которой патриотизм был доказан так, что дальше некуда?

Или назначение их — утешить народы воевавших стран, до сих пор стонущие от вызванных войной налогов? Или, может быть, кто-то вообразил, будто лучший способ сократить расходы на вооруженные силы (что, как нам время от времени говорят, было бы желательно) состоит в том, чтобы разжигать восторги публики перед показным великолепием этих самых вооруженных сил?

Или считается, что спрос публики на такие волнующие переживания неизбежен, и лучше уж удовлетворить его сразу, как ребенку выбирают кусок рождественского пирога, на котором больше всего глазури?

Или, может быть, правительства опасаются, что военные фильмы, поставленные без официальных субсидий, были бы еще меньше похожи на настоящую войну?

Или, наконец, дело просто в том, что правительства хотят поощрять развитие кинематографии в своих странах, а лучшего способа для этого не придумали?

Короче говоря, с какой целью правительства поддерживают военные фильмы в такое время, когда государственные деятели, судя по их неоднократным заверениям, делают все, что в их силах, чтобы залечить раны войны и предотвратить войны в будущем?

1928 г.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ СИЛУЭТА ПИСАТЕЛЕЙ

Писатель, не принадлежащий к сонму небесных созданий, что зовутся профессиональными критиками, берется говорить о других писателях только в том случае, если страстно их любит. Но очень редко бывает, чтобы живой писатель страстно любил других живых писателей; напротив, как правило, он их страстно ненавидит. Вот почему я намерен говорить о четырех писателях, которые все уже умерли. Это единственное, что роднит их между собой. И по задачам своим и по облику они столь же различны, как четыре владельца смежных домов на лондонской улице или четыре врача, ставящих диагноз больному.

Дюма я начал читать двадцати пяти лет, когда зеленым юнцом пустился в далекое путешествие. Начал я с «Монте Кристо» и читал его на парусном судне «Торренс», пересекавшем Индийский океан; распустив паруса своей фантазии, я плыл по необъятным просторам этого фантасмагорического романа. Помню, как во время штиля я уходил с зеленым томиком на нос, подальше от своих спутников — этих жалких фигур из реального мира, и там, наедине с романтикой и летучими рыбами, читал и читал без конца. И в последующие четыре года я, как пьяница, тянул Дюма — не синдикат, прикрывавшийся его именем, но автора серии «Мушкетеров» и серии «Королевы Марго». Приложился я также к «Жозефу Бальзамо» и к «Ожерелью королевы», но тут одного глотка оказалось достаточно, и к остальным из девяноста с лишним романов я не прикасался. Однако

«Монте Кристо» и те две серии — «Мушкетеры» и «Королева Марго» — это как-никак двадцать пять томов, а значит, уже есть о чем поговорить. По более зрелому суждению «Монте Кристо» далеко до «Королевы Марго», еще дальше, чем этой серии — до трилогии о мушкетерах, но трилогия эта, безусловно, обеспечила Дюма первое место среди всех авторов исторических романов. В самом деле, его способность творить историю — это почти катастрофа. История у Дюма настолько реальнее, чем у историков, что после него у этих несчастных не остается никаких шансов на успех. Они могут твердить вам, что события происходили так-то и так-то и участники их были такими-то и такими-то, но вы уже прочли об этом у Дюма, и вас не проведешь. Дюма, как безумный, носился по дорогам прошлого, устилая их бледными трупами историков. Пресная правда скитается, словно обездоленный призрак, среди его богатейших вымыслов. Кто в состоянии читать исторические труды о Ришелье и Мазарини, о Карле IX, Анне Австрийской, Луизе де ла Вальер, Великом монархе, герцогах Гизах, Генрихе Наваррском и королеве Марго после того, как он ходил вместе с ними в школу Дюма? Я сам учился в школе вместе с покойным нашим премьером и когда впоследствии читал о нем как об одном из небожителей, то мог лишь представить себе мальчика, который лучше меня переводил Горация и которого я сбивал с ног на футбольном поле. В реальности его позднейшей карьеры я всегда сомневался. Точно так же сомнительно, была ли у Франции история, кроме той, что запечатлена на страницах Дюма.

В последнее время вошли в моду биографические пьесы и романы, в центре которых стоит какая-нибудь историческая личность. Чтобы по достоинству оценить Дюма, поставьте эти современные творения рядом с историческими фигурами великого француза — и вы увидите, какие они худосочные, как мало в них аромата и обаяния. А потом попробуйте другое сравнение: поставьте исторические личности Дюма рядом с созданиями его фантазии, такими, как Д'Артаньян, Арамис, Портос, Атос, Коконна, Шико, Бюсси (у них были прототипы в жизни, но до этого никому, и прежде всего им самим, нет дела), — и талант его станет еще более очевидным,

ибо эти детища его ничем не стесненного воображения оказались даже более полнокровными и живыми, чем его исторические фигуры. Мужчины удавались Дюма лучше, чем женщины. Анна Австрийская, Марго, Луиза, мадам де Монсоро и герцогиня де Шеврез написаны хорошо, но не блестяще; миледи — попросту чудовище в юбке, а больше у него и нет особенно интересных женских образов. Зато мужчины его могут потягаться с лучшими литературными героями: они гордо шагают по десятилетиям, они поистине великолепны. По увлекательности повествования Дюма равен Диккенсу, а этим все сказано. Можно презрительно фыркать на его дешевые эффекты, так же как и на необузданность английского мастера, но то, что нас коробит в менее крупном писателе, у этих великих режиссеров кажется вполне естественным.

Я прошу прощения за то, что упомянул об искусстве повествования в наши дни, когда столь многие считают эту форму умершей и похороненной и пытаются изобразить жизнь человека в виде ряда взрывов, соединенных дефисами; но, право же, говоря о Дюма, нельзя ее не коснуться. В лучших своих вещах он, как никто, умеет держать читателя в напряжении. Обычно он берет сразу несколько сюжетов и правит ими, как четверкой лошадей, не сбиваясь с ритма даже при самой быстрой езде. По богатству сложно переплетенных между собой эпизодов и характеров первое место среди его романов занимает, пожалуй, «Виконт де Бражелон». Да, Дюма — несомненно, великий рассказчик! И есть в нем что-то от волшебника, но колдует он снадобьями, взятыми из действительной жизни. Он любит яркие краски и острые приправы, но никогда не пусто-словит.

Еще со дней Гомера к литературе предъявляют два требования: чтобы в ней был сюжет и были характеры. Человеческая природа меняется так медленно, что для нее тысяча лет назад — всего лишь вчерашний день; и сегодня читатель требует сюжета и характеров точно так же, как во времена Чосера. Пусть эклектики отвергают Дюма — его до сих пор читают с увлечением и будут читать и через сто и через триста лет. И в то же время я берусь с уверенностью утверждать, что от

произведений той литературы, которую можно назвать протоплазмической,— бесформенной литературы, сплошного желе и загогулин,— уже через тридцать лет не останется в памяти ничего, даже заглавий.

Различие между реализмом и романтизмом определяется основной целью, которую ставит себе писатель: тот, кто в первую очередь хочет заинтересовать и развлечь,— тот романтик; кто в первую очередь хочет показать или, если хотите, истолковать,— тот реалист. Я уже говорил это раньше, но опыт учит меня, что сказанное раньше рекомендуется повторять, иначе никто не обратит внимания на ваши слова. Итак, поскольку Дюма в первую очередь стремится заинтересовать, его следует причислить к романтикам. По его книгам почти невозможно судить о том, были ли у него свои пристрастия, предубеждения и какая бы то ни было философская система. Романы его не критикуют действительность, не окрашены его настроениями. Из английских писателей, пожалуй, только Шекспир так же беспристрастен. Но, будучи романтиком, Дюма все же твердо стоял на земле. Романтик по настроенности, он был реалистом по своему методу и в отдельных случаях увлекался созданием характера.

Величайшее его творение — безусловно, Д'Артаньян, этот стержень, на котором держатся одиннадцать томов, тип одновременно и воина — искателя приключений, и доверенного слуги, всегда готового вонзить шпагу в того, кто уступает ему и в великодушии и в отваге, но зато обладает холодным рассудком, которого недостает ему самому. Не знаю, есть ли еще в литературе герои, внушающие нам столь безоговорочную веру в их жизненность и типичность. Д'Артаньян — это всеобщий помощник, человек, совершающий поступки, из которых другие извлекают выгоду; и привлекательность его не уменьшается от того, что он все время готовится вот-вот «составить свое счастье» и только и делает, что составляет чужое. Сколько таких людей мы встречаем в жизни! Тому, кто создал Д'Артаньяна, можно простить что угодно.

Надев семимильные сапоги, перенесемся от Дюма к Чехову, русскому писателю, более современному, чем на-

ши современники. О Чехове можно сказать, что у его рассказов как будто нет ни головы, ни хвоста, что они, подобно черепахе, сплошная середина. Однако многие из тех, кто пытался ему подражать, не понимали, что головы и хвосты лишь втянуты внутрь, под панцирь. Чтобы видеть и писать, как Уистлер, мало этого захотеть; точно так же, чтобы чувствовать и писать, как Чехов, мало решить, что его новая манера вам нравится. Писать, как Чехов, не удастся; лишь одна молодая современная писательница, Кэтрин Мэнсфилд, явилась исключением из этого правила, но не потому, что она лучше других умела подражать, а потому, что она была отмечена той же напряженной, печальной взволнованностью, что и Чехов, и так же думала и чувствовала, как он (и умерла она, увы, от той же страшной болезни). За последние двадцать лет Чехов был, на мой взгляд, самым мощным магнитом для молодых писателей нескольких стран. Это был очень большой писатель, но влияние его оказалось по преимуществу расслабляющим. Дело в том, что для него было естественно работать методом, который кажется легким, но на поверку для западного писателя чрезвычайно труден, а произведения его стали известны в Западной Европе в такое время, когда писателями владело беспокойство, стремление добиться успеха без большой затраты труда — состояние духа, свойственное не одним лишь писателям, поскольку его можно наблюдать также среди водопроводчиков и среди биржевых дельцов.

В Чехове усмотрели соблазнительную возможность — кратчайший путь к желанной цели, но можно смело сказать, что из тех, кто пошел этим путем, почти никто цели не достиг. Его творчество — это неуловимый блуждающий огонек. Писатель может вообразить, что стоит ему добросовестно зарегистрировать обыденные чувства и события, и у него получится такой же изумительный рассказ, как у Чехова. Увы! Назвать вещь «изумительной» еще не значит сделать ее такой; будь это иначе, сколько «изумительных» вещей окружало бы нас сегодня! Западнему писателю гораздо труднее, чем русскому, обойтись в рассказе без четкой композиции, хотя многие западные писатели сейчас, как видно, этого не считают.

Мне не хочется создавать впечатление, будто я не ценю усилий и достижений нашей «новой» литературы, которая так перещеголяла Чехова, что уже сама не узнает родного отца. Очень способные и серьезные писатели искренне стараются изобразить жизнь в ее трепетности и калейдоскопической пестроте; к тому же они проникнуты тоскливым, ироническим фатализмом, который им, возможно, кажется новым, но который идет от Чехова, а также от многих других писателей, которых они, по их мнению, переросли. В стиле и методах некоторых из этих отважных новаторов есть кое-что подлинно новое, но в их жизненной философии я ничего нового усмотреть не могу. Они отказались от сюжета и характеров или, вернее, от прежних драматических приемов в создании сюжета и характеров, но в философском плане они не ушли дальше своих предков — Тургенева, Мопассана, Флобера, Генри Джеймса, Мередита, Гарди, Франса, Конрада. Мистицизм, на который эти новые писатели претендуют как на собственное изобретение, не более мистичен, нежели тот, что лежит в основе творчества любого из этих старших их братьев, — ведь все они достаточно ясно показали, что признают таинственный и самодовлеющий ритм мироздания, видят красоту, ужас, сострадание и иронию, которыми пронизана человеческая жизнь. Да, стиль и метод наших новых писателей, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем их философия. Я восхищаюсь их смелыми приемами, хоть они, пожалуй, слишком лежат на поверхности; но невольно возникает вопрос: а может быть, ловко и смело разделяваясь с формой и последовательным сюжетом, они упустили из виду ту истину, что жизнь человека, какой бы она ни казалась эфемерной в наш век быстрого движения, на самом деле привязана к глубоким и своеобразным корням? А вот Чехов в своих, казалось бы, бесформенных рассказах никогда не забывает эту простую истину, и никогда его мастерство не выпирает наружу.

Родился Чехов в 1860 году в русском городе Таганроге, а умер в Шварцвальде всего сорока четырех лет от роду. Он происходил из крестьян, был земским врачом. Ни у кого из других русских писателей его поколения мы не найдем такого понимания русского ума и рус-

ского сердца, ни такого безошибочного чувства типично русского характера. Исконную русскую бесхребетность он словно воспринимает как некий рок, и все его творчество — это непрерывное, долгое и беспристрастное раскрытие ее. Сельский врач, как никто другой, имеет возможность наблюдать человеческую природу; он видит ее под гнетом боли и злоключений, лишенную всякой помощи, кроме собственной выдержки. Чехову, человеку очень чуткому и не лишенному метода, было, должно быть, неимоверно тяжело наблюдать страдания своих ближних, неспособных почерпнуть силы в национальных чертах своего характера, которые он, как прирожденный художник, видел с необычайной остротой. Русский характер, если можно говорить о нем как о чем-то едином в стране, населенной многими народами, практически безразличен к ценности времени и места; главное для него — чувства, а еще больше, пожалуй, — выражение чувств, так что он не успевает достигать своих целей до того, как новые волны чувств смывают их прочь. Русский человек, во многих отношениях чрезвычайно привлекательный, неспособен, мне кажется, остановиться на чем-то определенном. Поэтому он всегда был и, думается, всегда будет жертвой той или иной бюрократии. Русский характер — это непрерывные приливы и отливы, и чисто русское словечко «Ничего!» хорошо выражает фатализм этих нескончаемых колебаний. Для русского материальные ценности и принципы, за ними стоящие, значат слишком мало, а чувства и выражение их — слишком много. Я, конечно, говорю так с точки зрения англичанина. Русский сказал бы, что для нас материальные ценности и принципы, за ними стоящие, значат слишком много, а чувства и выражение их — слишком мало. И как раз в силу этого контраста между двумя национальными характерами форма чеховских рассказов так привлекает английских писателей и так чужеродна для них. Форма эта плоская, как русские равнины. И победа Чехова в том, что он сумел плоское сделать захватывающим, не менее захватывающим, чем прерия или пустыня для того, кто впервые их видит. Как он этого достиг — тайна, и хотя многим с тех пор казалось, что они ее разгадали, но будем говорить откровенно: это им только казалось.

И пьесы Чехова в английских постановках никогда нас полностью не удовлетворяют — отчасти потому, что они написаны для русских актеров, вероятно, лучших во всем мире, отчасти из-за метода и характера самого Чехова. Английские актеры не способны передать атмосферу чеховской пьесы. А вещи Чехова, будь то пьеса или рассказ, запоминаются именно благодаря своей атмосфере.

Проникновение в человеческие чувства придает его вещам внутреннюю форму, взамен той, что заключена в драматическом сюжете. Чехов не написал ни одного романа — вероятно, потому, что чем длиннее произведение, тем более нужно, чтобы в нем случилось что-то определенное. Что до характеров, то либо они слишком непосредственно взяты из жизни, либо просто слишком русские и потому плохо запоминаются. Персонажи «Вишневого сада» или «Дяди Вани» — некоторых я даже могу назвать по имени — вспоминаются как очень живые, очень достоверные, но они так подчинены настроению и атмосфере, что не столько стоят на свету, сколько бродят где-то в полумраке. И все же творчество Чехова имеет огромную ценность, ибо он показал нам душу великого народа и сделал это без шума и без претензий.

Перескочить от Дюма к Чехову можно только в семимильных сапогах; для прыжка от Чехова к Стивенсону требуются сапоги десятимильные. Если искусство вообще может действовать гнетуще, то нет писателя такого гнетущего, как Чехов. Меньше чем к кому бы то ни было нас тянет к нему, когда у нас невесело на душе; другое дело — шотландец Стивенсон: он первый, за чьи книги мы хватаемся, заболев инфлюэнцей. Кстати, заметили ли вы, что писатели трагические — это обычно люди отменного здоровья? Русские не в счет, — они всегда выражают то, что чувствуют; а вот нам, людям Запада, свойственно идти наперекор своим ощущениям. Если мы чувствуем себя скверно, мы становимся юмористами или на худой конец романтиками. Будь у Стивенсона крепкое здоровье, он мог бы стать великим трагическим писателем; с его болезнью ему ничего не оставалось, как быть жизнерадостным. Он искал спасения в черни-

лах, самым большим счастьем для него было выхватывать из ножен перо. Чем старше я становлюсь, тем больше его ценю. Могут сказать, что это признак старческого слабоумия. В молодости я и сам так говорил. Ибо я в ту пору привык сидеть на французских и русских сквозняках, пронизывавших душноватую комнату тогдашней английской литературы, а кроме того, огульное восхваление Стивенсона так набило мне тогда оскомину, что в моих глазах это был «приятный болтун», несколько манерный и неисправимо романтичный. Теперь-то я знаю, что был неправ! Да, Стивенсон не первоклассный романист: его здоровья не хватило бы на серьезные философские искания или на особенно деятельную любознательность. И жил он минутой, притом жил без оглядки, а такие люди не склонны углубляться в психологию и докапываться до первопричин. Но писатель Стивенсон первоклассный, а в том, что когда-то казалось мне манерностью, я теперь вижу естественное выражение необыкновенно яркой, тонкой и отважной души. Его слог, таящий неожиданности чуть ли не в каждой фразе, не замысловат и не вымучен. В нем нашла свое выражение готовность всегда увидеть в мире что-то новое, неослабевающий интерес к жизни; а материал для него поставляли редкостная наблюдательность и великолепная память. Я открываю наугад одну из его книг, и мне попадает такая фраза: «Вид замыкали высокие скалистые горы, синие, как сапфир, а между ними уходили вверх гряда за грядой, крутые холмы, одетые вереском, и камни сверкали на солнце, а по ложбинам карабкались низкорослые деревья, и все это было грубое, каким бог создал его в самом начале».

«Карабкались», «грубое», «в самом начале». Не думаю, чтобы Стивенсон нарочно выискивал эти слова, которые придают очень в общем обыкновенной фразе столь ценный элемент неожиданности. Думаю, что они просто сами пришли ему на ум. Пожалуй, никакой другой английский писатель, кроме, разумеется, Шекспира, да еще, может быть, мистера Водхауза, не вводил неожиданное так непосредственно и так уместно. Что бы ни говорили по этому поводу комментаторы, я твердо убедился в этом, когда перечитывал Стивенсона; а свойство это поистине бесценное и может искупить множест-

во недостатков. В отличие от некоторых признанных стилистов Стивенсон читается очень легко, от фразы к фразе; на его неожиданных словах не спотыкаешься, грамматика прозрачна, как чистая родниковая вода,— ни тяжеловесных закруглений, ни резких эллипсов, ни попыток усилить эффект назойливым, ненужным повторением.

Подобно Дюма, Стивенсон — романтик; рассказать интересную историю для него важнее, чем показать человеческие типы и ход человеческой жизни. Правда, в «Похищенном» и «Катрионе» он почти в равной мере поглощен сюжетом и характерами, то есть близок к золотой середине; а к концу жизни, в «Отливе» и в «Уире из Гермистона», он склонялся к реализму; но в общем это романтик. Как заметил Эндрю Лэнг в предисловии к Суонстонскому изданию его сочинений, он «никогда не искал свои темы в главном русле современной жизни, никогда не пытался растолковать читателям знакомую им действительность». Во всем, что написал Стивенсон, чувствуется человек пытливого и смелого ума, неизменно благородный в житейских делах, неповинный в болезненном самоанализе, даже немного страшящийся слишком углубляться в суть вещей. Главный его недостаток как романиста в том, что он брался за темы, едва ли достойные его таланта. Там, где тема, как в «Докторе Джекиле и мистере Хайде», достаточно серьезна, он не решается раскрыть ее до конца, и результат получается несколько ущербный. В «Отливе» он сам встревожен своим бескомпромиссным подходом к тому, что наши критики любят называть «изнанкой» жизни. Как он закончил бы «Уира из Гермистона», трудно сказать, но, вероятно, он уклонился бы от намеченной трагической линии (как вы, может быть, помните, его любовникам уготован счастливый конец или, вернее, отъезд в Америку).

Как рассказчик, Стивенсон, хоть и в меньшем масштабе, не хуже Дюма и Диккенса; а проворством и быстрой он их превосходит. У Стивенсона нет длиннот. Главная тема у него всегда одна и та же: тема всех романтиков — борьба между добром и злом, между героем и злодеем, причем героиня часто отсутствует либо только подглядывает из-за оград. Ибо в Стивенсоне было что-

то вечно юное, и недаром он написал *Virginibus Puerisque*¹.

Из его романов «Похищенный» и «Катриона», взятые вместе, бесспорно, всего значительнее. Здесь, помимо интереснейшей фабулы, есть превосходно сделанные типы. Алан Брек и Давид Бальфур имеют все шансы навсегда остаться выразителями горной и равнинной Шотландии, а Катриона и Барбара Грант — лучшие из созданных им женских характеров. Но, помимо этого, здесь все овеяно гордой любовью к Шотландии, запахом вереска и моря, и редко в какой книге так передана атмосфера домашнего очага. На второе место я ставлю «Владетеля Баллантрэ». Эта книга отлично выдерживает опасный метод повествования от первого лица, а сам «Владелец» — первостатейный мерзавец. Я питаю слабость к «Черной стреле», этой увлекательной истории, в которой дана на редкость живая картина средневековья. «Остров сокровищ», разумеется, стоит особняком как вымысел в чистом виде. В «Отливе» и «Морском мародере» несколько смещена перспектива, что почти неизбежно в книгах, написанных двумя авторами², но я лично перечитываю их с удовольствием. «Сент-Ив» — это одна из тех превосходных книг, которые невозможно запомнить, а потому всегда можно перечитать; ей бы следовало остаться незаконченной. «В затруднении» — по-настоящему веселая вещь. Без «Доктора Джекиля и мистера Хайда» я вполне мог бы обойтись. Это наименее стивенсоновская из написанных им книг, хотя — таков врожденный дух противоречия читающей публики — именно она принесла ему известность и, как я на днях прочел, до сих пор считается вершиной его творчества. Что касается «Уира из Гермистона», то я не разделяю популярного мнения сэра Сиднея Колвина, будто он должен был стать лучшей книгой Стивенсона. Книга эта интересна, поскольку в ней сделана решительная попытка отойти от романтизма; но очень уж ясно обнаруживается в ней слабость Стивенсона, когда он пытается по-настоящему раскрыть внутренний мир че-

¹ «Девушкам и юношам» (лат.) — сборник очерков.

² Эти книги написаны Стивенсоном в соавторстве с его пасынком Ллойдом Осборном.

ловека. Арчи не удался, и Кристину, как мне кажется, ожидала та же участь.

Стивенсон был таким ярким и привлекательным человеком, так живописны его путешествия и весь образ жизни, так обильны и интересны его очерки и письма и так приятны стихи, что эта многогранная личность заслоняет в нем романиста. Но сравните с его книгами все романтические повести, написанные после него, даже этих прелестных близнецов — «Узника Зенды» и «Руперта фон Хенцау»¹ — и вы увидите, как высоко он стоит. В самом деле, после Дюма он лучший из всех прозаиков романтического толка, уж, конечно, лучший в Англии, и я буду очень удивлен, если в наше время кто-то вытеснит его с этого места. Ибо хотя мир еще не слишком стар для того, чтобы наслаждаться романтической литературой, он, на мой взгляд, все меньше и меньше способен породить писателя с такой радостной душой и таким юным воображением, как Стивенсон. Казалось бы, почему и нам время от времени не окунать перо в романтические фантазии. Но с тех пор как писали Дюма и Стивенсон, что-то случилось. Из мира ушла мелодия. В наши дни романтики очень ловко изготавливают истории о трупах, запятанных в бочки, и прочих таких материях; но те, кто пытается оседлать Пегаса, — скажем, Джон Мэйсфилд как автор «Сарда Харкера» или Джон Бьюкен, — слишком уж помнят о том, что у этого животного есть крылья. Романтики имеют полное право вводить в свои книги поезд 9.15, но в нем едут дельцы из Чизлхерста и Кройдона. Все мы помешались на лимузинах и самолетах. В романтическую литературу пробрались машины, а когда в мозгу грохочут машины, мы уже не слышим свирели Пана. Вот мне и кажется, что мы не доживем до свержения Стивенсона с его пьедестала. И я почти уверен, что из всех английских писателей XIX столетия он, после Диккенса, окажется самым долговечным.

Хотя У. Г. Хадсон больше известен как наблюдатель и любитель природы, я буду говорить о нем только как о художнике — авторе книг «Пурпурная земля», «Эль

¹ Романы Энтони Хоупа (1863—1933).

омбу» и «Зеленая обитель», каждая из которых в своем роде шедевр. Хадсон — большой талант, но я не хочу сказать, что этот творческий талант увела с прямого пути и загубила некая коварная соблазнительница по имени Природа. Я вполне допускаю, что в нем и не было больше материала для литературного творчества, ведь можно с уверенностью сказать: то, что каждый писатель должен написать, он пишет. Однако из этих трех книг каждая по-своему — большая победа. «Пурпурная земля» — лучший плутовской роман, написанный на английском языке за последние сто с лишком лет; «Эль омбу» — прекрасный образец простой и трагической повести; а «Зеленая обитель» — самая причудливая фантазия нашего времени. Хадсон — писатель совершенно самобытный, свободный и искренний. Он не принадлежал ни к какой школе, не испытал на себе влияния ни одного мастера, но прилетел в литературу на крыльях ветра, вольного, как ветер Пампы, где он родился, или как одна из тех Корнуэльских бурь, которыми он так наслаждался. «Пурпурная страна», написанная, кажется, в восьмидесятых годах, а возможно, и раньше, — это рассказ о странствиях и приключениях молодого человека в Аргентине прежних времен. Вероятно, в книге есть автобиографический элемент или хотя бы отдельные личные воспоминания — некоторые эпизоды, несомненно, окрашены отблеском пережитого, и некоторые ощущения автор украл у себя самого. Если Дики Лемб в книге — это и не сам Хадсон, он, как видно, осведомлен о приключениях и знакомствах Хадсона в пору его юности. Суть плутовского романа в жадном интересе к новым местам и новым лицам, преимущественно женским; и, конечно же, именно это суть «Пурпурной страны». Это книга человека, влюбленного в жизнь, потому она никогда не пользовалась особенным успехом. Большинство людей не влюблены в жизнь; они не бьют ее влет, они палят в нее, когда она садится, предварительно удостоверившись, что она съедобна. Мы не любители пустых приключений, которые ничего нам не дают; мы живем в эпоху гарантий. «Пурпурная страна» — это рассказ о другом мире и о днях, когда никаких гарантий не знали, а люди пускались в странствия за победами и любовью. Кроме того, в книге чувствуется привкус Испа-

нии, чем тоже объясняется прохладный прием, оказанный ей в странах английского языка. Ведь нас интересуют не столько гитары, сколько нравоучения.

«Эль омбу» — центральная повесть второй книги Хадсона — трагична в своей общечеловеческой теме, однако я не поставил бы ее рядом с такими вещами, как «Степной король Лир» или «Вешние воды» Тургенева, как «Молодость», «Сердце тьмы» и «Тайфун» Конрада, или «Кармен» Мериме, или «Пышка» Мопассана, или «Простая душа» Флобера, или «Дождь» мистера Моэма — все это повести примерно того же объема, общечеловеческие по теме, и все, кроме «Молодости» и «Тайфуна», трагические; в «Эль омбу», хотя огромное дерево, давшее название рассказу, и служит неким объединяющим началом, нет прочного стержня и нет чувства неизбежности, как в тех замечательных повестях. Этот несвязный рассказ о сплошной цепи горя и несчастий, данный от лица старого пастуха, — своего рода вариации на тему о неистовстве человеческих страстей. Но благородная простота языка и общая атмосфера придают ему значительность. Как и «Пурпурная земля», он, вероятно, основан на фактах, соткан из фольклора Пампы, возникшего в прежние, более красочные и неистовые времена. Кстати говоря, равнины занимают в творчестве Хадсона то же место, какое в творчестве Конрада занимает море, с той разницей, что в Хадсоне природа возбуждает любовь, а в Конраде — ужас. Сравните, например, лес в «Сердце тьмы» Конрада и лес в «Зеленой обители» Хадсона: первый — это чудовищная, мрачная угроза, второй — чудесное пустынное убежище.

«Зеленая обитель» — третья книга, дающая Хадсону право называться большим писателем. Она так самобытна, так поразительно непохожа на какое бы то ни было другое литературное произведение, что при первом чтении красота ее не дошла до меня. Оценил я ее, лишь когда прочел еще раз, десять лет спустя. Это единственная известная мне книга, в которой автору удалось поистине «сплавить звуки лесные в единый напев». Райма, лесная девушка-птица, воплощает в себе одновременно и колдовское очарование природы и тоску человека по слиянию с природой, которое роет самоанализа или, скажем, жизнь в городах сделали для нас недо-

ступным. В своей невещественной красоте она единственный в своем роде литературный образ. Статуя Раймы, поставленная три года назад в Хайд-парке и вызвавшая столько споров, мне глубоко неприятна. В самом деле, это была невыполнимая задача даже для самого оригинального художника. Металл и камень непригодны для изображения того, что неосвязаемо и эфемерно. В образе Раймы Хадсон пытался выразить то, что он ощущал, как никто другой, — сочувствие всему живому, что не есть человек, в особенности же — сладкозвучной свободе пернатых. И для того, кто знал Хадсона, в этом самоуверенном, громоздком изделии, вышедшем из мастерской скульптора, есть что-то кощунственное. Такое можно сделать только сгоряча, а потом оплакивать на досуге.

Для тех, кто знал Хадсона лично, человек в нем заслонял писателя: это был самый удивительный, самый неповторимый человек своего времени; ни у кого понимание не простиралось так далеко за пределы чисто человеческого, никому не удавалось так отчетливо увидеть лицо природы. При всем его образовании и культуре в нем было что-то от первобытного человека, даже что-то от зверей и птиц, которых он так любил. И все же, если бы он не оставил о себе памяти как личность и не оставил специальных трудов о природе, а только вот эти три беллетристические книги, его и то следовало бы признать фигурой необычайной и очень крупной.

Редакторы иногда задают вопрос, каким нам представляется роман будущего. Ответить на этот вопрос не может никто. Будущее романа зависит не от той или иной моды в писательской технике и не от тех или иных экономических условий, оно зависит от того, угодно ли будет случаю породить писателей, наделенных одним из двух равно не поддающихся определению качеств, а еще лучше и тем и другим. Качества эти — Величие и Обаяние. По закону средних чисел каждое десятилетие должно поставлять примерно одинаковое количество таких писателей; однако, изучая прошлое, мы, я думаю, обнаружим немалые пробелы; а изучая настоящее, проникнемся, может быть, тревогой в отношении будуще-

го. Что-то есть в нашей эпохе враждебное величию. Даже индивидуальные черты человека стираются под воздействием рекламы, сзета рампы, стандартизации, специализации и быстрых сообщений. Как это ни странно, но, по-моему, не подлежит сомнению, что свойство, которое мы называем практическим умом, враждебно величию, а наша эпоха очень умная и день ото дня умнеет.

Опасность, угрожающая обаянию, может быть, не так серьезна, но все же и оно в опасности. Ибо обаяние — качество интимное, уютное, а уют в жизни все меньше. Мы так совершенствуемся, что скоро уже ничего не останется от того устойчивого домашнего существования, которое накладывало свой отпечаток на душу людей и создавало любимый или ненавистный фон для их мыслей. Искусство, способное возвыситься над бурями жизни или улыбаться про себя (или и то и другое), коренится в чем-то глубоком и спокойном, в чувствах горячих и сокровенных. Судите сами, насколько мы в нашу эпоху можем сохранить самобытность мыслей и чувств.

Итак, величие или обаяние, а иногда и то и другое — вот что заставляет нас возвращаться к книге и во второй и в третий раз. А только та книга, к которой мы возвращаемся, и может рассчитывать на долговечность. Производству книг не видно конца, разговорам о них — и по-прежнему, и закончить я хотел бы несколькими словами о тех, кто разговаривает, в том числе и о себе самом. Никакими разговорами нельзя создать автору или книге прочную репутацию. За тридцать лет, истекших с тех пор, как я начал писать, о десятках книг говорили так, словно это были непреходящие ценности, а теперь о них забыли, будто их и не было. Невидимый ветер Времени сдувает прочь все, в чем не заключено магического вещества — «жизни». Насмешник-летописец, вздумай он записать все изустно созданные репутации и подсчитать их длительность, составил бы себе весьма странное представление о наших критических вкусах. И я говорю самому себе и всем, кто передает из уст в уста крылатую молву, создающую репутации: «Да, конечно, полагайтесь на свой вкус, но помните уроки истории и примиритесь с тем, что вкус у вас, вероятно, дурной!»

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Что такое литература? Поскольку писателю лучше, разумеется, умереть, прежде чем о нем станут говорить, то условимся произведение не считать литературой до тех пор, пока жив его создатель; но даже в этом случае трудно подыскать определение из-за бесконечного множества книг и постоянно меняющихся мнений о них. Трудно представить, что в этом зале найдутся два человека, которые сумели бы более чем за две минуты договориться о том, что же считать литературой. Вероятно, все мы признаем Шекспира. Но, кроме него, кого назвать еще? Ведь не станем же мы метить наших поэтов так, как метим яйца — «свежие», дабы они оставались таковыми на длительный срок. Нет, писатели сами ставят себе дату.

Я лично склонен, безо всяких на то оснований, считать литературой лишь то, что я сам успел прочитать; этот предрассудок помогает мне исключить много больших имен. Но, отвлекаясь от личных вкусов, надо сказать, что разложить Литературу по статьям так же трудно, как постановщику выбрать для своего театра пьесу, которую ждет Публика, — с той только разницей, что ему приходится делать выбор до того, как Публика выразила свое желание, а нам — после, и какое это огромное утешение! Но, с другой стороны, — увы! — наша Публика в отличие от театральной, которая живет сегодняшним днем, — это многие поколения. В 1800 году превосходно обходятся без того, чем упивались в 1600-м. Какое-нибудь имя в 1830-м превозносят, а в 1930-м бранят.

Литература оставляет следы не на земле, а на зыбучих песках Времени, и я сочувствую сыщику, который должен по тем следам обнаружить беглеца. Так что в любом случае определение литературы будет, мне кажется, неполным. Но вот на днях я беседовал со знакомым мне писателем, который, штудирруя старые пьесы, попытался узнать, отчего же литературное произведение сохраняет долговечность. Он пришел к выводу, что дело в жизненности характеров. Полагаю, он был недалек от истины, если говорить о пьесах и романах; правда, останется найти нечто, что было бы применимо к поэзии. По-видимому, можно сказать так: чтобы быть Литературой с большой буквы, произведение должно нести на себе печать подлинной индивидуальности. Оно, по своей сущности, должно быть непохоже на то, что было создано прежде.

Приходилось ли вам когда-нибудь видеть скелет змеи — одного из самых удивительных и изящных земных созданий? Так вот, Литературу можно сравнить со скелетом бесконечной змеи: каждый позвонок чем-то отличается от предыдущего и все-таки таинственным образом соединен с ним. Или позвольте мне привести другой пример из естественной истории. Несколько лет назад, будучи в Нью-Йорке, я видел диплодока, гигантскую рептилию с огромным костяком, причудливым хвостом и очень маленьким ртом — нет, отнюдь не живого диплодока, хотя порой встречаешь не менее замечательных чудовищ с еще меньшим ртом. Я спросил у профессора, который показывал нам музей: «Скажите, профессор, как это громадное существо могло насытиться, если у него такой рот?» Он посмотрел на меня недоброжелательно, как бы говоря: «Вы спросили о том, что я как раз собирался объяснить». Я хочу сказать, что Литература — это своего рода диплодок с огромным скелетом, хвостом, до конца которого никогда не добраться, и крохотным ртом, которым она постоянно покусывает Жизнь. Я употребляю это слово, так сказать, забегаю вперед, вполне отдавая себе отчет, что некоторые считают, будто Литература должна быть в самых холодных отношениях с Жизнью — ей достаточно лишь кивнуть издали и первой прошествовать к столу. А другие считают, что Литература должна быть живее самой Жизни,

должна спешить и скакать, не заботясь о таких пустяках, как стройность, отбор, форма или извлечение из Жизни какой-нибудь морали, если позволительно употребить это избитое словечко; что Литература должна, по сути дела, придерживаться правил так называемого бихевиоризма — подобно композитору-ультрамодернисту, который принимается сочинять музыку с молитвой: «О господи, только не сложилась бы мелодия!» Мне известны эти взгляды, но я безнадежно старомоден: для меня Литература начинается тогда, когда Жизнь высекает искру из темперамента художника, причем не та жизнь, которая высекает искру из полицейского отчета и газетной статьи, — нет отнюдь, но все огромное, бурлящее, шумное действо с его разнообразием красок и запахов, глубинами и тьмой, и каждый из нас — незаметный отдельный участок этого действия, вступающий, всякий на свой лад, во взаимодействие со всеми остальными его участниками. И вот когда это взаимодействие достаточно очевидно, у какого-нибудь счастливца возникают видения, облакающиеся затем в слова, — вот тут и рождается литературное произведение. Этот новый, крохотный сверкающий позвонок, не признанный, быть может, поначалу, в положенный срок занимает свое место в бесконечном спинном хребте Литературы. Литература — словно нитка драгоценных камней, и ни один из них не похож на другой. Подчеркиваю, у Литературы — прямой позвоночник, я всецело полагаюсь на него и до ужаса боюсь всяких искривлений. Оглядываясь назад, на прошлое, можно без труда различить спинной хребет развития Литературы. А те, кто пытается переломить этот хребет и начать все заново, бессмысленно тратят время — свое собственное и тех, кто вынужден смотреть на их кривляния.

Как бы ни были, например, любопытны эксперименты, превращающие роман в калейдоскоп событий в духе иных молодых авторов, в энциклопедию семейной жизни в духе Пруста, в вихрь несвязных ощущений в духе Эдгара Уоллеса, в трактат по психологическому микроанализу в духе уж не знаю кого, — я убежден, что лет через тридцать об этих экспериментах забудут и останутся жить только те романы, в которых есть характеры и сюжет.

Я также убежден, что из стихов останутся лишь те, содержание или ритм которых каким-то непонятным образом затрагивает наши чувства. О живописи я вообще не осмелюсь сказать, что́ хотелось бы, ибо художники, как я заметил, еще обидчивее литераторов. Разве забыть, как возмутился один знаток в берлинской картинной галерее, когда я позволил себе не согласиться с ним в том, что некий конгломерат почтовых марок, линий, прочерченных мелом, гвоздей и старых автобусных билетов, размещенных в определенном порядке на холсте,— более волнующая картина, чем «Сикстинская мадонна»? Что до музыки, то никакие силы не принудят меня отказаться от убеждения, что через тридцать лет люди будут так же тянуться к мелодичности и позабудут о неудобоваримых изделиях из сельскохозяйственных и промышленных шумов, которые так нравятся их изготовителям. Более того, сообщу вам по секрету, на ушко: я сильно подозреваю, что к тому времени саксофоны, как и джазовые инструменты прошлого — арфы, псалтерионы и цимбалы,— займут свое место в музеях и игра на них там будет преследоваться по закону, ставшему статьей Конституции.

Из всего этого вы можете, вероятно, заключить, что я убежденный реакционер, который с пренебрежением относится ко всяким экспериментам. Ничуть не бывало! В искусстве эксперимент так же необходим, как и в науке, он способствует движению вперед и иногда приносит свои плоды. Но не следует забывать одной очевидности: только тогда писатель может создать долговечное произведение, когда эксперимента действительно требует сама тема. Тем же, кто экспериментирует лишь из желания во что бы то ни стало быть оригинальным, удастся на какое-то время завладеть воображением невзыскательных сограждан, привлечь внимание порхающих мотыльков, но писания их быстро сходят на нет, как сходит роса под солнечными лучами, или, выражаясь слогом современной поэзии, стираются, как в поцелуе краска с губ.

Лет пятнадцать назад в Лондоне была выставка работ одного скульптора, где демонстрировалось много отличных нормальных вещей. Но вот однажды в зал впорхнули две молодые особы; они недовольно перелетали с

цветка на цветок, пока наконец одна из них не заметила огромную сидячую фигуру, составленную из неправильных эллипсоидов, которая, присвоив себе имя Венеры, добивалась внимания посетителей. Перед этой сверхваинкой наша молодая особа остановилась, если вообще мотыльки могут стоять на месте, и позвала: «Милочка, вот она, Венера!» Потом, склонив головку набок, добавила: «Она очаровательна, не правда ли?» Такие мотыльки есть и сейчас, и они по сей день льнут к произведениям оригинальным ради оригинальности, потому что им прожужжали уши всякие крикуны, которым подавай «оригинальное» во что бы то ни стало.

Вернемся, однако, к Литературе. Сейчас мы переживаем время, насыщенное экспериментами настолько, что нам, писателям, приходится нелегко. Нас, пожалуй, меньше всего заботит, не обратилась ли поэзия нынче в прозу, а проза в поэзию. И, пожалуй, больше всего нас заботит, стоит ли вообще при сложившихся обстоятельствах писать и поэзию и прозу. Мы, кажется, теперь рады всему, что появляется, и все встречаем приветственными возгласами. Вокруг вышедших книг поднимается шумиха, так что им с трудом удастся пережить издательскую рекламу. Редкую книгу не назовут «великой». «Шедевры» и «талантливые вещи» растут, как крыжовник, и их столь же охотно потом валят в компот. Когда-нибудь — но не скоро — издатели и рецензенты поймут, что эпитеты вроде «великий» и «талантливый» лучше оставить беспристрастному и проницательному судье — Времени, необыкновенно похожему на сборщика налогов, которого не проведешь заниженными цифрами доходов. Во всей этой барабанной трескотне есть, правда, одно преимущество: книги сразу же получают известность. Это полезно хотя и таит в себе опасность для молодых писателей. Когда знатоки в былые дни хвалили начинающих авторов — как, скажем, хвалили Мередита, Конрада или Стивена Крейна, — то можно было поручиться, что книги их не будут продаваться. Если же теперь начинают хвалить писателя, то его книга немедленно выпускается пятнадцатью изданиями, а самого автора корреспонденты закидывают просьбами высказать мнение насчет сухого закона, человека-горы, контроля над рождаемостью и других потрясающих новостей,

и если у нашего автора голова не очень крепкая, то в его — а еще чаще ее — глазах очень быстро все переворачивается вверх ногами.

Вот почему, наверно, большинство сограждан считает писателей немного свихнувшимися. Люди покупают наши книги, однако приговаривают: «Уж эти литераторы!», — словно бы убежденные, что мы все путаем и ценности наши ложны. Это верно по отношению ко многим из нас, и это прискорбный факт, ибо долг писателя — понимать все хотя бы приблизительно правильно, обладать острым зрением, глубоко чувствовать и размышлять и выражать более ясно, чем остальные, то, что мы видим, чувствуем и думаем. Чтобы не даром есть свой хлеб, нам нужно быть терпеливыми, достаточно скромными и независимыми, всегда сохранять чувство юмора и меры и жар души.

Теперь у нас немало способных молодых писателей. Думаю, что уровень художественной выразительности высок, как никогда. Значит, дело не в таланте и не в техническом мастерстве, а в том, чтобы сохранять спокойствие ума, а в сердце — то, о чем стоит рассказать; дело в том, чтобы не поддаваться ребяческому желанию непременно поразить читателя и не погружаться в мутные воды умствования и усложненного стиля.

Прежде чем говорить о Жизни, позвольте высказать еще одну мысль. Любой художник, живописец, музыкант или писатель — это паломник. К какой святыне он идет на поклонение? Чей лик узреть бредет он безводными пустынями, неся крест своего таланта? Лик красоты и лик истины — или морду скачущего сатира и золотого тельца? Какова цель и предназначение искусства? Настала пора на привалах снова задаться этим вопросом. Десятилетиями, бывало, ответ казался очевиден, но наше десятилетие не из таких. Нас со всех сторон манят миражи. Они сияют, колеблются, рассеиваются. И это дурно. Ведь художник — будь то музыкант, живописец, скульптор или писатель, — дитя многих поколений, воистину верующих, которые с высоко поднятой головой шагали, не сводя глаз с путеводной звезды. Для нас же теперь звезда то мерцает неуверенно, то на мгновение прочертит на небе огненный след, а порой и погаснет вовсе. И все-таки найдется ли среди нас хоть

один, который — когда догорит костер, иссякнут разговоры и в трубках кончится табак — не видел бы ту звезду и не знал бы ответа? На вопрос, ради чего мы отдаемся искусству, есть только один верный ответ:

Ради большего блага и величия человека.

А теперь о Жизни. Здесь вряд ли нужно подыскивать определения. Все согласятся, что Жизнь — это великое и заманчивое приключение.

Мы лишь однажды берем билет на станцию Неизвестность, лишь однажды пересекаем страну, именуемую Жизнью. Чем мы заняты в пути, что совершаем во время этого долгого или короткого странствия, зависит от склонностей нашего характера.

Многие, по-видимому, считают, что мы живем в вульгарный век сенсаций: вздернутые в небо вывески и кричащие газетные заголовки, реклама и стандартизация. И все-таки наш век пока самый просвещенный в истории человечества. Практически все умеют, например, читать. Могут возразить: «Да, но что читают? Детективные романы, скандальную хронику и спортивные новости». Я понимаю, что «Эдип-царь», «Гамлет» и «Фауст» не идут в сравнение с воскресными приложениями и чтивом о сыщиках. Но все равно количество книг, ежегодно выпускаемых в западных странах, постоянно приближается к количеству населения. Каждое событие и каждая проблема становится достоянием широкой публики. Театры, кинематограф, радио, даже лекции способствуют этому процессу. Но они не могут и не должны заменить чтение, потому что, читая, мы можем остановиться и *подумать*, тогда как слушая или следя глазами, мы не можем остановиться и подумать: кто-то непременно препятствует этому. Опасность нашего века не в том, что мы останемся невежественными, а в том, что мы утрачиваем способность думать сами. Перед нами все чаще возникают какие-нибудь задачи, но пытаемся ли мы сами найти ответы, кроме как в кроссвордах и в детективных романах? Все реже и реже. Мы все больше склоняемся к тому, что полегче и попроще. Но легкий путь к знанию почти всегда оказывается самым долгим. Ничто не сравнится со знаниями, которые получены самостоятельно.

Чтение — лучшее средство от стандартизации и упрощения, свойственных нашему высокомашинизированному

веку. Чтение расширяет наши представления о жизни, нравах и нуждах других людей; книга удивительно помогает человеку выйти за пределы своего «я».

Тут я подхожу к важному положению философии, или, лучше сказать, науки счастья.

Для подавляющего большинства людей счастье — в постоянной поглощенности своим делом, чувствами или мыслями. Мы не бываем по-настоящему счастливы, если не отдаемся чему-нибудь без остатка. Я не хочу сказать, что мы особенно несчастны, когда заняты собственной персоной, но в такие минуты мы живы лишь наполовину. Толстой говорил, что, когда человек смотрит в зеркало, он не так красив, как есть на самом деле. Нам еще предстоит узнать, как он сделал это потрясающее открытие: подобно большинству философских суждений Толстого, оно не столь просто, как может показаться. Как бы там ни было, самозабвение — вот ключ к счастью. И забывать о своем «я» можно по-разному. Знакомый мне знаменитый хирург начал, еще мальчишкой, с того, что платил своим соученикам по десять центов за то, что они позволяли ему вырывать у них зубы.

Общеизвестно, что политики тоже счастливы.

Да, существует бесконечно много способов самозабвения, и один из них — созерцание красоты. Я забывал обо всем на свете, когда любовался Гранд-Кэньоном в Аризоне, ученицами Айседоры Дункан, «Нирваной» Сент-Годенса на кладбище Рок Крик в Вашингтоне или пустыней в Египте, залитой лунным светом.

Однако я ни за что не взялся бы отрицать, что самозабвение может привести иногда к курьезным последствиям. Мой знакомый художник писал однажды портрет одной русской танцовщицы и так забылся, что до пояса нарисовал ее обращенной к себе лицом, а ниже пояса — спиной, и послал картину на выставку. Правда, в ту пору он ходил в экспрессионистах.

Позвольте мне вернуться к разговору о Жизни.

Никому не придет в голову спрашивать — даже у ученого, — что такое жизнь. Возникновение Жизни так же непостижимо, как и происхождение Вселенной. Мы можем бесконечно размышлять о бытии, делать умозрительные выводы, но только до какого-то предела: никакие размышления и выводы не приведут нас к всеобъемлю-

щему пониманию Жизни. Это — единственное достоверное знание. Но кто захочет, чтобы было иначе? Без элемента неизвестности жизненная игра теряет смысл. Разгадайте вечную загадку — и все остановится, не будет Вселенной, не будет ни вас, ни меня, ничего. Вера не есть исключительная принадлежность определенных религиозных вероучений. Лучшая вера — это убежденность, что во всем, что было, есть и будет, заключена воля к Совершенству. Всякий, кто придерживается этого убеждения, участвует в процессе совершенствования. Способный созерцать красоту, он испытывает потребность сам внести в Жизнь красоту; обладая чувством меры, испытывает потребность поступать сообразно этому чувству. И какими бы путями ни повели нас красота и чувство меры, это всегда пойдет на благо всему человеческому обществу, ибо они отдаляют нас от трясины, куда гонят людей жадность и насилие. Можно взять любые стороны Жизни, чтобы показать, как насущна сейчас любовь к красоте и сообразности. Позвольте мне взять вопрос о мире. Вопрос? Уже одно то, что возможен такой вопрос, — чудовищная нелепость в глазах каждого, кто питает любовь к красоте и сообразности. Во время мировой войны мы видели столько смерти и разрушений, сколько до того не знал мир. Но с усовершенствованием авиации и отравляющих веществ опустошения, что принесла мировая война, покажутся детскими игрушками по сравнению с катастрофой, которой грозит будущая война между великими державами. В условиях такой войны население каждой страны, принимающей в ней участие, точнее, те, кто уцелеет, будут, по-видимому, вынуждены забиться, словно крысы, под землю, в сточные трубы или, словно зайцы, обезумев от страха, спастись бегством в горы. В войнах будущего (если они вспыхнут) на большие города, эти нервные центры страны, сразу же обрушатся такие удары с воздуха, от которых еще не найдено и, наверно, не будет найдено защиты, они будут разрушены фугасными бомбами или парализованы химическими, и вполне вероятно, что сухопутные армии и флот, которые так зависят от этих нервных центров, вообще не вступят в действие. В такой войне не останется места самоотверженности и героизму, не останется места чести

и славе, ничему, даже погребальным почестям и возбуждению минувшей войны. Не будет никакого различия между старым и молодым, между мужчиной, женщиной или ребенком, между больным и здоровым: людей не спасет ни религия, ни самая высокая культура, не будет ничего, кроме летящих невидимых предметов, кроме смерча с небес, кроме опустошений, болезней, смерти. Если между великими, так называемыми цивилизованными, нациями не установится мир, то можно без преувеличения предположить, что всех постигнет одинаковая судьба и каждая страна, участвующая в войне, канет в вечность, и от нее останется только жалкая тень.

Это не панический крик, а трезвый голос рассудка. Некоторые уверяют, что войны исчезнут лишь тогда, когда изменится человеческая природа. Но человеческая природа остается неизменной. Холодные, расчетливые люди всегда будут преследовать собственные цели; всегда будут слепые, тупоголовые фанатики-националисты; всегда будут слабые, пассивные люди, которые спохватываются, когда уже поздно; всегда будет стадная психология толпы.

На наше счастье, существует действенный механизм для предотвращения войны.

Кроме того, есть спасительные перемены и в отношении к войне. В 1914 году рассудительные и трезвые люди предполагали (хотя впоследствии оказались неправыми), что война может пойти на пользу их странам; теперь же, в 1930-м, ни один рассудительный и трезвый человек не тешит себя подобными иллюзиями. Когда несколько сотен сброшенных с самолетов химических бомб могут поразить города с огромным населением, ни один здравомыслящий человек не будет ратовать за войну. Верить в то, что мир необходим, считалось до 1914 года чудачеством. Но в 1930 году не верить в то, что мир необходим — значит быть непроходимым идиотом. Опять-таки это голос трезвого рассудка.

Человечество переживает странную, мучительную эпоху. Нам угрожает опасность куда более страшная и жестокая, чем бывало в самые страшные времена прошлого, и все же не было века, который можно сравнить с нынешним по бессознательному стремлению к человечности, по искреннему желанию искоренить бедствия

и пороки, от которых страдают люди. Мы с бóльшим, чем когда-либо, знанием, умением и гуманностью лечим болезни; мы более научно, справедливо и милосердно относимся к преступникам и животным (хотя далеко не в достаточной степени); мы, как никогда, озабочены тем, чтобы избавиться от социального и экономического зла. И если бы удалось обеспечить мир, одолеть нависший над нами призрак истребления, мы понемногу подошли бы к самому гуманному в истории веку — веку справедливости и процветания. Каким благом для всех нас была бы уверенность в том, что война между цивилизованными нациями — кошмар прошлого. По моему разумению, не должно проходить дня без того, чтобы каждый из нас не повторил себе: «Ради всего святого, что есть в нас, не надо войны!»

Позвольте мне несколько оставшихся минут посвятить кое-каким мыслям о прекрасном. Вероятно, для одного прекрасное означает одно, для другого — другое. И все-таки, когда любой из нас видит, слышит или читает то, что кажется ему прекрасным, он испытывает то же самое, различающееся только степенью, чувство, как и остальные, — драгоценное и возвышающее чувство. Мальчишеский голосок в хоре, корабль под парусами, распускающийся цветок, город ночью, пение дрозда, хорошее стихотворение, тень листвы, прелестный ребенок, звездное небо, храм, яблоня весной, чистокровный скакун, звон колокольчиков овечьей отары среди холмов, журчащий ручей, бабочка, молодой месяц, тысяча других предметов, звуков, слов, которые будят в нас мысли о прекрасном, — все это капельки благодатного дождя, оберегающего нашу душу от засухи. Быть может, мы не замечаем этой тихой, освежающей струи, но она постоянно с нами. Война принесла с собой бунт против прекрасного в искусстве, литературе и живописи — бунт, который уже сейчас стихает и стихнет, я верю, совсем. Мы удивились бы, поняв, как дорожим мы красотой, сами того не сознавая, и как мало без нее осталось бы в жизни радости. Красота — это улыбка на лице земли, улыбка для всех, и нужно лишь иметь глаза, чтобы видеть ее, и настроение, чтобы чувствовать.

Я повторяю слова, которыми я начал разговор о Жизни. Мы лишь однажды берем билет до станции Неизве-

стность,— иными словами, чтобы обойтись без машины в этом сверхмашинном веке, мы лишь однажды отправляемся пешком по **Жизни**, омываемые ливнями и палимые солнцем.

Если подумать, все мы бродяги, и никто не знает, что несет ему день и где он приклонит голову, когда наступит ночь. Но если мы научимся помогать ближнему своему, хранить мужество и, отдаваясь всем сердцем, забывая о себе, хорошо делать свое дело; если мы научимся привносить в **Жизнь** немного красоты хотя бы тем только, что будем наслаждаться ею; если мы научимся стремиться к миру и сумеем обеспечить его; если мы научимся без страха смотреть в лицо **Тайне** и в то же время ощущать вечное движение **Духа** в подлунном мире,— тогда наша **Жизнь** будет прожита не даром. Да, тогда поистине наша жизнь будет прожита не даром.

1930 г.

СОЗДАНИЕ ХАРАКТЕРА В ЛИТЕРАТУРЕ

Создание характеров — таинственный процесс, причем, возможно, более таинственный для того, кто создает характеры, чем для его покорных или упирающихся объектов. На этот процесс не заведено досье, он не подтвержден документами и не поддается точному определению. Всякое творчество, будь то в литературе или в жизни, одинаково непостижимо и одинаково располагает к тому, чтобы говорить о нем как бог на душу положит.

Но меня привлекла именно эта тема потому, что наряду с многими другими людьми старой школы я полагаю, что жизненность характеров — это ключ к долговечности всякой биографии, пьесы или романа.

Однако прежде чем говорить о самом процессе творчества, следует коснуться того, что представляет собою творческая индивидуальность. Я не философ, то есть не такой человек, которому Оксфорд с его пристрастием к греческим корням учил нас приписывать любовь к мудрости¹, но в котором жизнь заставила нас увидеть скорее любителя интеллектуальной гимнастики и мастера обобщать там, где никакие обобщения невозможны. Философские системы, если охватить их взглядом за достаточно долгое время, напоминают дамские моды, которые кажутся абсолютными до тех пор, пока новый скачок парижского интеллекта не обнаружит их относительности.

Итак, не будучи философом, я предлагаю вам не

¹ Философия по-гречески значит «любовь к мудрости».

столько обобщения, сколько подозрения. Я подозреваю, что субстрат человеческого существа — энергия (или как бы она там ни называлась в соответствии с последней модой), тождественная той энергии, из которой создано все живое, так что человек в самой основе своей соприкасается со всем, что живет, и испытывает на себе его воздействие. Из этих воздействий слагается опыт, составляющий подсознание человека. Воздействий этих так бесконечно много, что каждый человек представляется нам полным до краев сосудом подсознательного опыта, тайным складом воздействий, зрительных, звуковых, обонятельных и вкусовых впечатлений, воспринятых как непосредственно, так и из вторых рук. Вообразите римские катакомбы или старые погреба под Адельфи¹, битком набитые фотографическими пленками, — это даст вам некоторое представление о том, что такое наше подсознание. Каждую минуту, да что там, каждую секунду что-то новое прибавляется к нашему опыту, уже лежащему на складе и готовому к употреблению.

Далее, я подозреваю, что наше так называемое направляющее сознание обычно может использовать сокровища из этих наших подвалов очень ограниченно и выборочно, а то, что мы, применительно к литературе, да и ко всякому искусству, называем творческим даром, — это сверхобычная способность некоторых людей забираться на склад и извлекать оттуда разрозненные кусочки опыта в сочетании с особым умением группировать или сплавлять воедино эти кусочки после того, как они извлечены со склада.

Если взять более текучее сравнение, можно представить себе подсознание как некую лаву опыта. Сознание образовалось над нею подобно корке, более или менее тонкой, с большим или меньшим количеством отверстий, через которые пробивается лава. А то, что мы произвольно называем творческим талантом, можно представить себе как сильно превышающее норму ко-

¹ Адельфи — квартал в Лондоне между улицей Стрэнд и Темзой, созданный в конце XVIII века архитекторами братьями Адам. Под всем кварталом проходят подземные галереи со сводами. Долгое время в них укрывались преступники. Во время чартистского движения здесь была скрыта целая батарея. Позднее подземелья использовались как винные погреба.

личество таких отверстий в сочетании с редкой способностью придавать проступающей сквозь них лавформу литературных персонажей, картин или музыкальных произведений. Вот и все, что будет здесь сказано в очень туманных и избитых словах о творческой индивидуальности.

К самому процессу создания характеров целесообразно подойти с наименее таинственной его стороны — от воссоздания, от биографии. Однажды в Оксфордском клубе — этом почтенном и громогласном учреждении, где каждого ставят на свое место, — некий блестящий биограф открыл диспут на тему «Поток ненужных биографий». Поскольку можно быть уверенным, что речь шла не просто о биографиях, написанных не им самим, следует предположить, что он имел в виду те биографии, в которых мертвые не встают из гроба. Возможно, что ему удалось убедить аудиторию, и с тех пор для биографов было введено ограничение рождаемости; возможно, что и нет, ибо литературная братия неисправима. Но предположим вместе с ним, что биография имеет ценность лишь в том случае, если она создает, или, вернее, воссоздает, характер. Вспомним, что задача биографа — облечь в плоть и кровь уже существующий скелет: значит, поскольку скелет существует, половина дела, с точки зрения творчества, уже сделана. С долговечными и неподатливыми костями можно себе позволить лишь очень мелкие вольности, дабы не навлечь на себя казни египетской. Биограф может наделить своего героя кривой ногой, лишить его нескольких зубов или слегка согнуть его позвоночник — и все же уйти от возмездия; однако основную конфигурацию он обязан сохранить, иначе не избежать ему насильственной смерти. В своей работе он опирается на какой-то костяк из фактов, и работа эта близка, пожалуй, к созданию характеров не столько в художественной литературе, сколько в портретной живописи. Итак, биограф вытащил скелет на свет божий, смахнул с него пыль, поставил в мастерской с окном на север; теперь он облакает его в мышцы, ткани и кожу, а затем и в одежду, руководствуясь своим эстетическим чувством или чувством приличия, что не всегда одно и то же. Свои портновские заключения он выводит из бесчислен-

ных документов или из отсутствия таковых; и нетрудно понять, что в его работе сознание играет неизмеримо большую роль, чем подсознание. В этом и состоит второе существенное различие между биографом и романистом. Биограф с начала до конца контролирует свою работу сознанием; романист сознательно отдается на волю капризным вспышкам своего подсознания. В нашу эпоху — эпоху экспериментов — некоторым предприимчивым литераторам пришла идея слить воедино биографию и беллетристику и создать произведения, которые можно назвать биографическими пьесами и биографическими романами. Для этого берут какую-нибудь личность, в прошлом наделавшую шума, и, почтительно обходя определенные факты, наряжают ее в маскарадный костюм. Результат нередко оказывается приятным для читателя и лестным для гордости и предрассудков автора; но тут мы ступаем на зыбкую почву. Ибо если допустить, что история, как утверждают некоторые люди, имеет какую-то ценность, принаряживать таким образом мертвецов и заставлять их плясать под дудку фантазии — занятие весьма рискованное. Исторический роман тоже достаточно опасен, это хорошо знают те, кто, начитавшись Дюма, уже не приемлет затем более пресных вариантов истории Франции того периода; однако биографический роман еще опаснее. Исторический роман с самого своего рождения воспринимался, как веселый гуляка; биографический же роман или пьеса — это расчетливый, коварный соблазнитель в плаще пуританина. И так как я, например, всегда предпочитал дичь, поданную в собственном соку, всяким замысловатым соусам и приправам, то я и вынужден отметить мимоходом крайнюю ненадежность этого способа создания характеров.

В биографе нас превыше всего восхищает прилежание, с каким он выкапывает из курганов истории столь много значащие мелочи; а также острый, но трезвый глаз, позволяющий ему отобрать из всех мелочей те, что, будучи нацеплены на скелет, создают образ, убеждающий нас в том, что биограф по мере своих сил стремился быть верным оригиналу. Воссозданный образ героя всегда в той или иной мере окрашен индивидуальностью биографа. Но чем меньше индивидуальность био-

графа искажает натуральные цвета героя, тем выше достигнутый результат. В известном смысле искусство биографа — столько же творчество, сколько и критика, а подлинная критика отмечена некой божественной отрешенностью, верностью истине не в угоду, а наперекор личности критика. Вот почему и хорошие критики и хорошие биографы — существа почти такие же редкие, как единорог. Хороший биограф, как и хороший портретист, должен быть создан из губки и стали. Он должен все впитать, все просеять, а затем проявить и активное сочувствие и высшей закалки сопротивление. Он должен сопротивляться самому себе, подавлять в себе и чувство смешного и эмоциональные порывы, но притом оставаться горячим и красочным. Он должен сопротивляться публике и прошедших времен и своего времени — ее предрассудкам и пристрастиям. Как правило, он должен сопротивляться даже своему издателю и требованиям собственного кармана. Правда, биографу в отличие от портретиста не приходится сопротивляться магнетическому току, исходящему от живого оригинала, который не желает, чтобы его изображали неавантжно или, скажем, правдиво; зато сплошь и рядом ему приходится выдерживать борьбу с культом предков. В самом деле, когда подумаешь, сколько львов подстерегает биографа на его пути, уже не удивляешься тому, что ему случается угодить зверю в пасть, а еще чаще — заплутаться в джунглях. Глядя на портреты кисти старых мастеров — на гольбейновского сэра Томаса Мора или рафаэлевского Ингирами, — где ничего не упущено вплоть до косящего глаза и нет ни малейших уступок желанию поразить чем-то необычным или новым, чувствуешь, что живописца вдохновляла врожденная страстная приверженность правде. Характер, который он вызвал к жизни в результате длительного и жадного созерцания оригинала, пробуждает в нас своего рода благоговение. Мы часто слышим мнение — более того, я и сам его высказывал, ибо последовательность встречается в нашем мире так же редко, как соловьи к западу от Эксетера, — что вовсе не важно, является ли портрет портретом: тот, кто позировал для него, умрет, а картина останется, и никто не будет знать, хорошо ли было уловлено сходство, будут судить лишь о том, хороша ли картина. Все

это совершенно верно. Но, с другой стороны, если портрет не есть попытка воссоздать натуру, к чему называть его портретом и обозначать определенным именем? Конечно же, портретистом руководит то же разумное стремление, что и лучшими из биографов: воссоздавая, придерживаясь правды; и на этом пути его подстерегает отнюдь не меньше соблазнов. Ван-Дейк, у которого многие портреты отмечены, в ущерб индивидуальности, неким приятным спокойствием, возможно, связанным с пышными манжетами,— Ван-Дейк вызывает наше восхищение, когда, встряхнувшись, воссоздает глубины характера и настроения, как в Петвортском портрете графа Нортумберленда. Этот портрет — хороший пример той борьбы между богом и Маммоной, которая непрестанно идет в душе портретиста и биографа. Ван-Дейк писал его, когда Нортумберленд томился в Тауэре. Бородатое лицо повернуто в профиль, подперто рукой, и художник придал ему как индивидуальные черты, так и многострадальное выражение, свойственное всякому узнику. Но словно понимая, что такое изображение знатного лица будет встречено не слишком благосклонно, художник даже в этом, столь правдивом портрете успокоил зрителей, поместив понурившуюся фигуру на фоне алой бархатной занавески — не совсем обычного аксессуара тюрьмы. Глядя на хорошие портреты людей, которых сам близко знал, не устаешь удивляться тому, как правдиво художник, умеющий чувствовать, видеть и верно передавать свои впечатления, воскрешает для нас и внешний облик и внутреннюю сущность человека. Столь же правдивое отражение достигнуто в таких биографических трудах, как «Отец и сын» Эдмунда Госса, как книги Джорджа Тревельяна о Гарибальди, как «Жизнь Парнелла» О'Брайена. Секрет лучших биографий, как и лучших портретов, заключается в магическом сочетании сочувствия и критического подхода. Когда Гейнсборо написал своих маленьких дочек, чтобы они так и жили в веках — взявшись за руки, ловили бабочек в летний день,— он дал нам непревзойденный образец того, какой трогательной красотой может дышать искусство воссоздания; когда Босуэлл написал свою «Жизнь Джонсона», он открыл нам, каким поразительно интимным может быть это искусство.

Но достаточно о той области создания характеров, которая лежит вне моего личного опыта. Перейдем к тому, что хотя бы знакомо мне из первых рук,— к созданию характеров в романах и пьесах.

Несколько лет назад один усердный труженик на ниве статистики разослал ряду известных драматургов опросный лист. Ему хотелось, во избежание каких-либо неясностей в этом вопросе, в точности узнать, как драматурги пишут свои пьесы. Ответы, полученные им, исходили, по всей вероятности, от тех, кто, сочиняя пьесу, подгоняет характеры к сюжету. А если говорить о создании характеров, то именно в этом и заключается для драматурга главная опасность. Как могут персонажи пьесы быть живыми, если подчинить их поворотам заданного сюжета? Разумеется, прежде чем садиться писать пьесу, драматург должен знать общее ее направление и конец; но в этих пределах пусть он дает своим персонажам полную возможность самим диктовать ему пьесу. Даже при этом условии он не имеет такой свободы, как прозаик; если бы провести опрос, охватывающий все когда-либо написанные романы и пьесы, выяснилось бы, что в романах намного больше запоминающихся характеров, чем в пьесах. Можно даже сказать, что пьесы запоминаются как пьесы, а романы — по изображенным в них характерам. Есть, конечно, выдающиеся исключения из этого правила, и как раз те пьесы, которые заслужили настоящую славу, обычно славятся прежде всего характерами героев. Пример Шекспира напрашивается сам собой. Но у Шекспира были задатки великого романиста в эпоху, когда роман еще не родился. Малори и авторов ранних стихотворных «романов» можно скорее отнести к баснописцам; Сервантес, правда, был современником Шекспира, но в Англии в ту пору средствами литературного выражения были в первую очередь поэзия и драма. Так не будем больше тревожить Шекспира, приклеивая к его хамелеоньей коже ярлык романиста: не то какой-нибудь бойкий литератор, чего доброго, возьмется доказать, что его драмы написал Сервантес, в часы досуга упражняясь таким образом в английском языке. Самое великое, что есть в Шекспире,— это, безусловно, его непревзойденное владение словом. Он был прежде всего поэт; в создании же характеров он шел

путем извилистым и прихотливым, непрестанно черпая из глубин подсознания, что гораздо более свойственно прозаику, нежели драматургу. То же положение подтверждает и необычайно свободная композиция шекспировских драм. Очень возможно, что если бы Шекспир не был актером или хотя бы не был так тесно связан с театром, он ввел бы в Англии роман характеров и занял бы принадлежащее Сервантесу место первого в мире автора бытового романа. Шекспир — это козырь в руках тех, кто утверждает, что без основательного, практического знания сцены нельзя написать настоящую пьесу. Это одна из тех полуправд, в которых людям хочется видеть всю правду. Существует и противоположное мнение, что все, что есть в драматургии ценного, привносится в театр извне. Оба эти положения можно удовлетворительно доказать, оговорив соответствующие исключения. Для настоящей лекции это вопрос несущественный, но от него удобно перейти ко второму серьезному препятствию для создания характеров в драме — к тому искусственному ограничению творческой свободы драматурга, каким является сцена. Разумеется, драматург может сосредоточить все свое внимание на характерах, а остальное отдать на волю случая; на этом, собственно, и зиждется теория «привнесения извне». Но хотя такое пренебрежение требованиями сцены может способствовать жизненности персонажей, режиссера оно приведет в неистовство. И драматург почти неизбежно считывается с этим ограничением. Это называется «соблюдать законы жанра», и на этом строится теория, что создать настоящую пьесу невозможно без основательного знания сцены. Шекспир, безусловно, знал законы своего жанра и столь же безусловно пренебрегал ими больше, чем любой другой драматург любой эпохи. Ссылками на Шекспира ничего не докажешь. Но, поставив себя на место драматурга, пытающегося создать в своем воображении новое существо со свойствами и качествами живого, полнокровного человека, мы увидим, как сковывает и раздражает его необходимость все время помнить о том, что его герой или героиня может действовать только в рамках определенного пространства и времени, которые он бессилён раздвинуть. В этом, кстати сказать, одно из преимуществ кинематографа перед театром; но

это преимущество не возмещает потери, происходящей от того, что зритель видит лишь тени, а не актеров из плоти и крови. И здесь уместно остановиться на третьем серьезном препятствии к созданию характеров в драматургии. Драматург не может не сознавать, что отдает своих героев на милость исполнителей. Ему, кроме как, может быть, в первой пьесе, трудно отделаться от мысли, что, как бы он ни напрягал свое воображение, на сцене его создание окажется не таким, каким он его вообразил. Идеального актера для той или иной роли не бывает; можно говорить лишь о более или менее верной трактовке роли. И зная это, драматург склонен допускать некоторую нечеткость замысла и выполнения, чтобы одежды персонажа оказались к лицу большему количеству исполнителей. Иные драматурги так остро чувствуют это ограничение, что просто пишут роли для определенных актеров. Но это уже значит пересоблюсти законы жанра, и, назвав такой процесс созданием характеров, мы оказали бы ему слишком много чести.

Сцена побуждает писателя создавать не столько индивидуальности, сколько типы. Вероятно, самое выдающееся исключение из этого правила — Фальстаф. Этот великолепный старый грешник для нас — только отдельный человек, мы не связываем его ни с какой гранью человеческой природы, как связываем Лира с неистовством, Отелло — с ревностью, леди Макбет — с сильной волей и неразборчивостью в средствах, и Гамлета, может быть, ошибочно, — с мечтательной нерешительностью. Создавая Фальстафа — образ, кстати сказать, во многом тяготеющий к роману, — Шекспир дал себе волю и наслаждался от души, а его наслаждение передалось в претворенном виде и нам. Здесь он почти полностью подчинился подсознанию; направляющая мысль отсутствует или, вернее, скрыта от нас. Можно бы, правда, наклеить на Фальстафа ярлык «Воплощенная аморальность», но это уже литературное соображение *post factum*. Сперва мы заглатываем Фальстафа, сколь ни велик этот кус, как глотаем саму жизнь, бесформенную и сочную, и просим добавки.

Типичность Гамлета вызывает сомнения. Литературная традиция считает его антитезой Дон Кихота:

один — мечтатель, другой — странствующий рыцарь, один — человек мысли, другой — человек действия. Но подтверждает ли текст драмы это удобное противопоставление? Гамлет — это скорее еще один пример того, как драматург, подобно романисту, блаженно отдается на волю интроспективного метода, почти всецело покоряется подсознанию, работающему на то настроение, которое в данную минуту владеет автором. Образ Гамлета так тонок, так многогранен и гибок, что ни один актер, кажется, не сумел провалить эту роль. Правда, великий Гамлет — явление редкое; зато хороший Гамлет — это нечто само собой разумеющееся.

Пусть Гамлет послужит нам переходом к самой широкой и самой важной грани нашей темы — к созданию характеров в романе.

Здесь, несомненно, процесс создания характеров менее всего скован и более всего определяется подсознанием. Романисту, чтобы создать образ, который может прожить один сезон, а может и пережить века, не требуется ничего, кроме тихого уголка, чернил, бумаги да сосредоточенного углубления в себя. Столь полная независимость делает его работу самой привлекательной, но в то же время самой трудной и таинственной. Ничто не помогает ему извне — ни покорный скелет, ни строптивая натура. На воображение его не влияют ни заданные мизансцены, ни исполнители, в которых он не уверен. Рассматривая метод, которым работает прозаик, задаешься вопросом: с чего он начинает? Сознательно или подсознательно он черпает из жизни? Каждый романист ответит на этот вопрос по-своему, и ни один из ответов никого не удовлетворит. И сам я, хотя уже более трех десятилетий пытаюсь писать романы характеров, тоже едва ли внесу ясность в этот вопрос. До сего дня я так и не могу сказать, с чего и как я начинаю и как продолжаю; я убежден лишь в одном: единого правила нет; процесс создания характеров бывает различен не только у разных писателей, но и у меня самого — в разное время. Наибольшее приближение к одной общей формуле можно выразить примерно так. В какой-то момент писатель особенно остро воспринимает какое-то реальное происшествие или человека; воспринятое явление и настроенность наблюдателя, так сказать, смыка-

ются, подобно двум клеткам, которые, соединившись, образуют зачаточную точку творчества. К этой зачаточной точке притягиваются подходящие впечатления или воздействия, хранившиеся в подсознании; продолжается это до тех пор, пока зародыш не вырастет до таких размеров, что уже настойчиво требует выражения, и тогда писатель начинает освобождать себя с помощью написанных слов. Первые фразы, описывающие героя, обычно бывают подсказаны наблюдением над действительной жизнью. Если наблюдение было сознательным, то это описание вскоре, вероятно, будет изменено. Но и без того персонаж начинает так быстро отклоняться от первоначальной натуры, что, если автор хочет сохранить верность своему первоначальному прототипу, ему приходится все время прибегать к «инбридингу», снова и снова вводя в свое описание первоначальные черты героя. Страсть к выведению чистокровных лошадей, заложенная в груди каждого англичанина, поможет нам понять, как романист, создавая характеры, отбирает те или иные выдающиеся черты и неустанно их подкрепляет, так же как коннозаводчик отбирает животных тех или иных кровей и неустанно их скрещивает до тех пор, пока не возникнет опасность слишком близкого родства. Но как бы ни старался автор, раз уж герой зажил своей жизнью, то все равно каждый его поступок, слово или мысль уводит его все дальше от первоначальной натуры. И, в сущности, этого-то романисту и нужно, ибо персонажи, прилежно списанные с жизни, по вполне понятным причинам нежелательны. Тургенев, один из самых сознательных и в то же время самых изысканных прозаиков, рассказал нам, как он создавал образ Базарова. Однажды он разговорился в поезде с молодым врачом, который поразил его как совершенно новый тип. Затем он сошел с поезда и больше не встречал этого молодого человека. Но тот произвел на него столь сильное впечатление, что он решил представить себе его жизнь и мысли в форме дневника. Он вел этот дневник несколько месяцев так, как в его представлении вел бы его молодой врач, и наконец почувствовал, что знает, как этот молодой человек стал бы думать и поступать при всех возможных обстоятельствах. Тогда он начал писать роман «Отцы и дети», сделав главным ге-

роем этого молодого врача под именем Базарова. Базаров называет себя «нигилистом», и это слово было тотчас принято повсеместно как кличка нарождавшегося тогда в России нового типа. Это пример сугубо сознательного создания образа, сугубо обдуманной последовательности; но только великий, взыскательный мастер мог добиться успеха, придерживаясь столь строгого метода. Как правило, свобода и жизненность образа идут от подсознания, которое инстинктивно снабжает сознание нужным материалом. Да простится мне, если я попытаюсь разъяснить это положение, сославшись на собственный опыт. Утро. Я сажусь в кресло, на коленях у меня — бювар, перед глазами — записанные последние слова или поступок моего персонажа, в руке — перо, в зубах — трубка, а в голове — пустота. Я сижу. Я не строю плана, не жду, даже не надеюсь. Я перечитываю последние страницы. Постепенно я как бы покидаю свое кресло и переношусь туда, где действует или говорит мой герой — вот он уже занес ногу, сейчас подойдет ближе, и губы уже раскрыты, он хочет что-то сказать. Вдруг мое перо набрасывает какой-то жест или сказанную фразу, пером еще и еще и с передышками продолжает эту работу час или два. Перечитав записанное, с удивлением убеждаешься, что оно как будто вытекает из предыдущего и подготавливает возможное продолжение. Эти страницы, добавившие образу немного живой плоти, появились из кладовой подсознания в ответ на призыв сознания или направляющей мысли и в конечном счете служат вашей теме, если употребить это слово в самом широком его значении. Таким образом, создание характера, хоть и есть процесс бессознательный и ничем не скованный, всегда подчинено той целеустремленности, которую, пожалуй, лучше всего назвать «инстинктом почтового голубя».

О книгах часто говорят, что «образ такого-то вышел из повиновения», «зажил самостоятельной жизнью». Это правильно, хотя и не содержит всей правды. Ибо ни один образ не может преступить границ природы своего «создателя» или увести его за пределы его тайного чувства формы. Даже если это чувство формы — всего лишь прославление бесформенности, все же оно есть, и за пределы его образ не может выйти.

Приведенный выше пример Базарова показывает также неразрывную связь между характером и сюжетом. В романе, так сказать, продиктованном совестью, сюжет — это характер, освещенный ярко и со многих точек. Тема Тургенева в «Отцах и детях» — сопоставление, вернее, противопоставление, старшего и младшего поколений. Когда в молодом враче, встреченном в поезде, Тургенев усмотрел новый тип, это не только вызвало у него желание создать образ Базарова, но и дало ему тему, то есть подходящую среду, в которую поместить своего героя. Контраст между Дон Кихотом и Санчо Пансой дал Сервантесу тему для его шедевра. Тема тургеневского «Дыма» заключена в образе обольстительной Ирины; тема лучшего из романов Бальзака — в образе полупомешанного Отца Горио. Мы не можем вообразить бесконечные перипетии «Трех мушкетеров» Дюма и их продолжений без центральной фигуры храброго искателя приключений Д'Артаньяна; или «Записок Пикквикского клуба» — без благожелательного главенства мистера Пикквика; или «Похищенного» и «Катриону» Стивенсона без противопоставления Равнинной Шотландии и Горной Шотландии, представленных в образах Давида Бальфура и Алена Брека. Но бывает и другое положение, чему хорошим примером служит великий роман Толстого «Война и мир». В нем развернута такая широкая панорама жизни, что даже главные герои занимают словно бы подчиненное место. Да и читая второй шедевр Толстого, «Анну Каренину», чувствуешь, что тема выражена, может быть, больше в Левине, чем в Анне.

В начале этой лекции было мельком упомянуто, что долговечность романа, пьесы, биографии зависит от жизненности характеров, в них изображенных. Сузим теперь этот вопрос до пределов романа. Очень немногие романы переживают свое поколение; а те, что живут дольше, — это по большей части произведения, в свое время по достоинству оцененные и популярные, но помнят их всего лишь по именам на обложке, а раскрывают только ученый или студент, да еще человек, застрявший в захолустной гостинице. Редкие романы прежних времен, которые мы до сих пор перечитываем с наслаждением, — это почти всегда те, в которых по

меньшей мере один характер пережил свою эпоху. Многие ли знали бы сегодня Теккерея, если бы не Бекки Шарп, майор Пенденнис, полковник Ньюком, Гарри Фокер, Эсмонд, Беатриса и Барри Линдон? Многие ли знали бы Тrolлопа, если бы не миссис Прауди? С Диккенсом для нас теперь, в сущности, не связывается ничего, кроме целой галереи удивительно живучих созданий. Джордж Элиот еще держится, хотя и непрочно, благодаря своим детям Сайлесу Марнеру, Адаму Биду и Хэтти. Характеры, созданные Джейн Остин, не дают нам забыть ее, несмотря на безнадежную ограниченность ее мирка. Из Флобера читатель, не занимающийся специально вопросами стиля, помнит только госпожу Бовари и старую служанку из повести «Простая душа». Фильдинг был бы забыт, если бы не Том Джонс, Джозеф Эндрус и София. Правда, мы едва ли скажем, что «Сентиментальное путешествие»¹, «Крэнфорд»², «Алиса в стране чудес», «Остров сокровищ» или «Гекльберри Финн» живут благодаря характерам. Они живут и будут жить всегда, главным образом потому, что проникнуты особенно светлым мироощущением. Но такие исключения подтверждают правило, важное для будущего, потому что за последние годы наметилась тенденция отказаться в романе от индивидуализации в пользу своего рода коллективизма; оставить драму индивидуальных характеров, показанных в ярком свете и под высоким давлением, ради чуть ли не научной демонстрации человека вообще: авторы с превеликим прилежанием и искусством выставляют и всячески поворачивают для нашего обозрения мысли, чувства, стремления, слабости и достоинства этого homo более или менее sapiens, но даже не пытаются вдохнуть в него индивидуальную жизнь. Объектом любви или ненависти писателя стал вид в целом, а не отдельные особи этого вида. Это очень интересный эксперимент — особенно для тех, кто его ставит. Он пользуется известным успехом. Однако есть веские причины, почему забота об интересной манере письма, словесная игра, воспроизведение «трепета» жизни или даже такое вот тонкое изображение обобщенной чело-

¹ Лоренса Стерна (1768),

² Элизабет Гаскелл (1853).

веческой души никогда полностью не заменят создания индивидуальных характеров как главной задачи и главной движущей силы романиста. Одна из этих причин состоит в том, что у большинства из нас время от времени возникает потребность переключить свой интерес с себя на других. И потребность эту гораздо чаще и полнее удовлетворяют не живые люди, будь то даже наши друзья и родственники, а именно герои книг. Далее, многим из нас хочется увидеть в литературных героях самих себя и судить себя по этим героям. Анализ обобщенного человека может быть поучительным, но не даст нам образа достаточно яркого для сравнения с нами самими. Обычно мы и не сознаем, насколько литературные персонажи усиливают и обогащают непрерывный процесс этической оценки, неотделимый от всей человеческой жизни. Конечно, писателю не следует руководствоваться этим соображением: это было бы пагубно для его созданий. Но, когда работа его закончена, ему приятно думать, что, создав тот или иной характер, он способствовал органическому росту нравственных критериев. В самом деле, если у писателя есть миссия на земле, кроме как доставлять развлечение, так она в том и состоит, чтобы, создавая характеры, заставляя людей думать и чувствовать.

Я подошел к финишу без малейшей надежды разорвать ленточку, ибо необъяснимое так и осталось необъясненным. Почему литературный персонаж живет? Или, скажем, наоборот: почему столь многие из них умирают? В конце каждого издательского сезона их набираются целые кучи, как полумертвых осенних мух. И вскоре горничная Время является с метелкой, сметает их со стены, открывает окно и высыпает их в куст зимнего жасмина. Многие из них умирают оттого, что были «интересные» или «странно волнующие», — ах, эти удобные, но роковые слова! Иные, раздувшись от важности, лопнули, как мыльные пузыри. Некоторые, в наше время немногие, погибли от избытка сахара. Еще другие до того возлюбили своих создателей, что впали в религиозный экстаз и совершили самоубийство. А остальные, проведя свои дни в попытках состояться, просто отказались от этих попыток.

В тех немногих литературных характерах, которые не поддаются времени, есть одно качество, простое, но немаловажное: они живут потому, что все время, хоть и незаметно, раскрывают себя. Если бы нужно было отдать пальму первенства какому-нибудь одному фактору в создании характера, я назвал бы сухой, лукавый юмор. Тот юмор, что породил Дон Кихота и Санчо, Фальстафа, майора Пенденниса, Бекки Шарп, Сэма Уэллера, Микобера, Бетси Тротвуд, Степана Аркадьевича и миссис Прауди. Но это скорее инструмент, чем движущая пружина в создании долговечных характеров. Самая же пружина остается тайной. Если хотите, назовите ее животворной искрой, «дыханием жизни». Несомненно одно: все долговечные характеры в литературе выбрались из пеленок и освободились от своих создателей. Им нет никакого дела до виновников их существования. Они вырастают, уходят и зовут вас за собой на улицы, в поля, к пустыням и рекам их самостоятельных странствий, чтобы вы могли увидеть их звезды и разделить их заботы, смеяться вместе с ними и любить вместе с ними, вместе с ними бросать вызов судьбе, бороться с ними плечом к плечу и, когда для них настанет ночь, вместе с ними раствориться в небытии.

1931 г.

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

КОНСТАНС ГАРНЕТ

*Лоренс-Мэншенз, 4, Челси,
10 мая 1902 г.*

Дорогая миссис Гарнет! ¹

Я дочитал второй том Анны ², и в таком восхищении, что должен хотя бы отчасти излиться. Сцена родов и смерть Анны по силе чувства и прозрения — высшее, что сделал Толстой, насколько я его знаю; а разговор Степана Аркадьевича с Карениным, Ландау и графиней Лидией Ивановной — непревзойденная сатира.

Я склоняюсь к мысли, что Толстой в глазах потомства будет стоять в одном ряду с Шекспиром. Его творчество совсем иного рода, чем творчество Тургенева, Шекспира, Мопассана; это что-то совсем новое. Его ни с чем нельзя сравнить. Верно сказал на днях Эдвард: оно достигает новых глубин сознания, а значит, и анализа.

На мой взгляд, Анна — личность цельная и последовательная, но я признаю, что Вам, как женщине, виднее, вполне ли она достоверна. Стержень ее проблемы — Сережа; устраните его — и пропадет вся ее нерешительность, сознание греха. Однако я сомневаюсь, что это повлияло бы на трагедию в целом, которая выражена на странице 365 второго тома в словах: «Я не ревнива, а я недовольна». Разве в жизни нет таких женщин?

¹ Констанс Гарнет — жена критика и писателя Эдварда Гарнета, друга Голсуорси, — переводчица на английский язык романов Тургенева, Толстого и других произведений русских классиков.

² Роман «Анна Каренина» вышел в Англии в переводе К. Гарнет в 1901 году.

Если в главах, о которых я пишу, у Толстого плохой стиль, значит, Вы совершили истинное чудо превращения. Так или иначе, Вы проделали замечательную работу, и я с тем большим нетерпением буду ждать «Войну и мир». Думаю, что я смогу быть Вам более полезен по части охоты, чем для военных глав, но, пожалуйста, присылайте мне все, что захотите.

Я очень надеюсь, что Вы переведете и «Казачков».

Большущее спасибо за то, как я у Вас погостил, мне это пошло на пользу. Но боевой клич Банни до сих пор меня преследует.

Моих рукописей у Вас слишком мало, чтобы составить обо мне какое-то представление.

С лучшими пожеланиями Вам обоим

Преданный Вам
Джон Голсуорси.

ЭДВАРДУ ГАРНЕТУ

Отель «Альпы», Мадонна ди Кампильо,
1 июня 1905 г.

Дорогой Гарнет!

Только что получил Ваше письмо, после того как девять часов добирался сюда на лошадях, и, вероятно, отвечаю слишком быстро, но, когда тебе плохо, хочется поскорее облегчить душу. А плохо мне потому, что это, кажется, первое серьезное расхождение между нами в вопросах искусства (ради бога, пусть ни в каких других вопросах их не будет!) ¹. До сих пор я всегда принимал Вашу критику, если не сразу, то по некотором размышлении, но здесь я усматриваю несогласие по очень важному пункту — психологическому.

Однако давайте сперва проясним картину.

Самоубийство Босини.

Я совершенно с Вами согласен в том, что никакие денежные затруднения не толкнули бы его на самоубийство; что для людей типа Босини банкротство не может иметь сколько-нибудь серьезного значения.

¹ В письме, на которое отвечает Голсуорси, Гарнет критикует последнюю часть «Собственника», которую прочел в рукописи.

Босини, и до этого уже загнанный и измученный, кончает самоубийством, потому что Ирэн рассказала ему, что Сомс совершил над ней насилие. Я вижу, эта причина даже не пришла Вам в голову, и мне очень стыдно, что я не сумел это показать. Дело в том, что я сначала написал главу о том, как Ирэн и Босини едут подземкой, и там все это есть. А потом я ее изъяс, потому что решил дать Босини только со стороны,— я почувствовал, да и сейчас чувствую, что иначе я его дать не могу,— иными словами, я недостаточно властен над ним и недостаточно глубоко его вижу. А во втором варианте я, видимо, чего-то недоделал. Когда Вы прочтете о настоящей причине самоубийства, которую я, конечно, проясню,— Вы, может быть, скажете: «Боже правый, но почему?» Если Вы так скажете, я с Вами заранее не согласен и очень прошу Вас, до того, как это сказать, вернитесь в самое свое распаленное состояние, какое сможете припомнить. Прошу Вас также принять во внимание, что и вся ситуация — любовник обанкротился, а у женщины, привыкшей к роскоши, нет ни гроша — не способствует бодрости; сильнее выражаться не буду. Добавьте к этому немного физических лишений и тяжкое душевное потрясение — самое тяжкое, какое может выпасть на долю страстно влюбленному мужчине,— и что же останется от той неправдоподобности, о которой Вы говорите?

Я прочитал немало французских романов и вполне сознаю, что в глазах французов то, о чем узнает Босини,— совершеннейший пустяк; но английский характер в этом смысле — совсем иное дело. Еще вы можете возразить, что это — женский взгляд на вещи; что ж, очень возможно, что Босини, будь он в других отношениях хозяином положения, выдержал бы это более или менее спокойно. Но так — мне кажется, что я прав.

Впрочем, все это не главное.

Серьезно тревожит меня вот что:

Вы и, кажется, Ваша жена хотите, чтобы я закончил книгу явным и осязаемым поражением форсайтизма, а именно — бегством счастливых любовников.

На мой взгляд (а я как раз и хочу нанести форсайтизму поражение), единственный путь к этому — оста-

вить Форсайтов как бы победителями. Единственный способ привлечь читателей на сторону любовников, единственный способ окончательно прояснить цель книги — а она в том, чтобы показать, что собственность — *пустая оболочка*, — это оставить победу за Сомсом. Закончив ее так, как Вам бы хотелось, я всего лишь прибавил бы еще одну книгу к великому множеству тех, которые только бесят читателей. Увенчать «незаконную любовь» успехом — значит дать повод для насмешек.

Конрад, когда дочитал, сказал: «Конец потрясающий». Я привожу его слова только затем, чтобы показать, что эта картина — Сомс и Ирэн по обе стороны камина и дверь, захлопнутая перед носом любого вмешательства посторонних, — производит известное впечатление.

Мы оба стремимся к тому же эффекту, оба ненавидим Форсайтов и желаем их гибели. Вам чутье подсказывает, что это надо показать позитивно, нанеся им поражение; мне чутье подсказывает, что я могу это сделать только негативно; я оставляю за ними победу, но какую победу!

Это трагично.

Мне казалось, что лучшая сцена в книге — именно последняя, и лучшее место — сравнение Ирэн с «подстреленной птицей». Я и сейчас думаю, что это произведет на публику более сильное впечатление, чем счастливый конец, чем осязаемое поражение Форсайтов.

Ваша жена говорит, что «скорее Ирэн могла покончить самоубийством, оказавшись между этими двумя мужчинами». Да, если бы это не была Ирэн, но Ирэн ничего не делает. Она пассивна. И еще Вы говорите, что к концу Ирэн у меня «смягчается», но так ли это? Напротив, она всего жестче в сцене с Джун. С человеком, которого она ненавидит, она может быть жесткой, это каждый может. К Сомсу она нигде не проявляет мягкости, ведь не ее мягкостью объясняется эпизод с насилием. Но она мягкая с начала до конца, ибо она пассивна.

Злость на английскую буржуазию: да, очевидно, Вы правы — я знаю, что кое-где сбиваюсь на карикатуру, эти места я пересмотрю.

Ваше письмо такое доброе, и честное, и трогательное, что я буквально повержен во прах.

Простите, если кажется, что я пишу резко, и простите, что на сегодня кончаю.

Жена шлет вам обоим искренний привет.

Я тоже, мой дорогой.

Всегда Ваш
Джон Голсуорси.

P. S.— Несчастные цветочки вернулись к нам увядшие, засохшие,— Лондонский почтамт, чтоб ему пусто было, говорит, что наклеили мало марок.

А Вы не думаете, что опасно было читать книгу по частям, и самому, так сказать, мысленно дописать ее до того, как я прислал Вам конец?

Пятница.

Провел бессонную ночь, думая над Вашим письмом и пытаюсь увидеть конец книги Вашими глазами. Дорогой мой, если я дам любовникам хоть малейшую поблажку, если хотя бы намекну на их победу и счастье — книга будет загублена. Я на это не решусь, да я этого и не вижу. Я чувствую, что конец должен быть беспощадным. Думаю, что и Вы и Ваша жена бессознательно исходите из своей ненависти к форсайтизму; или, возможно, эта ненависть руководит Вами не так сильно, как мной, и Вы не хотите, чтобы я бил так больно; или же не понимаете, что мой удар больнее того, который Вы мне предлагаете нанести.

Самоубийство Босини. Я готов согласиться, что здесь я допустил ошибку во времени: гораздо вероятнее, что он бросился под колеса омнибуса в тумане, а не на следующий день. Это я могу изменить без большой ломки; и если хотите, могу сделать так, чтобы у читателя осталось сомнение, было ли это самоубийством,— так же, как осталось бы у присяжных. И уж, во всяком случае, я не оставляю сомнений в том, что когда Джордж идет за ним следом в тумане, он только что расстался с Ирэн, которая ему все рассказала.

Вы перечитали две первых части? Во второй Босини как раз и приданы черты неврастеника или, скорее, человека загнанного.

Вы и Ваша жена слишком сочувствуете любовникам, или, вернее, вы сочувствуете им недостаточно, ибо еще раз повторяю, Ваш конец оставил бы Форсайтов победителями в глазах читателей (широкой публики); а мой даже в их глазах оставляет победу за любовниками — ведь только побежденные одерживают победу.

Если бы я честно исключал возможность самоубийства Босини, я бы его не совершил и не сфальшивил бы даже ради главной цели книги (разоблачения собственности); но такая возможность не исключена, во всяком случае, это вопрос открытый, и я должен Вам покаяться, что Босини мне не удался, а раз так, пусть не удастся и дальше, а я его использую для главной цели книги. Если я это сделаю более ловко — по указанной Вами линии, — кто, кроме Вас и еще двух-трех человек, об этом догадается? Лучше по-честному признать свою неудачу и извлечь из нее хоть какую-то пользу.

Лучше, по-моему, отдайте книгу на машинку и пошлите Полингу, а все изменения я внесу потом. В письме к Полингу можете сказать, что кое-какие изменения будут, но не по основной линии. Они-то, во всяком случае, ничего не заметят, а мне хочется знать, как у меня обстоит с ними дело. Кстати, Вы пишете о заключении судьи, а я-то думал, что это удалось.

Еще раз простите и ответьте мне, если я еще не очень Вам надоел.

Дж. Г.

КОНСТАНС ГАРНЕТ

Отель Тренто,
Триент (Южный Тироль),
14 июня 1905 г.

Дорогая миссис Гарнет!

Ваше письмо после долгих странствий настигло меня здесь только вчера. Мне было так приятно его получить и письмо Эдварда тоже. Ему пишу отдельно.

И прежде всего прошу Вас верить, что и жена и я только больше вас обоих любим и восхищаемся вами. Мне кажется, что это чуть ли не самое трудное — честно критиковать работу тех, к кому мы хорошо относим-

ся; но от настоящих друзей именно этого и ждешь, и всякое проявление такого мужества скрепляет дружбу.

Могу Вас порадовать — я сдаюсь. Общими силами Вы убедили меня в том, что Босини — живой человек, а не просто изображение, присутствующее в книге ради сюжета. Боюсь, что именно так я привык на него смотреть и, с одной стороны, я даже рад капитулировать, хотя, может быть, и сейчас еще не до конца убежден. Если он действительно в какой-то мере удался, то я, очевидно, оказался в роли того охотника (пуделявшего весь день и под вечер сбившего наконец птицу), которому егерь сказал с покорным вздохом: «Бывает, конечно, что она и налетит на пулю!» Вот и Босини, видимо, налетел. Я чувствую, что с самого начала что-то в нем не получалось, а потом я уже всяческими уловками старался это скрыть; какой это бросает свет на всю работу литератора! Неплохая реклама для теории «техники». Я здорово запутался, не знаю, что даст пересмотр рукописи, не ощущаю ни малейшего вдохновения и боюсь, что все сведется к неуклюжим заплатам. И все-таки немножко лучше она должна стать.

В Сорренто, когда я закончил книгу, я был до того вымотан, что пять-шесть недель не мог даже письма написать; потому-то отчасти я, вероятно, и цеплялся сперва за самоубийство Босини. Но в конце концов это не так уж важно. Сейчас трудность в том, чтобы ясно представить себе, какое воздействие (законное) фразы, написанные мною, окажут на сознание читателей. Я волнуюсь и не уверен в себе.

Мне очень отратно, что Вы одобряете сцену возвращения Ирэн и чувствуете ее облик в конце. Этим я горжусь.

Аде, так же, как и Вам, всегда трудно было поверить, что мужчина мог покинуть женщину в такой беде. Мне, может быть, и самому это было не легче; но я не могу отделаться от мысли, что самоубийство — это что-то до того нелогичное, до того мгновенное, не связанное с характером, простительное, чисто физическое, необъяснимое, до того трудное, когда приходит минута действовать, что удастся оно только как своего рода несчастный случай, в общем, что оно и есть несчастный случай. Мне казалось, что оно не вытекает из характера, и меня, по

моему складу, оно не шокирует. Тут-то, очевидно, и есть разница между Вами и мной. Может быть, для меня самоубийство — что-то столь далекое, что я ощущаю его только физически. Во всяком случае, я не мыслю его как проявление *всего* человека: совершить его может только какая-то часть человека, притом очень малая, которая на время вытеснила в нем все остальное. Вот почему тип Босини скорее способен на самоубийство, чем тип Форсайта, потому что он обладает способностью растворить *всего* себя в какой-нибудь одной части — на мой взгляд, это, конечно, сила, а не слабость; а самоубийство всегда казалось мне уж скорее признаком цельности и привлекательности человека, в отличие от осторожной и оберегающей себя форсайтской души.

Ужасно жаль, что цветы погибли. Привет Вам всем и большое, большое спасибо.

Искренне Ваш
Джон Голсуорси.

ЭДВАРДУ ГАРНЕТУ

Отель Тренто,
Триент (Южный Тироль),
14 июня 1905 г.

Дорогой Гарнет!

Бесконечно Вам благодарен за письмо от 7 июня и за договоренность об оплате, кстати сказать, весьма низкой. Письмо Вашей жены я тоже получил и уже ответил ей.

В тех кусках, которые я написал заново, я делаю упор на неистовый гнев и даю понять, что он был убит в минуту, когда мысль о мести до того владела им, что он ничего кругом не видел и не понимал (это выражено на 4—5 страницах, где Джордж идет следом за ним в тумане), и еще я упоминаю о том, что у полицейского инспектора мелькнула мысль о самоубийстве после показаний, которые дал кучер омнибуса, — чтобы было к чему прицепить психологию Форсайтов (они отвергают это подозрение, поскольку оно им во вред). Потом, в начале главы IX, две страницы мыслей молодого Джолиона, когда он уходит из больницы, где лежит тело Босини, — он думает об этой версии самоубийства, и как

Форсайты ее отвергнут — как газеты будут ее раздувать — и что это не было в характере Босини — а все-таки могло быть и так — и в конце концов решает, что было не так.

Дальше сразу про Сомса после ухода из больницы: он встречает Джорджа (у подъезда Джобсона), у того в руках газета, он только что прочел о смерти «Пирата» и что подозревают самоубийство. Джордж — единственный, кто видел Босини под впечатлением того, что сказала ему Ирэн. Мысли Джорджа во время этой встречи с Сомсом — последнее, что сказано о смерти Босини: «Самоубийство! — думал он. — Как бы не так! Бедняга так бесновался от желания отомстить, что не заметил омнибуса в этой тьме кромешной!» Он считал Сомса виновником этой смерти, потому что не любил его. И этот приговор можно было прочесть в его глазах.

— Пишут о самоубийстве, — сказал он наконец.

Сомс покачал головой. — Несчастный случай, — пробормотал он.

Сняв в кулаке газету, Джордж сунул ее в карман.

— Или убийство, — усмехнулся он. — Ну как дома — рай земной? Маленьких Сомсиков еще не предвидится?

С лицом белым, как ступеньки лестницы у Джобсона, ощерив зубы, словно собираясь зарычать, Сомс рванулся вперед и исчез».

Напишите мне, годится ли это в общих чертах. Дальше про Сомса и возвращение Ирэн, как было, и под конец я ввожу молодого Джолиона. Последние три страницы я еще обдумаю, но обещать каких-либо поправок не могу, разве что на меня снизойдет вдохновение.

Да, Джун, конечно, не увидит Босини, и я добавлю фразу о том, в какой неуверенности оставило ее отступление Ирэн. К сцене в Ботаническом саду я еще вернусь. Больше всего меня страшит глава VIII, и боюсь, я мало что могу с ней сделать, кроме как подогнать к другим.

Пошлите часть III в отель Доломитен, Сан-Мартино ди Кастроцца, Тироль, заказным.

Чувствую себя самым настоящим кровопийцей.

Искренне Ваш
Джон Голсуорси.

Р. S. Смерть Босини, мне кажется, получится сильнее и правдоподобнее как несчастный случай, если умело использовать подозрение, что это было самоубийство; читатель, знающий не все, будет волен это подозрение отвергнуть.

[СЕСТРЕ ¹]

Гостиница «Букингемский дворец»
11 сент. [1905 г.]

Дорогая моя!

Твое милое, чудесное по своей честности письмо вызвало у меня некоторое смятение в мыслях, но все же попробую тебе ответить.

Когда я думаю о твоём письме в целом, я прежде всего воспринимаю его так: это одна душа отчаянно взывает к другой, совершенно от нее отличной. Я уже давно знаю, что в основных своих взглядах мы очень не похожи. Нас роднит и сочувствие к людям и терпимость, но если копнуть поглубже, — разница между нами большая. В тебе нет того трезвого, или циничного, или сатирического, или объективного начала — назови как хочешь, — которое есть во мне. Ты оптимистка, идеалистка. Я же не оптимист и не пессимист, а идеалы у меня, если есть, так не те, что у тебя.

И от искусства мы с тобой требуем разного. Тебе, например, хочется, чтобы автор, изображая конфликт, склонял читателя примкнуть к одной из сторон против другой. У меня этого нет. Я скорее ощущаю себя своего рода химиком — я более холоден, более аналитичен, всегда развиваю какую-то философскую идею и в угоду ей готов, можно сказать, исказить свои оценки. Я исхожу из тезиса, что чувство собственности не христианское

¹ Сестра Голсуорси, Лили Сотер, прочла «Собственника» в рукописи. «Как мы знаем, — пишет биограф Голсуорси Мэррот, — Форсайты в большой мере списаны с натуры; и найти в романе целую галерею портретов своих родственников, да еще написанных очень сатирическими красками, — это тридцать лет назад было переживанием много более тягостным, чем могло бы быть в наше время. Так или иначе, она не скрывала своих чувств от брата».

и не очень пристойное чувство. Возможно, я рассчитываю на то, что люди это поймут. Во всяком случае, я всегда занимаю позицию отрицателя, разрушителя. Мне нестерпима самая идея безупречного героя, она мне кажется такой банальной, пошлой, а главное — явно не-философской. Возможно, даже вероятно, это недостаток, но это так, и ничего с этим не поделаешь. Я не могу принимать человека до такой степени всерьез. Кое-что в людях мне нравится, кое-что меня восхищает, но если я берусь писать о них, то будь уверена, что я не обойду молчанием их темные стороны. Таков мой жанр. Изменить я его не могу. Охотно верю, что это тебя огорчает.

Всякое стремление доказать правоту того или иного человека я сразу чую и терпеть этого не могу; сам же я всегда стремлюсь доказать правильность той или иной идеи философского порядка. И своим искусством, сколько я им владею, я служу и всегда буду служить этой цели. Таким меня и нужно принимать. Этим, конечно, снимается многое из того, что ты пишешь, — ведь, в сущности, оно сводилось к тому, что я должен написать совсем другую книгу, быть совсем другим человеком. Но есть в твоём письме и отдельные замечания, о них поговорить легче.

Во-первых, вопрос о личностях. Неужели ты в самом деле думаешь, что это важно? Если не считать тебя, Мэб¹ и мамы (ей, пожалуй, лучше не читать мою книгу), никто ведь о нас ничего толком не знает и не хочет знать, так что в худшем случае люди день-другой поудивляются, почему я выбрал эту тему, а потом забудут. Никто (кроме Форсайтов, о которых речь пойдет дальше) не осведомлен хотя бы настолько, чтобы связать А. с И.², тем более, что я изменил цвет ее волос на золотой. Знают Ф-ы, да еще, может быть, человек пять-шесть, а они скажут только: «Если это задумано как портрет, то портрет неважный», или даже «то это — проявление дурного вкуса».

Книгу прочли Конрады, Гарнеты, Хьюферы, и что они нашли в ней особенного? Ничего. Просто они считают, что это лучшее из всего мною написанного.

¹ Мэбл, младшая сестра Голсуорси.

² А.— Ада Голсуорси, жена писателя; И.— Ирэн из «Собственника».

Что же касается Форсайтов, то пусть себе отождествляют А. с И.—она все равно совсем не такая; или меня самого... с кем? Потому что при нынешних обстоятельствах я едва ли даже узнаю о том, что они до этого додумались. Так что бог с ними совсем.

Теперь насчет того, что семейство вышло слишком похожее. Да, идея эта, конечно, у меня была: Суизин, Энн и старый Джолион — портреты в той мере, в какой это возможно в литературе, а это не так уж много (при том самом искажении в угоду философской идее), остальные же все перемешаны — например, тетя Джули если с кого и списана, то скорее всего с Б., и т. д. К тому же, кто из них (после недавних событий)¹ станет читать эту книгу? И, как ты сама говоришь, в ней проявлена известная доля терпимости. Я очень рад, что ты сочувствуешь Сомсу. Я очень боялся, что не сумею быть к нему справедливым. И конец книги, видимо, показался тебе жалостным, печальным — это тоже хорошо.

Насчет того, что «акт собственника» в какой-то мере оправдан. Да, конечно, он оправдан постольку, поскольку человек — животное, и притом голодное, несчастное, жалкое, но ты, я думаю, согласишься, что он не вполне согласуется со святостью брака. Я не пытался приукрасить Ирэн или Босини, потому что не пытался приукрасить Сомса.

«Розовое с черным» — вероятно, это подсказалось десятилетней давности воспоминанием о Ф.; переделаю на оранжевое с голубым².

Конец третей главы. Вот совпадение — я и сам уже решил, что Босини должен здесь что-то сказать.

Да, признаю, от Босини я увильнул. Сперва я хотел дать его изнутри, но обнаружил, что он мне противен, что я не сумел его увидеть (даже в меру обычной моей способности видеть), и тогда я дал его только со стороны, переместив фокус в глаза Форсайтов, что придало книге известную художественную цельность в том виде,

¹ В конце 1904 г. умер отец Голсуорси, и он перестал скрывать свою связь с женой своего двоюродного брата Артура Голсуорси, длившуюся уже 9 лет. В 1905 г. Ада Голсуорси получила развод и 23 сентября официально стала женой писателя.

² Речь идет о тонах гостиной в доме Суизина (см. «Собственник», ч. I, гл. 3).

как она задумана (не в том, как хотелось бы тебе). Теперь это не характер, а изображение; так же, как Ирэн,— она ведь тоже дана только со стороны. В отличие от Форсайтов, ни тот, ни другая не наделены жизнью, но они исполняют свое назначение. Характеры удаются (мне, по крайней мере): 1) если в тебе самом достаточно общего с ними, 2) если имеешь возможность наблюдать их. Воздействовать на нашу радужную оболочку и на творческие нервы наших пальцев может лишь ограниченное количество людей, и если только ты не гений, нужно искать свой материал поблизости от себя. Этим и объясняются обидные неудачи большинства писателей — они берутся за непосильные задачи.

Я не такой хороший писатель, каким хотел бы быть и каким тебе хочется меня видеть, но и не такой плохой, чтобы по своей воле перестать писать.

Эта книга — несомненно, лучшее из всего, что я написал, несомненно. И тут я подошел к самому трудному в твоём письме.

По существу, ты говоришь мне: не издавай. Во всяком случае, не в ближайшие годы. Прости меня, дорогая, но ты довольно легко касаешься очень болезненной темы.

Если я не издам сейчас, то не издам никогда. Через два месяца эта книга умрет во мне и уже никогда не воскреснет. Она постепенно умирает уже с мая. Начата новая книга. Я просто сужу по другим своим книгам. Ни к одной из них я не мог бы вернуться, чтобы переделать ее; растения умерли, потому что их оставили без ежедневной поливки. Так будет и с этой книгой. Я не могу и никогда не смогу ее переделать.

Это проясняет картину.

Вопрос, значит, стоит так: тебе и Мэб кажется, что моя книга — святотатство, но достаточно ли твердо это ваше убеждение, чтобы предать ее огню? Издать ее анонимно я не могу, это значило бы и новую мою книгу и следующую за ней тоже издавать анонимно — в них тоже участвует и «молодой Джолион» и другие¹. В новой книге, которую я пишу сейчас, широко показаны неж-

¹ Речь идет о задуманных писателем романах «Даная» и «Медная глотка». Замысел этот не был осуществлен, но из набросков к «Даная» родился роман «Усадьба».

ные, отцовские черты старого Джолиона, его лучшие черты — в рамках той книги этого нельзя было сделать.

Сейчас модно утверждать, будто художник способен изобразить решительно все; это верно лишь по отношению к нескольким величайшим гениям: как правило же, художник может изобразить только то или похожее на то, что он сам пережил. Чтобы глубоко проникнуть, нужно глубоко перечувствовать, так ли, этак ли, но по-своему. Сам я не считаю личную тему или то, что можно истолковать как личную тему, чем-то запретным. Это все равно что сказать живописцу: «Вы написали непохожий портрет», в то время как единственным осуждением должно быть: «Вы написали плохую картину». Сомневаюсь, способна ли ты судить о «Собственнике» как о картине. Я хочу сказать, что предпочел бы услышать мнение человека, который ничего не знает о материале, легшем в основу книги. Впрочем, я вполне допускаю, что с известной точки зрения ты права. Ты осуждаешь книгу как портрет, другими словами, считаешь, что портрет слишком похож; но я еще раз спрашиваю, разве это так важно? Ты прочла книгу. Мэб ее прочтет. И этим все зло будет исчерпано. Мы просто не будем рекомендовать ее нашим знакомым, а если так, многие ли из них прочтут ее?

Почему одиночество и тоска для тебя нестерпимы? Мне это непонятно. В чтении я предпочитаю их счастью. Счастье означает успех, а успех почему-то вызывает отвращение. Я предпочитаю старого Джолиона в минуты, когда ему одиноко и тоскливо, тогда я ему больше сочувствую и больше его люблю.

Что касается характеров, то не нужно забывать вот о чем: начинаешь работать с какого-то намека, две-три главы пишешь с прототипа (с живого человека), а потом вдруг оказывается, что ты пишешь уже не с этого человека, а с того, что ты успел о нем сказать, иными словами, с собственного твоего создания, которое с каждой фразой все дальше отходит от первоначальной натуры.

Поэтому ты напрасно стала бы искать портрет нашего отца; да я и не задавался целью его написать.

Поучительно видеть, как глубоко заложено в людях семейное начало. Критикуя, ты, хотя, может быть, и бес-

сознательно, смотришь глазами семьи, чувствуешь пульсом семьи или чем там люди чувствуют. Потому что никто другой, пожалуй, не знает и не может знать, что я имел в виду папу.

Ты сама подумай: чтобы разгадать старого Джолиона, нужно основательно знать всю колыбель — весь семейный круг, иначе это может быть любой восьмидесятилетний старик, тем более, что эту сторону своей жизни отец никогда не показывал даже членам семьи. Так глубоко (если хочешь, наполовину правдиво) увидеть ее не мог бы никто, кроме нас.

А вне самой семьи кто по-настоящему знает семейную колыбель?

Меня лично «портрет» не смущает, я его не стыжусь; мне, естественно, этот образ дорог; но грустно думать, что ты и Мэб смотрите на это иначе; и что тут делать — этого я пока просто не знаю.

Крепко целую, дорогая,

Любящий тебя Джек.

ЭДВАРДУ ГАРНЕТУ

Уингстоун, Манатон, Девон.
[Без даты, 1910 г.]

Дорогой Эдвард!

Спасибо, мой дорогой, за настоящую откровенность. Но мне кажется, что в своей критике ты исходишь из ложной предпосылки и что очень важные вещи ты упустил¹. Ты как будто танцуешь от мысли, что я не могу знать этих людей, и все остальное подгоняешь к этой теории. А во-вторых, ты упустил новый тон в этой книге — ты решил, что я буду так же сатиричен, как и в предыдущих романах; а я чувствую, что перехожу от сатиры к какой-то другой ступени; и хотя я, если бы захотел, мог бы дать сколько угодно мелких черточек и сделать это, как мне свойственно, в сатирическом духе, — но я не захотел: мне хотелось добраться до сути, которая лежит за общей атмосферой.

¹ Речь идет о романе «Патриций», который Гарнет прочел в рукописи.

Теперь что касается незнания этих людей. Откуда это тебе известно? Во-первых, ты и сам их не знаешь; во-вторых, моя компания в Оксфорде, как-никак, наполовину состояла из них. Я встречал их во многих местах, особенно за последнее время, и, поверь, между ними и обыкновенными (!) людьми не такая уж глубокая пропасть, как тебе кажется. В-третьих, Г. Мэрри, который вошел в этот круг благодаря женитьбе, многих из них знает близко и едва ли стал бы мне льстить, не нашел, что возразить против книги; совсем наоборот.

Судя по одному из твоих замечаний, тебе кажется, что я смотрю на них снизу вверх. Так вот: во-первых, нападать на титулованных и власть имущих так легко, так опасно легко, что при моей репутации радикала это свело бы на нет все воздействие книги. Я на протяжении всего романа «нападаю» на их иссохшие души; а чтобы добиться в этом успеха, нарочно старался не выказывать к ним вражды. Во-вторых: если у тебя хватит терпения проследить мою линию, начиная с «Острова фари-сеев» и до нынешнего дня, ты увидишь, что от книги к книге сатира ослабевает, а усиливается стремление передать чувство красоты. Отчасти это объясняется тем, что, когда пишешь пьесы, где нужно выключать всю ту часть себя, которая жаждет красоты, эта часть забирает особенную силу в романах; но, вероятно, есть и другая причина — возраст. Так или иначе, это процесс неуклонный и естественный; и несправедливо упрекать меня в том, что ты называешь взглядом снизу вверх. Аристократ как таковой вызывает во мне сильную неприязнь, но я постарался оставить это в стороне, а выбрал лучшие образцы, и вообще очень старался не выдать моей неприязни к позиции людей, которые все блага жизни принимают как должное. Почему? Да потому, что мне хотелось проникнуть сквозь внешнюю броню и разоблачить или хотя бы показать обезличивающее, иссушающее, мертвящее влияние власти.

Как бы то ни было, изменить это я не могу, поскольку я, против обыкновения, не *чувствую* твоей критики; но ты написал, как думал, и за это спасибо, ведь, на-верно, это было очень неприятно.

Я с головой ушел в «Жанну д'Арк»¹. Пока очень вни-

¹ «Суд над Жанной д'Арк», пьеса Гарнета.

мательно прочел один раз. Я считаю, что это лучшее из всего тобой написанного. Мне кажется, пьеса должна произвести большое впечатление, а образ Жанны глубоко трогателен. Я делаю массу карандашных пометок и сокращений, имея в виду единственно сценическую сторону. Если это тебе неприятно, разреши, я дам перепечатать всю рукопись. Но вот что я хотел сказать. Если то, что я предлагаю выбросить, тебе дорого, сделай два варианта — один для чтения, другой для сцены. Ведь страшно важно не похоронить публику под слишком длинными речами священника. Прими во внимание и то, что сейчас пьеса, безусловно, слишком длинна, да еще частая перемена декораций, — и выбрось все слова, без которых можно обойтись. В двух-трех местах я предлагаю соединить две сцены в одну, чтобы упростить постановку. Понимаешь, она обойдется очень дорого, и нужно экономить, где только возможно. Сцену во дворе (акт IV, сц. 4) я предлагаю совсем выбросить. Впрочем, все это я отметил в рукописи.

Если можно, я подержу ее еще дня три, чтобы проверить, не предлагаю ли я ненужных сокращений.

Но работа прекрасная, производит большое впечатление, и я уверен, что если только ты хорошенько поработаешь ножницами (это не так уж трудно!), то она будет иметь большой успех.

Привет от нас всем вам.

Дж. Г.

P. S. Как бы то ни было, этим романом я заканчиваю то, что начал «Островом фарисеев». Аминь.

И кстати, давай больше не упоминать об этой несчастной книге. *Дж. Г.*

ЭДВАРДУ ГАРНЕТУ

Уингстоун, Манатон, Девон.

14 сент. 1910 г.

Дорогой Эдвард!

Твое письмо способно тронуть сердце демона. Так или иначе, книга не выйдет раньше марта, и, конечно, я мысленно буду еще над ней работать. Самое главное — сохранить равновесие. И есть опасность увязнуть в еще

худшем болоте. Все зависит от того, чего в книге ищешь. А за двумя зайцами погонишься...

По мнению Гилберта Мэрри, эта книга,— безусловно, «самый прекрасный и, пожалуй, самый горький из ваших романов». Ты прав — мы мало знаем о собственных произведениях, если не считать того, что лучше кого бы то ни было знаешь все касательно равновесия, поскольку знаешь, чего добивался, а другие должны об этом догадываться,— но вот тебе два диаметрально противоположных мнения, причем оба человека, высказавшие их, отнюдь не дураки.

Я охотнее перенесу презрение радикалов за то, что они могут назвать взглядом снизу вверх, нежели наперекор своему внутреннему чувству пойду по пути слишком легких и несправедливых нападок. Если я установлю «иссушающее» действие аристократизма, которое ты при своей наблюдательности усмотрел, то больше мне ничего не нужно: потому что у аристократии есть свои достоинства, и немалые. Я с самого начала думал, что книга вызовет недовольство в обоих лагерях. Патрициям она, безусловно, не понравится, и демократам тоже. Есть еще один тонкий штрих, которого ты не уловил: этот круг общества — основное его ядро — отличается некой (если хочешь — притворной) свободой обращения, отсутствием жеманства и гибкостью, и все это можно показать только отрицательным методом, то есть не изображая сатирически нравы, а если ступить на путь сатиры в области интимной жизни, будешь бить не по главному, а по боковым линиям и сейчас же навлечешь на себя обвинение в невежественности и несправедливости со стороны самой аристократии, что повредило бы книге больше, чем досада и даже презрение тех, кто при одном слове «аристократ» приходит в ярость. Впрочем, лорда Денниса я еще как следует просмотрю. Лорд и леди Вэллис, на мой взгляд,— самые обыкновенные люди, немножко смешные. Во всяком случае, можешь быть уверен, что именно так их воспримет большинство читателей.

Ты часто говоришь, что главное мое достоинство — равновесие, но на сей раз ты мне в этом смысле не доверился. Не забудь, в какой атмосфере ты сам живешь. Когда балансируешь между двумя мирами, все время

поневоле вызываешь недовольство то в одном из них, то в другом, так будет и теперь.

Посылаю тебе «Жанну». При втором чтении она не хуже, скорее, наоборот. Историческая верность опасна для четкой драматургической формы, все мои замечания и вымарки объясняются этим. Дело не столько в психологии или чувствах, сколько в требованиях сцены. С начала до конца эмоциональное напряжение неуклонно нарастает, и это главное, а если ты сделаешь в последних двух актах те сокращения, которые я предлагаю, будет и неуклонное нарастание темпа, что в длинной пьесе очень существенно.

Я рад, что Пэйн со мной согласен.

Желаю пьесе всяческой удачи, мой дорогой. Ты заслужил победу.

Твой Дж. Г.

ЭДВАРДУ ГАРНЕТУ

*Уингстоун, Манатон, Девон.
18 сент. 1910 г.*

Дорогой Эдвард!

Посвящение «Жанны д'Арк» для меня большая честь и радость. Ширмы вместо декораций — это может спасти положение.

На твоём месте я бы не удовольствовался теми сокращениями, которые я наметил, даже если ты их сделаешь, а постарался бы ещё сжать речи священника. Для книжного варианта сцену во дворе я бы непременно сохранил — сама по себе она очень хороша.

Я много думал о «Патрициях», но в рукопись ещё не заглядывал. Чем больше думаю, тем больше чувствую, что совесть моя чиста, а вот техника, наверно, хромает. Я чувствую, что мысленно вижу этот класс под правильным углом, но при переработке я так прилежно изымал по всей книге сатиру, что, видно, перестарался. Лорд Деннис слишком милый, с этим я согласен, первоначально мне нужна была симпатичная фигура в противовес лорду и леди Вэллис, которые, как мне казалось, слишком сатиричны, и жесткой леди Кастерли. Теперь, когда сатиру я убрал, он стал слишком хорош

и тонок. Техническая трудность, по-моему, в том, что у меня нет никакого человека из другого класса, который бы сбил спесь с патрициев. Куртье на это не способен — я пробовал, но он тогда получается еще более бумажный. Куртье нехорош именно потому, что я знаю Невинсона. Это меня связывает по рукам и ногам.

В одном из своих писем ты поминаешь «Усадьбу». А мне вот кажется, что типичного помещика я знаю хуже, чем типичного аристократа. В «Усадьбе» помещик — это образ вымышленный, на его изготовление пошли: 1) один старый полковник ополчения, у которого есть дом в деревне. Он, правда, сам из помещичьей семьи, но занимался коммерцией; 2) один мой товарищ по университету из очень аристократической семьи; 3) мой родной брат. Так что он, как видишь, чистая случайность, хоть и счастливая. Этим я хочу только доказать, что беда не в недостатке знания — образы, которые мне удаются, редко бывают похожими портретами. Миссис Пендайс почти сплошь вымысел, Хассел Бартер тоже — он начался с человека, которого я полчаса наблюдал в поезде. А вот Грегори Виджил, который удался гораздо хуже, взят из жизни. Увидеть один раз, но особенно остро — это, как правило, для меня плодотворнее, чем близко знать изо дня в день. Поэтому Берти из «Патрициев», тоже списанный с аристократа, с которым мы жили бок о бок в колледже и который два года был моим ближайшим другом, не пожелал выйти из стадии наброска. А Барбара (по твоим словам — лучший образ в книге) — плод наблюдений одного вечера и двух писем одной сорокалетней аристократки. Или возьми «маленькую натурщицу» — она-то мне удалась — так вот, я ничего не знаю о маленьких натурщицах и вообще о девушках ее типа, только видел их иногда мельком. Между прочим, Каннинхем Грэхем говорит, что знает сколько угодно «старых мистеров Стоунов». А я не знаю. Из-за моего метода люди всегда считали, что я добросовестно пишу с натуры, я же втайне уверен, что лишь слеую своему воображению. Возьми мистера и миссис Деннант из «Острова фарисеев» — ты их всегда хвалил. По полчаса разговора с ним и с ней да четыре дня (на расстоянии) в том же отеле за границей — вот и все, из чего они родились.

Впечатление, которое у тебя осталось от «Собственника» — что за деревьями не видно леса,— объясняется тем, что я знал слишком много.

Прости за эти излияния, мой милый, но я всегда немножко чувствовал, что ты ко мне несправедлив,— с того самого дня, когда прочел кусок из твоего отзыва на «Джослин» (который вообще не следовало мне посылать), о том, что из меня никогда не выйдет художника, что я всегда буду смотреть на жизнь как бы из окна фешенебельного клуба. И от книги к книге мне всегда казалось, что в глубине души ты досадуешь на то, что вынужден все больше отходить от такой точки зрения. Что ты со своей крепкой, а в те дни еще более нерушимой верой в свою способность правильного суждения (которая у тебя очень сильна) раз и навсегда раскусил меня и не мог ошибиться. Я всегда чувствовал, что я глубже, более изменчив и, может быть, более широк, чем тебе кажется. Будучи от природы немногословен, я никогда этого не говорил,— но ты, надеюсь, не рассердишься, что теперь, впервые за десять лет, если не больше, я высказал то, что думаю. Да, я всегда чувствовал, что борюсь с известным предубеждением, которое укрепляется при каждом нашем свидании моей медлительностью в словах и манере. Ты говоришь «эта книга — не ты», но этим как бы даешь понять, что в твоих глазах я — что-то установившееся, определенное, узкое. Вот это я всегда в тебе чувствую. «Джек такой, et voilà tout¹!» Вероятно, это привычка критического ума, которому приходится составлять суждения об определенных вещах и отрицать возможность изменения или роста до тех пор, пока изменение или рост не станут слишком явны.

Все это в каком-то смысле — черная неблагодарность, потому что твоя доброта, дружеское отношение и критика принесли мне огромную пользу; я знаю, что и в данном случае они пойдут мне на пользу, когда я возьмусь за переработку.

Видит бог, в этой книге я далеко не достиг того, к чему стремился; но прежде чем снова за нее браться, я хочу установить, в какой мере ее недостатки про-

¹ И дело с концом (франц.).

истекают из того, что она оказалась завершением долгого труда — четырех классовых романов, которые я уже немного перерос или от которых устал, короче говоря — в какой-то мере это результат духовного перелома, а не чего-то более излечимого.

Раз уж ты сравниваешь ее с «Усадьбой», ты не мог не заметить, что главный фокус книги не столько лорд и леди Вэллис, сколько Милтоун и Барбара — молодые — любовники — отдельные личности; тогда как в «Усадьбе» интерес сосредоточен на помещике и миссис Пендайс — на старших, на типах. Этого, во всяком случае, нельзя изменить, а значит, если усилить и заострить классовую линию книги, очень легко нарушить равновесие и испортить вторую, более поэтическую и индивидуальную тему; тем более что классовая критика, какая ни на есть, выражена в том, что Милтоун остается на мели, и у Барбары крылья оказываются недостаточно сильны, чтобы поднять ее, так что она выходит замуж по всем правилам своего круга. Вот по этой-то причине, а не по какой-либо другой я не подчеркнул более резко линию лорда и леди Вэллис и не разработал их подробнее.

Мне хочется задать тебе один простой вопрос: если оставить в стороне лорда Денниса, думаешь ли ты, что аристократы, прочтя эту книгу, будут все так же уверены в себе и в своем месте под солнцем?

Тут идешь по очень узкому гребню. С одной стороны, книгу могут отвергнуть, усмотрев в ней прямые нападки; с другой — не стоило и браться за нее, если она ни в чем их не поколеблет.

И еще одно. В душе я отношусь к аристократам не так терпимо, как ты: их кажущиеся классовые достоинства — простота в обращении, внимательность, мужество и своего рода стоицизм — это отчасти результат того, что жизнь всегда их баловала, а отчасти возвращено искусственно, для самосохранения. Копни чуть поглубже — и очень скоро обнаружишь помещика или буржуа. Что мне, вероятно, следовало бы сделать, так это заострить кое-какие сцены, чтобы яснее показать аристократа без внешних прикрас. Могу сказать совершенно искренне, что для меня мир делится на художников и нехудожников, причем нехудожники всех степеней и оттенков одинаково не вызывают у меня ни любви, ни восхищения.

Это не реклама для художника, а лишь признание того, что в глубине души каждый ставит собственный душевный склад выше, чем чей-либо другой.

Терпимое отношение к аристократу, врачу или землекопу — все это хорошо в плане эстетическом, до глубины оно не доходит, по крайней мере у меня. А меркантильность — качество, силою обстоятельств навязанное одним людям и не навязанное другим.

Ну, хватит! На самом деле я не такой строптивый, каким выгляжу в этом письме, и вовсе не такой неблагодарный.

Преданный тебе
Джон Голсуорси.

P. S. Что касается того, что некоторые эффекты кажутся *réchauffés*¹. Ну, конечно, и в «Острове фарисеев» и в «Усадьбе» некоторые персонажи списаны с аристократов или частично ими подсказаны. Мистер и миссис Деннант; Уинслоу; отчасти помещик; миссис Пендайс — если у нее вообще есть прототип — тоже подсказана одной аристократкой. По моему опыту и наблюдениям, в наши дни, по существу, нет разницы между аристократами и помещиками, если не считать: а) исключительных типов, вроде Милтоуна и леди Кастерли: эти оба, несомненно, в достаточной мере развенчаны, и б) таких типов, как Берти — своего рода карикатура на прежние их качества в том виде, как они дошли до наших дней.
Дж. Г.

ЭДВАРДУ ГАРНЕТУ

Уингстоун, Манатон, Дсвон.
22 сент. 1910 г.

Дорогой Эдвард!

Спасибо, мой дорогой. Беру свои слова назад и всю личную часть твоего письма принимаю.

Последние фразы относительно воздействия «Патрициев» повергли меня чуть ли не в отчаяние. А тут еще получил сегодня письмо, которое прилагаю. Этот человек, видишь ли, совершенно не понял, что в Хилери я воплотил одну из слабостей, присущих интеллигенции.

¹ Повторением старого, букв.— «подогретыми» (франц.),

Точно так же, по твоим словам, никто (в том числе, видимо, и ты сам) не поймет, что в Милтоуне воплощена одна из слабостей, присущих аристократии.

По-моему, он, конечно, достоин жалости — он, а не Незнакомка, Барбара, а не Куртье — в духовном смысле. Так же, как в «Собственнике», — Сомс, а не Ирэн.

Господи, что же мне делать? Не могу я поставить себя на место обывателя. Помнишь, как ты воевал со мной по поводу конца «Собственника» — все требовал, чтобы я не убивал Босини и отправил торжествующих любовников в Париж, а Форсайтов оставил ни с чем? Вот и теперь то же самое. Мой удар был тогда куда более чувствительным, чем был бы твой, и я это знал. Конечно же, люди поймут, что хотя Милтоун добился своего, но то, чего он добился, сухо и скучно, как и он сам. Что еще я могу сделать, не рискуя стать безнадежно дидактичным и азбучным?

Ну ладно, что могу — сделаю, и большое тебе спасибо.

Всегда твой Дж. Г.

ЭДВАРДУ ГАРНЕТУ

Уингстоун, Манатон, Девон.
13 ноября 1910 г.

Дорогой Эдвард!

Спасибо за письмо. Я знаю, что ты понапрасну растрачиваешь слишком много сил на понимание недостойных и сочувствие им. Впрочем, «понапрасну» — не то слово, ведь это такой редкий дар! И все же тебе приходится нелегко, да еще когда в награду получаешь неблагодарность таких строптивцев, как я. Тебе нужно каждый год проводить шесть месяцев за границей и написать роман или хотя бы ту книгу критических статей, которую мы ждем уже столько лет. А ты этого не сделаешь, пока не сбежишь от шайки разбойников, которых сам же породил своим сочувственным пониманием.

Пересмотр книги подходит к концу. Я добавил около пятидесяти страниц и переписал заново почти все места, которые вызывали у тебя сомнения, а кроме того, постарался убрать все сентиментальное. Но суть книги от это-

го, конечно, не изменилась и не могла измениться. Критическая суть книги (а все твои упреки, в сущности, относились к ней) состоит в противопоставлении власти и сухого кастового существования лирическому взгляду на жизнь, эмоциональности и ненависти ко всяким барьерам, что присуще одной половине моего «я». Иными словами, просто-напросто в этой книге так же, как в «Собственнике», «Усадьбе» и «Братстве», одна половина меня самого критикует другую, причем половины эти то больше, то меньше, в зависимости от темы. Это не социальная критика — ни одна из моих книг не подходит под такое определение. Скорее уж это попытка психологического исследования. Если бы ты знал мою мать, ты бы согласился, что во мне вполне достаточно сухой кастовой властности, чтобы стать законным объектом для нападков со стороны другой моей половины. Книгу я назову не «Патриции», а «Патриций», может быть, это поможет разрушить представление, будто я решил изобразить на большом полотне все виды и все свойства аристократии.

Мэрри, когда прочел книгу, заметил: «Интересно, догадается ли рядовой человек хотя бы приблизительно, о чем тут речь», — имея в виду духовную суть книги. Наверно, не догадается. Но один умный читатель «Собственника» на днях сказал точно то же самое: что мой американский корреспондент, писавший о «Братстве», — это и есть рядовой человек. Так что с этим считаться не приходится. Никто еще до сих пор не отметил борьбу (духовную), которая идет в «Усадьбе». Для одних читателей это «социальная критика», для других — занимательная история, смотря по их умственному уровню. Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что социальным критиком я оказался случайно. Я не обладаю для этого ни нужным методом, ни нужными качествами. У меня нет терпения, нет прилежания — только известная объективность, поскольку я способен беспристрастно судить о себе в соприкосновении с жизнью. Моя ценность как критика социальных условий сводится к тому, что во мне живут два человека, оба достаточно сильные; и когда художник во мне восстает против другого человека, это производит впечатление критики.

Никак не подберу эпиграфа к книге.

У нас все время льет дождь. Надеюсь, что Констанс выберется к нам в субботу. Привет вам обоим.

Всегда твой Дж. Г.

Р. С. Получил письмо от Френча, пишет, что постарается сам прочесть твою пьесу!

ДВА ПИСЬМА НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

1 августа 1912 г.

Дорогая мисс Н.!

Вы задали мне один из тех вопросов, на которые я обычно отказываюсь отвечать, и задали его так, что отказаться я не могу. Я так же, как и Вы, понятия не имею о том, *nascitur* или *fit*¹ писатель-прозаик. Зато я хорошо знаю, что только тяжелой, многолетней работой можно очистить собственные произведения от первородного греха.

Присланный Вами рассказ я прочел. Я бы сказал, что он удачен, но фальшив. В связи с тем, что Вам хочется выяснить, наверно, хорошо, что это так, а не наоборот. У Вас (для Вашего возраста) есть беглость письма, точность в употреблении слов — это ценно. Но в этом же для Вас и большая опасность, потому что Вы никогда не добьетесь того, чего хотите, пока не научитесь писать чувствами, проверяя каждое слово на верность самой себе и жизни. А легкость, которая, очевидно, есть у Вас от природы, толкает Вас на то, чтобы писать быстро, и о том, чего Вы не прочувствовали и не проверили жизнью. Советую Вам почитать русских, в особенности Толстого, Тургенева и Чехова (двух первых — в переводе Констанс Гарнет, изд. Хейнемана, Чехова — «Черный монах», изд. Дакворт, Генриетта-стрит, д. 3) и роман Мопассана «Пьер и Жан», по-французски, вместе с предисловием. Может быть, Вы все это уже читали, тогда перечитайте и попытайтесь уловить искренность, какой проникнуты эти книги. Никаких оснований отчаиваться у Вас нет — я не побоюсь сказать, что в Вашем возрасте

¹ Рождается или делается (лат.).

никто не может писать вещи, которые стоило бы читать. Мне кажется, что главный недостаток американской психики — это любовь к сокращенным путям. В искусстве сокращенных путей нет. Это неустанная тяжелая работа сознания, а еще больше — души. Нельзя создать ничего, что стоило бы читать, из того, что не стоило чувствовать или видеть. Не торопитесь писать, пишите только тогда, когда иначе не можете. Если, как Вы говорите, жизнь вообще и люди в частности кажутся Вам захватывающе интересными, жизнь и люди вознаградят Вас материалом, но над этим материалом нужно много думать, думать и отбирать, и не набрасываться на сюжет, пока он не созрел у Вас в сознании; пока он не стал связным, значительным и жизненным благодаря какой-то общей идее, его проникающей, которая соответствует Вашему пониманию жизни и человеческой природы.

Видите, я говорю с Вами без обиняков, совсем не так, как полагается говорить модному врачу.

Повторяю, не отчаивайтесь, работайте спокойно, упорно и сжигайте то, что Вас не удовлетворит, а главное — не давайте Вашей легкости и всему, что из нее проистекает, погубить Вашу искренность. Желаю Вам всяческой удачи.

Искренне Ваш
Джон Голсуорси.

Уингстоун, 5 июня 1920 г.

Дорогой мистер Дж.!

Только что получил Ваше письмо от 30 мая. Первый мой Вам совет — не торопитесь печататься. Если человек не составил себе какого-то представления о жизни на основании собственной жизни, чувств и опыта, то ему нечего сказать такого, что другим стоило бы слушать. Обычно писать начинают слишком рано, и из тех, кто начинает очень молодым, лишь очень редкие чего-то достигают.

И дело не в том, чтобы научиться писать, дело в том, чтобы выработать определенное мировоззрение и иметь что сказать.

А теперь о стиле. Стил — это просто ясное, краткое выражение увиденного своими глазами и сугубо личных чувств. Записывайте для практики все, что Вы видите и чувствуете, по возможности кратко и ясно. Если Вы описываете дерево или стог сена, добивайтесь, чтобы другие увидели их так же, как Вы: именно то, как Вы их видите и ощущаете, и придаст им ценность. Живите среди животных, деревьев, птиц, холмов и моря, сколько это в Ваших возможностях. Беседуйте с простыми людьми и наблюдайте их жизнь. Держитесь подальше от всяких артистических групп, а если уж общаетесь с ними, не относитесь к ним слишком серьезно.

Пусть это звучит как избитая фраза, но читайте Библию, Шекспира и В. Х. Хадсона, который пишет о природе. Выучите как следует французский язык и (скажем, через три года) начинайте читать Мериме и Мопассана: они обладают удивительной ясностью и умением экономить слова. Читайте Анаголя Франса, тоже через три года. Читайте русского Тургенева (перевод Констанс Гарнет, изд. Хейнемана) — не ради стиля, стиль в переводе во многом пропадает, но ради того, как он видит жизнь и строит свои повести. Читайте Уолтера Патера и Стивенсона, но остерегайтесь их склонности к жеманству. Читайте Диккенса и Сэмюэля Батлера. Пишите стихи — это хорошая практика для выработки прозаического стиля. Возьмите себе за правило, что каждая фраза, которую Вы пишете, должна быть интересна. Из современных поэтов читайте Мэйсфилда и Сассуна. Но если Вы действительно хотите стать настоящим писателем, живите при этом нормальной жизнью и занимайтесь каким-нибудь нормальным делом еще несколько лет после того, как станете взрослым человеком. Вглядитесь в повседневный мир как он есть, прежде чем передавать другим свое видение или что бы то ни было.

Желаю Вам удачи.

Искренне Ваш Джон Голсуорси.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Помещенные в шестнадцатом томе статьи Голсуорси за исключением лишь одной — «Создание характера в литературе», так же, как и его письма и сатирические произведения, публикуются на русском языке впервые.

В статьях Голсуорси, написанных им в начале XX века, — «Почему нам не нравятся вещи как они есть», «Нужно учиться», «Соломинка на ветру», «О законченности и определенности» и других писатель ведет большой разговор о высоком назначении литературы, протестует против тенденции поставить ее на службу реакции, против тенденции фальсификации жизни, слэпавого морализирования, коммерческого подхода к искусству. Эти положения получают развитие и в более поздних статьях.

Первая мировая война потрясла многих лучших представителей западной интеллигенции своей жестокостью. В данном томе представлены те статьи Голсуорси, в которых он обнаруживает понимание истинных мотивов политики своей страны и других капиталистических стран еще начиная с периода подготовки войны. (Статьи «Воля к миру» — 1909, «Мир в воздухе» — 1911.) Отношение Голсуорси к войне резко отличает его от писателей-модернистов, которые, следуя ущербной философии своего времени, утверждали, что война — проявление зверских инстинктов человека и что ее разрушительная техника положит конец цивилизации. Руководимый верой в человека, Голсуорси в статье «Искусство и война» (1915) выражал твердое убеждение в том, что война «при всем ее размахе и ужасе» не может уничтожить понимания между людьми, подавить их духовно, «не может вырвать ни один из корней дерева искусства — дерева, которое все растет и растет, с тех самых пор, как в глазах человека засветилась душа». Чрезвычайно актуально звучат в наши дни мысли, высказанные в этой статье. Голсуорси осуждает в ней правящие круги воюющих стран, «так называемых мужественных людей, для которых нестерпимо движение человечества по пути к взаимному пониманию» и которым достаточно «поиграть на страхах и патристических чувствах широких масс, чтобы разжечь пожар на целом континенте».

Страстным стремлением к тому, чтобы не повторился «безобразный, кровавый кошмар», проникнуты статьи Голсуорси, написанные после войны 1914—1918 гг., — «Дети и война», «Военные фильмы и суровая действительность» и другие, в которых он выражает протест против разжигания новой войны. Отразившиеся, в частности в статье «Искусство и война», иллюзии Голсуорси о том, что Англия, вступив в войну, стала бороться за идеалы демократии, уступают место прозрению, которое дает ему возможность в статье «К чему мы пришли» (1920) четко определить войну как результат «грубой системы конкуренции», сделать вывод о том, что «теория объединения наций» останется прекрасной теорией и судьба человечества будет мрачной, если не изменится самый дух прогресса, если не будет в корне изменено воспитание подрастающего поколения. Единственное соревнование, которое, по мнению Голсуорси, должно быть между народами, — это соревнование в области культуры во имя благоденствия всего человечества. Развивая это положение в статье «Международная мысль» (1923), он возлагает надежды на создание единого международного общественного мнения, противостоящего губительной политике тех, кто рассматривает силу как закон, управляющий обществом.

Размышляя о судьбах мира, Голсуорси, правда, не учитывает при этом огромной роли народов; он считает, что средство предотвращения войн — в руках у инженеров и изобретателей, придает самодовлеющее значение прессе, питает иллюзии о том, что финансисты всего мира могут договориться между собой и улучшить экономические условия жизни людей.

Неверие в силы народа, в его духовные возможности — вот причина того, что смелая мысль Голсуорси часто наталкивается на некий предел, и положительный его идеал выглядит отвлеченным и ограниченным. Мы наблюдали это уже в одной из его ранних статей — «Туманные мысли об искусстве», в которой Голсуорси рассматривал искусство как единственное средство установления гармонии в отношениях между людьми, уничтожения социальных противоречий вне классовой борьбы. В этой же статье он выражал мнение, что Толстой, «низложив всех старых судей и всяческие академии» и утверждая, что величайшее искусство то, которое доступно самому большому числу людей, «тем самым возводит массы в ранг новой Академии или нового судьи, столь же деспотичного и ограниченного, как те, которых он низложил».

В неверии Голсуорси в силы народа надо искать и причину того, что, мечтая о социальной справедливости, писатель вместе с тем опасался силы рабочего движения в Англии, причину того, что он не смог понять сущности великих событий в России, где в 1917 году народ взял судьбу страны в свои руки. Революционная Россия представлялась ему чем-то чуждым, опасным, как можно видеть по замечанию гида в «Гротесках», по вскользь брошенной фразе в статье «К чему мы пришли». Этим же непониманием продиктован весьма произвольный вывод о характере русского народа в разделе о Чехове статьи «Еще четыре силуэта писателей».

Голсуорси не смог преодолеть своих заблуждений, но до конца жизненного пути искренне пытался разобраться в сложных проблемах времени, побуждаемый заботой о благе человечества, тревогой за его будущее.

Большое значение имеют статьи Голсуорси о литературе, написанные в 20-х и начале 30-х годов, в особенности «Литература и жизнь», «Силуэты шести писателей», «Создание характера в литературе», в которых Голсуорси отстаивает принципы реалистической эстетики. Зная обстановку, сложившуюся в литературной жизни Англии после первой мировой войны, можно уловить в этих статьях полемику против модернистской литературы, выдвинувшейся в то время на авансцену. Возражения Голсуорси против этой литературы воспринимаются как нечто актуальное и сейчас, ввиду тесного родства с ней произведений современных западных модернистов.

Восставая против позиции модернистов, которые выдвигали концепцию о «чистом художнике», провозглашали право писателя на безответственность, на уход от жизни, Голсуорси высказывает твердое убеждение в том, что подлинный писатель — всегда критик действительности: он в ответе перед обществом, его долг — воздействовать на этические нормы своей эпохи. На свой вопрос в статье «Литература и жизнь» — «Ради чего мы отдаемся искусству?» — Голсуорси отвечает: «Ради большего блага и величия человека».

Приветствуя движение искусства вперед, поиски новых путей, Голсуорси в то же время восстает против бесплодной погони за модой, стремления к новой форме ради новизны, к формалистическим вывертам, «словесным узорам». Он защищает роман от посягательств модернистов, которые, стремясь разрушить его, объявляют мертвым и похороненным то, что составляет его специфику, — повествование, сюжет, характеры. Интересны мысли Голсуорси в статье «Создание характера в литературе» о творческой лаборатории писателя, который извлекает из «склада» памяти, — то, что Голсуорси называет подсознанием, — впечатления, накопившиеся в процессе жизненного опыта, сплавления воедино «разрозненные кусочки» и претворяя их в образы. Порой, однако, Голсуорси склонен придавать самодовлеющее значение «подсознанию»; отсюда его утверждение, что Шекспир будто бы создавал некоторые характеры, почти полностью подчиняясь подсознанию, и «направляющая мысль» у него при этом отсутствовала. Так, в частности, по мнению Голсуорси, родился образ Фальстафа, которого он считает не типом, но только индивидуальностью. Думается, что здесь проведено слишком резкое разграничение между понятиями «индивидуальность» и «тип». О неправомерности такого подхода свидетельствуют прежде всего лучшие образы самого Голсуорси, например, старики Форсайты: каждый из них — тип и в то же время резко выраженная индивидуальность. Что касается несправедливого утверждения об отсутствии порой у писателя направляющей мысли при создании характера, то Голсуорси сам опровергает себя, когда говорит далее, что создание характера — процесс, хотя и ничем не скованный, но всегда целеустремленный. Исходя из творческого опыта Голсуорси, как и всякого большого писателя, можно сказать, что этот процесс обусловлен взглядами автора на жизнь, организующей идеей, которая лежит в основе его произведения. С этим согласуется высказанная Голсуорси в конце статьи мысль о том, что характеры, созданные писателем, «усиливают и обога-

щают непрерывный процесс этической оценки, неотделимый от всей человеческой жизни».

Отстаивая в своих статьях критерий этической оценки, в противоположность модернистам, проповедующим аморализм, Голсуорси ссылается на творчество великих писателей-гуманистов. Видное место занимают здесь представители русской литературы.

Большой интерес в данном томе представляет раздел писем Голсуорси. Они вводят в творческую лабораторию писателя, свидетельствуют о раздумьях и упорном труде, с которыми было связано создание его произведений, об его исключительной честности, требовательности к себе, готовности прислушиваться к критическим замечаниям.

О принципах, которыми руководствовался Голсуорси в своем творческом труде, лучше всего говорит следующая его фраза в письме к начинающему писателю: «В искусстве сокращенных путей нет. Это неустанная тяжелая работа сознания, а еще больше—души».

Д. Жантисва

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ к 1—16 тт. СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Д. ГОЛСУОРСИ

	Том	Стр.
Акмэ	13	150
Аллегория о писателе	16	288
Апофеоз	11	332
Беглая	14	343
Без перчаток	15	100
Белая обезьяна	3	7
Bel colore	11	326
Бересклет	13	46
Благополучие	11	245
Большой совет присяжных	12	54
Братство	6	241
Бродяги	11	353
Бывший № 299	13	158
Верность	15	261
Верх совершенства	16	59
В зените могущества	12	91
Вилла Рубейн	5	5
Власть	11	224
Во всем нужно видеть хорошую сторону	13	25
Вода	13	327
Военные фильмы и суровая действительность	16	426
Вознаграждение	11	318
Воля к миру	16	303
Воспоминания	12	70
Воспоминания о Конраде	16	412
В петле	2	7
Всегда быть первым	16	65
Встреча	11	309
Встречи	4	7

Вьючное животное	11	351
Выбор	11	379
Гедонист	13	266
Голос свыше	12	94
Гондекутер, 1880	4	391
Гостиница Успокоения (сб.)	12	3
Гостиница Успокоения	12	5
Гротески	16	74
Давняя история	13	285
Два взгляда	13	5
Дебри	15	335
Девушка ждет	9	293
Демонстрация	12	34
Демос	11	165
Деньги	11	196
Дети и война	16	376
Джой	14	67
Добродетель	13	275
Дом безмолвия	11	229
Еще раз	11	389
Еще четыре силуэта писателей	16	429
Женщина	11	357
Жив или мертв?	12	100
Заключенный	11	295
Здравомыслящий	16	20
Зыбучие пески времени, 1821—1860	4	327
Идиллия	3	287
Избранные письма	16	473
Изюминка	15	85
Искусство и война	16	362
Казнь	13	379
Safard	13	100
Комментарий (сб.)	11	151
Комментарий	11	153
Короли	11	330
Крик павлина, 1883	4	404
Критик	16	13
К чему мы пришли	16	378
Лебединая песня	4	25
Лес	13	208
Литература и жизнь	16	445
Ловец человеков	11	285
Маленький человек	15	5
Маленький человек и другие сатиры (сб.)	12	89

Манна	13	90
Мастерство	12	12
Мать	11	240
Мать всех камней	13	115
Международная мысль	16	386
Мельник из Дч	11	340
Мир в воздухе	16	345
Митинг сторонников мира	13	72
Мода	11	188
Мой дальний родственник	12	45
Молчание	11	126
Моментальные снимки (сб.)	13	119
Моралист	16	33
Мужество	11	302
Навсегда	11	367
Надежда	11	262
Надежды	13	107
На отдыхе	11	212
Наслаждение	11	397
На Форсайтской бирже (сб.)	4	325
Несколько трюизмов по поводу драматургии	16	299
Nicolas—Rex, 1864	4	360
Нужно учиться	16	283
Оборванец (сб.)	13	3
О законченности и определенности	16	356
Осторожный человек	11	177
Остров фарисеев	5	141
Охота	11	192
О цензуре	16	312
Паломники	11	328
Патриций	7	5
Первые и последние	12	155
Писатель	16	5
Побег	15	485
Поражение	13	10
Портрет	11	269
Порядок	11	235
Последнее лето Форсайта	1	365
Последнее слово	16	54
Последняя глава		
Девушка ждет	9	293
Пустыня в цвету	10	7
Через реку	10	257
После спектакля	16	279
Почему бы нет?	12	103
Почему нам не нравятся вещи как они есть	16	347
Правосудие	14	211

Предисловие к роману Диккенса «Холодный дом» .	16	351
Присяжный	12	301
Пробуждение	2	311
Прогресс	11	206
Прогулка в тумане	12	29
Пропащий	11	160
Простая повесть	12	126
Прощание	11	347
Пустыня в цвету	10	7
Путь святого	9	5
Пылающее копье	16	135
Пять рассказов (сб.)	12	153
Радость	12	85
Радость жизни	11	324
Распря	13	218
Рассказ учителя	13	357
Рванный башмак	13	135
Ребенок	11	252
Роман тети Джули, 1855	4	350
Русский и англичанин	16	370
Рыцарь	11	91
Сага о Форсайтах		
Собственник	1	39
Последнее лето Форсайта	1	365
В петле	2	7
Пробуждение	2	311
Сдается в наем	2	335
Salta pro nobis	13	320
Санта-Лючия	13	121
Сверхчеловек	16	27
Сдается в наем	2	335
Секхет	12	112
Семейный человек	15	186
Серебряная коробка	14	5
Серебряная ложка	3	305
Силуэты шести писателей	16	394
Сильнее смерти	8	297
Смесь (сб.)	11	267
«Собака околела»	13	58
Собака у Тимоти, 1878	4	371
Собственник	1	39
Совершенство	11	373
Совесть	13	141
Современная комедия		
Белая обезьяна	3	7
Идиллия	3	287
Серебряная ложка	3	305
Встречи	4	7
Лебединая песня	4	25

Создание характера в литературе	16	457
Соломинка на ветру	16	323
Сомс и Англия, 1914—1918	4	420
Сорока над холмами	12	21
Спасение Форсайта	11	52
Спектакль	15	413
Справедливость	11	256
Стадо	11	313
Старость	11	171
Старший сын	14	291
Стойк	12	207
Странности жизни	13	79
Страх	11	183
Схватка	14	137
Темный цветок	7	269
Тимоти на волосок от гибели, 1851	4	335
Толпа	15	27
Труженики	11	336
Туманные мысли об искусстве	16	329
Удар молнии	13	306
Ultima Thule	12	136
Улыбка	13	370
У него была лошадь	13	180
Усадьба	6	5
Ушла	12	65
Факты	11	216
Форсайты, Пендайсы и другие (сб.)	13	325
Форсайт четверкой, 1890	4	410
Фриленды	8	5
Хозяйка дома	16	46
Христианин	12	39
Художник	16	40
Хатор	12	108
Цвет яблони	12	323
Человек из Девона (сб.)	11	3
Человек из Девона	11	5
Человек с выдержкой	13	290
Через реку	10	257
Чудак	11	362
Шантаж	13	253
Эволюция	12	25
Этюды о странностях	16	5
Японская айва	11	385

СОДЕРЖАНИЕ

САТИРА

Э т ю д ы о с т р а н н о с т я х

Писатель. Перевод Г. Журавлева	5
Критик. Перевод А. Поливановой	13
Здравомыслящий. Перевод А. Поливановой	20
Сверхчеловек. Перевод А. Поливановой	27
Моралист. Перевод А. Поливановой	33
Художник. Перевод А. Поливановой	40
Хозяйка дома. Перевод О. Атлас	46
Последнее слово. Перевод А. Поливановой	54
Верх совершенства. Перевод А. Поливановой	59
Всегда быть первым. Перевод А. Поливановой	65
 Г р о т е с к и. Перевод М. Лорие	 74
 П ы л а ю щ е е к о п ь е. Перевод А. Сергеева	 135
I. Герой	135
II. Его слуга	142
III. Мистер Левендер выступает перед толпой гуннов	148
IV. ...испытывает превратности общественной деятельности :	158
V. ...убеждается в появлении новой болезни	166
VI. ...совершает ошибку и встречает лунную кошечку	174
VII. ...посещает редактора и отыскивает крестьянина	184
VIII. ...морит голодом немцев	191
IX. ...беседует с человеком, отказывающимся идти на военную службу	196
X. ...видит сон и встречает прекрасное видение	205
XI. ...срывает нацифистский митинг	211
XII. ...ускоряет перевозку и принимает врача	216
XIII. ...говорит солдатам о том, что их ждет	221
XIV. ...пытается интернировать немца	225
XV. ...встречает пруссака	235
XVI. ...борется за веру	241
XVII. ...обращается с речью к облакам	246
XVIII. ...встречается лицом к лицу с Истиной	250
XIX. ...подвергается опасностям улицы	255
XX. ...получает откровение	258
XXI. ...и возносится на небеса	265

СТАТЬИ, РЕЧИ, ПИСЬМА

После спектакля. Перевод М. Лорие	279
Нужно учиться. Перевод М. Лорие	283
Аллегория о писателе. Перевод М. Лорие	288
Несколько трюизмов по поводу драматургии. Перевод М. Лорие	299
Воля к миру. Перевод М. Лорие	308
О цензуре. Перевод М. Лорие	312
Соломинка на ветру. Перевод М. Лорие	323
Туманные мысли об искусстве. Перевод М. Лорие	329
Мир в воздухе. Перевод М. Лорие	345
Почему нам не нравятся вещи как они есть. Перевод М. Лорие	347
Предисловие к роману Диккенса «Холодный дом». Перевод М. Лорие	351
О законченности и определенности. Перевод М. Лорие	356
Искусство и война. Перевод М. Лорие	362
Русский и англичанин. Перевод М. Лорие	370
Дети и война. Перевод М. Лорие	376
К чему мы пришли. Перевод М. Лорие	378
Международная мысль. Перевод М. Лорие	386
Силуэты шести писателей. Перевод Г. Злобина	394
Воспоминания о Конраде. Перевод М. Лорие	412
Военные фильмы и суровая действительность. Перевод М. Лорие	426
Еще четыре силуэта писателей. Перевод М. Лорие	429
Литература и жизнь. Перевод Г. Злобина	445
Создание характера в литературе. Перевод М. Лорие	457

Избранные письма. Перевод М. Лорие

Констанс Гарнет — от 10 мая 1902 г.	473
Эдварду Гарнету — от 1 июня 1905 г.	474
Констанс Гарнет — от 14 июня 1905 г.	478
Эдварду Гарнету — от 14 июня 1905 г.	480
[Сестре ¹] — от 11 сентября [1905 г.]	482
Эдварду Гарнету — от [без даты,] 1910 г.	487
Эдварду Гарнету — от 14 сентября 1910 г.	489
Эдварду Гарнету — от 18 сентября 1910 г.	491
Эдварду Гарнету — от 22 сентября 1910 г.	495
Эдварду Гарнету — от 13 ноября 1910 г.	496
Два письма начинающим писателям	
от 1 августа 1912 г.	498
от 5 июня 1920 г.	499
Послесловие Д. Жантисвой	501
Алфавитный указатель к 1—16 тт. Собрания сочинений Д. Голсуорси	505

Джон Голсуорси
Собрание сочинений в 16 томах,
Том XVI.

Иллюстрации художника
В. Горяева.

Оформление художника
А. Васина.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 16/VIII 1962 г. Тираж 375 000 экз.
Изд. № 1057. Зак. 1745. Формат бум. 84×108^{1/32}.
Бум. л. 8,0. Печ. л. 26,24. Уч изд. л. 26,60.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, улица
«Правды», 24.